

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И
М И Р

|| 9 ||

Ж О В Ы И М И Р

|| 1986 ||

9



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1986 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — <i>Минута</i> , стихи	3
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — <i>Плаха</i> , роман. Часть третья	6
ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ — <i>Время</i> , стихи	65
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР — <i>Поезд</i> , роман. Окончание	67
ЮРИЙ КОБРИН — <i>Вильнюс</i> , стихотворение	130
ДЖОН АПДАЙК — <i>Кролик разбогател</i> , роман. Перевела с английского Т. Кудрявцева	131
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
СТИХИ И ПИСЬМА. Анна Ахматова. Н. Гумилев. Публикация, состав- ление, примечания и вступительное слово Э. Г. Герштейн	196
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — <i>Черт во Франции</i> . Окончание. Перевел с немец- кого Л. Миримов	228
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА — <i>Слово берет театр</i>	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	256
Алла Марченко. Опыт общественного романа.	
Петр Спивак. На языке реальных событий.	
Павел Нерлер. Фольклор полевых дворян.	
Сергей Дмитренко. Действенность смеха.	
<i>Политика и наука</i>	264
А. Галкин. Дорога в никуда.	
В. Мотылев, Н. Метелкина. Теории-прислужницы.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Равиль Бухараев.—Владимир Шленский. Снегири на антеннах. Стихотворения и поэмы. Владимир Шленский. Скворец на асфальте. Стихи. ◆	
Г. Петрова.—Владимир Кантор. Два дома. Повести. ◆	
С. Алякринская.—Н. А. Халфин. Заря свободы над Кабулом	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Местный оркестр
пожарной команды
щеки румяные надувал.
Гнали усатые музыканты
за вальсовым валом
вальсовый вал.
С красной повязкой
патруль для порядка,
чтобы за танцами наблюдать.
Провинциальная танцплощадка,
нашей военной судьбы
благодать!
Руки встречались,
скрещались взгляды,
и замирали в истоме сердца.
Не было в мире
милее услады
чувствовать лик ее
возле лица!..
Что лучше в мире
той музыки медной,
труб громогласных
и звяканья шпор...

Юности нашей,
той милой и бедной,
я не могу позабыть
до сих пор!
«Завтра в дорогу,
в дорогу,
в дорогу!» —
трубы во мне
и поныне звучат.
Нет, не сумею забыть я, ей-богу,
пестрые,
шумные
платья девчат!
В парке старинном,
где липы прямые,
новый проходит
густой листопад...

Как позабыть
мне тебя,
Коломыя,
маленький город
возле Карпат.

Ритуалы

Судьи в мантиях
поднялись алых.
Стража отдает
со звоном честь...
В праздничных старинных
ритуалах
тайная все чудится мне
весть.
От тамтама
вдаль уходит эхо.
Перед строем голого полка
корпусом гигантского ореха
коронуют черного царька.
Ритуалов в мире власть громадна.
Лица у солдат напряжены.
Медленно вбивает шаг команда
перед гостем из чужой страны.

В храмах
свечи теплятся из воска,
зал кропит священника рука...
В чем же суть всего?
Так в чем
загвоздка?
Это нам неведомо
пока.

В мире нашем, мира бы
не стало,
потускнел бы, вылинял бы
он,
если бы не краски ритуала,
не его блистательность
и звон.

Девочка

В детстве своем
я стремился к порядку...
Помню, бывало, с утра
в выходной
я заносил аккуратно
в тетрадку,
что за неделю
прочитано мной...

В мыслях моих
в сочетаньях престранных
мчался Улисс
среди настырных сирен,

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ



МИНУТА

Античные парки

И я любил
шуршанье вечной пряжи
и тихое сверкание светил,
которое я в невеселом раже
в печальную поэму воплотил.
Они горят, небесные светила,
и парки пряли,
видя над собой
во всю длину
от фронта и до тыла
великолепье
молнии слепой.
И пряжи пряжу монотонно пряли,
но мысль о смерти все не шла на ум.
И где-то там, далеко,
на Урале,
был слышен этот
монотонный шум.
И парки пряжу пряли,
обрывая
за тонкой нитью
следующую нить.
Стояла ночь над миром неживая,
и мы не успевали хоронить.

Машины шли вперед
по бездорожью,
как за веками движутся века.
И эту полночь сотрясали дрожью
античного прядильного станка.
Тогда лежали города во прахе...
Грядущего уже не изменить!

И пряли пряжу
монотонно
пряжи,
за нитью
ножницами обрезаю
нить...

Коломыя

Желтые листья
летят на брусчатку
города,
что на отрогах Карпат...

Помню,
ходили на танцплощадку
я и Иван Пелипенко,
комбат.

Пантагрюэль да Изольда с Тристаном,
 Тиль Уленшпигель
 да Тартарен.
 Но только
 с клубящимся этим роем
 в платьице белом
 девчонка одна
 часто мне снилась
 под стать героям!..
 В доме напротив
 жила она.
 Мяч волейбольный взлетал
 над дорогой.
 Ребята кричали.
 Она ж
 в перерыв
 на скамейку садилась
 прямою и строгой,
 платок носовой
 под себя подстелив.
 С ней дерзок я был,
 постоянно силясь,
 чтоб не догадалась она
 ни на миг!..
 Мне девчонка та нравилась,
 мне она снилась
 среди героев
 прочитанных за день книг.
 Она на асфальте,
 расчерченном мелом,
 скакала..
 Ну что же, минули года!..

Но такую, как эта вот девочка в белом,
 мне встретить
 уже не пришлось
 никогда.

Минута

Вот так
 и не догонит черепаху
 наш быстроногий пламенный
 Ахилл!..
 Два тысячелетья он бежит
 по праху,
 а он ведь светломудр
 да и не хил.
 А черепаха
 все ползет помалу,
 все, неуклюжая,
 ползет, ползет себе,
 противопоставив
 этому кошмару
 рывок на точку А

из точки Б!..
 И это будет вечно..
 Потому-то
 падет и торжествующий
 гранит,
 ну а моя вот эта вот минута
 в самой себе
 безбрежное хранит.
 И потому я ту минуту славлю,
 когда в кружочке
 вечного цветка
 на белую трепещущую каплю
 садящегося
 вижу
 мотылька.



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

ПЛАХА *

Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Люди ищут судьбу, а судьба — людей... И катится жизнь по тому кругу... И если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо, как рок...

Надо же было Базарбаю Нойгутову подрядиться в тот день к геологам проводником. Базарбай и знать не знал, что геологам потребуются провожатый, геологи сами его разыскали, сами предложили.

Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по которой подвозят корма для овец.

— Почему это место называется Таман? — спросил один из них.

— А что такое?

— Да так, любопытно...

— Таман — это подошва. Видишь, вот подошва сапога. А здесь подошва гор, потому и называется Таман.

— Вот оно что! Значит, отсюда и Тамань и знаменитая Таманская дивизия!

— Этого не скажу, браток. Про то генералы знают. А наше дело, сам понимаешь, пастушье.

Так вот, значит, добрались геологи до Тамана, а дальше, заявляют, путь им известен только по карте, поэтому лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из местных. Отчего бы и нет! Тем более не бесплатно. Всего и делов-то — провести четырех мужиков со вьюком в ущелье Ачы-Таш, там они, геологи эти, вроде пробы какие-то будут брать, известное дело, на золото — они одно золото и ищут. А если найдут, то большие премиальные за то получают. Ну это, допустим, их забота, а самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в таманскую кошару, где он зимовал со своей отарой. Вот и все дела.

А парни оказались насчет денег совсем не кумекающие, даром что городские, и стоило Базарбаю заартачиться: некогда, дескать, мне в провожатых ходить, того и гляди начальство совхозное нагрянет, вам-то что, а с меня спрос, где, скажут, старший чабан Базарбай Нойгутов, почему отлучается, когда окотная кампания на носу, кто тогда будет отвечать? — тут братцы эти сразу накинули, пообещали четвертак. Вот дурни! А чего с ними цацкаться — деньги казенные, казна не обеднеет. Сами небось так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят. А Базарбаю проводить геологов до места раз плюнуть — сел верхом да и поехал. Он и так чуть не через день мотается по своим и нужным и не нужным делам, особенно если где свадьба или поминки, где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную контору уезжает, вся бригада: и пастух, и двое подпасков, и ночник, и особенно жена (она тоже числится в ра-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6, 8 с. г.

Жена молча подхватила ведра и, хлопнув дверь, пошла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня и двинулся с геологами в путь...

Хорошо еще конь добрый — единственная его отрада, хороший конек, из коннозаводских, какой-то чудаков выbral его за мать, не разберешь, какой он из себя — то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый конек, по горам сам знает, куда ступать, и, главное, выносливый, ну что твой волк. Все время под седлом, а с тела не спал. Что и говорить, конь у него хорош, пожалуй, ни у кого из окрестных чабанов такого коняги не найдешь, разве что у Бостона, у этого передовика совхозного, ну и тип, редкий, надо сказать, скаред, всю жизнь почему-то недолюбливают они друг друга, так вот у него конек что надо и масти нарядной, золотистый дончак, Донкулюком прозывается. Повезло Бостону. Холит коня Бостон, а как иначе — должен на коне выглядеть молодцом, теперь у него жена молодая, вдова Эрназара, того самого, который года три назад провалился в расщелину во льдах на перевале Ала-Монгю да так и остался там...

В горы большей частью двигались гуськом и потому молчали, да и настроение у Базарбая после скандала с женой не очень-то располагало к разговорам. Так и ехали. Зима была уже на исходе. Оказывается, на бокогреях — солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, — попахивало уже весной. Тихо и ясно было в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово синеего в низине великого горного озера уже высоко поднялось над горами полуденное солнце.

Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущелья — и вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое зеркало Иссык-Куля, и вот уже обзор позади скрылся за горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье, и чего они тут выискивать будут? — недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сразу же возвращаться. Ущелье Ачы-Таш не такое длинное, как соседнее, идущее параллельно ему ущелье с выходом к приозерью. Про себя он решил, что на обратном пути перевалит в Башатское ущелье. Там путь к дому покороче. Распрошавшись с геологами, так и сделал, но перед этим, положив в карман вождеденную двадцатипятирублевую бумажку, все-таки ввернул:

— Вы ведь, друзья, мужики вроде, — усмехнулся он, надменно поглаживая ус, — да и я не мальчонка, что ж, мне уезжать от вас с сухим горлом, что ли?

Базарбай и рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на поллитровку — эдакую зеленоватую бутылочку производства местного пищевого завода. На, мол, выпей дома! От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже подкармливать коня овсом, что прихватил в переметной суме — курджуне. И так выдюжит, ему не впервой. Поскорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную дорогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и, перевалив полужаснеженную гряду, спустился в Башатское ущелье. Тут, в ущелье, по склонам рос негустой лес да и посветлее было — не так мрачно, как в Ачы-Таше, но главное, много текло ручьев и родников, потому это место и называлось Башатским — Родниковым — ущельем.

Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примерялся, где, возле какого ручья будет лучше приостановиться. Норму он свою знал — половину бутылки мог употребить, запить водой и ехать дальше. Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный, сам доведет. Многострадальная Кок Турсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку держит — ни разу еще не падал с седла.

бочих), а в расплодную и помощники-сакманщики — все переживают. Приезжает Базарбай ночью вдрызг пьяный, на коне еле держится, а ведь деньги людям везет. И никак жена-подлюга пожаловалась директору совхоза: вот уж месяца три как кассир Боронбай сам стал привозить в кошару получку. Говорит, по закону положено, чтобы каждый самолично расписывался в ведомости. Ну и пусть его ездит, если охота...

А тут четвертак, почитай, дуриком сам в карман лезет. Правда, тропа в Ачы-Таше каменистая, а где и такая обрывистая, что аж дух захватывает, недолго и шею свернуть, что ж, горы на то и горы, это тебе не по стадиону бегать кругами да еще медаль за это на шею. А чему удивляться — справедливости как не было в мире никакой, так и нет — ты тут зимой и летом в горах, ни тебе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрического, вот и живи как хочешь, ходи круглый год за овцами по вонючему назьму, а там шустрик эдакий в тапках белых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в ворота — и самому удовольствия, и народ на стадионе с ума сходит от радости, и слава тому шустрику, и в газетах везде и повсюду он пишут, а кто горбатится с утра до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на прокорм хватает. Ну выпьешь с досады, так тоже потом жена заест, и сам не рад. А ведь приплод дай, чтобы ни одна матка яловой не осталась, привес дай, шерсть тонкорунную дай, все грозились синтетику найти вместо руна, только где она, эта синтетика, а как стрижка, так сто контролеров налетят, точно стервятники, и выметают подчистую — до последней шерстинки им все отдай. На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть... Сильно нужна, видать, им эта валюта... И все это как в прорву уходит. Пропади оно все пропадом — и овцы, и люди, и вся эта жизнь постылая...

Такие невеселые думы одолевали Базарбая в пути. Потому он всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачивался к едущим позади геологам — предупреждал, где какая опасность... Муторно было на душе. И все из-за подлюги бабы... Вот ведь зараза! Обязательно встретит — обязательно ей хай поднять надо. Раскричалась и в этот раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит. И вот так вся жизнь кувырком идет! Недаром говорили исстари: жена ночью кошкой ластитя, а днем — змеей. Надо же! Разоралась! Тебе бы, говорит, только куда смотреться, и зачем они тебе сдались, эти геологи, тут дел невпроворот, овцы пошли плодиться, мальшня висит на шее, старшие в интернате совсем хулиганами заделались, а как на каникулы приедут, им бы все жрать, хоть лопни, да подай, а помощи от них никакой, курят как опупелые, да поди еще и водку хлещут, кому за ними в интернате следить, директор — пьяница, а и дома с кого им пример брать? Ты сам только и норовишь куда закатиться, тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам довозит, не то давно бы околел спьяну где-нибудь на дороге...

И вот ведь паскуда! Сколько бил-учил, всю жизнь в синяках ходит, оттого и прозвали ее Кож Турсун — Сизая Турсун, а попридержать язык свой поганый все ума не хватает.

И в этот раз, подлюга, раскричалась при геологах некстати. А ведь сколько раз, бывало, душил так, что глаза выкатывались! После давала слово не перечить, да где там! Но он нашел способ заткнуть ей глотку. Позвал в дом вроде для разговора, а как вошла, притиснул молчком к стене, лицом к лицу — из нее и дух вон; тут он и разглядел в потухшем уже, посиневшем, морщинистом лице жены, в помутневших от страха глазах всю тоску и безотрадность прожитых лет, все неудачи и злобу на жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре, в поползшем на сторону беззубом черном рте, и противен он стал самому себе и прошипел грозно:

— У, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю, как гниду! — И отшвырнул в сторону.

подряд обходиться без пищи, но кормящая волчица не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать — идти на большую охоту, но если бы ей суждено было погибнуть, погибли бы и ее сосунки.

Ташчайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно было быстро обернуться — быстро выйти на добычу, быстро одолеть ее, быстро нажраться мяса, заглатывая пищу кусками, и быстро прибежать назад в логово переваривать пищу, для волчицы ведь главное — питать сосунков молоком.

В тот день путь оказался осклизлым на солнцепеках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. В это время года, когда мелкая живность хоронится под землей, а до диких и домашних стад не добраться, жизнь осложняется тем, что охотиться на крупных животных — на лошадей, на рогатый скот, на верблюдов — нельзя без напарника. Как ни могуч был Ташчайнар, ему не дотащить крупную добычу до логова. В последний раз, дня два тому назад, он загрыз осла, забредшего в предгорья. Ночью Акбара отлучилась из логова и нажралась ослиного мяса, но ведь не каждый день ослы бродят так беспечно по предгорьям. Обычно при них бывают люди. Вот почему Акбара пошла на вылазку сама — насытиться на месте охоты.

Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все тревожилась, раз-другой даже хотела вернуться с пути — беспокоилась за волчат: ведь им постоянно требуется и тепло и молоко, — но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем.

Акбаре и Ташчайнару повезло: идя по свежему следу, они попали в обширную лощину, где одиноко паслись на отшибе три яка, должно быть, отбившихся от стада, — волки с ними уже имели дело год тому назад, и тоже по крайней нужде. Тогда им, пришлым волкам, ничего другого не оставалось как брать то, что подвернется. А теперь времени было в обрез. Людей поблизости не оказалось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку. Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство, неуклюже взбрыкивая и ревя, но волки настигали, и яки остановились — бока у них ходили ходуном — и пошли рогами на волков. Другого выхода у них не было. На какое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равновесие: солнце в небе, пустынные горы, полная тишина, отсутствие людей в равной мере принадлежали как жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать столкновения, но хищники не могли просто так повернуться и уйти, не могли забыть о терзавшем их голоде. Они неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть хотя бы одного из яков, чтобы выжить самим и дать жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие, средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неизбежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы к земле, глухо мыча и роя копытами землю. А в небе по-прежнему светило солнце, и горы, где уже начал таять снег, безмолвно обступали открытую желтую лощину, где лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез — волчата ждали ее возвращения. И она кинулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уже поздно. Акбара кинулась яку на шею. Дело решило секунды. Пока взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу, чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Ташчайнар должен был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в горло, да так, чтобы с ходу расцечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг.

Так оно и случилось. Но перед этим як все же успел сбросить

Но вот наконец приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздal лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распустил завязку и подsunул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, зажевал, облегченно вздыхая, прикрывая глаза и как бы стряхивая с себя усталость. А Базарбай расположился поудобней на коряге возле воды, достал поллитровку, любуясь, посмотрел на свет, но ничего особого не увидел, разве что заметил — день уже шел к концу, тени в горах ложились косо, до заката солнца оставался час с лишним, если не меньше. Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая знакомое отупляющее действие водки, он не спеша откупорил толстым ногтем поллитру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков. Затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Захрустел льдинками — аж в мозгу хруст отдался. Лицо Базарбая исказила безобразная гримаса, он хмыкнул, затем крикнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. Ждал того мгновенья, когда весь окружающий мир — горы, скалы — станет зыбким, поплывет как в тумане, взлетит, ждал, когда разгоряченной голове его почудятся смутные звуки и шумы, и замер, зажмурился, готовый отдаться опьянению. И в минуту ослабления услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребенок захныкал, — что же это могло быть? Где-то там, за зарослями барбариса, за завалом камней, кто-то опять затыкал совсем пощеничьи... Базарбай насторожился, еще раз машинально хлебнул из бутылки, затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер губы и встал. Еще раз прислушался, напрягая слух. И смекнул: точно, он не ошибся. Какие-то зверята подавали голоса.

То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Моюнкумской саванны, после вынужденно холодного года, вслед за пожаром в приадашских камышах то был не по сезону ранний помет — к весне у Акбары народилось четверо щенков.

А Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Не сразу отыскал он нору в расщелине. Выручил опыт — тщательно расматривая снежный наст, он обнаружил четкую цепочку следов — понятное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кустах среди завалов камней целое кладбище обглоданных, полуизгрызенных костей. Значит, звери нередко притаскивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь. Судя по количеству мослов и сочленений, оставшихся от волчьих трапез, звери жили здесь давно. Теперь отыскать ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышлениши, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе.

Знали бы сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Ташчайнаром — для волков наступили тяжкие предвесенние дни, когда вся живность отошала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в окрестностях были уже выбиты, когда в ожидании приплода козы стада ушли в труднодоступные скалы, а домашние отары по этой же причине содержались теперь только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить молоком постоянно подсаывающий выводок было не так-то легко. Акбара отошала, была на себя не похожа — головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки вообще-то исключительно выносливые звери — могут несколько дней

Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и подкидывал ее рогами — еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее, но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пастью, как осока, шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность, сказалось жестокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. Но тут ей попалась жертва не из безобидных — не сайгак и не заяц, безропотно покоряющиеся насилию. Свирепый як, хоть и истекал кровью, мог еще долго сопротивляться, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звезда — хранительница Акбары: почти в ту же минуту Ташчайнар бросился сбоку и вцепился в глотку яка, увлеченного схваткой с волчицей. Убийственный бросок, убийственная хватка были у Ташчайнара. В этот бросок он вложил всю свою силу. Як зашатался, захрипел, захлебываясь собственной кровью, и рухнул с перерезанным горлом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла битва, два других яка, оставшиеся в живых, пустились наутек, отбежав на приличное расстояние, перешли на шаг и не торопясь побрели дальше по лощине как ни в чем не бывало.

А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им некогда было ждать, пока добыча испустит дух. Некогда было разбираться, с какого конца ее поедать. Акбара рвала яку пах, помогая себе лапами и когтями, и тут же заглатывала куски еще горячего, живого мяса. Ей нужно было наглотаться как можно больше таких кусков и как можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ждали малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее. Свирепую урча, он сокрушал мощными челюстями сочленения суставов, раздирая тушу на бесформенные части, как варвар мясник.

Все шло как полагалось. Сначала звери нажрут мяса, потом кинутся в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернуться, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас, но это потом. А пока волки, давясь, глотали куски...

А в той расщелине под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата поневоле поскуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расплозались и снова собирались кучкой, и когда снаружи послышался шорох — это в логово вползал Базарбай, — они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь взопреп от напряжения. Он пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке, полушубок скинул, похвтал волчат, побросал троих одного за другим к себе за пазуху и, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот, выполз на свет. А когда выполз, зажмурился — так сверкали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Тишина стояла оглушающая. Он слышал лишь свое дыхание. Волчата за пазухой заелозили, а тот, которого он держал за шиворот, попытался высвободиться. Базарбай заторопился. Все так же тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло как по писаному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен: в прошлом году один чабан продал в зообазу целый выводок, за каждого волчонка огреб по полсотни.

Базарбай выхватил курджун с овсом из-под морды хрумкающего коня, быстро высыпал овес на землю, сунул по паре волчат в каждую сумку, перебросил курджун через седло, подвязал его седельными ремнями, чтобы не болтался, взнуздал коня и не мешкая вдел ногу в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это удача так удача! Но нужно унести ноги, пока не появились волки, — это Базарбай хорошо понимал. О недопитой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле. Но и на водку плюнул. Бог

с ней, он столько выручит за волчат, что купит не один десяток таких поллитровок. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья.

Потом Базарбай и сам будет удивляться, как это он не подумал, не поостерегся — у него ведь и оружия при себе не было — полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости... Ведь на что олениха смиренная, а и та защищает своих детенышей — кидается на врага...

Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому станет тошно, когда померещится расплата за содеянное. А в тот час он понукал гнедо-бурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья, и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной в глубине гор, откуда как бы вдогонку надвигались ранние сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбираться в предгорья, к обширному приозерью — там места открытые, куда хочешь, туда и скачи — в любую сторону, не то что в тесном ущелье...

И чем ближе Базарбай был к приозерью, к обжитым просторам, тем уверенней и даже нахальнее становился он. Ему уже хотелось побавляться удачей, и он подумывал, а не стоит ли по дороге завернуть к какому-нибудь чабану из своих собутельников, чтобы показать добычу да обмыть ее, ну хотя бы по сто грамм за каждого из четверых — ведь он в долгу не останется, как только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что впопыхах оставил у ручья недопитуя чуть не на две трети поллитровку: эх, хватить бы на ходу прямо из горла... До чего ж хотелось убажить себя! Но рассудок все-таки подсказывал, что с этим успеется, прежде надо довести волчат в целости да покормить, они хоть и живучие, а все же сосунки, только-только прозрели, вон глаза-то какие неосмысленные... Как-то им там, в курджуне, как бы не подошли. Базарбай и не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня и что один бог знает, чем все это кончится...

Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой возвращались в логово. Первой — Акбара, за ней Ташчайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться, а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яка, оставленной в лощине.

Такова жизнь — туда успевай, сюда успевай, не потому ли говорят: волка ноги кормят... Если бы только ноги.. Ведь на тушу могут позариться и другие волки — бывают такие, что им и на чужое нипочем посягнуть, и тогда без драки не обойтись, и нешуточной, кровопролитной драки. Но право есть право, и сила на стороне права...

Еще издали, еще на подступах к логову сердце Акбары почувало что-то неладное. Точно какая-то птица летела рядом с ней подобно тени, что-то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный багровый отсвет на снежных вершинах становился все темней и мрачней. И с приближением к логову она убила бег — на Ташчайнара и не оглядывалась, наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острее, она уловила в воздухе чужой запах: пахло крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным. Что это? От чего бы это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, столкнувшись у выхода с Ташчайнаром, мимоходом злобно задрала его, точно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный Ташчайнар в свою очередь ринулся в логово и нагнал волчицу уже на берегу ручья. Акбара, вынюхивая следы, вне себя бегала взад-вперед, узнавая по ним о случившемся. Кто-то здесь был, свежие следы говорили ей о совсем недавнем пребывании человека — вот куча

рассыпанного овса, отдающего конской слюной, вот куча лошадиного навоза, а вот и нечто в бутылке, дурманное, отвратительное по запаху, и волчица содрогнулась, втянув в себя запах спиртного, а вот следы человека на снегу. Следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят чабаны. Страшный враг, прибывший сюда на коне с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей! А что, если он их сожрал! И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Ташчайнара, кусала его как бешеная, затем, глухо рыча, бросилась бежать туда, куда уводили следы. Ташчайнар — за ней.

Волки безошибочно шли по следу — все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед — туда, в людскую сторону, к приозерью вели следы...

А Базарбай, миновав ущелье, ехал рысцой уже по открытой местности, по отлогим взгорьям, где простирались летние выпасы, и вот уже завиднелся вдали темнеющий край озера. Еще часок — и он дома. Солнце тем временем село на самый край земли, улеглось между горными вершинами и меркло, догорая. Студеным ветерком потянуло со стороны Иссык-Куля. «Как бы звереныши не померзли», — подумал Базарбай, но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как там они, в курджуне, живы ли. А то привезешь мертвяков — кому они нужны! Он спешил, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там, но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шархнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая.

— Стой! — заорал Базарбай на коня. — Не балуй!

Но конь, точно от огня, испуганно метнулся в сторону. И тут Базарбай и не глядя догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевшей, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежала неподалеку. Оказывается, конь давеча перепугался, когда звери с разбега выскочили на бугор. И теперь волки старались выйти ему наперерез. Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни, бывало, плевал в бороды. Поносил геологов, свалившихся как снег на голову: «Чтоб вам подавиться тем золотом!» Каялся, просил прощения у жены: «Вот тебе слово! Останусь в живых, никогда пальцем не трону!» Жалел, что позарился на волчат: «И зачем надо было трогать, зачем полез в ту дыру? Стукнул бы о камень башкой одного за другим — и делу конец, а теперь куда их, куда?» Сумка накрепко привязана седельными ремнями — на ходу не выкинешь. А тут еще стало быстро смеркаться, сумерки растеклись, заполнили безлюдные пространства — никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха.

Но больше всего сожалел Базарбай, что не было при нем ружья — уж он бы им влепил по пуле, уж он бы не промахнулся. Эка невидаль ружье, у каждого чабана оно дома есть, но кто ж его постоянно носит с собой! Эх, кабы знать! Базарбай орал что есть мочи, чтобы застрашать зверей. Вся его надежда была на коня — хорошо, что он из коннозаводских...

Гонка была не на жизнь, а на смерть...

Так они мчались по сумеречным взгорьям — всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей, о своем молились, о своем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть на одно мгновение! Если бы они не нажрались до этого бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали, разве не настигли бы уже похитителя и не разнесли бы с ходу в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить справедливость в извечно жестокой борьбе за продле-

ние рода. То ли дело в Моюнкумских степях во время облавы на сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки нажимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу в нужную сторону. Но на облаву волки выходили натошак, заранее готовясь к молниеносному броску.

Особенно трудно было бжесть Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась, мчалась что есть сил, и если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее ни кончилось. Разумеется, рядом с ней был Ташчайнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя... А она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне... только бы...

И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника, загнать в горы — и тогда он неминуемо рано или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило — вне себя от страха, конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако конем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключался просчет зверей.

И еще одно обстоятельство спасло Базарбая. Когда благодареньем судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары, это — вот уж повезло так повезло! — оказалась кошара Бостона Уркунчиева. Да-да, того самого Бостона, передовика-кулака, которого он так невзлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится, — какая разница, любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное, человеческое жилище встретилось на пути — вот в чем радость, вот в чем спасение! И он возликовал, прищпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, отары. Однако для Базарбая прошла целая вечность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может надеяться на благополучный исход, но вот уже затарахтел, как пулемет, Бостонов электродвижок, вот уже переполошились чабанские псы и с тревожным лаем кинулись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали — они на двигались все ближе и ближе, конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. «О боже Баубедин, только спаси, — взмолился Базарбай, — принесу тебе семь голов скота в жертву!»

«Спасся-таки! Спасся!» — ликовав Базарбай.

Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях, так уж устроен человек...

Но в тот момент, когда к нему подбежали чабаны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя:

— Волки, волки за мной гнались! Воды, воды дайте!

А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. На бостоновском зимнике поднялся переполох — пастухи забегали, закрывали двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме, один из них залез на крышу, дал из ружья несколько залпов. Собаки подняли громкий несмолкающий лай, но со двора не выбегали. Держались поближе к свету. Трусость псов возмутила хозяев.

— Ату его! Взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы! — науськивал кто-то псов хриплым голосом. — А ну вперед! Акташ, Жолбарс, Жайсан, Барпалан! Вперед! Ату, ату его! Эх вы, хвосты поджали, бьитесь схватиться с волками!

— Собака есть собака, — возражал ему другой голос. — Чего разорался? Верхового они могут стянуть с седла за сапог, а с волком им не совладать! Что ты хочешь! Против волка ни одна собака не пойдет. **Оставь их, пусть себе лают!**

Но не сразу, совсем не сразу вспомнил Базарбай, почему за ним гонятся волки. Только когда парень, которому было велено прохаживать Базарбаева коня, спросил вдруг: «Базарбай-байке, а что это у вас в курджуне? Вроде шевелится что-то», — тут он и спохватился.

— В курджуне? Да это же волчата! Черт бы их побрал, четыре щенка-болтюрука¹. Взял их прямо из логова в Башате. Потому волки и гнались за мной.

— Вот оно что! Вот это здорово. Вот это огреб так огреб! Прямо из логова? Хорошо еще ноги унес...

— А не подошли они в курджуне? Не задохнулись, не подавились они там при скачке?

— Скажешь тоже! Что это, урюк, что ли? Они, брат, живучие, как собаки.

— Давай глянем! Какие они из себя?

Переметную суму с волчатами сняли наконец с седла и понесли в дом Бостона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бостона, главного здесь человека, хозяина кошары, хотя самого Бостона в тот вечер не было дома: проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бостон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме.

Базарбая повели в Бостонов дом чуть ли не как героя, и ему ничего не оставалось как покориться. В конце концов, так он оказался здесь пусть ненароком но гостем.

Нельзя сказать, что прежде Базарбай не переступал порога этого дома. За многие годы, что он чабанил по соседству с Бостоном, километрах в семи отсюда, Базарбай побывал здесь раза три: первый раз, когда были поминки по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перевале Ала-Монгю, во второй опять же приезжал на похороны — полгода спустя после гибели Эрназара померла прежняя жена Бостона (и хорошей, сказывали, женой была покойная Арзыгуль), так вот, тогда приехал Базарбай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители, народу было тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков — и не счесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бостон Уркунчиев передал пастухам свой опыт; не хотелось ему ехать, но куда денешься, заставили, вот и пришлось чуть не полдня слушать лекцию, как да что делать, чтобы ягнята не дохли, а шерсти и мяса давали побольше. Одним словом, как выполнять план. Подумаешь, хитрость какая — он и без них все знает: зимой корма подавай вовремя, летом в горах пораньше вставай и попозже ложись, в общем, хорошо работай, не спускай со скота глаз. Радетелем будь. Как Бостон, да и не он один. Однако у одних лучше, у других хуже получается. Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем, работает у Бостона на базе движок — всю ночь свет, электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А почему? Сумел он выбить себе два агрегата — один выходит из строя или становится на профилактический ремонт, другой подключается. А у всех других чабанов — и у Базарбая в том числе — по одному движку круглый год. А с одним движком морока: то он работает, то нет, то привезли горючего, то не привезли, то что-то сломалось, то парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все да подастся в город — там молодежи во сто раз лучше жить и работать. Вот так и получается — по отчетам во всех чабанских бригадах электричество, а на деле ничего этого нет...

И, конечно же, кто хорош? Бостон хорош, непьющий к тому же. А кто плох? Базарбай и ему подобные, они вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали в шею, так нет же, попробуй заяви об уходе, чуть ли не милицию на тебя напустят, паспорт отберут, никаких документов не дадут, иди работай, дорогой, не уходи, нынче ни-

¹ Болтюрук — волчонок-сосунок.

кто не хочет чабанить, таких дураков мало, все хотят жить в городах. там отработал свои часы — и гуляй себе культурно, а нет, на квартире у себя отдыхай на всем готовом, топить печь не надо, свет круглые сутки, хоть днем, хоть ночью, водопровод под носом, нужник и тот рукой подать, в коридорчике... А при отаре какое уж житье? В рас- плодную без малого с полутора тысячами голов скота управляйся, ни минуты покоя ни днем, ни ночью, все полторы тысячи над душой стонут, попробуй тут не полазить по навозу, не озверей, не избеи жену, не избеи помощников, не напейся... А потом: кто плох? Базарбай и ему подобные...

А чуть что, в глаза тычут — посмотри на Бостона Ур- кунчиева, вот передовик, вот образец... Так бы и дал в морду этому передовику-куркулю! А Бостону везет, к нему и люди идут лучшие, и не уходят от него, работают как одна семья. Базарбай да и многие другие чабаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки, живут по старинке, при керосиновых лампах да ручных фонарях, а у Босто- на электрогенераторный агрегат МИ-1157 прямо как часы за коша- рой стучит, так что слышно далеко вокруг и свет от него далеко вид- но. Тем и волков отпугнули — давеча как гнались, вот-вот настигнут, а как завидели свет да заслышали стук движка, враз остановились.

Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть, волки, но по- дойти поближе боятся...

Да, везет, определенно везет Бостону — вон как у него на по- дворье все ладно, и в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем ста- новище живут. Пришлось разуться, сбросить кирзачи да портянки в прихожей и в одних носках вязаных пройти по кошмам в комнату.

Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не заме- чал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего на перевале, такая вид- ная собой баба и нестарая. А теперь она, Гулюмкан, жена Бостона и хоть и пережила горе, а, судя по виду, счастлива. Лет-то ей под сорок, а может, и того меньше, две дочери от Эрназара в интернате учатся, а она возьми да роди еще недавно Бостону, и опять же повезло чело- веку — сына ему родила, а две дочери Бостона от прежней жены те вроде замуж уже повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и неглупая, нет, совсем не глупая, знает, что они с Бостоном не тер- пят друг друга, а виду не подала, приняла его радушно, переживала, сочувствовала. Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, приса- живайся на ковер, ой, да что же за напасть такая, слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам, слава богу и духам предков — арбакам, что спасли тебя от беды, а самого нет дома: опять какое-то собрание в районе, должно быть, скоро вернется, обещали подбросить на дирек- торском «газике», садись, садись, надо же чаю выпить после такого случая, а подождешь немного, так и горячим скоро накормлю.

А Базарбай, поскольку уж попал в такой переплет, решил все- таки испытать хозяйку, насколько она искренна с незванным гостем, да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережито- го, и он набрался нахальства.

— Чай — это питье для баб, — сказал без обиняков. — Ты уж изви- ни, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бостона? Слэ- ва-то о нем куда как далеко идет!

Такая уж гнусная натура была у Базарбая: даже если бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу перемени- лась в лице Бостонова жена. Не по нутру пришлась ей прямота Ба- зарбая. А чего тут церемониться — не беки какие-нибудь, не ханы, такие же скотоводы совхозные.

— Ты уж извини, — ответила она, хмурясь. — Сам-то Бостон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч...

— Знаю, знаю, не пьет твой Бостон! — небрежно перебил ее Ба- зарбай. — Я это так, к слову. Спасибо за чай. Думал, хоть сам и не пьет, а гости бывают...

— Да нет, почему же,— засмушалась Гулюмкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем,— у его колен лежала злополучная переметная сума с волчатами.

Рыскул приподнялся было — собрался идти за водкой,— но тут в дверях появился второй Бостонов помощник — не доучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который, изрядно покуролесив по области, теперь остепенился и осел у Бостона.

— Слушай, Марат, — обратился к нему Рыскул.— У тебя где-то припрятана поллитровка. Я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед Бостоном буду я. Давай свою бутылку поскорее, обмоем добычу Базарбай.

— Обмыты! Так это я мигом! — довольно хохотнул Марат.

И вот уже после первого полстакана, прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты, а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами,— искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой:

— Так ведь они же, бедняги, оголодали! Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Что как подохнут они у тебя с голоду? За чем это?

— С чего бы им подохнуть? — оскорбился Базарбай.— Эти твари живучие. Два дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет — волка и то приручит и заставит в цирке выступать, и за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут.

Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью, заулыбались. Но женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться.

— Базарбай,— сказала Гулюмкан,— у нас тут есть ягнята, сироты-сосунки, их молоком прикармливают, а что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?

— А что! — не удержался от смеха Базарбай.— Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте попробуем!

И наступил час, вспоминая о котором каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что волчата были доверчивые и забавные, и то, что один щенок из выводка — самочка — оказался синеглазым сроду никто не слышал, чтоб у волчицы были синие глаза, такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился совсем еще маленький мальчуган, Бостонов сынишка-последыш Кенджеш. То-то радовался Кенджеш — сразу четыре зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полуторжодовалый карапуз лепетал на своем, только ему понятном языке, как разгорелись у него глазенки, как увлеченно он играл с волчатами. И четверо волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угадывая, что он для них тут самое близкое существо. Взрослые переговаривались: смотри, мол, дите чувствует детей,— старались выяснить у Гулюмкан, что говорит малыш волчатам. А Гулюмкан, счастливо улыбаясь, тискала сыночка, ласково приговаривая:

— Кучюк, кучюгом, щенок, щеночек мой! Видишь, прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они мяконькие, серенькие. Ты будешь с ними дружить, да?

Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать:

— Был один волчонок в доме, а стало пять. Хочешь быть волчком? А то давай подкину тебя, Бостонова последыша, в логово, будешь расти вместе с ними...

Все от души смеялись шуткам, пили чай. Базарбай с Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили поллитровку, закусывали салом и жареным мясом, все более оживляясь по мере выпитого. На дворе же наступила тишина — собаки перестали лаять, а самый большой пес Жайсан — рыжая лохматая громадина — вдруг появился на пороге неприкрытой двери. Пес задержался в дверях, вилял хвостом, не решаясь переступить порог. Ему бросили кусок хлеба, он подхватил кусок на лету, громко клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил для смеха одного волчонка и поднес его псу.

— А ну, Жайсан, взять его! Взять, говорю! — И поставил перед псом дрожащего тщедушного звереныша.

К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, поджал хвост, втянул голову и кинулся наутек. И только потом, уже во дворе, под окном, залаял трусливо и жалко. Все захохотали, и громче всех Базарбай:

— Зря стараешься, Марат! Нет такой собаки, чтобы от одного волчьего духа не обделалась! Ты что хочешь, чтобы ваш Жайсан был львом? Такому не бывать!

Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш расплакался — ему стало жалко волчонка, и, опасаясь за него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных проделок взрослых людей.

А Базарбай, покидав в курджун четверых злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бостоново зимовье. Рядом с Базарбаем трусили верхами Марат и Рыскул с ружьями за плечами, оба тоже подвыпили, но Марат озянул сильнее и оттого был сверх меры словоохотлив. Эти крепкие парни вызвались проводить Базарбая, чтобы хоть как-то сгладить тот досадный случай, который произошел перед самым отъездом непрошеного гостя из дома Бостона.

Уже собираясь выходить, Базарбай, довольный, что оказался в центре внимания в Бостоновом доме, передал курджун с волчатами Марату: на, мол, перекинь через седло, — а сам снял со стены ружье, висевшее рядом с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осматривал ружье, оно ему понравилось — добротное, поблескивающее вороненой сталью, радующее глаз ладной формой нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую как трофей на стене, Бостон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все.

— Послушай, Гулюмкан, — не спеша сказал Базарбай, переводя пьяный взгляд с ружья на хозяйку. Попадись ему эта Гулюмкан, мелькнула у него мысль, в укромном месте... Он привык брать женщин нахрапом, иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось, когда — нет, но он не жалел ни в том, ни в другом случае, и, сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битой-перебитой Кок Турсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан досталась ему, за то, что опостылела, и, пересилив себя, сказал: — В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка. Да что я хотел сказать? Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих...

— Ради бога, повесь на место, — строго сказала Гулюмкан. — Бостон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье.

— А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем? — мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представься ему удобный случай.

— Да ты что! Приедет Бостон и увидит, что нет ружья, зачем мне это... К тому же я и не знаю, где патроны. Бостон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает.

Базарбай мысленно обругал Бостона по-черному; костерил и себя: разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бостон, и жена его, оказывается, ничуть не лучше; чуть было не сказал ей, мол, подавись ты этим ружьем, но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку.

— Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь, с ружьями до самого дома,— заверил он, смеясь.— Времени у нас навалом, вся ночь впереди, а это ружье ты и в самом деле лучше не трожь, повесь на место. Тебе ли не знать: Бостон он и есть Бостон, он порядок любит!

Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут — успокоить Бостонова малыша: Кенд-жеш задал ревака, зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносят. Малыш вертелся, вырывался из объятий матери, требовал вернуть полюбившихся ему зверят...

А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков:

— Недавно в районе у нас был скандал на весь мир — кишки надорвешь! Не слышал, Базаке?

— Да нет, не слышал,— признался Базарбай.

— Нет, в самом деле скандал на весь мир. Клянусь!

— Давай, давай, студент! — подначил его Рыскул, понукая каб-луками коня.

— Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. Почему, говорит, у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки? А редактор — мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим каких мало — от таких слов даже заикаться начал. «М-мы об Америке н-ничего н-не п-писали! Из-звините, к-какая т-та-к-кая п-про-пропаганда?» А тот ему: «Как не писали? А это что за заголовок черным по белому — «Бостон зовет нас за собой»? — «Так это же наш передовой чабан Бостон Уркунчиев, о нем, о его работе написано». — «Это ясно, что о нем писали, но многие читают в газетах только заголовки». Ха-ха-ха! Вот это номер, а! Здорово? «Так как же быть?» — спрашивает редактор. А начальник ему: «Прикажите передовику изменить имя».

— Постой,— перебил Базарбай,— а что, в Америке тоже есть свой Бостон?

— Да нет же,— веселился Марат.— Бостон — это город в Америке, один из главных городов, разве что чуть меньше Нью-Йорка, а у нас бостон — серая шуба. Бос — серая, тон — шуба. Теперь ясно?

— Тьфу ты, черт побери! И правда! — согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит и потому нанести никакого вреда Бостону не может.— Так оно и есть. Бостон — серая шуба...

В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все — и горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников, балагурия, ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким — не распутаешь — узлом тяжкие судьбы... И вот уже все тише и невнятной доносились и их речи, и цокот копыт по камням... Остался позади привычный стук Бостонова движка, свет от него выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и преддворья.

А где-то неподалеку таились волки...

II

Гулюмкан с большим трудом уговорами и ласками удалось уложить малыша спать, сама она не ложилась — ждала мужа. Он вот-вот должен был вернуться. И когда на дворе дружно взлаяли собаки, она, накинув на плечи теплую шаль, прильнула к окну. Прорезая тьму горящими фарами, директорский «газик» развернулся возле большой кошары, где держали овцематок. Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись, хлопнул дверцей и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной навес, расспрашивал ночника Кудурмата как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидышей, не народились ли ягнята...

Растапливая плиту заранее приготовленными для этой цели дровами, чтобы встретить мужа горячей — с пылу с жару — едой и хорошим чаем, без которого Бостону жизнь была не в жизнь, Гулюмкан прислушивалась, когда зазвучат мужнины шаги на пороге, и заранее радовалась, представляя, как маленький Кенджеш заворочается в теплой постели, зачмокает губами от прикосновения холодных с морозца усов отца. Обычно Бостон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало, и сам купал его в корыте, предвзвешенно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бостон стал к старости слишком чадолюбив — прежде он не был таким, прежде он работу любил больше, чем детей, те, старшие его дети уже сами родители, у них своя жизнь. Они бывают только наездами, а последыш всегда самый сладкий, и любят его больше всего. Все это так, но кому как не ей, Гулюмкан, понятна истинная и горькая причина привязанности Бостона к малышу Кенджешу. Ведь никогда не думали они — ни он, ни она, — что доведется им стать мужем и женой и что народится у них сын: ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале и если б не умерла вслед за тем первая жена Бостона Арзыгуль, никогда бы этому не бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и знают: наедине каждый из них думает о прошлом... А малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бостон, и помощник его Эрназар погиб у него на глазах, остался там, на дне глубокой расщелины... Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано — лишь рождение может возместить смерть.

Но вот раздался шаг, и Гулюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор, разговор у них пойдет потом за чаем, тогда Бостон, начав разговор со своей любимой присказки: «Ну а теперь послушай, чего только на свете не бывает», подробно расскажет, что видел, что узнал нового, и в такие минуты, особенно когда они наедине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор между близкими людьми, — как знаковая пристань, где заранее известно, где мель, а где глубоко. Помнится, уже после поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль и они наконец решились пожениться, вот тогда и приехал Бостон с гор к ней, в ее вдовый дом на окраине приозерного поселка, и тогда они, оставив Бостонова коня на коновязи, сели в местный автобус, неловко чувствуя себя на людях впервые вместе, и поехали в районный загс, где постарались поскорее подписать нужные бумаги, и поскорее ушли оттуда, а потом, не желая больше садиться в автобус и не желая встречаться со знакомыми на улице, пошли к озеру и дальше беремол в ее вдовый дом. В сухой, безветренный осенний день яркая синь Иссык-Куля была, как всегда, чиста и безмятежна. И вот тогда на тропке у берега, заросшего лиственным леском, Бостон

увидел две лодки на причале и остановился. Лодки покачивал тихий прибой, под ними было видно песчаное дно.

«Смотри, кругом вода, горы, земля — это жизнь. А эта пара лодок, как мы с тобой. Куда нас понесет волна — будет видно. Что с нами было и что мы пережили — пока мы живы, это никуда от нас не денется. И давай будем всегда вместе. Я, можно сказать, старик. Зимой стукнет сорок девять. А у тебя дети малые еще, надо их учить да определить на место... Пошли, будем собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака, только на этот раз со мной... Невмоготу мне одному жить...»

Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и он долго успокаивал ее... И потом, когда они оставались наедине и вели разговоры про жизнь, Гулюмкан часто вспоминала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей — разговор с близким человеком все равно как знакомая пристань. На этот раз, однако, от нее не ускользнуло, что муж озабочен больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей Бостон, рослый, на голову выше ее, комкая полотенец, вытирал нарочито медленно большие огрубевшие руки. Хмур был взгляд его прищуренных зеленоватых глаз, загорелое, обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бостон первым делом подошел к малышу, опустился на колени у смастеренной им самим деревянной кровати, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался неволью, когда Кенджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне.

— Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал, — проронил он, садясь за еду. — Нехорошее это дело...

Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспыхнула от обиды:

— А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой. Волчат, мол, показать хотим. И Кенджеш тут как тут — ему-то забава... Ну, подала я им чай...

— Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и ушел. Только сдается мне, нехорошее это дело...

— А что тут плохого? — не понимая, к чему он ведет, сказала Гулюмкан. — Так ведь ты и сам стрелял волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу, — кивнула она на волчью шкуру на стене.

— Висит-то она висит, — ответил Бостон, протягивая жене опорожненную пиалу. — Правда твоя, случилось и мне подстрелить волка, раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логова волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это же он нам пакость подстроил. Волки живут здесь — деваться им некуда, и теперь, понимаешь, они в страшной злобе...

Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завыдохала по-бабьи, поправила съехавшую на плечо косу.

— Вот беда-то! И что его принесло, негугевого, в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их — ведь любая тварь тоже детенышей своих любит, кто этого не знает. И как я сразу не сообразила.

— Я вот что думаю, — озабоченно продолжал Бостон. — Какие же это волки? Не те ли самые? — Бостон помолчал и добавил: — По словам Кудурмата выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья.

— Ну и что?

— А то, что как бы это не оказались те самые, пришлые волки — Ташчайнар и Акбара. Есть такая пара.

— Ой, да оставь ты свои шутки! — залилась смехом Гулюмкан. — Неужто у волков имена есть, как у людей? Скажешь тоже!

— Какие шутки! Не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось видеть их. Лютая, сильная пара, в капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей, алкаш Базарбай на их логово наткнулся, выкосил под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть! Самец — Ташчайнар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара — анабаша², умная зверюга, ой какая умная! И оттого особенно опасная.

— Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я тебе, ребенок?— недоверчиво усмехнулась Гулюмкан.— Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь... Ну как такое может быть?

Бостон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену.

— Да ладно,— сказал он, помолчав,— выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. Давай-ка стели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться, сама знаешь, до большого окота пара дней осталась. А иные матки могут и в ночь или к утру разродиться, особенно те, у которых двойня, а то и тройня!

Уже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бостон, засыпая, а засыпал он быстро, рассказал немного о собрании в районе, на котором уже не в первый раз обсуждали, почему современная молодежь не идет в овцеводство и что тут делать да как быть, и вот тут-то и послышался на дворе топот конских копыт. Гулюмкан вскочила с постели, подбежала к окну в исподнем, лишь шаль на плечи накинула, и увидела, что у большой кошары спешили двое всадников с ружьями.

— Это наши вернулись, Рыскул с Маратом,— сказала она.— Ездили Базарбая провожать.

— Вот дурни! — пробормотал Бостон и с тем заснул.

Гулюмкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельной — вечно он раскрывается во сне, сбрасывает с себя одежду. Беда, не ребенок — вечно не дает спать, особенно когда спать хочется. А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень суматошный, дурной какой-то. И всему помеха Базарбай. Свалился как снег на голову. А Бостону это нож острый. Такой он человек, Бостон, не любит шума и суеты, не любит таких хамов, как Базарбай, пусть тот ничего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не друг, завидует, что у Бостона дела хороши... А сколько на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завтра как с раннего утра впряжется, так и до поздней ночи, и везде сам, и везде хозяйский глаз нужен...

Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алюминиевую тьму ночи, луна ярко светила над горбатыми горами, и звезды — все до единой — мерцали в полную силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут, но в тот поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубокой тиши предгорий раздавался лишь привычный стук движка, стоявшего на отшибе.

Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, возможно, всего лишь задремала, но тут сквозь сон среди поднявшегося вдруг собачьего лая послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу, надсадный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стало не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач — в нем звучали нестихающая боль, стон и вопль страдающего зверя.

— Это она, Акбара! — охрипшим со сна голосом проговорил Бостон, резко приподнимая голову с подушки.

² А н а б а ш а — matka-предводительница.

— Какая Акбара? — Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь.
— Волчица! — сказал Бостон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил: — И он, Ташчайнар, тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне.

Они замерли, затаив дыхание.

Оу-оу-у-у-уа-а-а-а! — и снова дикие, полные тоски рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи.

— Что это она, о чем воет? — испуганно прошептала Гулюмкан.

— Как что? Горюет зверь!

Они помолчали.

— Эка беда! — Бостон досадливо выругался. — Ты лежи тут да посмотри, чтобы ребенок не проснулся. Да ты не бойся, не маленькая! Ну воет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается.

С этими словами он наспех оделся, не гася света, вышел обуваться, потом вернулся в комнату, погасил свет и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слышала, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то ругательства, как окликал собаку: «Жайсан, Жайсан! Поди сюда!» — и как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы, ей басовито-утробно подвывал волк. В их вое kloкочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяние и злоба, и вновь их сменяла мольба...

Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. Гулюмкан зажала уши, потом пошла, накинула крючок на двери, словно волки могли ворваться в дом, и, дрожа и кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не зная, что и делать, страшась, что волки снова завоюют и разбудят малыша. Больше всего она боялась, что Кенджеш проснется и перепугается.

А волки все выли, и чудилось, что они кружат где-то около, переходят с места на место, бродят окрест. В ответ им злобно и визгливо лаяли собаки, но покинуть пределы двора не смели. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бостон и ночник Кудурмат палят для остратки.

После этого все стихло. Смолкли собаки. Смолкли и волки. «Ну слава богу, а то прямо напасть какая-то!» — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кенджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бостон.

— Сон перебили, чтоб им всем неладно было, — сердито бурчал он, должно быть имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. — Ну и скотина этот Базарбай, ну и скотина! — негодовал он, укладываясь снова в постель.

Гулюмкан не стала тревожить мужа расспросами, и так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром спозаранку ему надо быть на скотном дворе — он не из тех чабанов, которые могут позволить себе встать попозже.

У Гулюмкан отлегло от души, когда она увидела, как муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малыша, шепча ему ласковые слова. Любил Бостон своего Кенджеша, потому и дал ему имя — Кенджебек, то есть младший бек, младший князь в роду. Во все времена пастухи мечтали выйти в князья, но в том и была ирония судьбы, что во все времена пастухи оставались пастухами. И Бостон был в этом смысле не исключение.

Они снова заснули, в этот раз с малышом посередине, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя. И опять залаяли во дворе растревоженные собаки.

— Да что же это такое! Что это за жизнь! — в сердцах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих словах: Бостон молча встал

и начал одеваться впотьмах.— Не уходи,— попросила она.— Пусть их воют. Я боюсь. Не надо, не уходи!

Бостон не стал перечить жене. И так лежали они в темном доме темной ночью в горах, невольно прислушиваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, донимая людей горестным, злобным воем.

— Всю душу вымотали, и чего только им надо? — не выдержала Гулюмкан.

— Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют,— ответил Бостон.

— Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли.

— А откуда им об этом знать? — ответил Бостон.— Они звери, они знают одно: их сюда привел след и здесь для них все — конец, свет клином сошелся. Поди попробуй объясни им. Жаль, что меня не было тогда дома. Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам...

И в подтверждение его слов над кошарой разносился вой то заунывный и тягостный, то яростный и злобный — это волки, ослепленные горем, кружа, блуждали во тьме. Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она голосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрназар,— ее охватила невыносимая тоска, и ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бостону, о чем думала и что чувствовала она в эти минуты.

И так лежали они, не смыкая глаз, лишь малыш Кенджеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало.

Над горами забрезжил ранний рассвет. Уходила, растворяясь, тьма в небесах, отслужив ночную службу, меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближние горы, и земля становилась землей...

В этот час волки, Акбара и Ташчайнар, уходили в горы, в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись во мгле. Волки понуро трусили — нелегко им далась утрата детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. Отсюда им было бы по пути вернуться в ту лошину, где оставалась большая часть туши яка, убитого накануне. Обычно они не преминули бы вновь насытиться до отвала свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала возвратиться к законной добыче, а Ташчайнар не посмел сделать это без нее, анабаши.

На восходе солнца уже вблизи логова Акбара стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообман и самообольщение передалась и Ташчайнару, и теперь уже они оба неслись по ущелью — их гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок.

И все повторилось — юркнув в лазы среди зарослей, Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убедилась, что их, ее детенышей-сосунков, нет, и, не желая смириться, выскочила из норы, и, ошалев от горя, снова задрала Ташчайнара, неловко столкнувшись с ней у входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаева пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно — особенно прислоненная к камню початая бутылка водки. Резкий и едкий дух вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатались градом мутные слезы.

И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы...

III

Утром другого дня, часов примерно около десяти, Базарбай Нойгутов собрался седлать лошадь, чтобы навеститься в райцентр, но тут заметил направляющегося к ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на Таманском зимовье? Всадник в желтой дубленой шубе нараспашку и лисьей шапке ехал дорожной полурысью с западной стороны, по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, взглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался — это был сам Бостон Уркунчиев верхом на Донкулюке. Неожиданное появление Бостона неприятно удивило Базарбая, настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дожидаться своего соседа-недруга. А чтобы Бостон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бостон достиг его врасплох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов, занятых поутру делами, — все ли в порядке. Конечно, на зимовье у Бостона порядка побольше, Бостон на работе зверь зверем, но на то он и передовик (злые языки поговаривали — в те славные годы быть бы ему сосланным как кулаку в Сибирь), а Базарбай что — обычный, рядовой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по горам да по степям, они и пасут те миллионные стада, копыта которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню. А потом ведь с каждого свой спрос. Бостон — одно дело, он — другое. Пока Бостон приближался, в голове замечались мысли. «И чего это наш кулак вдруг припожаловал с утра пораньше? Никогда такого не бывало! — недоумевал Базарбай. — К чему бы это? С какой стати?» Решил было пригласить Бостона в дом, раз такое дело но. представив себе свое жилище, запущенный бригадный дом и прежде всего свою жену, несчастную, злобную Кок Турсун (разве ее можно сравнить с Гулюмкан!), отказался от такой мысли.

Приближаясь к Таманскому зимовью, Бостон придержал на краю двора коня, огляделся по сторонам и, заметив подле навеса самого хозяина, направился к нему. Они сдержанно поздоровались — Бостон так и не слез с седла, Базарбай продолжал заниматься своим делом. Впрочем, ни один не увидел в том для себя обиды.

— Хорошо, что я тебя застал, — сказал Бостон, приглаживая ладонью усы.

— Как видишь, я на месте. А что такое, если не секрет?

— Какой тут секрет, дело есть.

— Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не приедет, — надменно проронил Базарбай. — Верно я говорю?

— Верно.

— Тогда слезай с коня, если по делу прибыл.

Бостон молча спешил, привязал Донкулюка к коновязи. Как всегда, и на этот раз не забыл — ослабил подпругу, чтобы конь отдохнул от ремней, стесняющих грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг, как бы оценивая, что творится во дворе.

— Что стоишь? Что высматриваешь? — с плохо скрываемым раздражением окликнул его Базарбай. — Садись вот на колоду, — предложил он, а сам пристроился на тракторной крышке, валявшейся под ногами.

Они посмотрели друг на друга все с таким же глухим неодобрением. Все в Бостоне не нравилось Базарбаю — и что шуба на нем добрая, обшитая по краям черной мерлушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и что сам он здоровый и глаза у него ясные, и что лицо цвета темной меди, а ведь Бостон его, Базарбая, лет на пять старше, не нравилось и то, что вчера Бостон наверняка лежал в постели с Гулюмкан, хотя какое, казалось бы, ему дело до этого.

— Так выкладывай, слушаю тебя, — кивнул Базарбай.

— Понимаешь, я по какому делу, — начал Бостон, — видишь, вон и курджун прихватил, подвязал к седлу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место.

— На какое место?

— Подложить в логово.

— Вон оно что! — ехидно скривился Базарбай. — А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра. Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверно, забываешь, Бостон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты. И ты мне не указ.

— При чем тут указ — не указ! Ты что, не можешь спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Базарбай.

— А мне-то что! Пусть их не забудут, мне-то какое дело до этого, да и какое тебе дело?

— А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь, волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру.

Бостон явился к нему просителем. И от этого подмывало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бостон пришел к нему кланяться — такое и во сне не привидится. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль: хорошо, что не было им ночью покоя, хорошо, что не до ласк Гулюмкан было Бостону. Всегда бы так! И он сказал, искоса метнув на Бостона взгляд:

— Не морочь мне голову, Бостон! Тоже нашел дурака! Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его чуть не с поклонами. Много ты о себе понимаешь! И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось, мне от этого ни жарко, ни холодно.

— Подумай, Базарбай, не отказывайся с ходу.

— А чего тут думать?

— Напрасно ты так, — еле сдерживаясь, сказал Бостон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь ему оставалось прибегнуть к последнему средству. — В таком случае, — сказал он, все еще пытаясь не терять самообладания, — давай сторгуемся по-честному — ты продаешь, я покупаю! Тебе все равно продавать этих волчат, так продай их мне. Называй свою цену — и по рукам!

— Не продам! — Базарбай даже привскочил. — Тебе ни за какие деньги не продам! Подумаешь, нашелся — продай! У тебя деньги, а у меня нет! Да плевал я на то, что у тебя деньги. Я их пропью, волчат, но тебе не продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты! Слушай, садись-ка ты поскорей на коня и уезжай подобиру-поздорову!

— Не говори глупости, Базарбай. Давай поговорим как мужик с мужиком. Какая тебе разница, кому продать волчат?

— А такая! Не тебе меня учить. И без тебя ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою, что на своем партийном собрании, где ты все выступаешь, я, мол, всем передовикам передовик, всех уму-разуму учишь, так вот я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце всходит и куда заходит. Такое устрою, что век не забудешь!

— Ну и ну! — искренне удивился Бостон, невольно отгораживаясь от Базарбая рукой, — ты постой меня пугать, объясни, за что ты так взъелся?

— За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь. Ясно! Один ты умный! Начальство требует уничтожить повсюду хищников, а ты решил волков миловать, решил размножить — так выходит? Подумай сам кулацкой своей головой! Я целый выводок извел, стало быть, большую пользу государству принес, а ты хочешь подложить

их в логово. Пусть растут, пусть плодятся — так, что ли? Да еще меня подкупить хочешь!

— Не тебя подкупить я хочу — глаза б мои на тебя не глядели, — а купить волчат. Только напрасно ты меня страшаяшь чуть ли не судом. Ты вначале подумай, пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после того есть! Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой! И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам.

— А кто это — уж не ты ли?

— А хотя бы и я! А теперь попробуй найди этих волков — ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, теперь волка и волчицу и не выследить и не убить. Теперь они будут резать по округе всю живность, весь скот, в любой час мстить будут человеку — попробуй справишься с ними. Ты об этом подумал?

— Рассказывай, рассказывай, ишь выискался адвокат волчий. Пойди докажи — кто тебе поверит? Рассказываешь о волках как о людях, привык вкручивать мозги. Да я тебя вижу насквозь! Я тебе другое скажу. Если ты приперся сюда на меня давить... — Базарбай, не договорив, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бостону: ни дать ни взять крутолобый бык, — и они сошлись вплотную, лицом к лицу, оба сопели, их душила ненависть.

— Ну, что еще ты хочешь мне сказать? — охрипшим от напряжения голосом сказал Бостон. — А то некогда мне!

— Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься — без тебя там, пастуха, не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок, тебе вот и нейдет, вот ночи и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача!

— Тьфу ты! — не стерпел Бостон. — И я еще разговариваю с таким гадом! Да сам я дурак! Знал бы, не приехал! Кончай разговор! Все! Теперь если и отдашь волчат — не возьму. Иди, делай свое дело!

Бостон, раздосадованный не на шутку, подошел к коновязи, резко выдернул чумбур, подтянул рывком подпругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и с маху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал, как его окликнула жена Базарбая. Бедная женщина самую малость опоздала. Выйдя из дому, она заметила, что муж ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками. «С кем это он? — подумала она. — Да никак сам Бостон пожаловал, впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?» Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним. Однако добежать не успела — Бостон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он хлестанул коня и унесся прочь, полы шубы развевались, как крылья.

— Бостон! Бостон! Пстой! Послушай меня! — крикнула Кок Турсун, но Бостон не обернулся — кто знает, то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться.

— Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор? — подступилась Кок Турсун к Базарбаю.

— Не твое дело! И не ори, чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе?

— Да ведь раз в сто лет приехал к тебе, а ты?! И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не человек!

Слова жены лишь распалили Базарбая, он взвился, вскочил на колоду и заорал вслед Бостону:

— Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык, чтобы все голову перед тобой гнули! Мать твою...

— Перестань! Прекрати!— Кок Турсун отважно кинулась к мужу, стащила его с колоды.— Лучше меня избежь, зачем позоришь человека? За что?

— Отойди, зараза! — оттолкнул ее Базарбай.— Какое твое дело? Он, видишь ли, решил, что Базарбай будет лебезить перед ним. На, мол, возьми, ради бога, волчат, пусть будет по-твоему! Не на того напал!

— Так это ты из-за волчат? — подивилась Кок Турсун.— Было бы из-за чего! Прямо конец света! Конец света! Срам-то какой...

IV

В тот день волки снялись с места. И не просто снялись, а покинули логово, не вернулись на ночь и стали бродить на стороне — то уныло отлеживались где придется, то вновь рыскали по округе, особенно не скрывались, вели себя нагло, точно перестали остерегаться людей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в самых неожиданных местах. И всегда волчица с низко пригнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безумием, а волк неизменно следовал за ней. Впечатление было такое, будто эта пара ищет свою погибель — настолько очевидно они пренебрегали опасностями. Несколько раз, вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили вблизи жилищ и кошар. Псы поднимали злобный лай, бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот кинутся в атаку, но волки упорно не обращали на них внимания и, даже когда им вслед стреляли, не убыстряя шага, продолжали свой путь, словно не слышали выстрелов. Одержимость этих странных волков стала притчей во языцех. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и Ташчайнар нарушили волчье табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь бела дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке. Заклинило руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там, орудуя ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков, ступающих по таявшему снегу, — они шли к нему. Больше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он потом рассказывал, оцепеневшим взглядом они приближались к нему, причем волчица была чуть ниже в холке и синеглазая. Глаза у нее были влажные и пристальные. Хорошо парень не растерялся, успел заскочить в кабину и прихлопнуть дверцу. Хорошо мотор завелся от стартера, а то все приходилось заводиться сплеча, от рукоятки. А тут прямо-таки повезло. Трактор затарахтел, и волки отпрянули, но уйти не ушли, а все норовили приблизиться то с одной, то с другой стороны.

В другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок. И тоже дело было днем. Он отправился верхом на ослике за топливом, отъехал недалеко от дома — ему надо было привезти хворосту на растопку. Пока он резал серпом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выскочили два волка. Ослик даже не успел подать голоса. Нападение произошло мгновенно, молчком и кроваво. Мальчик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кошары, упал и стал кричать не своим голосом. Когда люди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волки неспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы не заставили их убыстрить шаг...

А чуть погодя волки устроили настоящую бойню среди суягных маток, выгнанных попасться неподалеку от кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спихватились только тогда, когда оставшиеся в живых животные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суягных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их убили зверски, перерезав горло, убили бессмысленно — не для насыщения, а ради умерщвления.

И пошел счет злодеяниям Акбары и Ташчайнара. И пошла о них

страшная слава. Но люди видели лишь внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки, подлинных причин мести — не ведали о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам...

Базарбай гулял, куражился — пропивал дуриком доставшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый сезон, зато водки было всюду навалом. И везде Базарбай, напившись так, что даже лысина багровела, вел один разговор — о том, как он здорово отшил этого возмнившего о себе и возгордившегося Бостона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке как классового врага, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход — святое дело! А что! В двадцатые, тридцатые годы любой милиционер мог пристрелить кулака ли, богатея ли прямо у него на дворе. Об этом книги написаны, и по радио читали, как один кулак прижимал, обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход среди бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал Бостону от ворот поворот, как он его костерил да материл, когда тот появился к нему на Таман. Базарбаевы собутельники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья домотдохчу³, готали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Эти разговоры доходили и до ушей Бостона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза.

Накануне всю ночь проворочался Бостон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню, и опять, дрожа от страха, прижималась Гулюмкан к мужу, а потом не выдержала, принесла снова спящего Кенджеша в постель и поглаживала его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилось от этого Бостону, хоть он и понимал, что женщине простительно бояться темноты и непривычных звуков.

Несколько раз порывался Бостон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпустила, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным, чутким сном, но Бостон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дальше он жил на белом свете, тем трудней и сложней становилось жить, и не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось или думалось невнятно, где-то в глубине души, теперь возникало в мыслях с настоящей необходимостью ответить себе, что есть что.

Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая: отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился, потом умерла мать, старшие братья и сестры жили сами по себе, иных уже и не было в живых, и он всем был обязан только себе, только своему труду, он, как теперь понимал, шел к некоей поставленной самому себе цели упорно, неуклонно изо дня в день, работал не покладая рук и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни. Так же истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бостон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза,

³ Д о м о т д у х ч у — сезонные рабочие домов отдыха.

называли жмотом, кулаком, сожалели, что Бостон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бостон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне, иначе и не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться, и с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений...

v

С Эрназаром, покойным мужем Гулюмкан, до того трагического случая они проработали вместе три года. Хороший был работник, ничего не скажешь, и человек надежный — именно такой нужен был Бостону в его бригаде. Эрназар сам пришел к нему, и с того и началась их общая работа. Как-то осенью приехал он к Бостону в Бешкунгей, где стояла тогда отара перед зимой. Поговорить, сказал, приехал. За чаем как раз и поговорили. Надоело, сетовал Эрназар, работать с кем попало; как ни старайся, а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном старании. Вот годы идут, две дочери подрастают, смотришь, замуж скоро выдавать, время-то быстро катится, и сколько ни работаю, а сам весь в долгах, дом построил, кто не знает, во что это обходится, а у тебя, Боске, так называл он его уважительно, не скрою, можно и поработать и заработать. За шерсть, за приплод, за привесы всегда у тебя, Боске, премиальные идут, и немалые. Вот и надумал просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором, пусть перебросит меня к тебе первым чабаном, твоей правой рукой. Не подведу, сам понимаешь, иначе не стал бы этот разговор заводить...

Бостон знал Эрназара и до этого, как-никак в одном совхозе жили, причем Гулюмкан приходилась отдаленной родственницей его жене Арзыгуль. Стало быть, свои люди. Но главное, Бостон сразу поверил в Эрназара и потом никогда не пожалел об этом.

Вот с этого все и началось, с этой немудреной житейской истории. Сработаться им было несложно, потому что Эрназар, как и сам Бостон, был прирожденный хозяин, с точки зрения других — дурак каких мало: к совхозному скоту относился как к своему, будто он лично ему принадлежал. Больной, что ли? А отсюда вытекало и все остальное — и трудился как на себя, и заботился о хозяйстве как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре Эрназара. Он был и наделен им от природы, и развил его в процессе жизни, качество это вселенского порядка, им, этим качеством, должны быть наделены все люди, только одни его развивают в себе, это качество, а другие нет. Ведь если подумать, сколько их, лодырей, везде и повсюду — и взрослых, и юных, и мужчин, и женщин. Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени. Но Бостон и Эрназар были истинными трудягами и потому родственными душами. Оттого и работалось им дружно и согласно, и понимали они друг друга с полуслова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта черта и сыграла свою роковую роль в их жизни...

Впрочем, так это или не так, кто знает... Дело в том, что еще задолго до появления бригадных и семейных производственных подрядов Бостон Уркунчиев, вероятно, в силу какой-то своей интуиции настаивал при каждом удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой, закреплена была бы земля в постоянное пользование. Простая цель эта, правда, бесхитростно высказанная, но с точки зрения иных ортодоксов вызывающая, сводилась к тому, что пусть, мол, у меня будет своя пастбищная территория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои кошары и за них я сам буду в ответе, а не завхоз-

комендант, у которого голова не болит, если крыша течет, пусть у меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня с отарой куда попало, и пусть все знают, что те выпасы закреплены за мной, Бостоном, а не за кем другим, и чтобы всеам этим распоряжался я сам как хозяин, как работник, и тогда я сделаю во сто раз больше и дам гораздо больше продукции сверх плана, нежели на обезличенной земле, где я работаю все равно как батрак-джалдама⁴, который следующей осенью перейдет неизвестно куда.

Нет, не проходила эта Бостонова идея. Вначале все соглашались, да, это, конечно, правильно, разумно, за всеми бы так закрепить участки, пусть люди чувствуют себя хозяевами и чтобы дети, семья знали об этом и вместе трудились на своей земле, но стоило кому-нибудь из бдительных местных политэкономистов засомневаться: а не есть ли это посягательство на священные принципы социализма?— как все немедленно шли на попятный и начинали говорить обратное, доказывали то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ереси. И лишь Бостон Уркунчиев — невежественный паствух — упрямо продолжал твердить свое почти на каждом совхозном или районном собрании. Его слушали, восхищались и посмеивались: а что, мол, ему, Бостону, что думает, то и говорит, терять ему нечего, с работы его не снимут, карьеру не поломают. Счастливцев! И каждый раз ему давали отповедь с теоретических позиций — особенно усердствовал в этом деле парторг совхоза Кочкорбаев, типичный грамотей с дипломом областной партшколы. С этим Кочкорбаевым отношения у Бостона были почти анекдотичные. Столько лет тот был парторгом совхоза, но Бостону так и не удалось разобраться — то ли Кочкорбаев прикидывался наивным буквоедом (наверное, это давало ему какие-то преимущества), то ли и в самом деле был им. С виду эдакий краснощекий скопец — гладенький, как яичко, всегда при галстуке, всегда с какой-то папкой, всегда озабоченный — дела-дела,— быстро ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бостону думалось: может быть, он и во сне говорит как по писаному.

— Товарищ Уркунчиев,— упрекал Бостона с трибуны парторг Кочкорбаев,— вам давно пора понять, что земля у нас общенародное достояние. Так записано в конституции. Земля в нашей стране принадлежит народу, только народу и никому другому. А вы требуете себе, можно сказать, чуть ли не в частную собственность зимние и летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь. Этого мы допустить не можем — мы не имеем права исказить принципы социализма. Вы поняли, куда вы клоните и куда хотите нас завести?

— Никуда я не хочу никого заводить,— не сдавался Бостон.— Если хозяин не я, а народ, пусть народ идет и работает в моей кошаре, а я посмотрю, что из этого выйдет. Если я не хозяин своему делу, кто-то в конце концов должен же быть хозяином?

— Народ, товарищ Уркунчиев, еще раз повторяю — советский народ, государство.

— Народ? А я кто, по-вашему? Что-то я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты, парторг, молодой, ученый, только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять?

— Я, товарищ Уркунчиев, не пойду у вас на поводу, потому что вы разводите кулацкую демагогию, но запомните — ваше время прошло, и мы никому не позволим посягать на основы социализма.

— Ну, смотрите, вам, начальству, виднее,— огрызнулся Бостон,— только я все равно на своем стою, работать-то мне, а не кому другому. Чуть что — вы мне рот затыкаете: народ, народ! Народ — хозяин! Ну, хорошо. Пусть тогда народ и рассудит: скота становится из года в год все больше и больше, сорок тысяч голов только мелкого скота в совхозе — такое прежде никому и не снилось, земли свобод-

⁴ Д ж а л д а м а — арендатор.

ной все меньше, а планы растут. Вот смотрите сами: раньше я настригал шерсти по три килограмма семьсот грамм с головы, а лет двадцать тому назад начинал — все знают — с двух килограммов, то есть за двадцать лет с большим трудом дал прибавку в кило шерсти. А теперь за один год план повысили на полкилограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать должен? А не выполню план, бригада ничего не получит. А у них семьи. Зачем тогда людям работать, круглый год ходить за овцами? А как можно выполнить такой план, когда каждый чабан только и кружит, как коршун, чтобы перехватить у другого выпас получше, потому что земля общая, никто ей не хозяин. И сколько же драк чабанских было из-за выпасов, а ты, парторг, сам ни хрена не делаешь и директору руки вяжешь! Что я, не вижу, что ли?

— Что я делаю или не делаю — об этом судить райкому. Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев!

И так всякий раз разговор уходил в песок...

А тут опять же судьба привела в чабанскую бригаду Эрназара, и у Бостона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их, Арзыгуль и Гулюмкан, посмеивались, бывало, над ними: два сапога пара подобрались дружки — ни сна, ни отдыха, им бы только работать. Вот тогда и родился у них замысел погнать на лето скот за перевал Ала-Монгю. Идея эта принадлежала Эрназару. Что, говорит, перебиваться все лето по предгорьям, за каждую травинку с соседями за грудки хвататься, не лучше ли двинуть на лето за перевал, на Кичибельский выпас. Старики говорят, что в прежние времена баи-скотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню «Кичибель». Они знали, что хоть Кичибельское джайляу и не очень большое, зато травы там, сказывают, былинные. За пять дней скот набирает вес, как за целый месяц на откорме.

Бостон и прежде подумывал об этом, но с Кичибелем было много неясностей. Колхозные животноводы еще до войны ходили на лето в Кичибель через единственно возможный перевалочный путь — через ледяной Ала-Монгю. В войну, когда в аилах остались лишь старики да дети, уже никто не отваживался на такой поход. А потом бедствующие колхозы объединились в один большой совхоз с нелепым названием, состоящим из шести слов какого-то очередного ...летия, который местные переименовали в «Берик» по названию реки Берик-суу, и в той суете объединений и превращений забыли постепенно о том, что летом целых два месяца, а то и больше можно выгуливать скот за заснеженным перевалом великого Ала-Монгю. А может быть, никому уже и не хотелось преодолевать такую высоту: ведь чтобы перегонять скот через такой трудный горный путь, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как можно лучше содержать своих животных. Не оттого ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга: «Мал жан аманбы?» — то есть в здравии ли скот и души. В первую очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь...

Загоревшись этой стародавней идеей, Бостон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кичибельские варианты: даже по самым минимальным подсчетам, учитывая, что животные, преодолевая перевал в ту и другую сторону, сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило большую выгоду — ведь прямых затрат, если не считать провоза соли-лизунца, кроме оплаты труда, практически никаких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые расчеты.

Бостон решил прежде всего обратиться к управляющему отделением, затем к директору совхоза, а к парторгу обращаться не стал. Не любил он парторга, не раз убеждался — пустослов, знай предостерегает: этого нельзя, того нельзя, ему бы только на собраниях выступать, пересказывать, что в газете написано, да щеголять в гал-

студе. А директору, голове совхоза, Бостон рассказал о замысле: так, мол, и так, Ибраим Чотбаевич, собираемся с Эрназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Ала-Монгю. Вначале, мол, пойдём на пару разведывать путь, глянем, какие места на Кичибеле и какие травы, а потом, по возвращении, двинем туда гуртом на все лето. И если получится все, как желательнее, пусть тот выпас Кичибельский закрепят за ним, за Бостоном, ну а если кто из чабанов пожелает пробиваться вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хватит, главное, чтобы он, Бостон, знал, какие выпасы ему выделяют и на что он может рассчитывать в течение сезона. Вот, мол, с этим и пришел к вам, через два дня решили мы с Эрназаром двинуться на перевал Ала-Монгю, а дела пока женам и помощникам перепоручим.

— Кстати, Боске, а как жены смотрят на вашу затею? — поинтересовался директор. — Ведь дело это нештучное.

— Вроде с пониманием. К чему бога гневить, моя Арзыгуль с головой баба, да и Гулюмкан, жена Эрназара, та хоть и помоложе, но, сдается, совсем не глупая. И между собой они, гляжу я, здорово поладили. Вот еще чему я рад. А то хуже нет, когда бабы грызутся. Тогда жизнь не в жизнь... Бывали прежде случаи...

И еще кое о чем переговорили они с директором. Оказалось, что осенью на выставку в Москву с трудно произносимым названием ВДНХа или ВДНХы намечалась поездка передовиков района и будто бы Бостон значился в списке чуть не первым.

— А нельзя ли, Ибраим Чотбаевич, мне с женой поехать? Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать, — признался Бостон.

— Я тебя понимаю, Боске, — улыбнулся директор, — поживем — увидим, как говорится. Почему бы нет? Надо только согласие парторга получить. Я поговорю с ним насчет этого.

— С парторгом? — призадумался Бостон.

— Да ты не сомневайся, Боске. Что он, из-за тебя будет придирается к твоей жене, что ли? Не по-мужски ведь.

— Да не в этом дело. Подумаешь, поедем — не поедем. Велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой, директор. Скажи, тебе очень нужен такой парторг в хозяйстве? Никак не можешь обойтись без него?

— А что?

— Ну, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги четыре колеса — и все на месте, а если взять и приделать пятое колесо, оно и само не катится, и другим не дает. Так нужно это колесо или нет?

— Видишь ли... — Директор, рослый, крупный мужчина с раскосыми глазами на широком грубоватом лице, посерьезнел, стал перекладывать бумаги на столе, прикрыл глаза усталыми веками. «Недосыпает, все крутится», — подумал Бостон. — Честно говоря, толковый парторг нужен, — сказал он после паузы.

— А этот?

Директор коротко глянул ему в лицо.

— Зачем нам с тобой это обсуждать? Раз его райком прислал, что тут поделаешь.

— Райком. Вот видишь, — вырвалось у Бостона. — Мне иной раз сдается будто он все прикидывается, что ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все время страшать людей точно я социализм хочю подорвать? Ведь это же неправда. Ведь я если чего и требую, так для дела. Землю эту я не продам, не отдам кому-то, она как была совхозная так и останется. И все равно я, пока живу, пока работаю, буду жить своим умом.

— Да что ты мне все толкуешь, Боске. Нельзя делать того, что ты предлагаешь.

— А почему нельзя?

— Потому что нельзя.

— Разве это ответ?

— Что я еще могу тебе ответить?

— Я тебя понимаю, Ибраим Чотбаевич. Ты однажды погорел, хотел как лучше, а тебе дали по шее, понизили — перевели из райкома в совхоз.

— Правильно, и больше не хочу, чтобы мне давали по шее: ученый уже.

— Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе. Я не против, о себе надо думать, только думать надо по-умному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все наоборот.

— Тебе хорошо рассуждать,— усмехнулся директор.

— Всем так кажется. А мне надоело жить как в гостях. Из гостя какой работник? Сам понимаешь. Ну день-два поначалу повкальвает, а потом надоест... А у нас что получается: работаешь, работаешь, а Кочкорбаев тебя все по носу щелкает — ты гость, ты не хозяин.

— Вот что, Боске, давай договоримся так: ты на меня не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным...

С тем и расстались...

Через три дня на рассвете они с Эрназаром двинулись в Кичибель. Все еще спали, когда они сели на коней. Бостон ехал на кауrom мерине, Донкулюк его — в ту пору двухлетка — еще был молод, а в горы лучше отправляться на тихоходной лошади, ведь на перевал не поскачешь галопом. У Эрназара тоже был под седлом добрый конь. Лошади к тому времени года были уже в теле, шли быстро. Каждый вез с собой курджун овса — на случай ночевки в снегах. Везли с собой и шубы овчинные тоже на этот случай.

Бывает, сам путь приносит радость. Особенно если попутчик подберется по душе да разговор неторопливый неприхотливо течет. А в тот день погода выдалась на редкость ясная — впереди возвышались горы, снежный хребет за снежным хребтом, каждый следующий все более кряжистой и снежней, а если оглянуться, позади в низине лежало насколько хватало глаз великое озеро. И всякий раз хотелось оглянуться на застывшую, как притемненное зеркало, синеву Иссык-Куля.

— Эх, увезти бы хоть чуток синевы Иссык-Куля в курджуне,— пошутил Эрназар.

— А лошадь чем будешь кормить, вместо овса — синевой? — резонно ответил ему Бостон.

И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных, тяжелых чабанских забот, и хотя ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло еще более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока была к ним милостива. Эрназар ехал в отличном настроении — все-таки его идея пошла в дело. С самой войны, целых сорок лет никто не ходил за тот перевал, а они с Бостоном отважились.

Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, порасспросить. И собой был видный малый, в армии, оказывается, служил в последних кавалерийских частях после войны. Выправка была у него что надо, хотя и прошло столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее Эрназар однажды чуть было артистом не стал. Приехал какой-то кинорежиссер и стал уговаривать Эрназара сняться в кино. Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино. А Гулюмкан ему и ответь: «Знаю я ваше кино, слышала, одного табунщика взяли сниматься, так он и сгинул — какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу». Смех один!

А Бостон подумывал, как бы осенью, когда они возвратятся с Кичибеля, помочь Эрназару получить под начало бригаду. Пусть человек работает постоянно, давно пора доверить ему чабанство, негоже

держат его так долго в подпасах, был бы он, Бостон, директором совхоза или парторгом, знал бы, каких людей, когда и куда ставить, но, как говорят в народе, «бири кем дуние» — в мире всегда что-то не так.

В горах им уже не встречались трактора и верховые, все реже попадались на пути зимовья и кошары, менялся и ландшафт: природа была здесь чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бостон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножья перевала Ала-Монгю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше, но рассудили, что при перегоне скота, даже если выйти на заре, при звездах, все равно за целый день большего расстояния в горах покрыть не удастся, а раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь. Скотоводы называют такую ночь шыкама, ночь перед штурмом перевала. К тому же место для шыкамы оказалось очень удобным — речка стекала с ледников, здесь был ее исток, можно было выбрать место под склоном, куда не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо знали, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всегда начинается с полуночи и держится до восхода солнца. Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на ночь и утром со свежими силами начать штурм перевала — в этом хитрость шыкамы.

Спешившись и расседлав притомившихся коней, путники начали устраиваться на ночлег. Облюбовали место под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива — Эрназар не поленился спуститься по ущелью довольно далеко, туда, где росли низкорослые горные деревца. Потом поужинали у огня провизией, что захватили с собой из дома, даже чай вскипятили в жестяном чайнике и, довольные, стали укладываться после долгого пути на покой.

В высотах под перевалом быстро стемнело, и сразу стало холодать — точно зима нагрянула. Путь из лета в зиму составил всего лишь день верховой езды. Стужей повеяло с ледников Ала-Монгю — ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой подать. Бостон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет и что благодаря им и возможна здесь, в долинах, живая жизнь — льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля, вот как мудро устроено все в природе.

— Эрназар, — сказал уже перед сном Бостон, — а холод-то какой! Чувствуешь, как пробирает? Хорошо, что шубы захватили.

— Шубы что, — отозвался Эрназар. — В прежние времена еще спасались молитвой, она так и называлась — перевальная. Помнишь ее?

— Да нет, не помню.

— А я помню, как ее дед читал.

— Ну-ка прочти.

— Да я ведь как помню — с пятого на десятое.

— Все лучше, чем никак. Давай начинай!

— Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. Слышишь, Бостон, повторяй: «О, Владыка студеного неба, синий Тенгри, не ужесточи пути нашего через перевал ледяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши задохнулись от стужи, возьми взамен в небе кукушку. А мы подтянем подруги коней, прикрепим крепче вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица, только ты, Тенгри, не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травмам зеленым, к водопоям студеным, а возьми взамен эти слова»... Кажется, так, а дальше не помню...

— Жаль...

— Да что жалеть? Теперь такие молитвы никому не нужны, теперь учат в школах, что все это отсталость и темнота. Вон, мол, в космос летают люди.

— А при чем тут космос? Что, если в космос летаем, так надо и забыть прежние заклинания? Кто в космос летает, тех по пальцам перечесать можно, а сколько нас на земле и землей живет? Отцы наши, деды наши землей жили, что же нам в космосе? Пусть они себе летают — у них свое дело, у нас свое.

— Легко сказать, Боске, а такие, как наш парторг Кочкорбаев, что ни собрание, поносят все старое, говорят — не так свадьбы справляете, почему не целуетесь на свадьбах, почему невеста с тестем не танцуют в обнимку? Имена и то не те даете детям — есть, говорит, утвержденный свыше список новых имен, а все старинные надо заменить. А то вдруг прицепится — не так хороните, говорит, не так оплакиваете покойника. Как людям плакать, и то указывает: не по старинному, говорит, надо плакать, по-новому.

— Да, знаю я, Эрназар, будто это мне неизвестно. Вот попади я в Москву, а меня вроде осенью собираются на выставку послать, вот тогда, честное слово, пошел бы в ЦК, хочу узнать: нужны ли нам в самом деле такие, как Кочкорбаев, или это наше горе? И ведь ничего не скажи ему, чуть что — за глотку берет, ты, говорит, против партии. Он один, видишь ли, вся партия. И никто ему не перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его обходит стороной. Ну да бог с ним! Беда в том, что таких, как Кочкорбаев, немало и в других местах... Давай-ка спать, Эрназар. Ведь завтра у нас самый трудный день...

Так в разговорах о том о сем заснули в ту ночь двое чабанов в ущелье под великим ледяным перевалом Ала-Монгю. Звезды уже сияли в призрачной темной выси над горами, все до единой, сколько их ни есть, высыпали в небе, и удивительно было Бостону, что такие крупные и тяжелые, каждая с его кулак, звезды не падали, а висели в небе и неустанно мерцали, и холодный ветер свирепо свистел в камнях... Всегда ему места не хватает, богу ветров Шамалу... Всегда он недоволен и всегда что-то в себе таит...

* * *

Такой же порывистый холодный ветер врывается с тонким при- свистом сквозь оконные щели и в ту глухую ночную пору, когда под тягостный вой волков Бостону заново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал в памяти старое, прошедшее, и душу его бередила обида, причиненная никчемными людьми, которые даже несчастья других используют для глумления и клеветы. О, как сильны они в этом гнусном своем древнем деле! Кого угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться бессонницей — от царя до пастуха. И так нехорошо становилось Бостону от этих безысходных мыслей, что подчас вой волков, опять объявившихся в эту ночь, казался ему воплем его измученной души. Ему чудилось, что это больная душа бродит во тьме за кошарами, это она, его ослепшая от горя душа, плачет и воет вместе с волчицей Акбарой. И не было никаких сил выносить вой волчицы и хотелось заткнуть ей глотку. «Вот ведь какая настырная! Ну что ты с ней поделаешь? Чего тебе надобно от меня? — раздражался Бостон. — Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось. Акбара, поверь, не вышло. И не вой больше! Нет их, нет здесь твоих волчат, хоть сто верст пробеги, пропиты они и распроданы кто куда. И теперь их тебе не найти! Так уймись же! Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара! Забудь наконец. Понимаю, тяжело тебе, но уйди, исчезни, и не приведи бог, чтобы ты попалась мне на глаза, пристрелю тебя, несчастную, не посмотрю ни на что, пристрелю, потому что нет от тебя житья, и не доводи меня, и без тебя тошно, тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей, так хоть ты уйди, исчезни, чтобы больше никогда не слышать твой вой! И еще кое-кого убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя рука. Есть у нас с тобой общий враг —

у тебя, Акбара, он похитил детенышей, а меня эта пьяная тварь поносит поганым языком своим. И когда я думаю об этом и о том, как тогда, срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть и как звал Эрناзара и плакал один-одинешенек в беспощадных горах, не хочется жить, совсем не хочется. И не стал бы я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш. Вот он здесь, рядом, свернулся комочком, спит, мать принесла его поближе ко мне. Ну, ясное дело, женщина боится волчьего воя, а малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои, за то, что мне пережить пришлось, в нем кровь и плоть моя, он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе такой судьбы, она сама пришла, как приходит день, как наступает ночь, верно говорят, от судьбы не уйдешь, а этот гад Базарбай такой гнусный поклеп на меня возводит, что так бы и придушил его, как собаку, потому как нет на него управы. А кто подпекает ему — первый наш парторг, точно делать ему нечего, подхватывает, что этот пьянчуга плетет, обездолить хочет моего малыша... Как же мне не понять твоего горя, Акбара!» Так думал Бостон, маясь бессонницей в ту ночь, но даже он при всем его уме и чуткости не мог представить себе всю меру страданий Акбары. Пусть не было у нее слов, но были муки, хоть ей и не дано было выразить их словами. И никак не могла она избавиться от этих сжигавших ее мук. Разве могла она выскочить из своей шкуры? Разве не пыталась она бесцельно и непрерывно метаться по горам и поймам вместе с Ташчайнаром, неотступно следующим за ней всюду и всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног, умереть от усталости, издохнуть? Разве не пыталась она утишить, заглушить неутихающую боль утраты, яростно, отчаянно нападая вместе с Ташчайнаром на всех, кто попадался им на пути? Разве не пыталась она вернуться в свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду, чтобы не обманываться больше сновидениями?..

О, как это тяжело! В тот вечер, скитаясь бесцельно по окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к Башатскому ущелью и поскокала, все убыстряя бег, точно какое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайнар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала как безумная по камням, по сугробам, по лесам... И по знакомой тропе через старый лаз, через заросли барбариса проникла в нору, и в который уже раз убедилась, что логово пусто, что оно давно нежилое, и опять завывала, заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем мог сохраниться запах сосунков: «Где они, что с ними? Где вы, щенята, четыре комочка-молочника? Когда бы вы выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы устали мои ноги».

Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще разило отвратительно гадким запахом из горлышка бутылки и лежали вмерзшие в землю остатки расклеванного птицами овса...

Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее густым, плотным мехом.

Была уже ночь. И снилось Акбаре, что волчата у нее под боком, здесь, в логове. Они неуклюже копошились, прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им молоко, все, что скопилось, до боли, все до капли... И так жадно сосали щенята, причмокивая и захлебываясь от избытка молока, и так сладостно растекалось по телу волчицы томительное ощущение материнской неги, только вот молоко почему-то не убывало... И волчицу-мать беспокоило: почему так получалось, почему сосцы ее не облегчались, а щенки не насыщались? Но зато все четверо детенышей тут, рядом, под боком, вот они — и тот, что шустрее всех, с белым кончиком хвоста, и тот, что дольше

всех кормился и засыпал с сосцом в пасти, и третий, драчливый и плаксивый, и среди них самочка — крохотная волчица с синими глазами. Это она — будущая новая Акбара... А потом снилось волчице, будто она не бежит, а летит, не касаясь земли,— снова в Моюнкумах, в великой саванне, и рядом с ней четверо волчат, и они тоже не бегают, а летят, и с ними отец, Ташчайнар, несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит над землей, и прохладный воздух течет, струится, как сама жизнь...

И тут Акбара проснулась и долго лежала не шелохнувшись, придавленная жестокой явью. Потом осторожно встала, так осторожно, что даже Ташчайнар не услышал, и, осторожно ступая, вышла из логова. Первое, что она увидела, выйдя наружу, была луна над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась такой близкой и так резко выделялась на звездном небе, что казалось — до нее ничего не стоит добежать. Волчица подошла к говорливо булькающему ручью, уныло побродила по бережку, опустив голову, потом присела, поджав хвост, и долго глядела на круглую луну. В ту ночь Акбаре как никогда четко и ясно привиделась богиня волков Бюри-Ана, находившаяся на луне. Ее корявый силуэт на поверхности луны был очень похож на саму Акбару — богиня Бюри-Ана сидела там как живая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью. Акбаре показалось, что лунная волчица видит и слышит ее. И, высоко задрав морду, она обратилась к богине, плача и жалуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти: «Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана, это я, Акбара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где они и что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам... А если не сойдешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать Акбару, к себе. И буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. О, Бюри-Ана-а, слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, Бюри-Ана, услышь мой плач!»

Так плакала, так выла на луну Акбара той ночью среди холодных гор...

* * *

Когда минула ночь-шыкама на перевале, первым поднялся Эрназар и, кутаясь в шубу, пошел глянуть на стреноженных лошадей. — Холодно? — спросил Бостон, с опаской выглядывая из-под шубы, когда Эрназар вернулся.

— А тут всегда так, — отозвался Эрназар. — Сейчас холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет. — И он прилег на попону. Рано еще и сумрачно было в тот час в горах.

— Как там наши лошади?

— Нормально.

— Я вот думаю: будем скот гнать, не помешает палатку поставить здесь на ночь, все теплее будет.

— Отчего не поставить. — согласился Эрназар. — В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а остальное от нас зависит.

С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воздух быстро прогрелся, и едва посветлело, они оседлали лошадей.

Прежде чем сесть в седло, Бостон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие кручи и скалы. Дики и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними. А они бросали вызов этим горам. «Перевал нас не испугает, — подумал Бостон, — речь идет о жизни. А когда речь идет о жизни, человека ничего не может ис-

пугать, ему всюду дорога — в море, под землей, в небе. Пройдем и мы».

Для начала они отыскивали старую тропу с отодвинутыми с пути камнями и мысленно проследили, как она пойдет через перевал. Получалось, что перевал проходил через заснеженную седловину между двумя вершинами. Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Монгю, там и находился джайляу Кичибель, где, как рассказывали старики, растет березовый лес и течет быстрая горная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои места в дальние уголки, делает их неприступными. Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку приходится добиваться своего — ему необходимо жить на земле...

Тропа становилась все круче. Когда начался снежный наст под ногами, лошадям стало труднее идти — чем дальше они шли, тем глубже был снег. Светило солнце, ветер стих, и в полной тишине учащенное дыхание лошадей слышно было так хорошо, как собственное дыхание.

— Ну что? — оглядываясь, спрашивал Бостон Эрназара. — Если снег будет овцам выше брюха, нам туго придется. Что скажешь?

— Не без того, конечно, Боске, идем-то куда! Но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда в случае чего пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем.

— Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой лопаты привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо прихватить лопаты.

Когда снег стал лошадям выше колена, чабаны спешились и повели лошадей на поводу. Тут воздуха стало не хватать, пришлось дышать ртом. Снежная белизна слепила глаза — понадобились темные очки, в которых теперь все ходят по улицам. Пришлось скинуть и шубы, бросить их на седла. Лошади тяжело дышали, вспотели, бока их ходили ходуном. К счастью, до той критической седловины было, в общем-то, не так далеко...

Солнце уже стояло в зените над вечным нагромождением оцепеневших заснеженных гор. Ничто не предвещало изменения погоды, если не считать нескольких облачков, лежавших на их пути. Сквозь них, или, вернее, по ним, можно было пройти, как по вате. Даже не верилось, что в этот час в низовьях Прииссыккуля было настолько жарко, что отдыхающие загорали на пляжах у озера.

Им оставалось еще метров пятьсот, и теперь они уже думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала дело пошло не хуже...

Наконец перевал был взят, и Бостон с Эрназаром остановились передохнуть. Они совсем запарились. Запыхались. Да и лошади изрядно устали. Счастливые и довольные, они смотрели вниз на пройденный ими путь.

— Ну, все, Боске, — сказал, улыбаясь, Эрназар. Глаза его сияли от радости. — С отарой здесь можно пройти. Конечно, если погода будет.

— То-то и оно. При тихой погоде, конечно.

— Вот мы с тобой шли два с половиной часа, — сказал Эрназар, глянув на часы. — И вроде ничего, а?

— А с овцами часа три придется идти, — заметил Бостон, — а то и больше. Но, главное, мы убедились — можно идти через перевал. А теперь пошли дальше. Вон с того места, думается мне, уже виден спуск, а может быть, откроется и Кичибель. Там сейчас должно быть зеленым-зелено...

И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег где ровной пеленой, где вздыбленный и взвихренный ветрами в сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то впереди стихия снега кончалась и начинался иной мир. Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами Кичибель — цель их пути. Так шли они по самой седловине между горами, как между верблюжьими горбами, и заветное

зрелище казалось совсем близким. Бостон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на поводу, как вдруг что-то дрогнуло у него под ногами. Он услышал позади вскрик.

Бостон резко оглянулся и оторопел: Эрназар скрылся, куда-то исчез — не было видно ни его, ни его коня. Только снег клубился там, где он только что шел.

— Эрназар! — страшно вскрикнул Бостон и сам испугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвенной тишине.

Бостон кинулся к тому месту, где клубился снег, и лишь чудом остановился, отпрянул — перед ним зияла пропасть. Черным мраком и мерзлотной стужей веяло из того провала. Тогда Бостон лег на снег и пополз на животе к самому краю. не осозная, вернее, не осмеливаясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его ощущениями и мыслями, превратился в страх, и страх этот сковал его тело. И тем не менее Бостон все полз и полз, какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла дышать. Бостон полз, упираясь локтями, смахивая налипающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед, и ему вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таившихся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табуны, вспомнилось проклятие: «Джаракага кет» — чтоб тебе провалиться в бездонную трещину. Но за что такое проклятие обрушилось на Эрназара, да и не только на Эрназара, а и на него самого?

Не иначе как за то, что он ненасытный, все ему мало, всем он недоволен... Если бы знал он, что может случиться такая беда...

Бостон пополз к кромке разлома — и перед ним открылся равный черный обрыв, входящий вниз рваной стеной. Он задрожал от ужаса.

— Эрназар,— прошептал тихо Бостон — у него враз пересохло горло,— затем заорал диким, срывающимся голосом:— Эрназар, где ты? Эрназар! Эрназар! Эрназар!

И когда смолк, услышал, как показалось ему, снизу стон и еле различимые слова: «Не приходи» И закричал Бостон:

— Эрназар! Брат мой! Я сейчас! Сейчас! Потерпи! Сейчас я тебя вытащу!

Он вскочил, рискуя провалиться, вспахивая снег, побежал к лошади, стал сдирать с нее сбрую: моток веревки и топор, что они на всякий случай прихватили, были приторочены к седлу Эрназара и вместе с ним рухнули в пропасть. Бостон выхватил нож из ножен, обрубал концы кожаных ремней — подхвостника, нагрудника, стремян, подпруги, поводьев, узды и чумбура,— срстил и связал все в один ремень. Порезался в кровь — руки тряслись от напряжения. И снова кинулся он к разлому, снова дополз до самого края, лез, не выбирая дороги, задыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет и не успеет спасти Эрназара.

— Эрназар! Эрназар! — звал он.— Вот веревка, есть веревка! Слышишь, есть веревка! Ты слышишь? Эрназар! Брат мой, откликнись!

Связанный из сбруи ремень, намотав один конец на кулак, он спустил в пропасть. Но никто не ухватился за ремень, никто не откликнулся на его зов. И не знал он, далеко ли спустился брошенный им ремень и какова глубина у этой пропасти.

— Откликнись, Эрназар! Откликнись! Хоть одно слово, Эрназар! Брат мой! — звал и звал его Бостон, но эхо доносило из пропасти его собственный голос, и от этого Бостону стало жутко.— Где ты, Эрназар! — взывал Бостон.— Ты слышишь, Эрназар? Что же мне делать? — И не в силах совладать с собой, зарыдал, стал громко выкрикивать бессвязные слова. Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам, а особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознании случившаяся беда... Погиб, погиб Эрназар! И никто не мог утешить его в горе... Отныне оно будет жить в нем всю жизнь... И вскричал

тогда Бостон: «Ты разве не слышал наших заклинаний?! Что же ты наделал и кто ты есть после этого?» — сам не понимая, к кому обращается.

Встал, шатаясь, понял, что уже вечереет, и почувствовал, что на перевале меняется погода. Откуда-то напоззли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им на тропе, уже ушла назад — он видел, как она спускается вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стремянных ремней. В злости Бостон пнул никчемное седло. Так стоял он, вспухший, почерневший, без шапки (шапка его давеча скатилась вниз, в расщелину), озираясь, среди скал и вечной мерзлоты на перевале Ала-Монгю совершенно один. Пронизывающий ветер на перевале наводил безысходную тоску на его и без того потрясенную душу. Куда теперь идти и что делать? Как удачно все начиналось, и откуда только взялась эта страшная расщелина на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он понял, что Эрناзар упал в расщелину по чистой случайности — сам он прошел буквально в полутора метрах от края разлома, а Эрназар, на беду, взял чуть правее — и свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую под снегом.

Помочь другу он практически ничем не мог. Но и смириться тоже не мог. Бостон вдруг подумал: а что, если Эрназар еще жив, что, если он только потерял сознание,— тогда его необходимо срочно выволить из пропасти, пока он не заковенел там окончательно. И тогда, может быть, его удастся спасти. И бросив шубу на снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать по тем местам. Надо найти способ поскорее известить совхоз о случившейся беде, думал он, тогда они пришлют на помощь людей с веревками, заступами, фонарями, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину, найдет Эрназара и спасет его.

Он несколько раз падал, с ужасом думал: «Только бы не сломать ногу!» — и снова вставал и ускорял шаг.

Бостон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на лошади теперь не было даже уздечки. Погода портилась с каждой минутой. В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бостона — он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга. Его страшило, что же будет с Эрназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив. Скорей, скорей — стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь.

Лошадь Бостону так и не удалось догнать. Почувяв свободу, каурый коняга поскакал в родные места.

По хорошо знакомым ему предгорьям Бостон шел напрямик, сильно сократив свой путь. Он был измучен не так ходьбой по бесконечным оврагам и пашням, как тяжкими, не оставляющими его ни на минуту мыслями о случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов спасения Эрназара. То ему казалось, что он не должен был уходить с перевала и оставлять Эрназара одного, и пусть бы его самого замела метель. То чудилось, как в кромешной тьме ледяного подземелья стонет умирающий Эрназар, а наверху над горами свищет яростная пурга. Когда же он представлял себе, что скажет семье Эрназара, его детям, его жене Гулюмкан, ему становилось и вовсе невыносимо и казалось, что он сойдет с ума.

И все-таки не только неудачи подстерегали его, выпала ему и удача. В тот день кто-то из чабанов играл свадьбу в предгорьях. Женит сына-студента, прибывшего на каникулы. Гости разъехались поздно, последние отправились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила луна. Веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало Иссык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой.

Засылав песни, Бостон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахаля руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз «Берик». Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залайла собака, норовя схватить Бостона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну.

— Кто там? — раздался встревоженный голос.

— Это я, Бостон Уркунчиев.

— Что случилось, Боске?

— Беда.

* * *

На другой день к полудню спасатели уже шли гуськом к перевалу Ала-Монгю. Их было шестеро вместе с Бостоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъем с веревками и инструментом. Молча, упорно шли вслед за Бостоном, сберегая дыхание. С часу на час должен был подлететь к перевалу вертолет из города, сбросить им на помощь троих опытных альпинистов.

Бостон думал о том, что вчера в это же время они с Эрназаром шли этой же тропой на перевал и не ведали, что подстерегает их...

Он понимал, что даже если Эрназар был жив первое время после падения, то целые сутки на дне ледяной пропасти он вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на что, ему хотелось верить в чудо.

После пурги, бушевавшей минувшую ночь, на перевале было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах. К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние следы, и теперь Бостон не мог точно определить, где находится тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет худа без добра — кто-то из спасателей нашел в снегу брошенную Бостоном накануне перед уходом шубу, а в нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло. Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно определить место расщелины, замеченной за ночь. К тому времени подоспели и альпинисты. Они-то и спустились в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шестизэтажный дом...

Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать Эрназара не могут. Его тело накрепко вмерзло, впаялось в толщу льда, так же как и труп его коня. Альпинисты объяснили, что от резких ударов лед может сместиться, начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жертвами, будут раздавлены... Альпинисты сказали, что Бостону остается только спуститься в расщелину и попрощаться с Эрназаром. Другого выхода нет...

И еще долгое время, годы и годы, Бостону снился один и тот же навечно впечатавшийся в его память страшный сон. Ему снилось, что он спускается на веревках в ту пропасть, освещая ледяные стены ручным фонариком. При нем еще один запасной фонарик на тот случай, если он уронит первый. Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от этого ему не по себе. Тревожно и жутко. Хочется кричать. Но он продолжает медленно спускаться все глубже и глубже в чудовищное ледяное подземелье, и наконец свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эрназара: Эрназар (так оно и было) стоит на коленях, шуба задралась ему на голову, лицо его залито кровью, губы крепко сжаты, глаза закрыты. «Эрназар! — зовет его Бостон. — Это я! Слышишь, я хотел открыть тебе запасной фонарь — здесь так страшно и темно, — но я потерял его. Понимаешь, Эрназар, потерял. И все равно я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Возьми, Эрназар, прошу тебя!» Но Эрназар не берет у него фонарь и никак не откликается. Бостон плачет, содрогается от рыданий и просыпается в слезах.

И весь день потом ему не по себе — в такие дни Бостон мрачен и угрюм. Об этом сновидении он никогда никому не рассказывал, ни одной душе, и тем более — Гулюмкан, даже после того, как она ста-

ла его женой. Никому из семьи Эрназара не рассказывал он также и о том, что спускался в пропасть проститься с Эрназаром.

Когда он вернулся с перевала домой, в бригаде все уже знали о случившейся трагедии. И не было для Бостона ничего тяжелее, чем видеть убитую горем, плачущую Гулюмкан, ему казалось, лучше бы ему сгинуть там, на перевале, лучше бы ему еще тысячу раз спуститься в ту пропасть и заново пережить весь тот ужас. Гулюмкан тяжело переносила гибель мужа. Боялись, как бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась куда-то бежать: «Не верю, не верю, что он погиб! Отпустите меня! Я найду его! Я пойду к нему!»

И однажды ночью она действительно сбежала. Намаившись за день, Бостон собирался было отдохнуть, вот уже несколько дней кряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель — приходилось встречать соболезняющих: люди ехали со всей округи, многие по старинному обычаю начинали оплакивать Эрназара еще издали: «Эрназар, родной ты мне, как печень моя, где увижу тебя?» — и он помогал им спешиться, успокаивал их... А в тот день вроде вечер выдался более или менее свободный, и Бостон, раздевшись до пояса, умылся у себя во дворе, поливая себе из ковша. Арзыгуль была у Гулюмкан: эти дни она почти все время находилась у соседки.

— Бостон, Бостон, где ты? — вдруг послышался крик Арзыгуль.

— Что случилось?

— Беги скорее, догони Гулюмкан! Она куда-то убежала. Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить.

Бостон едва успел надеть майку и, как был с полотенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять обезумевшую Гулюмкан.

Догнал он ее не сразу.

Она быстро шла впереди по пологому оврагу, направляясь в сторону гор.

— Гулюмкан, остановись, куда ты? — окликнул ее Бостон.

Она уходила не оглядываясь. Бостон прибавил шагу, он подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сейчас бросить ему в лицо обвинение, которого он больше всего боялся, скажет, что это он, Бостон, погубил Эрназара, и эта мысль как крутым кипятком ожгла его, ведь и сам он казнился, терзался этим, и не было покоя его душе. И что тогда ответит он ей?

Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли толк в оправданиях? Как доказать, что бывают роковые обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и эти слова не утешали, и не было в природе таких слов, чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И не было слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив после всего, что случилось.

— Гулюмкан, куда ты? — Запыхавшись от бега, Бостон поравнялся с ней. — Остановись, послушай меня, пойдем домой...

Еще было достаточно светло в тот вечерний час, горы еще просматривались в тихом сумраке медленно угасающего дня, и когда Гулюмкан обернулась, Бостону показалось, что от нее, как призрачное излучение, исходило горе, черты ее лица были искажены, словно она смотрела на него из-под толщи воды. Ему было невыносимо больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид — ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной женщиной, — больно за то, что она бежала не помня себя, за то, что помятое шелковое платье, в которое ее нарядили, разъехало на груди, за то, что новые черные ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее была расплетена в знак траура.

— Ты куда, Гулюмкан? Куда идешь? — сказал Бостон и невольно схватил ее за руку.

— Я туда, к нему на перевал, пойду, — сказала она каким-то отрешенным голосом.

Вместо того чтобы сказать: «Да ты в уме ли? Когда же ты туда доберешься? Да ты там околеешь в одночасье в таком тонком платье!» — он стал просить ее:

— Не надо сейчас. Скоро уже ночь, Гулюмкан. Пойдешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это место. А сейчас не надо. Пойдем домой. Там девочки плачут, Арзыгуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, прошу тебя, Гулюмкан.

Гулюмкан молчала, согнувшись под тяжестью горя.

— Как же я буду жить без него? — горестно прошептала она, качая головой. — Как же он остался один совсем, не похороненный, не оплаканный — без могилы?

Бостон не знал, как ее утешить. Он стоял перед ней, поникший, виноватый, в выбившейся, обвисшей на худых плечах майке, с полотенцем на шее, в кирзовых сапогах, в которых чабан неизменно ходит и зимой и летом. Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. И если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы, ни минуты не думая, сделал это.

Они молчали, каждый думал о своем.

— Пошли. — Бостон взял Гулюмкан за руку. — Мы должны быть там, куда люди приходят вспоминать Эрназара. Должны быть дома.

Гулюмкан припала к его плечу и, словно отцу родному изливая горе, что-то неразборчиво бормотала, захлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под руку, и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой. Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки Эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга, женщины обнялись и с новой силой заплакали, точно после долгой разлуки...

Полгода спустя, когда Арзыгуль уже лежала в районной больнице, а Гулюмкан давно переехала в рыбацкий поселок на Побережье, Бостону вспомнился тот вечер, и глаза его затуманились от нахлынувших чувств.

Бостон сидел в палате у жены, возле ее кровати, и с болью в душе смотрел на ее изможденное, обескровленное лицо. День был теплый, осенний, соседи по палате все больше гуляли во дворе, и потому и состоялся тот разговор, начала который сама Арзыгуль.

— Мне хочется тебе о чем-то сказать. — Медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа, и Бостон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь.

— Я тебя слушаю. Что ты хотела сказать, Арзыгуль? — ласково спросил Бостон.

— Ты доктора видел?

— Видел. Он сказал...

— Постой. Не важно, что он сказал, об этом потом. Пойми, Бостон, мы должны серьезно поговорить с тобой.

От этих слов у Бостона сжалось сердце. Он достал платок из кармана и вытер на лбу пот.

— А может, не стоит об этом, выздоровеешь — тогда поговорим. — Бостон попытался отвести назревающий разговор, но по взгляду жены понял, что настаивать нельзя.

— Всею свое время, — упрямо шевелила бледными губами больная. — Я тут все думала — а что еще делать в больнице, если не думать? Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я довольна. К чему бога гневить — детей вырастили, на ноги поставили, теперь они могут жить самостоятельно. Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет. Но тебя, Бостон, мне жалко. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты, к людям подхода у тебя нет, ни перед кем не кланяешься. Да и немолод ты уже. После меня не сторонись людей. Я к тому, что после меня не ходи в бобы-

лях, Бостон. Справишь поминки, подумай, что тебе делать дальше, я не хочу, чтобы ты жил один. У детей ведь своя жизнь.

— Зачем ты все это,— глухо проронил Бостон.— Об этом ли нам говорить?

— Об этом, Бостон, об этом! О чем же еще? Об этом и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь. Так вот думала я тут и о тебе и о себе. Часто приходит ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не посторонний она для нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она вдовой с малыши детьми. Достойная женщина. Мой тебе совет — женись на ней. А уж там сам решай, как тебе поступить. Каждый волен сам за себя решать. Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре... А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Эрназаровых детей будет отец...

Приезжие на Иссык-Куль часто подтрунивают над иссыккульцами: живут у озера, а озера не видят — все некогда им. Вот и Бостон в кои веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался иссык-кульской синью.

А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел сразу на берег — потянуло побыть в одиночестве у синего чуда среди гор. Бостон глядел, как ветер гонит по озеру белые буруны, вскипающие ровными, будто борозды за невидимым плугом, рядами. Ему хотелось плакать, хотелось исчезнуть в Иссык-Куле — хотелось и не хотелось жить... Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...

* * *

И все-таки волки доняли Бостона — они так долго, так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенджеша. Малыш проснулся с плачем, Бостон придвинул сынишку поближе, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к себе:

— Кенджеш, а Кенджеш! Я же здесь. Ну, чего ты, глупыш? И мама здесь — вот она, видишь? Хочешь кис-кис? Хочешь, чтобы свет зажег? Да ты не бойся. Это кошки кричат. Это они так воют.

Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать малыша, но тот не унимался. Пришлось зажечь свет.

— Гулюм,— сказал жене Бостон уже от дверей: он пошел включить свет.— Пойду все же припугну зверей. Так дальше невозможно.

— Сколько времени сейчас?

Бостон глянул на часы.

— Три часа без двадцати.

— Вот видишь,— огорчилась Гулюмкан.— А в шесть тебе вставать. Куда это годится? Эта проклятая Акбара сведет нас с ума. Что за наказание такое?!

— Ну успокойся. Что ж теперь делать? Я мигом обернусь. Да не бойся ты-то хоть. Вот наказание, ей-богу. Я снаружи запру дверь на замок. Не беспокойся. Ложись спать.

И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами, надетыми наспех на босу ногу. Бостону хотелось наконец столкнуться с волками, и потому он нарочито громко скликал собак, ругал их последними словами. Он был готов на все — так осточертели ему эти остервеневшие от горя волки.

Помочь им он ничем не мог. Оставалось только надеяться, что ему удастся пристрелить волков, если он их увидит, благо у него была полуавтоматическая винтовка.

Однако волков он не встретил. И тогда, проклиная весь свет, вернулся домой. Но и заснуть он тоже не смог. Долго лежал в темноте, в голове неотвязно крутились беспокойные, наболевшие мысли.

А думалось ему о разном. И больше всего о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее и что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову

теперь никто не верит. И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до войны, когда строили знаменитый Чуйский канал, люди съехались со всех концов страны, работали бесплатно и добровольно. А теперь никто не верит, сказки, мол, рассказываете, мыслимы ли такие дела. В чабаны теперь никого на аркане не затащишь. И все об этом знают, но делают вид, будто это временное затруднение. А скажешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чужого голоса! И никому не хочется подумать всерьез, что же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, радовало его, — Гулюмкан не ругала его, не пеняла, что ему приходится круглый год чабанить без выходных и отпусков. Отару оставить невозможно было, стадо не отключишь, не вырубишь рубильник, не остановишь, за стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит, куда ни повернись, везде не хватает рук. И не потому, что нет людей, а потому, что люди не хотят работать. Но почему? Ведь без труда жить нельзя. Это же гибель. Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться иначе? Самый большой вопрос был, где брать для работы в расплодных пунктах сакманчиков, чтобы ухаживать за народившимися ягнятами. Опять же молодежь туда не шла. Там нужно было круглые сутки дежурить. Не за страх, а за совесть следить за приплодом, и поэтому туда молодых парней силой не загонишь. Современной молодежи не хочется возиться в грязи и жить на отшибе. Да и платили там мало, в городе за восьмичасовой рабочий день на фабрике или на стройке парень или девушка могли заработать куда больше. «А как же мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие руки, а не там, где выгодно? А теперь, когда пришла пора молодым братья за дело, от них толку мало — ни стыда у них, ни совести», — обижались старики. Этот конфликт, постепенно приведший к непониманию и отчуждению поколений, давно уже бередил души людей. И опять в памяти Бостона всплыл все тот же разговор. Не удержался он тогда. И зря. Опять все свое выступление он посвятил тому, что человек должен работать как на себя. Другого пути он не видит, а для этого необходимо, чтобы работник был лично заинтересован в том, что делает. Бостон уже не раз говорил, что оплата должна зависеть от результатов труда, а главное — чтобы для чабана земля была своя, чтобы чабан за нее болел, чтобы помощники и их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет...

Отповедь ему, как всегда, дал парторг Кочкорбаев. Газет-киши, человек-газета, как прозвали Кочкорбаева в совхозе, сидел по правую сторону директорского стола, боком к Бостону. Насупив брови — ему, должно быть, было не по себе, — то и дело поправляя для солидности галстук, Кочкорбаев недружелюбно косился на Бостона. Директор совхоза Чотбаев легко представлял себе ход кочкорбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз и навсегда заученную логику демагога: опять, мол, вылез этот Бостон Уркунчиев, кулак и контрреволюционер нового типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать бы его куда подальше, как в прежние времена...

На рабочем совещании в тот день присутствовал и новый инструктор райкома, скромный с виду молодой человек, которого люди в «Берике» пока еще не знали. Он внимательно слушал выступавших и все заносил в свой блокнот. Чотбаев предполагал, что Кочкорбаев не упустит случая показать себя при новом инструкторе райкома. И не ошибся. После выступления Бостона Кочкорбаев попросил слова вроде бы для реплики. И заговорил как по писаному: он умел излагать вопрос совсем как газета, и в этом была его сила.

— До каких пор, товарищ Уркунчиев, — обратился он к Бостону, как всегда официально, на «вы», — до каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Тип производственных отношений внутри социалистического коллектива давно оп-

ределен историей. А вы хотите, чтобы чабан, как хозяин, решал, с кем ему работать, а с кем нет и кому сколько платить. Что это такое? Не что иное, как атака на историю, на наши революционные завоевания, попытка поставить экономику над политикой. Вы исходите лишь из узких интересов своей отары. Для вас это вопрос вопросов. Но ведь за отарой стоит район, область, страна! К чему вы нас хотите привести — к извращению социалистических принципов хозяйствования?

Вскипев, Бостон вскочил с места.

— Я никого никуда не зову. Я устал уже об этом говорить. Никого я никуда не зову, не мое пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. А мое дело — отара. Если парторг не хочет знать, что я думаю о своей отаре, зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от дела? Пустопорожние разговоры не для меня. Может, для кого они и важны, но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови! Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны!

— Ну как же так, Боске? — Чотбаев беспомощно заерзал на месте. — Ты передовик, лучший чабан совхоза, опытный работник, мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем тебя.

— Ты меня удивляешь, директор. — Бостон не на шутку разгорячился. — Если я передовик, кому как не тебе, директор, знать, чего мне это стоит. Так почему же ты молчишь? Стоит мне раскрыть рот, и Кочкорбаев не дает мне слова вымолвить, придирается, все равно как прокурор, а ты, директор, сидишь да помалкиваешь как ни в чем не бывало, будто тебя это не касается.

— Постой, постой, — прервал его Чотбаев.

Директор явно переполошился: он попал в очень трудное положение — на этот раз ему не удастся сохранить нейтралитет между Бостоном и Кочкорбаевым. В присутствии инструктора директору придется занять определенную позицию. А до чего не хотелось связываться с Кочкорбаевым, этим человеком-газетой, чья демагогия могла привести в действие грозные силы: ведь Кочкорбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующей начетническими принципами. И в этот раз Кочкорбаев намеренно обострил обсуждение, с ходу обвинив чабана — ни мало ни много — в «атаке на наши революционные завоевания», ну кто после этого посмеет ему возразить? Однако надо было как-то выходить из положения.

— Постой, постой, Боске, ты не горячись, — сказал директор и встал из-за стола. — Давайте разберемся, товарищи, — обратился к собранию Чотбаев, лихорадочно обдумывая, как примирить стороны. Конечно, Бостон прав, но с Кочкорбаевым шутки плохи. Как же быть? — О чем у нас идет речь? — рассуждал директор. — Чабан, насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и земель, а не лицом, работающим по найму, и говорит он не только от своего имени, а от имени и своей бригады и чабанских семей, и этого тоже нельзя не принимать во внимание. Тут, мне кажется, есть свой резон. Чабанская бригада — это и есть наша малая экономическая ячейка. С нее и надо начинать. Как я понимаю, Уркунчиев хочет взять все в свои руки: и поголовье, и пастбища, и корма, и помещения — словом, все, что необходимо для производства. Он собирается внедрить бригадный расчет, чтобы каждый знал, что может заработать, если будет работать как на себя, а не как на соседа, от и до. Вот как я понимаю предложение Уркунчиева, и нам стоит к нему прислушаться, Джантай Ишанович, — обратился Чотбаев к парторгу.

— А я, как парторг совхоза, которым мы с вами, товарищ Чотбаев, руководим, понимаю так, что поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то

ни было, и особенно руководителю хозяйства,— с торжеством в голове укорил директора Кочкорбаев.

— Но поймите, это предлагается в интересах дела,— начал оправдываться директор.— Ведь молодежь не идет в чабанские бригады...

— Значит, у нас плохо ведется агитационно-массовая работа, надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова.

— А это уже по вашей части, товарищ Кочкорбаев,— вставил директор.— Вам и карты в руки. Напоминайте, агитируйте. Вам никто не мешает.

— И будем агитировать, напрасно вы беспокоитесь,— с вызовом бросил парторг.— У нас намечен целый комплекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления, как бы хорошо их ни маскировали. Мы не позволим подрывать основы социализма.

Слушая эту полемику, которая велась на полном серьезе, Бостон Уркунчиев впал в уныние, страх невольной подкатил к горлу. Ведь он сказал только, что ему хочется наконец потрудиться на земле по своему разумению, а не по чужой подсказке.

— Никому никаких уступок и поблажек,— продолжал Кочкорбаев.— Социалистические формы производства обязательны для всех. Мои слова адресованы прежде всего товарищу Уркунчиеву. Он все время добивается для себя каких-то исключительных условий.

— Не только для себя,— перебил его Бостон.— Такие условия нужны всем, тогда у нас и работа ладиться будет.

— Сомневаюсь! И вообще, что это за манера такая — ставить свои условия? Сделайте то да сделайте это. Хватит уже того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей отары погубили человека на перевале Ала-Монгю. Или этого вам мало?

— Продолжай, продолжай! — отмахнулся в сердцах Бостон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Эрназара говорили вот так, мимоходом и походя.

— Что — продолжай, продолжай? Разве я неправду говорю? — уколол его Кочкорбаев.

— Да, неправду.

— Как же неправду, когда труп Эрназара до сих пор лежит во льдах на перевале. И может быть еще тысячу лет там пролежит.

Бостон промолчал. уж очень неприятно ему было, что на собрании завели об этом разговор. Но Кочкорбаев все не унимался.

— Что молчите, товарищ Уркунчиев? — подлил он масла в огонь.— Разве не вы пошли открывать для себя новый, персональный джайляу?

— Да, шел для себя,— резко ответил Бостон.— Но не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя, Кочкорбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь!

— Что это значит? — возмутился Кочкорбаев, лицо его налилось кровью.— Я всем обязан только партии!

— А партия, думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? — огрызнулся Бостон.— С неба, что ли?

— Что это значит, что это за безответственные речи! — взвился Кочкорбаев, судорожно поправляя галстук.

Назревал скандал. И Кочкорбаев и Бостон стояли — один у стола, другой у стены — как приговоренные к смерти, казалось, еще немного, и кто-нибудь из них рухнет на пол. Положение несколько выправила молодой инструктор райкома.

— Успокойтесь, товарищи,— неожиданно подал он голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте.— Мне кажется, чабан Уркунчиев в принципе прав. Труженик, как мы любим говорить, созида-

тель материальных благ имеет право сказать свое слово. Только надо ли было заходить так далеко?

— Да вы его не знаете, товарищ Мамбетов, — торопливо подхватил Кочкорбаев. — Претензии Уркунчиева вообще не имеют границ. Вот, к примеру, недавно один чабан, Нойгутов, да, именно Нойгутов Базарбай, обнаружил в горах волчье логово. Ну и изъял выводок, так сказать, экспроприровал, то есть забрал подчистую четырех волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что же вы думаете? Этот Уркунчиев стал буквально преследовать Нойгутова. Вначале хотел подкупить, а когда этот номер у него не прошел, потому что Нойгутов человек принципиальный, Уркунчиев стал ему угрожать, требовать, чтобы Нойгутов вернул волчат на место не иначе как для того, чтобы эти хищники и дальше размножались. Да что же это такое? Как это понять? Может быть, товарищ Уркунчиев, ко всему прочему вы хотите завести еще и своих личных волков? Собственных, персональных, так сказать. Может быть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков? Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки! Так, что ли? Или как вас надо понимать — пусть волки размножаются, режут наши стада, живут за счет общенародной собственности?

Бостон к тому времени успел уже взять себя в руки и сказал довольно спокойно:

— Все верно насчет волков, только одна беда — волки ведь не разумеют, что посягают на общенародную собственность.

Присутствующие невольно рассмеялись, а Бостон, воспользовавшись паузой, продолжал:

— Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж зашел о них разговор, скажу и я свое слово. Во всяком деле разумение должно быть, на то мы разумными и родились. А у иных из нас разума не хватает, а хвостовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с волчатами. Как уже было сказано, Базарбай изъял, а попросту говоря, утащил, спер из норы волчат, а уж шуму сколько вокруг — чуть не в герои его записали. А этот герой не подумал, что прежде надо было выследить самих волков-родителей да пристрелить их, матерых, а уж потом думать, что делать с их щенятами. А он потопопился волчат продать, а деньги пропить. Почему я просил Базарбая отдать волчат мне или продать — чтобы на детенышей подманить в засаду волка да волчицу, а не оставлять на воле разлютовавшихся после разорения их гнезда волков. Надо же понимать, что разлютовавшийся волк стоит десятых волков, вместе взятых. Он не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны знают, как свирепствует сейчас в округе пара, у которой отняли детенышей, Акбара и Ташчайнар — клички у них такие. И никак теперь не унять их, они могут и на человека напасть — с них станется. Иных дурных людей называют — я об этом и в газетах читал и в книгах — провокаторами. Вот Базарбай он и есть волчий провокатор, он волков подбил лютовать. Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо: он поступил, как трусливый провокатор. И тебе, парторг, скажу прямо в лицо не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь что газеты почитать да страшить таких, как я, пастухов, мол, мы и против революции и против советской власти, а сам в хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь, иначе не стал бы обвинять человека в том, что он хочет размножать волков. Бог с ними, с волками, это твое обвинение просто курам на смех. Но другое твое обвинение, товарищ Кочкорбаев, я без ответа оставить не могу. Да, Эрناзар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни! Что мы там искали? А ты подумал, парторг, что нас понесло туда, подумал, что, не будь у нас страшной нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать? И нужда эта с каждым днем все страшнее становится. Вот и дирек-

тор тут сидит, пусть он скажет, когда он начинал директорствовать, какие травы, какие пастбища, какие земли были! А что теперь? Пыль да сушь кругом, каждая травинка на счету, а все потому, что запускают в десять раз больше овец, чем на такие площади можно, и овечьи копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с Эрназаром и двинулись на Кичибель. Мы хотели как лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк, беда заставила меня умолкнуть, не до того было. А сложись все иначе, поехал бы в том году в Москву на выставку, пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Кочкорбаев. Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии, а вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим.

— Вы, однако, зарвались! — не стерпел Кочкорбаев. — Это клевета! И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке.

— Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня в шею, значит, не место мне в партии, и нечего меня щадить. Но и тебе, Кочкорбаев, надо подумать об этом.

— Мне нечего думать, товарищ Уркунчиев. Моя совесть чиста. Я всегда с партией.

Бостон перевел дух, точно бежал в гору, и, глядя на инструктора райкома, сказал:

— А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу доложить в райком. Пусть с нами разберутся на партийном собрании. Дальше я так жить не могу.

Вскоре Бостон Уркунчиев убедился, что вокруг его стычки с Кочкорбаевым начинают нагнетаться события. Как раз в тот день он ездил по своим делам на Побережье. В Прииссыккулье вот-вот должны были зацвести сады. Шли последние дни весны, а Бостон все не успевал опрыскать яблони у себя в саду и на бывшем дворе Эрназара. У Бостона и Гулюмкан теперь было два дома и два сада, и оба нуждались в присмотре. А происходило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах, и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству. Все откладывает, а потом глянь — и время прошло, и все сроки прошли. Но как бы там ни было, опрыскать сад было необходимо, иначе вредители размножатся с поразительной быстротой, перепортят завязь и погубят урожай. В этот раз Гулюмкан не сдержалась и крепко выговорила Бостону: мол, он все тянет, что бы ему поехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей, раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту работу.

— Какая от тебя помощь по дому? — в раздражении бросила Гулюмкан. — День и ночь толчешься в отаре да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести сад до ума, посиди денек с Кенджешем дома — за этим дурачком глаз да глаз нужен, — а я спущусь на Побережье, сделаю вместо тебя все что полагается порядочному хозяину.

Права была Гулюмкан — ничего не напишешь, пришлось молча выслушать ее.

С тем и выехал Бостон поутру на Побережье, чтобы заняться садом. Ехал на Донкулюке. Как говорят истари, весной и трава набирает силу и конь. К тому же Донкулюк был в самой поре: поблескивая огненным глазом, взмахивая гривой, он от избытка сил все порывался бежать. Но у Бостона было не то настроение, чтобы скакать сломя голову. Он придерживал ретивого коня — ему хотелось по дороге спокойно подумать о том о сем. Минувшей ночью он плохо спал. Долго ворочался, не мог забыть, как парторг обвинил его в гибели Эрназара. Вернувшись домой с собрания, рассказал вкратце

жене что да как, а об этом обвинении умолчал. Не хотелось лишний раз напоминать Гулумкан о бывшем муже, хоть и много лет прошло с его гибели, потому что тогда не избежать тягостного разговора, от которого будет худо и ей и ему, ведь непогрешенный Эрназар лежит на перевале Ала-Монгю вмерзший навечно в лед на дне страшной, как ночь, пропасти. Так лучше уж умолчать об этом обвинении. А едва Бостон начал засыпать, как опять явились волки. И опять на пригорке за большой кошарой надривно завывала Акбара, оплакивая похищенных волчат. И низким, утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если прежде, слыша волчий вой, Бостон проникался жалостью к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем поднималась злость, хотелось убить наконец этих настырных зверей, лишь бы не слышать их воя, который звучит проклятием и ему, а он-то в чем виноват? Минувшей ночью он пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить волков, и у него даже созрел план, как это сделать. К тому же в тот день, когда он на совещании схватился с Кочкорбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех овец из его отары. Подпасок рассказал, что волки подобрались к отаре, и как они ни кричал, как ни махал палкой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и скрылись. Бостона этот случай вывел из себя. Если так будет продолжаться, подумал он, нам останется только уйти отсюда, позорно бежать от волков. Акбара и Ташчайнар не понимали, что своим немолчным воем подписывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бостон твердо знал, что ему делать, и готов был немедленно приступить к исполнению своего замысла, если бы ему не пришлось на другое утро отправиться по хозяйственным делам на Побережье. Но он так и решил: вначале, чтобы жена не упрекала, навести порядок в саду, а потом уж расправиться с волками.

Вот о чем думал в пути Бостон...

С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он управился в один день. Ему удалось найти в селе расторопного парня, и тот взялся за плату быстро сделать эту работу. Бостон пообещал ему одного агненка от своих черных овец.

Покончив с делами, Бостон решил купить новую игрушку Кенджешу. Хотелось порадовать сыночка. Такой славный мальчуган бегает по дому, через месяц с небольшим ему уже исполнится два года. Забавный, бойкий мальчишка радовал своими выходками старшего Бостона. Каждое новое словечко малыша приводило отца в восторг. Через него постигал Бостон глубинный, сокровенный смысл жизни, таящийся в привязанности к дитяти и к его матери. То была конечная и высшая точка предназначенной Бостону судьбы. Он хотел любить жену и малыша, а сверх того ничего не требовал и не желал от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспосланное нам. Он об этом никогда не говорил, но про себя знал, что так оно и есть. И верил, что жена разделяет в душе его чувства.

Бостон спешился возле раймага «Маданият», прошел внутрь и купил заводную лягушку, лупоглазую, смешную,— то-то малыш будет забавляться! Выйдя на улицу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая была совсем рядом с раймагом, и он, на беду, решил зайти туда. Едва Бостон вошел в полутемный зал, пропитавшийся запахом дешевой пищи, которой кормили здесь проезжих шоферов, и сел неподалеку от входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бостон не оглянулся — он и так понял, что тот гуляет здесь с дружками. «Сидит пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека», — неприязненно подумал Бостон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал: а, собственно, с какой стати, почему он должен уходить не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уже, должно

быть, доложили, что в углу сидит Бостон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бостону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Кор Самат, Кривой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз.

— Салам, Бостон, салам! — С многозначительной усмешкой Самат протянул руку Бостону — и ничего не поделаешь, пришлось ее пожать. — Ты чего здесь в одиночестве? — приступился он к Бостону. — А мы там с Базарбаем сидим. Давно не встречались, решили собраться. Пошли к нам. Сам Базарбай зовет.

— Скажи, ты некогда мне, — ответил Бостон как можно сдержаннее. — Я сейчас вот доем и сразу уеду в горы.

— Да успеешь еще — куда они денутся, твои горы?

— Нет, спасибо. Дела.

— Ну смотри, зря ты так, зря, — бросил, уходя, Кор Самат.

Вслед за ним явился и сам Базарбай уже заметно навеселе, а за Базарбаем потянулись и другие.

— Слушай, ты чего нос воротить? Тебя зовут как человека, а ты? Ты что, лучше других себя считаешь? — с ходу начал цепляться Базарбай.

— Я же сказал, некогда мне, — спокойно ответил Бостон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ, к которому в другой раз он бы после первой ложки ни за что не притронулся.

— У меня к тебе дело есть, — сказал Базарбай и нахально сел против Бостона.

Остальные остались стоять в ожидании захватывающей сцены.

— Какие у нас с тобой могут быть дела? — ответил Бостон.

— Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы о тех волчатах, Бостон. — Базарбай нахмурился и покачал головой.

— Мы с тобой уже говорили о них, стоит ли второй раз возвращаться к этому?

— По-моему, стоит.

— А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и пойду отсюда.

— Куда спешишь, собака? — Базарбай резко встал и, нагнувшись, приблизил к Бостону искаженное злобой лицо. — Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у директора в кабинете назвал меня провокатором, сказал, что из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист, а ты один у нас честный?

Бостон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лицом к лицу.

— Перестань трепать языком, — осадил Базарбая Бостон. — Фашистом я тебя не называл — не догадался, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый злодей, — верно. Я это тебе и прежде говорил и сейчас скажу. Но лучше будет, если ты вернешься на свое место и перестанешь ко мне лезть.

— А ты не указывай, кому где быть и что делать! — не на шутку разъярился Базарбай. — Ты мне не указ. Плевал я на тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а ты-то сам кто такой? Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара — и все шито-крыто. Да ты, гад, снюхался с его женой, еще когда Эрназар был жив, а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты и решил столкнуть Эрназара в пропасть на перевале, а сам жениться на этой суке Гулюмкан. Попробуй докажи, что это не так. Почему не ты в пропасть провалился, а Эрназар? Шли-то вы одной дорогой. Думаешь, никто ничего не знает! Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты и твоя сука Гулюмкан? Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака, а ты, гад, обжимаешь его бесстыжую жену, суку продажную, и живешь себе припеваючи! А еще партий-

ный! Да тебя надо гнать взашей из партии. Ишь, передовик нашелся какой, стахановец! Да тебя под суд надо!

Бостон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на Базарбая, не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вызывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку. Но он сделал над собой усилие, стиснул челюсти и сказал задыхающемуся от злости Базарбаю:

— Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова для меня ничего не значат. И я равняться на тебя не буду. Думай и говори обо мне что хочешь и как хочешь. А сейчас прочь с дороги. Эй, парень, — окликнул он официанта, — на, получи за обед. — Сунул ему пятерку и молча пошел прочь.

Базарбай ухватил его за рукав:

— А ну постой! Не спеши к своей суке! Может, она с каким-нибудь чабаном крутит, когда тебя нет, а ты им помешаешь!

Бостон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского.

— Убери-ка руку! — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая. — Не заставляй меня повторять, убери руку! Слышишь? — сказал он, раскачивая увесистую темную бутылку.

Так и вышел Бостон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Донкулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью — эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезвев, он ужаснулся: ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства, спасибо бог спас, не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая. Люди, ехавшие на прицепном тракторе, удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед: что это случилось с Бостоном, такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бостон — окончательно пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Донкулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства.

Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Босто́ну, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кенджеша, такую славную забаву — лупоглазого, большеротого заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая, можно было и в другой раз купить малышу игрушку, в том же самом раймаге «Маданият», но почему-то ему подумалось, что это плохая примета. Нельзя было, ни в коем случае нельзя забывать предназначенную для малыша вещицу. А он забыл...

Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его.

И что за наваждение такое, думал он, ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закончившаяся смертоубийством, опять же началась со спора из-за этих волков...

Осуществить свое намерение Бостон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Босто́ну заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем, не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрнзара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулюмкан. Знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с Базарбаем, и грязная брань,

обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны и ей. Но пока он молчал — не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный Базарбай, слишком это было мерзко и отвратительно.

Думалось ему также и о том, как странно, тяжело и непросто сложилась их с Гулюмкан жизнь. Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой, какой только клеветы о них не распространяли. И, однако, Бостон не сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее, ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие... Да нет, это была бы какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней, и пусть подчас она и недовольна им и бывает, что и несправедлива, но она ему предана, а это самое главное. Но между собой они об этом никогда не говорили, это разумелось само собой. И если бы Бостона спросили, что для него значит этот малыш, этот непоседливый мальчуган, знающий всего не сколько слов, этот улыбочивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бостон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было превыше слов, ибо в малыше он видел себя в богом данной невинной ребячьей ипостаси...

Но душой он понимал и осознавал все, и, лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что, если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение. Бостону хотелось спокойствия...

Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой кошарой застонала, завывала Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала спросонья, проклинающая жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. И Бостон вновь озлился, ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света, и снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный Базарбай, и он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бостону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного Базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы, думалось Бостону, ничуть, наоборот, только радовался бы, что уничтожил наконец эту гнусную тварь в человеческом образе... А волки все выли...

Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того чтобы выстрелить раз или два, Бостон выпалил один за другим пять зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог, неизвестно почему взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой «Барс», сосредоточенно чистил ее, точно она была срочно необходима ему. За этим делом он еще раз продумал, как расправиться с волками, и решил действовать немедленно, едва рассветет.

А в то же время Акбара и Ташчайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой длинными, свалывшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился — можно было подумать, что она бешеная. Нет, не унималось горе волчицы, лишившейся детенышей, не могла она забыть своей потери. Чутье тупо подсказывало ей, что волчата в Бостоновой кошаре — больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за которым в тот злополучный

день они гнались по пятам. Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому дико лютовали волки в те дни, беспорядочно били скот в окрестностях — и не столько чтобы утолить голод, сколько из неуемной, неутолимой потребности заглушить, заесть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно страдала Акбара — не могла никак смириться. Не было дня, чтобы она не ходила к тому месту, и не было дня, чтобы они с Ташчайнаром не бродили вокруг да около Бостонова становища. На это и рассчитывал Бостон, решивший во что бы то ни стало уничтожить волков.

На другой день с утра Бостон распорядился не выгонять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и дать животным побольше зерновой подкормки и поить из поилок во дворе. А сам отобрал из отары штук двадцать маток с махонькими ягнятами, по большей части с двойнями, чтобы сильнее шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную сторону.

Никого с собой не взял. Шел один, погонял стадо длинной палкой. На плече нес начищенное и надраенное ночью ружье, заряженное на всю обойму. Шел не торопясь, долго. Надо было как можно дальше уйти от жилья.

День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зеленеющую на буграх и впадинах траву. Редкие белые-белые кучерявые облака безмятежно не жили в небесной голубизне. Жаворонки пели, среди камней токовали горные куропатки — словом, благодать. Лишь взметнувшиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные снежные хребты, где в любую минуту могла начаться вьюга, и черные тучи, пригнаные невесть откуда диким ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том, что благодать эта не вечна.

Но пока ничего не предвещало дурных перемен. Небольшое стадо овцематок с ягнятами, беспорядочно перекликаясь, шло туда, куда его гнал человек. Ягнята резво попрыгивали, кидались к маткам пососать на ходу молока. Но Бостон с самой ночи был настроен мрачно. И чем больше он думал, тем больше злился и на волков и на Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связываться, памятуя о том, что не тронь — не воняет, а волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить — другого выхода он не видел. Расчет его был прост: голоса маток и ягнят непременно привлекут волков, а он засядет в засаде. Волки набросятся на маток с ягнятами, и при известном везении он вполне может их подстрелить. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает... Так оно и вышло.

Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Расположив овец в укромной, хорошо просматривавшейся лощине, Бостон залег на ее краю, затаившись с ружьем среди камней и редкого кустарника. Стрелял он метко, с детства ходил на охоту, уже не один иссык-кульский волк был на его счету. И потому не сомневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы удалось их приманить. Шумливые матки и ягнята-двойни все время подавали голоса, окликались друг друга, однако время шло, а звери все не появлялись, хотя в другие дни часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных стадах, и, как правило, всегда в дневное время.

Солнце стало припекать. Лежа на фуфайке под кустом, Бостон в другое время, наверное, и вздремнул бы, но сейчас не мог себе этого позволить. Да и на душе было сумрачно: тяжело было сознавать, что его обвиняют в гибели Эрназара. Враги его, и Кочкорбаев и Базарбай, объединялись, и каждый на свой лад облыжно оговаривал его, загонял в тупик. И не понимал он, почему так устроена жизнь: за что, почему самые разные люди ненавидят его? А тут еще

эти волки привязались, вынимают душу. От этого и дома покоя нет. И то ли еще будет, когда до жены дойдут слухи о его стычке с Базарбаем. Столовая была полна народу, когда Базарбай поносил последними словами и его жену и его самого, а сколько среди них недоброжелателей...

А волки все не шли, и Бостон уже начинал терять терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух — выжидал, был начеку. Важно было приметить зверей как можно раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бросятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся, было не так просто: у домашних овец нет нюха, да и зрение у них никудышное, словом, глупее и нерасторопнее нет на свете животных. Для волков овцы самая легкая добыча, и спасти овец от волков может лишь человек, и потому волкам приходится иметь дело лишь с человеком. Так было и в этот раз...

Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят, то и дело покорно подставляя им сосцы, и больше никаких забот не знали. Опасность заметил лишь Бостон...

Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетившихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотала, стала перелетать с места на место. Бостон насторожился, взвел курок, но высовываться не стал, а, напротив, еще старательнее схоронился. Действовать надо было наверняка. Он готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь бы выманить хищников на открытое место. Но волки, видимо, почуяли опасность — не исключено, что их оповестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном месте, они поспешили туда, где сидел в засаде Бостон, и здесь тоже подняли нахальный, громкий стрекот, хотя Бостон, казалось бы, не должен был привлечь их внимания — он не шевелясь сидел за кустом. Как бы то ни было, волки выскочили не сразу — оказалось, что они разделились: Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Ташчайнар с противоположного (как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хоронился с ружьем Бостон).

Но все это обнаружилось не сразу.

Ожидая появления волков, Бостон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся звери. Вокруг царил покой и тишина: овцы мирно паслись, ягнята резвились, сороки перестали стрекотать — слышно было лишь, как неподалеку бежит с горы ручей и поют в кустах птахи. Бостон уже устал от долгого ожидания, но тут среди камней промелькнула серая тень, и овцы резко шархнулись в сторону и неуверенно замерли в испуганном ожидании. Бостон весь напрягся, он понял — это волки подпугнули стадо, чтобы узнать, где затаился человек: в таких случаях любой пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бостона была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал. И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая тень, и хищник в два прыжка настиг всполошившихся овец. То была Акбара. Бостон вскинул ружье, лова на мушку цель, и собрался уже нажать курок, когда легкий шорох позади заставил его обернуться. В ту же секунду он не целясь выстрелил в упор в набегающего на него огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Выстрел настиг Ташчайнара уже в прыжке, но упал он не сразу; а, злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бостону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бостон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен — Акбара, оставив сваленную с ходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как Акбара перемахнула через ручей. Выстрелил и промахнулся...

Бостон перевел дух, удрученно огляделся вокруг. От напряжения

он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг — Акбара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось — подстрелить ее будет не так-то просто: волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бостон, не оглянься он вовремя на Ташчайнара и не срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Обдумывая происшедшее, Бостон понял, что, приближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и разделились, и когда Ташчайнар заметил, что человек с ружьем угрожает волчице, не подозревающей о засаде, он не раздумывая кинулся на врага...

Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бостон пошел взглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки, глаза его уже остекленели. Бостон потрогал голову Ташчайнара, громадная голова — лошади впору, как только зверь носил такую тяжесть, а лапы — Бостон поднял их, взвесил и невольно восхитился: такая сила чувствовалась в этих лапах. Сколько исхожено ими, сколько задрано добычи!

После некоторых колебаний Бостон решил не обдирать Ташчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело. Тем более что волчица уцелела — торжествовать нет причин.

Бостон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо домой.

А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый. Иногда Бостон приостанавливал работу и затаивал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли, часом, волчица. Бьющее без промаха ружье Бостона лежало рядом, стоило только протянуть руку...

Но Акбара пришла лишь глубокой ночью... Легла возле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рассвета, а с первыми лучами солнца исчезла...

VI

Стояли весенние дни. можно даже сказать — начало лета. Овцеводам пора было переключиваться на летние пастбища. Те, кто зимовал в предгорьях, переходили в глубинные долины и ущелья — на новый горный травостой, чтобы постепенно приближаться к перевалам. Те, кто зимовал на полях, на стойловом содержании, выходили на запасные весенние выпасы. Пора была хлопотная: перегон скота, перевоз домашнего скарба и, что тяжелее всего, стрижка овец; все это, вместе взятое, создавало напряженную обстановку. К тому же каждый торопился как можно раньше поспеть на летовку и занять лучшие места. Одним словом, дел было невпроворот... И у каждого были свои заботы...

Во всей округе лишь Акбара оставалась неприкаянной. Лишь ее никак не касалась кипящая вокруг жизнь. Да и люди, можно сказать, забыли о ней: после потери Ташчайнара Акбара ничем о себе не напоминала, даже у зимовья Бостона и то перестала выть по ночам.

Беспросветно тяжело было Акбаре. Она сделалась вялой, безучастной — ела всевозможную мелкую живность, что попадалась на глаза, и большей частью уныло коротала дни где-нибудь в укромном месте. Даже массовое перемещение стад, когда по горам передвигаются тысячные поголовья и под шумок ничего не стоит утащить зазевавшегося ягненка, а то и взрослую овцу, оставляло ее совершенно равнодушной.

Для Акбары мир как бы утратил свою ценность. Жизнь ее теперь была в воспоминаниях о прошлом. Положив голову на лапы, Акбара целыми днями вспоминала радостные и горестные дни и в Моюн-кумской саванне, и в Приалдашских степях, и здесь, в Прииссыккульских горах. Снова и снова вставали перед ее взором картины минувшей жизни, день за днем прожитой вместе с Ташчайнаром, и вся

кий раз, не в силах вынести тоски, Акбара поднималась, понуро бродила окрест, снова ложилась, примостив постаревшую голову на лапы, снова вспоминала своих детенышей — то тех четверых, что недавно похитили у нее, то тех, что погибли в моюнкумской облове, то тех, что сгорели в приозерных камышах, — но чаще всего вспоминала она своего волка, верного и могучего Ташчайнара. И порой вспоминала того странного человека, которого встретили они в зарослях конопли, — вспоминала, как он, голокожий, беззащитный, забавлялся с ее волчатами, а когда она ринулась на него, готовая с налета перекусить ему горло, в испуге присел на корточки, заслонив голову руками, и побежал от нее без оглядки... И как потом, уже в начале зимы, она увидела его на рассвете в Моюнкумской саванне распятого на саксауле. Вспоминала, как всматривалась в знакомые черты, как он, приоткрыв глаза, что-то тихо прошептал ей и умолк...

Теперь прошлая жизнь казалась ей сном, безвозвратным сном. Но вопреки всему надежда не умирала, теплилась в сердце Акбары — порой ей казалось, что когда-нибудь ее последний помет обнаружится. И потому ночами Акбара кралась к Бостонову зимовью, но уже не выла истошно, привычно и грозно, а лишь прислушивалась издали: вдруг ветер донесет тьякканье подросших волчат или их знакомый сладостный запах... Если бы возможно было такое чудо! Как рванулась бы Акбара к своим ненаглядным волчатам — не побоялась бы ни людей, ни собак, вызволила бы, унесла бы детей своих из плена, и они помчались бы как на крыльях прочь отсюда в другие края и там зажили бы жизнью вольной и суровой, как и полагается волкам...

Бостону же эти дни не давали покоя многие докуки — мало ему забот с перекочевкой, так навязались еще дурацкие казенные дела. Кочкорбаев, как и обещал, написал все-таки жалобу на Бостона Уркунчиева в вышестоящие инстанции, и оттуда прибыла комиссия разбираться, кто прав, кто виноват, но сама разошлась во мнениях. Одна часть комиссии считала, что чабана Бостона Уркунчиева необходимо исключить из партии, потому что он оскорбил личность парторга и тем нанес моральный ущерб самой партии, другая считала, что этого делать не следует, потому что чабан Бостон Уркунчиев выступил по делу и критика его имела целью повышение производительности труда. Вызывали в комиссию и Базарбая Нойгутова. Брали у него письменные объяснения по поводу волчат, которых Бостон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово... Словом, завели дело по всем правилам...

На два последних вызова Бостон не явился. Передал, что ему надо перегонять скот в верховья, переезжать туда с семейством на все лето, что сроки поджимают, и потому пусть разбираются без него, а он согласен на любое наказание, которое комиссия сочтет нужным, чем очень обрадовал Кочкорбаева, которому такое поведение Бостона было только на руку.

Но иного выхода у чабана не было. Перегон на летние выпасы уже начался, а опоздать с перегоном Бостон бы себе никогда не позволил. В последние годы скот угоняли своим ходом днем раньше, а вслед за этим перевозили переносное жилье и весь домашний скарб до тех мест, куда могли пройти машины, дальше же снова передвигались дедовским, вьючным, способом. Но и это сильно облегчало и, главное, ускоряло перегон скота. Вот и Бостон вначале отогнал скот на летовку, оставив при отаре своих помощников, а за ночь вернулся назад, чтобы на другой день, погрузив на машину семейство и домашний скарб, уехать до осени в горы.

И наступил тот день...

Но ему предшествовала ночь, когда Акбара вернулась в свое старое логово. Впервые после гибели Ташчайнара. Одинокая волчица

избегала старого логова под свесом скалы — знала, что оно пусто и что там ее никто не ждет. И все-таки однажды исстрадавшейся Акбаре захотелось вдруг побегать знакомым путем, юркнуть через лазы в логово — а вдруг там ждут ее детеныши. Не справилась она с искушением, поддалась самообману.

Акбара бежала как сумасшедшая, не разбирая пути, по воде, по камням, мимо ночных костров, засветившихся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку ей громыхали выстрелы...

Так бежала она, одинокая и обезумевшая, по горам под высокой, стоявшей в небе луной... И когда добежала до логова, так заросшего новой порослью травы и барбариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно осиротевшее, забытое жилье... А перебороть себя, уйти прочь тоже не было сил... И вновь обратилась Акбара к волчьей богине Бюри-Ане, и долго плакалась, скуля и воя, долго жаловалась на свою горемычную судьбу и просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где нет людей...

Бостон той ночью был в дороге. Возвращался после отгона скота назад на зимовье. Можно было, конечно, дожидаться утра и потом двинуться в путь. Но тогда он прибыл бы на кошт только к вечеру, и ему пришлось бы ждать целый день и только потом погрузиться на грузовик и отправиться вслед за гуртами, а он не мог себе позволить потерять столько времени. К тому же на коште почти никого не оставалось, кроме Гулюмкан с малышом да еще одной семьи, которые ждали, когда придет их очередь выезжать на летовку, а мужчин и вовсе не было.

Вот почему Бостон так спешил той ночью, благо Донкулюк, как всегда, шел сноровисто и уверенно. Хорошо шел, душа радовалась. Скорый шаг у Донкулюка. При лунном свете поблескивали уши и грива золотистого дончака, на плотном крупе, как рябь на воде ночью, переливались мускулы. Погода стояла ни жаркая, ни холодная. Пахло травами. За спиной у Босто́на висело ружье — мало ли что может случиться ночью в горах. А уж дома Бостон вернет ружье на место, и неразряженное ружье будет висеть на гвозде с полной обоймой в пять патронов.

Бостон рассчитывал прибыть на кошт еще на рассвете, часам к пяти, и похоже было, что так оно и будет. Этой ночью он лишний раз убедился, как привязан к жене и сыну: он уже через день затосковал по ним и теперь спешил домой. И больше всего его тревожило в пути, как бы волчица Акбара не стала снова бродить возле жилья и не подняла свой жуткий вой, наводя страх на Гулюмкан и Кенджеша. Успокаивал Бостон себя лишь тем, что после убийства волка волчица перестала приходить — во всяком случае, ее не стало слышно.

Но напрасно беспокоился в ту ночь Бостон.

В ту ночь Акбара в Башатском ущелье жаловалась Бюри-Ане у старого логова. И даже если бы Акбара оказалась возле Бостонова кошта, она никого не потревожила бы — после гибели Ташчайнара она лишь скорбно вслушивалась в доносящиеся со становища голоса...

И вот настал тот день...

Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило уже всюю: прибыв на рассвете, он спал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кенджеша к отцу, в какой-то момент, занятая сборами, она не уследила за малышом. И малыш, что-то лопоча, бесцеремонно трепал отца по щекам. Бостон открыл глаза, улыбаясь, обнял Кенджеша, и удивительная нежность к мальчишке с особой силой охватила его. Отрадно было сознавать, что Кенджеш, его плоть и кровь, растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два года он смышлен, любит родителей, что и лицом и складом характера

он похож на него, только глаза, влажно блестящие, как черные смоудины, материнские. Всем удался мальчик, и, глядя на него, Бостон гордился, что у него такой чудесный сын.

— Что ты, сынок? Мне встать? А ну, потяни меня за руку! Потяни, потяни, вот так! Ого, какой силач! А теперь обними меня за шею!

Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить любимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой, с молоком и солью, и поскольку не только отары, а даже собаки и те были далеко в горах, Уркунчиевы могли позволить себе хоть раз в году выпить чай без помех, в тишине и спокойствии. Мало кто понимает, как редко выпадает такой отдых чабанской семье. Ведь скотина требует внимания непрерывно, круглый год и круглые сутки, а когда в стаде чуть не тысяча голов, а с приплодом и все полторы, то о таком свободном от забот утре чабанская семья может только мечтать. Они сидели, наслаждаясь покоем перед тем, как приступить к сборам — ехали ведь на все лето. Машина ожидалась к полудню, и к этому часу весь домашний скот должен был быть собран.

— Ой, прямо не верится, — все приговаривала Гулюмкан, — как хорошо, какая благодать, какая тишина! Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. Кенджешик, скажи отцу, что не надо никуда ехать.

Кенджешик что-то лепетал, подсаживался то к отцу, то к матери, а Бостон добродушно соглашался с женой:

— А что? Почему бы нам и не прожить здесь все лето?

— Сказал тоже, — смеялась Гулюмкан, — да ты через день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Донкулюке не угоишься!

— И верно, не угоишься даже на Донкулюке! — поддакивал довольный Бостон и поглаживал жесткие усы. Это означало, что он счастлив.

Так чаевничали они за низким круглым столом, взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители хотели его накормить, но малыш уж очень расшалился в то утро, бегал, резвился, никак не усадишь его есть. Двери распахнули — при закрытых дверях становилось жарко, — и Кенджеш то и дело беспрепятственно выскакивал наружу, носился по двору, наблюдал за маленькими проворными, пушистыми цыплятами, сновавшими возле кочки. То была курица их соседа, ночника Кудурмата. Сам он был уже на летовке, а жена его Асылгуль собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми на машине. Она уже заглянула к ним, сказала, что собрала вещи, осталось только посадить курицу с цыплятами в корзину, но это она успеет сделать, когда придет машина. А пока она собирается простирнуть да просушить белье.

Так проходило то утро. Солнце уже изрядно припекало. Все были заняты своими делами. Бостон с женой увязывали узлы, укладывали посуду. Асылгуль устроила постирушку — слышно было, как она то и дело выплескивает из дверей мыльную воду. А маленького Кенджеша предоставили самому себе, и он то выбежал из дому, то опять забегал в дом и все крутился возле цыплят.

Заботливая кочка тем временем повела цыплят подальше от дома покопаться за углом в земле. Малыш подался за цыплятами, и незаметно они оказались за глухой стеной сарая. Здесь, среди лопухов и конского щавеля, было по-летнему покойно и тихо. Цыплята, попискивая, рылись в мусоре, а Кенджеш, тихо смеясь, разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить. Кенджеша кочка не боялась, но когда вблизи, неслышно ступая, появилась большая серая собака, курица встревожилась, недовольно закудаhtала и предпочла увести цыплят подальше. Кенджеша же большая серая собака с удивитель-

ными синими глазами ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно помахивая хвостом. То была Акбара. Волчица давно уже бродила около зимовья.

Волчица решила так близко подойти к человеческому жилью потому, что, начиная с минувшей ночи, на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи голоса. Влекомая неутихающей материнской тоской, неумирающей надеждой, она осторожно обошла все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утраченных волчат и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только человеческий, и когда он потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку, изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у его ног, стала играть с ним — ей хотелось, чтобы он пососал ее сосцы, но он вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и позвал ее за собой. «Жюр! Жюр!»⁵ — кричал он ей, заливаясь счастливым смехом, но Акбара не решалась идти дальше, она знала, что там люди. Не двигаясь с места, волчица грустно поглядывала синими глазами на мальчугана, и он снова подошел к ней и гладил ее по голове, а Акбара вылизывала детеныша, и ему это очень нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах. Как отрадно было бы, думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загривок — таким манером волки утаскивают из стада ягнят.

Мальчик вскрикнул пронзительно, коротко, как раненый заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кенджеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бостона.

— Волк! Волк ребенка утащил! Скорее, скорее!

Бостон не помня себя сорвал со стены ружье и бросился из дома, следом за ним Гулюмкан.

— Туда! Туда! Вон Кенджеш! Вон волчица его тащит! — вопила соседка, в ужасе хватаясь за голову.

Но Бостон уже и сам увидел волчицу — она трусила, неся на загривке дико орущего малыша.

— Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! — закричал во весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей.

Акбара припустила, а Бостон несясь вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом:

— Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! Оставь, брось ребенка! Акбара! Послушай меня, Акбара!

Он словно забыл, что для волчицы его слова равным счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали ее, и она побежала быстрее.

А Бостон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару.

— Акбара! Оставь моего сына, Акбара! — зывал он.

А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причитаниями бежали Гулюмкан и Асылгуль.

— Стреляй! Стреляй быстрее! — кричала Гулюмкан, забыв, что Бостон не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша.

Крики, погоня лишь взбудоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой

⁵ Ж ю р — пошли.

держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы и, даже когда позади прогремел выстрел и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бостон снова выстрелил в воздух, не зная, чем еще утратить волчицу, но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бостон пришел в отчаяние: как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи?

— Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына! — задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу.

И в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута — и он упустит последний шанс, Бостон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться: он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться — грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами и, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам, волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла понизу. Бостон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок.

Вскинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне побежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве...

И вот наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он побежал к волчице. И согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш.

А мир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез, его не стало, на его месте остался только бушующий огненный мрак. Не веря своим глазам, Бостон склонился над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Потом повернулся и, онемев от горя, пошел навстречу бегущим к нему женщинам.

Ему почудилось, что жена его растет у него на глазах, и вот уже ему навстречу шагает гигантская женщина с огромным деформированным лицом, простирая к нему огромные деформированные руки.

Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им малыша. За ним, вопя и причитая, брела Гулюмкан, ее поддерживала под руку голая соседка.

Бостон, оглушенный горем, ничего этого не слышал. Но вдруг огушительно, точно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось, и, воздев глаза к небу, страшно закричал:

— За что, за что ты меня покарал?

Дома он уложил тело малыша в его кроватку, уже приготовленную к предстоящей погрузке на машину, и тут Гулюмкан припала к изголовью и завывала так, как выла ночами Акбара... Рядом с ней опустилась на пол Асылгуль...

Бостон же вышел из дому, прихватив с собой ружье. Одну обойму вставил в магазин, другую сунул в карман, точно собирался на бой. Затем кинул седло на спину Донкулюка, одним махом вскочил на коня и уехал из дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке Асылгуль...

А отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Донкулюку, и золотистый дончак, помчал его по той же дороге, по которой в конце зимы он скакал к Таманскому зимовью.

Тот, кого он хотел застать и кого непременно нашел бы даже под землей, был на месте.

На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже грузили машину — отправляли домашний скарб на летние выпасы. Занятые этими хлопотами, люди не заметили, как за кошарой появился Бостон, как он спешился, как скинул ружье, как перезарядил его, поставил на боевой взвод, а затем снова повесил на плечо.

Его заметили, лишь когда он уже приблизился к месту погрузки. Базарбай, прыгнув с грузовика, удивленно уставился на него.

— Ты чего? — сказал он Бостону, поскребывая в затылке и вглядываясь в его черное, как обугленная головешка, лицо. — Ты чего тут? Чего так смотришь? — всполошился он, предчувствуя что-то недоброе. — Опять насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего? Попросили меня, я и написал.

— Плевать мне, что ты там написал, — мрачно бросил Бостон, не отрывая от него тяжелого взгляда. — Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостойн жить на этом свете, и я сам порешу тебя!

Базарбай не успел даже заслониться, как Бостон вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил в него. Базарбай зашатался, кинулся было спрятаться за грузовик, но второй выстрел настиг его, угодив в спину, и Базарбай, трижды перекрутившись, ударился головой о кузов и, рухнув на землю, судорожно заскреб ее руками. Все это произошло так неожиданно, что поначалу никто не двинулся с места. И только когда несчастная Кок Турсун с воплем упала на тело мужа, все разом закричали и побежали к убитому.

— Ни с места! — громко приказал Бостон, озираясь по сторонам. — Чтоб никто ни с места! — пригрозил он, направляя дуло на каждого по очереди. — Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует. И потому предупреждаю, чтоб никто ни с места! В случае чего у меня патронов хватит! — И он похлопал себя по карману.

Все остановились как громом пораженные, никто ничего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли дар речи. Только несчастная Кок Турсун продолжала причитать над телом ненавистного мужа:

— Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, потому что ты и был собака! Убей и меня, убийца! — рванулась жалкая и безобразная Кок Турсун к Бостону. — Убей и меня, как собаку. Я и так света белого сроду не видала, зачем мне такая жизнь! — Она попыталась еще что-то выкрикнуть: мол, она предупреждала Базарбая, что нечего ему было похищать волчат, что это до добра не доведет, но этот изверг ни перед чем не останавливался, даже диких зверей и то пропывал, — но тут двое пастухов зажали ей рот и оттащили подальше.

И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг, Бостон негромко, но жестко сказал:

— Хватит, я сам отправлюсь сейчас куда следует, сам на себя заявлю. Повторю — сам! А вы все оставайтесь на своих местах. Слышали?

Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случившимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг понял, что с этой минуты он преступил некую черту и отделил себя от остальных: ведь его окружали близкие люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они его знали, с каждым из них у него были свои отношения, но теперь на их лицах читалось отчуждение, и он понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если бы его ничто и никогда не связывало с

ними, как если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них.

Ведя на поводу коня, Бостон пошел прочь. Он уходил не оглядываясь, уходил в приозерную сторону, чтобы сдать там властям. Шел по дороге, понуриив голову, а за ним, прихрамывая и позвякивая уздечкой, следовал его верный Донкулюк.

То был исход его жизни...

— Вот и конец света,— сказал вслух Бостон, и ему открылась страшная истина: весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и последней его ипостасью — младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что он видел и что пережил на своем веку,— все это было его вселенной, жило в нем и для него, и что теперь, хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него — то будет иной мир, а его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света...

На пустынной полевой дороге к Приозерью Бостон вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем и зарыдал громко и безысходно.

— О, Донкулюк, один ты не понимаешь, что я натворил! — плакал он, содрогаясь всем телом от рыданий.— Как мне быть? Сына своими руками убил и, не похоронив, ухожу и любимую женщину оставляю одну.

Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулюка, закрепил стремяна на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам.

— Иди, иди домой, иди куда хочешь! — попрощался он с Донкулюком.— Больше мы не увидимся!

Ударил коня ладонью по крупу, шуганул его, и конь, удивляясь своей свободе, пошел на кошт.

Бостон же продолжал свой путь...

А синяя крутизна Иссык-Куля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть — и хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...



ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ

★

ВРЕМЯ

Шелот ветра

День короче на час,
Точно в чем-то увяз,
И, как губка, сочась,
Небо каплет на нас.
Ветер, вяло вертясь,
Желтый лист за листом
Прибирал про запас
И при этом шептал:
«Это было при нас...
Это было не раз.
Это будет не раз
И без нас и без вас...»

День короче на час.

Время

Весь вопрос очень прост:
На дверном косяке
Отмечается рост,
А потом...
Дело в том,
Что все дальше растем —
Через верхний косяк.
В общем, так или сяк
Все растет, становясь
Выше нынешних нас.
Этот лепет смешной,
Эти дискант и альт
Превращаются в бас.
И, на глаз матерей,
Все уходит скорей
И приходит скорей,
Чем хотелось бы им.
Даже чем-то чудней,
Даже странно самим,
Что любезный им мир
Стал для этих мужчин
Не родным, а чужим:
Слишком много седин,
Слишком много морщин,
Слишком тесно вокруг.
Слишком тихо вокруг.

Слишком грязно вокруг.
 Слишком долго вокруг...
 Сколько лет позади!
 Столько дел впереди!
 Мать, сама посуди...
 А потом?..
 Дело в том...
 Ждать нельзя!
 Мы не ждем.
 В пыль, в мороз, под дождем
 Все оставят свой дом,
 Редко вспомнят о нем...
 Дело именно в том,
 А не в чем-то ином!

Без одной строки совет

А соловьи на улице Павленко
 Не перестали петь.
 Наоборот!
 Прошло полгода, и всему переоценка:
 Весна — ку-ку, а чей потом черед?
 Пой, пташечка: жена твоя несется.
 Пой в честь ее и будущих птенцов!
 Потомство, если от ворон спасется,
 На ту весну пополнит хор певцов.

Вот — все, я в том числе — на середине года.
 Раскинулась в росе неяркая природа,
 И роза подмосковная — шиповник
 Слыхала, гордая: запел ее любовник,
 Ее супруг
 и строк моих виновник...

Тридцать первое августа

Последняя суббота в августе
 Шумит листвой осенней благости.
 Всех дольше держат зелень клены —
 Все исподволь готовят кроны
 Для перехода в листопад.
 А люди меряют на микроны
 Оставшиеся
 Рай и ад..

* * *

Осень мир накрыла тучами.
 Где июль с лучами глгучими?
 Бабье лето — где оно?!
 Неужели нас застанет
 Черно-белое кино?
 И под вьюгами застонет,
 И уже навек застынет
 Наше Переделкино?
 Хоть бы гаечки-синички

К нам слетались зимним
 днем,
 А не то до электрички
 Добежим и удерем!
 Снова будем жить в столице,
 Где огромные дома,
 И для нас не состоится
 Представление «Зима».

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

★

ПОЕЗД*

Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1

В вагон начальника дороги подцепили к скорому поезду № 16, в составе которого он и должен был прибыть в Березовск к девяти утра.

Внешне вагон не выделялся среди зеленых собратьев, если бы не антенны на крыше да наглухо зашторенные окна. Начинка же у него была особая — вагон являлся функциональным учреждением начальника дороги. И все, естественно, соответствовало. Купе проводников, кухня-буфет, два гостевых купе... Далее следовала резиденция самого начальника, состоящая из спальни-кабинета, душевой, туалета. Третий вагона занимал салон, напоминающий кают-компанию корабля. Вытянутый полированный стол окружало восемь стульев. Тут же просторный плюшевый диван, кресло. Телевизор, телефон, часы. На стене — скоростемер. Удивительно, как стандартная вагонная площадь вбирала в себя такое количество помещений...

Алексей Платонович Свиридов вышел к завтраку по-домашнему, в шерстяном тренировочном костюме.

Помощник начальника управления и руководители трех отделов, взятые Свиридовым в инспекционную поездку по восточным ходам северного плеча магистрали, уже сидели в салоне за добротным сервированным столом — проводницы выложились на славу, даже базарная квашеная капуста свешивала янтарные листья с высокой фарфоровой чаши. Еще обещали жаркое, а кто желает — может откусить и щей. Щей пожелал лишь начальник службы пути...

— Привык к утренним щам за десять лет изыскательской службы, — объяснил он свое желание. — Перед выходом в поле, часиков в шесть утра, заложишь полный котелок, весь день сыт... И всем советую, тем более таких щей.

— Кушайте, кушайте, милые, — ласково предлагала проводница. — Еще подолью...

Охотников до щей больше не оказалось.

Свиридов попросил немного жаркого.

— Мы тут рассуждали, Алексей Платонович, — уважительно вскинул глаза на Свиридова старший инженер службы движения Кутумов. — Называли бы проводников, скажем, поездными стюардами. Как в авиации, для престижа... А то — проводник. То ли собак сопровождает, то ли слепого через дорогу переводит.

— Тот, кто слепого переводит, поводырем называется, — важно поправил зам по кадрам.

Свиридов молча жевал мясо, задумчиво глядя прямо перед собой. Кутумов смущенно улыбнулся и принялся за бутерброд с сыром.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

— Падает престиж железнодорожника, что и говорить,— пришел на выручку коллеге начальник службы пути Храмцов.— К примеру, такой пустяк... Раньше на любом полотенце или салфетке красовался знак МПС. Красивый, с вензелем. Приятно было в руки взять, да и белье пропадало реже...

— Стюард, говорите? — оборвал Свиридов.— А что, Антонина Петровна,— обратился он к хлопчущей у стола проводнице,— если вас будут величать стюардессой, а?

— Хоть горшком назови, только в печь не сажай,— охотно отозвалась проводница.— Я на дороге четвертый десяток раскатываю. поразному меня величали. Иной пассажир так обозначит, что хоть стой, хоть падай... Чайку будете или кофе, Алексей Платонович, а то у нас и сок есть, манго?

— Кофе, Антонина Петровна, и покрепче,— отозвался Свиридов.— Кстати, какой начет с нас за такое знатное угощение?

— После предъявим, когда домой вернемся,— ответила проводница.— Чтобы разом.

Свиридов согласно кивнул. Несколько минут все ели молча, занятые своими мыслями.

— Матрисса уже на месте? — прервал молчание Свиридов.

— Так точно, Алексей Платонович,— отозвался помощник, деловитый молодой человек.— Матрисса вышла еще вчера.

Согласно плану инспекционной поездки вагон начальника дороги отцепят от скорого поезда в Березовске, и вся группа пересядет в моторизованный вагон-самоходку, или, как его называли, матриссу. Надо знакомиться с дорогой не только на главном, но и на вспомогательных ходах. Вертолетный осмотр дал Свиридову общее представление о новом своем хозяйстве, теперь он нуждался в детализации...

— Раньше, раньше,— прошамкал набитым ртом путеец Храмцов.— Вспоминать, что было раньше, только расстраиваться. Падает престиж дороги, падает.— Храмцов мельком взглянул на начальника, точно приглашая к разговору.

Свиридов не выносил подобной болтовни.

— Скажите, Храмцов,— проговорил он.— Сколько надо положить новых рельсов, чтобы привести в порядок южное плечо?

— Не припомню сейчас, Алексей Платонович,— с опаской ответил Храмцов.

— Как так? Недавно отправили записку в обком партии, приводили цифры. И не помните? Приезжаю в обком, мне показывают вашу записку, а я хлопаю глазами. Выходит, начальник дороги в стороне, а за дело болеет один начальник путевого хозяйства. Нехорошо, Храмцов. Хотите поссорить меня с обкомом?

— И вовсе нет! — растерялся Храмцов.— Все было не так.

— Потихе, Храмцов, я не глухой.— И переждав, Свиридов продолжил: — Кажется, в управлении не все мне верят. Пытаются представить мои начинания в невыгодном свете... Я приехал сюда работать всерьез и надолго.— И вновь помолчав, Свиридов добавил: — Вы сказали, Храмцов, что было не так. а как?

Храмцов испытывал неловкость оттого, что начальник затеял этот разговор при всех.

— Оставляете шанс оправдаться? — пробормотал он, набычившись.— Демократично, ничего не скажешь.

Свиридов резко обернулся и уставился на Храмцова острым взглядом.

— Демократично. А главное — принципиально, что весьма важно, Храмцов. Подумайте на досуге.

Свиридов сидел хмурый. Конечно, в управлении существовала оппозиция, как-никак Савелий Прохоров руководил дорогой не один год, были у него сторонники, друзья...

Самое трудное — собрать вокруг себя единомышленников. Особенно ему, пришельцу. Никакая сила не сможет так дискредитировать любое начинание, как собственный аппарат, если он не примет нового лидера. Свиридов был реалистом. Он понимал, что состав аппарата ему не заменить. Значит, надо изменить их отношение к делу...

К вагону начальника дороги торопились встречающие — начальник отделения Глымба, его заместители, местные руководители...

Свиридов по негласному протоколу сошел с площадки первым. На соседних путях он заметил красный сигарообразный корпус матрисы, гудящей дизелями. Свиридов рассчитывал провести час на отделении и отправиться дальше в глубинку километров на пятьсот. Была у него идея пустить стороной грузовой поток, основательно отремонтировать главный ход.

Глымба, тучный мужчина с багровыми склеротичными щеками, снял фуражку, оголив широкую лысину, протянул Свиридову ладонь. Пожатие у него было крепкое...

Пассажиры, спующие в ранний час по платформе, с любопытством глазели на высокого сутуловатого мужчину с четырьмя звездочками на рукавах кителя, что шел в сопровождении многочисленной свиты. После застойного воздуха вагона свежее апрельское утро захватывало хрустальной чистотой, еще хранившей в себе холодную ясность минувшей северной зимы.

Миновав опрятный вокзал, они направились к зданию отделения дороги, перешагивая через морозные рельсы, которые еще не скоро согреет яркое, но прохладное солнышко... У семафора их нагнал скорый поезд № 16 и, вероятно, радуясь тому, что наконец освободился от важного прицепного вагона, поприветствовал высокое начальство коротким уважительным сигналом.

Отделение дороги располагалось в двухэтажном деревянном здании, но скоро должно было перебраться в новое. Его уже строили неподалеку.

— Мы недовольны, — вздохнул Глымба. — Привыкли к своей светелке.

По певучим ступенькам Свиридов вошел в пахнущие смолой сени, увешанные яркими плакатами по технике безопасности.

Бабка-вахтер поднялась с табурета и приложила руку к пегой заячьей шапке.

— Ты что, Марья? — смущенно кашлянул Глымба.

— Генерал приехал небось. — Бабка продолжала держать у шанки смуглую ладонь.

— Марья в военизированной охране служила, — оправдывался Глымба. — Привыкла.

Кабинет Глымбы выглядел под стать хозяину. Крепкие бревенчатые стены, прикрытые железнодорожными схемами, графиками, плакатами. Сколько раз завхоз пытался обшить стены плитами из пресованной стружки, но Глымба не разрешил. И лампа на столе была старинная, где ее раскопали — неизвестно.

На тумбе несколько телефонов. Кресел не было, только стулья да табуреты. Надежные, тяжелые. Возможно, их Глымба собственноручно вытесал.

Свиридов сел за стол хозяина кабинета, сдвинул на затылок фуражку и поднял телефонную трубку. Те, кому удалось втиснуться в кабинет, застыли в уважительном молчании.

— Североград? Свиридов говорит. Соедините меня с управлением. — И, подождав самую малость, поздоровался с одним из своих заместителей. — Доложите обстановку. Какой плюс-минус? — Свободной рукой он помечал на листке услышанные цифры. — Сколько транзита? Три тысячи? А резерв? — Свиридов чуть повысил голос. — Какие у вас основания заявлять такую погрузку? Хорошо. — И нетерпе-

ливо перебил: — Главный вопрос — передача. — Он продолжал записывать, но глаза недобро сузились. — Минуточку! Выходит, только начальник дороги за порог, как передача на двести вагонов меньше? Так сразу подсечь налаженное дело! Я недоволен вами. Был бы самолет — вернулся б в Североград. Все! Я буду следить.

Свиридов оставил трубку и, высмотрев в почтительной толпе Глымбу, попросил провести его на график.

Поездные диспетчеры-графисты размещались в двух смежных комнатах. И в основном все женщины. Они сидели за столами и творили свою мудреную и ответственную работу.

Свиридов не торопясь прошел мимо, словно примериваясь. Наконец остановился за спиной самой на вид молоденькой «графини». На нежный затылок накатывался слабый, еще детский завиток льняных волос.

— Ну? Сколько пассажирских пропустила к девяти часам, красавица?

Девушка ответила.

— А грузовые придерживаешь? — Наметанным взглядом Свиридов увидел на графике несолько элементарных ходов проводки поездов, не замеченных диспетчером. Он подобрал линейку и карандаш. — Дайка мне, красавица, тряхнуть стариной. — Он опустил на стул рядом с девушкой. — Ах, черт... кажется, и впрямь не получается, — хитрил он, уверенно прокладывая кинжальную линию.

Девушка смотрела во все глаза.

— Что вы, что вы... здесь нельзя. Здесь брошенный поезд мешает. Я просто еще его не нанесла.

— Ну? А мне сказали, что на участке нет брошенных поездов. А они, голубчики, есть, дожидаются. Сидят машинисты, вас ласковыми словами поминают, ждут разрешения. — Свиридов азартно рассматривал график. — А если мы сюда подадим нечетным потоком, будет толк?

— Будет, — приняла игру девушка. — Даст восемьдесят километров — проскочит. И сюда. Подождет малость.

— Верно. Молодец, тумкаешь... Думал, ты так сидишь... Интересно тебе?

Девушка замялась и, покраснев, украдкой кивнула.

— То-то, — старался приободрить ее Свиридов. — Азарт! Лас-Бегас! Есть такой всемирный центр азартных игр. Им бы наш график — с ума посходили бы миллионеры. Разорились бы к чертям собачьим с нашими проводками. А кто здесь самый опытный диспетчер?

— Дядя Ваня, — ответила девушка и показала в сторону окна. — Наш профессор. Он вас запросто положит, — убежденно добавила девушка.

Свиридов засмеялся, поднял веселые глаза на свою свиту. Глымба украдкой вертел пальцем у виска, давая понять девушке, что так не разговаривают с начальством. Девушка смутилась.

Свиридов оставил ее и шагнул к затаившемуся толстяку в подтяжках и засаленной клетчатой рубашке, бросил взгляд на график... Цветные линии морщили все пространство. «Знает мужик свое дело, не придерешься», — сразу определил Свиридов.

— Давно работаете?

— Тридцать лет, — с некоторой снисходительностью ответил диспетчер.

— Чувствуется... Только что же вы, дядя Ваня, в подтяжках среди дам?

— Он у нас не франт, — подкинул женский голос со стороны.

— Я и вижу... А вы, девушки, почему не следите за своим единственным кавалером? Небось как что — бежите к нему вместо прямой связи.

— У нас и прямой связи нет. Все через телефонистку, как при царе Горохе, — поддал тот же женский голос со стороны.

Это насторожило Свиридова. Он взглянул на Глымбу. Тот развел руками: мол, истинная правда...

— Сколько пробиваем, не получается. Нет у нас прямой связи с соседями, — обескураженно пояснил Глымба.

— Что ж получается? И вправду каменный век? До семидесяти пар поездов в сутки... Ха! — И Свиридов мысленно помянул своего старого дружка Савелия Прохорова, бывшего начальника дороги. Отыскав взглядом помощника, приказал: — Запишите! Установить прямую телефонную связь... До пятнадцатого мая. Об исполнении доложить.

Свиридов распрощался и двинулся к выходу.

— Безграмотно ездим, — ворчал он, ни к кому не обращаясь. — Слабо пользуемся мощью техники, весом поездов...

Глымба, почтительно отстав на полшага, тяжело вздыхал, точно самолично волок за собой многотонный состав. За свою железнодорожную жизнь он повидал всякого. И начальников повидал разных. Новая метла хорошо метет, только осыпается быстрее. Но этот не осыплется. Глымба уже слышался о Свиридове. Это только кажется, что рельсы глухие — передают все, что твой телеграф...

— Может, задержимся? — робко пригласил Глымба. — Вы и не завтракали с утра, Алексей Платонович.

— Завтракал, Глымба... Да и дел по горло. матрисса заждалась. — Свиридов взглянул на Глымбу. — Есть ко мне вопросы?

— Есть. — Начальник отделения продолжал мять фуражку. — Личное дело, — добавил он негромко.

Свиридов вновь оглядел широкое лицо Глымбы, на котором затерялся маленький детский носик.

— Я вот что, Алексей Платонович, — волновался Глымба. — Заявление хочу подать. Уволиться хочу, поработался.

Свиридов выжидательно молчал. Глымба был на неплохом счету в управлении. Что это он так?

— Что это вы так? — обескураженно спросил Свиридов.

Глымба поглядывал исподлобья на стоящих поблизости сотрудников. Мысок тупорылого его башмака елозил по чисто вымытому полу. Точно смущенный мальчишка...

— Ступайте к матриссе, я догоню, — приказал Свиридов свите и, дождавшись, когда коридор освободился, обернулся к начальнику отделения. — Слушаю вас.

— Не потянуть мне, Алексей Платонович, — решился Глымба и поднял глаза на Свиридова. — Вы уж извините.

— Не понял, — сухо оборвал Свиридов. — Кому же потянуть если не вам? Опытный движенец...

— То-то и оно, что движенец, — воспрянул Глымба.

— Не придирайтесь. Это вам не помешало стать хорошим начальником отделения. Другому механику и не угнаться за таким движенцем, как вы.

— Не потянуть мне, Алексей Платонович, — уныло повторил Глымба. — Не смогу идти против местной власти. Привык уже... Недавно помог соседям — отдал свободные рефрижераторы. Стояли они без толку у мясокомбината... Так меня на ковер вызвали, головомошку задали. Чуть ли не партбилет грозилась отобрать.

— Интересно, — удивился Свиридов. — Очень интересно. Рефрижераторы принадлежат государству, это не частная собственность. Что за отношение такое!

— А вы не знаете? Так и относятся, — все вздыхал Глымба. — Главное, самим выскочить... Дорога всему затычка. Особенно в конце месяца. Не дай бог вдруг к сроку не будет под рукой вагонов. То, что

сами отправители работают ни шатко ни валко, это можно. А если нет вагонов, скандал на всю область. Точно из-за дороги все их беды...

— Ну и что?! — хмурился Свиридов.

— А то, что при старом начальнике общий язык находили. Не я, так руководство. На охоту его пригласят, ублажат, у нас тут места, сами видите, какие — красотища, отдыхай — не хочу. Вот и идет взаимное уважение. Всегда есть вагоны...

— За счет других дорог, — проговорил Свиридов.

— Не без этого, — согласился Глымба. — Я же с вами начистоту, Алексей Платонович... Вы ведь этого терпеть не будете, по почерку вижу... Меня и обложат, как волка. Что справа, что слева. Я и решил убраться...

— И место себе подыскали?

— Подыскал, — чистосердечно признался Глымба.

— А партбилет не будет жечь карман? — не удержался Свиридов.

— Я его при себе не держу, дома храню, — в тон ответил Глымба. — Надежней.

Свиридов резко обернулся и заспешил вниз по скрипящим ступенькам.

2

Латунный брелок с ключами теплой тяжестью оттягивал пальцы. Свиридов уже привык к своему жилищу в гостинице и не спешил решать квартирный вопрос. Да и некогда было. Если бы не мать, что звонила из Чернополяска чуть ли не каждый день, он и вовсе перестал бы думать о квартире...

Ковровая дорожка вбирала своим упругим ворсом каждый шаг. Свиридова это увлекало. Он шел, предвкушая момент, когда очутится наконец в кровати, в тихой надежной спальне, без рокочущих под ухом колес.

В ярко освещенном полукруглом холле Свиридов заметил повернутую к нему тыльной стороной высокую спинку кресла и над ней чей-то сивый затылок... Кресло резко развернулось на винтовой ножке, и Свиридов увидел Савелия, но узнал не сразу — тот был в непривычном для него сером цивильном костюме. С тех пор как они закончили институт, пожалуй, впервые Свиридов видел своего приятеля не в форме... «Подчеркивает ситуацию», — мелькнуло в голове Свиридова, но в следующее мгновение он уже чувствовал железные объятия старого приятеля. Сам Свиридов был не из хлипких, но с Савкой Прохоровым ему не тягаться. Ростом еще куда ни шло, а вот массой...

— Что ж ты, сукин сын, не проведаешь болящего друга? — укорил Савелий, пряча за добродушием немалую обиду.

— Собирался, клянусь тебе. — оправдывался Свиридов, ощущая облегчение, что встреча их наконец состоялась. И так просто, по-человечески. Молодец, Савелий, умница.

Свиридов распахнул дверь номера и пропустил Савелия в темную прихожую. Включил свет.

— Скучно живешь, начальник, — проговорил Савелий, окидывая взглядом пустую вешалку.

— Ничего, все впереди, — шутливо ответил Свиридов, провожая приятеля в гостиную. — Посиди, я только умоюсь. На стол соберу.

— Да ты не беспокойся! — Савелий наклонился к стоящему у ног портфелю и достал бутылку водки. — У меня и закуска есть. Слава богу, еще не отлучили от распределителя, руки не дошли. Я и пользуюсь.

— Не знаю, где он и находится, ваш распределитель, — отозвался Свиридов.

— Узнаешь. Жизнь подскажет. — Савелий достал из портфеля несколько пакетов и яркую банку.

— Как там твоя Люсьена? — Свиридов вернулся в комнату.

— Она молодец. Болела одно время, но теперь молодец,— ответил Савелий.— Рада, что я рассчитался с дорогой. Теперь, говорит, и я поправлюсь... А ты все в холостяках?

— Ага! — безмятежно ответил Свиридов.— Одно время чуть было не женился. Потом передумал.— Он привычно собирал на стол.— Не мой это удел.

— Все равно заловит какая-нибудь,— ответил Савелий.— Жених ты завидный. Не то что я...

— Да, ты что-то сдал,— признался Свиридов, мельком взглядывая на своего приятеля.— Водочка помогла?

— Не без нее,— вздохнул Савелий.— Пол-России-матушки на лопатки уложила, стерва светлоглазая...

— Может, позовем Люсьену? — предложил Свиридов.— Пошлем за ней машину. Туда-обратно двадцать минут.

— Кто у тебя сейчас шофер? Леонид?

— Леонид. А что?

— Мои кадры... А кто у тебя в первых?

— Михайлов.

— Сохранишь?

— Присматриваюсь. Сам понимаешь, аппарат — дело серьезное. В Чернопольске у меня были крепкие ребята. Кое-кого хочу перетянуть.

— Понятно, понятно.— Савелий прикрыл глаза и стал похож на усталого слона. Со своим длинным мясистым носом.— Я с этими людьми работал много лет, Алеша.

— Они тебя и подвели,— вскользь проговорил Свиридов, то ли утверждая, то ли спрашивая.

— Сам я себя подвел, чего уж тут... Если на дороге происшествие, а начальник в это время за городом прохлаждается...

— Только ли это? — не выдержал Свиридов.

— Знаю, что не только,— подхватил Савелий и, переждав, потянулся к столу. Наполнил рюмку и махом опрокинул в широко раскрытый рот, поморщился, подхватил ломтик колбасы, закусил.— Так-то лучше. А то возится, понимаешь, точно банкет в честь короля... Расскажи, как меня снимали.

— А ты не знаешь? — оторопел Свиридов.

— Рассказывали ребята... Но ты расскажи по-честному.

— Плохо тебя снимали, Савелий. Министр был очень сердит.

— Подробней, Алешка. Я, может, ради этого и пришел сегодня, не выдержал.

— Вот как? — удивился Свиридов.— Ты, оказывается мазохист... Что-то мне не хочется вспоминать, как тебя снимали.

— Тогда расскажи, как тебя назначали.

— Хорошо назначали, уважительно,— ответил Свиридов.

— Да. Назначать могут по-разному, знаю,— кивнул Савелий.— И в Кремле был?

— Возили и в Кремль.

— К самому-самому по нашим делам?

— К нему.

— Меня туда не приглашали.

— И правильно сделали,— буркнул Свиридов.

— Ты полегче. Когда меня назначали, такого протокола не было. Другие времена.

— Делом занимаемся серьезным, вот и пригласили,— прервал Свиридов.

— И тогда занимались тем же делом. Другие времена были... Меня не вспоминал?

— Нет, о тебе он как-то забыл, хотя память у него отменная... Если уж ты такой мазохист, расскажи, как тебя на бюро обкома «чествовали» здесь, в Северограде.

— Не было пока бюро. Я же не придуриваюсь, Алеша, у меня и впрямь обнаружили микроинфаркт. В больнице отлеживался. Три дня как дома...

— И сразу водочку вспомнил.

— Я ее и не забывал,— неожиданно засмеялся Савелий.

Они выпили. Свиридов украдкой взглянул на часы. Вот служба — чем бы ни занимался, на часы поглядывай. Почему не звонят? Не случилось ли что на тысячекилометровой дороге? Казалось, радоваться надо, что не звонят. Так нет, сомнения гложут. Не может быть, чтобы все было гладко. Постоянная изнуряющая мысль: что-то непременно должно произойти. Неужели наступит время, когда дорога ответит на заботу о себе добротой и спокойствием?

— Хочешь анекдот? Сосед по койке рассказал в больнице,— предложил Савелий.— Немец, значит, приходит в билетную кассу и учиняет скандал...

— Кто? — не расслышал Свиридов.

— Немец. В Германии... Пришел в железнодорожную кассу с упреком. Дескать, он просил билет у окна вагона, а ему дали в проходе, безобразия. Так и вынужден был ехать, сидя в проходе. Кассир ему отвечает: мол, поменялись бы с кем-нибудь, чтобы сидеть у окна, как вам нравится. «В том-то и дело,— отвечает немец кассиру,— что меняться было не с кем: во всем вагоне я один был».— Савелий расхохотался.— Дисциплинированная нация. Нашего бы дядечку в пустой вагон. Оглянулся бы и сразу пропил пару полков, а на оставшихся вырезал свое имя.

— Ну, ты это напрасно, хотя и имеет место быть, не спорю,— смеялся Свиридов.— Но обрати внимание, как меняется человек, когда попадает в чистый, ухоженный вагон. Точно перерождается.

— Только ухоженных вагонов становится все меньше,— подхватил Савелий.— Хорошее наследство оставило дороге прежнее руководство.

— Зачем же все валить на прежнее руководство? — нахмурился Свиридов.— Мы тоже вроде лихие ребята.

— А что?! — горячился Савелий.— Вспомни, с каким трепетом мы поступали в железнодорожный институт. Престиж! Конкурс по десять человек, с ума сойти. А сейчас? На каком мы месте по уровню заработной платы? — Савелий хлопнул еще одну рюмку.— То-то... Зарплата низкая, работа тяжеленная. Попробуй-ка в зимних условиях, при морозе, следить за дорогой, когда собственные сопли скребком сшибаешь, точно сосульки... Вот и уходит стоящий народ, а всякая шваль, которой плевать на работу, остается. Лишь бы делишки свои проворачивать.

— Оставь, Савелий,— вступился Свиридов.— Не тебе на это сваливать.

— Именно мне! — взвился Савелий.— Меня выбросили за борт, как несправившегося. Поглядим, как ты справишься! Годами наслаивалось и прорвало. Все кричали: «Шапками закидаем!» Все помнят это, Алеша, все... — Савелий широко развел руками.— Чего уж там! Себя-то к чему за нос водить? Смешно! И глупо. Не дети ведь, командиры как-никак... Я-то, правда, бывший.— Савелий выругался.

— Нехорошо, брат, не по-рыцарски.— Свиридов откинул со лба волосы.— Как что — на старое руководство валят... Но ведь и вы при нем состояли, верно?

— Погоди ты, погоди! — Савелий вздыбил широченные плечи.— По-разному бывает, не одной меркой-то... Вот, скажем, прежний министр, упокой его душу... Он вдруг моду взял такую: любую серьезную проблему решать за счет дороги, собственными силами. Ему в Минфине и Госплане говорили: «Что вы, дорогой! Не сегодня-завтра днем живите, и не пасынки вы у нас, возьмите денег, развивайтесь! Даже море не может существовать без рек!» «Нет,— отвечает,— не

станем нахлебниками у государства, есть у нас резервы. Новый почин организуем, поднимем народ!» Первое время он еще держался за счет накопленных резервов. У одной дороги возьмет, другой передаст. Свое хозяйство ведь... Так и выкручивался — весь в орденах да славе... А потом пошло-поехало. Всё! Начиная с путевого хозяйства и кончая железнодорожной больницей, жилыми домами. Все общипано. Вот! А вы говорите — роль личности в истории. Личность, она все может... Так-то! А ему что? Почил, как говорится, в бозе. А мы отдувайся за его спесивую самонадеянность...

Свиридов оставил кресло и ходил по комнате нервным шагом. Во многом Савелий прав, ничего не скажешь... Но что-то детское проснулось в Свиридове, скорее студенческое. Смешные и наивные обиды... Он пыхтел, учился на свою, хоть и персональную, но все равно небогатую стипендию, а Савелий и Аполлон развлекались, бегали по девочкам, потом трепали его конспекты. И при этом злословили, кляли свою судьбу. Конечно, они были славные ребята. И специалистами оказались не хуже других... на первых порах. Савелий еще и организаторские способности проявлял. Но...

— Ты, Алеша, мужик неплохой. — Савелий поворачивал тяжелую голову следом за шагающим по комнате приятелем. — Но нет в тебе... злости, что ли?.. При которой можно и ошибиться и дров наломать... Я ведь приказы читал. У тебя даже выговора не было. Это на железной дороге! Конечно, ничего не скажу, твоя Чернопольская дорога работала неплохо.

— Кстати, и без меня продолжает работать неплохо. Заметь. — Свиридов задыхался от гнева. Он знал, что скажет сейчас своему институтскому приятелю. И боялся этого.

— Времено! При том отношении к делу, какое сложилось у нас, ничто не может хорошо и долго работать. Да, ты не ошибался, верно...

— Послушай, кавалерист-лихач. — Свиридов сдерживался из последних сил. — Мои ошибки отражаются на жизни целого региона. Понимаешь? И это не слова... Да, Савелий, все мы живые люди. И именно поэтому не должны ошибаться. Хватит нам этих грешников, что грешат и каются. Сколько проблем навязали стране своими ошибками, которые так нелегко исправлять. А все оттого, что безнаказанны эти ошибальщики! Не из своего кармана платят за ошибки, из государственного. И не свои головы летят — чужие. И камень в них никто не швыряет при нашей всенародной терпимости. А их бы за ушко да на солнышко...

— Это ты о ком, интересно? — насторожился Савелий.

— Обо всех пустозвонах.

— Болтать-то не боишься?

— Не болтаю я, друг любезный. В том-то и дело! Это они болтают, да! А я говорю о том, что все знают. Все! И дети, и старики, и мужи в высоких учреждениях. Весь народ! И не помалкивают. Читай газеты внимательно. Перечти решения Политбюро. Подумай, почему их так часто печатают. Почему меня и других сейчас принимают на самом высоком уровне. — И помолчав, Свиридов проговорил решительно: — Почему, наконец, тебя с дороги турнули!

Савелий тяжело вытаскил себя из кресла. Лицо его приняло бурый оттенок, а в глазах стояли слезы. Но Свиридов не замечал этого, кружил по комнате, точно заведенный.

— Еще год, Савелий, и вся дорога твоя Североградская была бы парализована! Год, даже меньше. Остановилась бы дорога. Инсуль! А за ней и другие... Полстраны превратилось бы в труп. Я могу доказать цифрами... И это твоё счастье, что я тебя сменил, Савелий. Не миновать бы тебе казенного дома на солидный срок.

— Но работал же я, работал! — взорвался Савелий. — И передача была. Дневал и ночевал на дороге. Горло сорвал на селекторах... Весь был в ругани, как рыба в чешуе. — Савелий ухватил за локоть

шагающего Свиридова и остановил, точно натянул поводья.— Поглядим, Алексей, как ты справишься...

— Справлюсь! — не дослушал Свиридов.— Ты смотрел только перед собой, как пловец на волну. А я стараюсь глядеть на маяк, понимаешь? Вот в чем разница... И отпусти мою руку.

— Какой же у тебя, интересно, план? — Савелий вернулся к столу.

— Вкратце. На ближайшее время. Как срочная операция... Строительство дополнительных путей на дальних подходах к городу — раз. Пятнадцать маневровых путей отстоя на главном ходу южного плеча — два. Это позволит резко увеличить длину поезда и вес... Форсировать реорганизацию вспомогательных служб, им без малого полсотни лет, если не больше...

— Кто тебе даст денег в середине года? — растерянно произнес Савелий первое, что пришло ему в голову.

— Обосную — дадут! В войну за считанные месяцы наладили выпуск самолетов и танков на голом месте. А сейчас? Можно любое строительство заморозить, отложить, повременить. Все может подождать! Всё — кроме железной дороги! Ее благополучие — залог благополучия всего остального. И она ни минуты ждать не может, особенно теперь... Дадут! Через месяц я выступлю на коллегии...

Раздался телефонный звонок. Свиридов поспешил в кабинет, вытаскивая на ходу очки из бокового кармана. Прикрыл за собой дверь.

— Псих ненормальный, — пробормотал Савелий.— Каким был, таким и остался... «Инсульт» дороги, паникер...

Совсем стало тяжело на душе. Действительно, он всю жизнь отдал дороге. Может, и не хватило где-то упорства, но он старался. Потом понял, что не справиться ему. И мысль эта засела в голове как гвоздь. Куда от нее денешься? Любое дело в последнее время начинал с изнуряющим внутренним сомнением, что не выдюжит. Мука, а не жизнь... А тут еще одна крупная неприятность за другой. И последняя история: товарняк с цистернами пошел против шерсти, бед навтормил, всю округу мазутом залил...

Из соседней комнаты доносился резкий командирский голос Свиридова. Савелий понял, что речь шла о вывозе из Костомукши рудного концентрата, одна мысль о котором вгоняла бывшего начальника дороги Савелия Кузьмича Прохорова в ужас. Миллионы тонн лежали под открытым небом. Чтобы вывезти их, надо было сменить не один десяток километров рельсов. А где их взять?

Савелий весь обратился в слух... Кто-кто, а он-то знал обстановку на Костомукше. Конечно, путейцы там осторожничали — старое полотно, ненадежное. Но честно говоря, с ограничением скоростей они на многих участках перестраховывались, да так, что чуть ли не узаконили малые скорости. Но что правда, то правда — кое-где рельсы надо менять. А их на дороге нет. На весь год для замены выделили километров пятнадцать, а тут на одну Костомукшу понадобится не менее пятидесяти километров...

— Так вот, — доносилось сквозь прикрытую дверь.— Рельсы найдем, это я беру на себя. А вы послезавтра представьте мне точные данные. И учтите, Костомукшу будем вывозить тяжеловесами. Сдвоенными поездами, но с одной бригадой. Путевое хозяйство должно быть готово к пропуску длинных поездов через две недели...

Савелий вытолкнул себя из кресла и, подскочив к двери, рванул ее на себя.

— Псих! — закричал он.— Ты не знаешь тех условий. Если состав сойдет с рельсов... Кто будет отвечать?

Свиридов отвернул лицо от телефонной трубки, взглянул на Савелия с каким-то детским удивлением.

— Я был там уже... Что ты кричишь? — И укоризненно покачав головой, вернулся к трубке.

Савелий прикрыл дверь. Постоял немного посреди комнаты, в растерянности шаря по карманам. Куда-то запропастились сигареты... Но так и не нашел... Неслышно вышел в прихожую...

Свиридов настиг Савелия Прохорова напротив центрального подъезда гостиницы у стоянки такси.

— Ты куда это дунул? Не простившись.— Свиридов комкал у горла лацканы наспех брошенного пиджака.— Не дело, брат. Стыдно... Я же не в игрушки ушел играть.— Он потянул Савелия в сторону, прячась от свежего ветерка.

Савелий не сопротивлялся, следовал за приятелем точно в полусне, приговаривал:

— Отпусти меня, Алешка. Неважно мне что-то.

— Я тебя отвезу,— решил Свиридов.

— Нет, нет. Что ты!— испугался Савелий.— Ни за что... Люська, понимаешь... переживает...

— Вот как?— Свиридов обескураженно развел руками.— Жаль... Ты уж разубеди ее как-нибудь...

Несколько минут они стояли молча.

— У меня к тебе просьба, Алексей,— произнес наконец Савелий.— Не дай пропасть Аполлону.

Свиридов резко обернулся. Он чувствовал, как на скулах дубенеет кожа.

— Не понял тебя, Савелий.

— Понимаешь, у Аполлона все кувычком как-то... Жена стерва, да и сам слабаком оказался...

— Ну?!

— Теперь в нем гордость заговорила. Подняться захотел, стряхнуть с себя песочек, хоть и золотиносный. Наступает такое время, если у человека совесть сохранилась... У него есть любопытные идеи. Пассажирской службы касаются. Еще отец его начинал пробовать. Старик умер, завещал Аполлону свои идеи, что ли. Да и сам Аполлон с ними повожился... Кавказские люди, понимаешь, сыновний долг... Идеи и впрямь интересные. Помогите ему, Алешка. Я не успел, да и, честное слово, сам голову поднять не мог, а ты помоги...

Глава вторая

Муртаз Расилов погнал тележку ко второй платформе, где обычно собиралась бригада перед прибытием фирменного поезда «Северный олень». Надо определиться: будет работа с иностранными туристами или гуляй себе вольным казаком, лови неорганизованного клиента.

Муртаз не любил возиться с туристами, а тем более с иностранными — никакого навару, оплата идет по среднему. А ответственность какая, не дай бог пропадет чемодан — международный скандал. И отвливать от распределения нельзя — свои ребята носильщики, у всех один интерес. Увильнешь, испортишь отношения с бригадой — ничего хорошего тебя в дальнейшем не ждет. Однако перспектива работы по линии зарубежных связей его сегодня мало огорчала — Муртаз уже достаточно набегался, день оказался «капустный», заработок не стыдный. К тому же интурист норовил сам свой чемодан на тележку поставить, не доверял нашему носильщику. Или его сильно припугнули — гляди в оба: там, у красных, украдут и тебя же в ПТУ определят. Или у себя дома опыта понабрался, говорят, у них если сам свой чемодан поставил-снял, то меньше платишь носильщику. Врут, наверное, чего только не наговорят. Правда, однажды — умо-ра! — приехала группа зарубежных туристов. И тут один из них, в шортах, мускулистый такой, все чемоданы на тележку принялся ставить, да так ловко, что Муртазу и делать было нечего. Оказа-

лось, он у себя дома носильщиком работал. Потом пристал к Муртазу: давай обменяемся бляхами. На память. И сует Муртазу свою крупную, как блюдце, бронзовую бляху. Хорошо, у Муртаза случайный жетон заваялся в кармане — то ли от гардероба какого-то ресторана, то ли от прачечной-автомата. Отдал коллеге зарубежному, чтобы отвязался. Тот обрадовался, слезы на глазах. Упрятал в портмоне, еще и авторучку подарил впридачу. Позже Муртаз разглядел его бляху. Номер «14» и чеканная фигура в мундире и при шпаге. Надпись по кругу. Брат Муртаза, ученый-физик, перевел на понятный язык: «Кайзеровская королевская железнодорожная компания. Австрия. 1906». Там, оказывается, у железнодорожников к парадному мундиру шпага прилагается. Почет, точно рыцарям... Один свой парень, носильщик, Муртазу за эту бляху четвертной отслюнить хотел. Не расстался Муртаз с сувениром, преодолел искушение. А бляху дома на стенку повесил, прямо на почетную грамоту за активное участие в коммунистическом субботнике по уборке территории станции. Любои, кто бляхой австрийской заинтересуется, и грамоту без внимания не оставит, а то лежала себе в столе без всякого интереса, обидно даже...

Прогоняя тележку по эстакаде, Расилов бросил взгляд на распахнутые ворота багажного отделения. И вспомнил весовщицу Галину. Собственно, он ее и не забывал. Галина его интересовала — и очень. Вообще Муртазу нравились крупные женщины, возможно оттого, что он сам не вышел ростом. Муртаз уже наводил справки среди носильщиков. В целом мнение о Галине на станции неплохое — спокойная, не пьет, не курит, детей растит, да не каких-нибудь там, а от законного мужа, тот утонул несколько лет назад. Муртаз даже некоторую работу провел в своем семействе, а жил он с матерью, после того как брат отделился. Сказал, что хочет жениться на русской. Мать ответила: хоть на шайтане женись, только женись. Сорок лет мужчине, пора. Правда, Муртаз промолчал о детях. Нельзя сразу мать ошарашивать, хватит ей и первой новости пока...

С прибывшей электрички повалил народ.

Муртаз замедлил шаг. Чего доброго, собьешь кого-нибудь железной своей арбой. «Поберегись!» — изредка восклицал он, когда видел, что кто-то прямо на тележку держит путь. И качал головой в знак удивления стадной тупости людей...

Пассажиры электрички — это особый мир. Муртаз к ним давно приглядывался. Попадая в город, они растворялись, их уже не отличишь от прочих граждан. Но здесь, на перроне, в ожидании электрички или, как сейчас, покидая ее, лица этих людей принимали особое выражение. А главное их отличие — это огромные сумки, баулы и рюкзаки. Когда они приезжали в город, сумки как-то еще не бросались в глаза, а вот когда уезжали... Чего только они не увозили — продукты, промтовары, строительный материал... И каждый день!

Муртаз проживал в районе, где вода подавалась на два часа утром и на два часа вечером. Говорили, что такой режим установлен из экономии. И все, кто жил там, заполняли водой ванны, кастрюли, тазы, бутылки. Утром воду выливали и набирали свежую. А если бы вода шла круглые сутки, больше двух-трех ведер никто бы не израсходовал. Вот и выходит — экономия... Так и с людьми, что жили за городом. Разве стали бы запасаться они всем подряд, если хотя бы половина того, что они вывозят из города, доставлялась за город... Об этом думал Муртаз Расилов, стараясь аккуратней провезти свою тележку по платформе...

Команда, как обычно, собиралась под часами у нового электрического информатора, что рядом со второй платформой. Высокий плосконосый бригадир по прозвищу Челкаш придирчиво осматривал своих людей, бросая замечания относительно внешнего вида. Толь-

ко сегодня утром на планерке у начальника вокзала ему крепко досталось по этой части. Вообще с приходом нового начальника дороги по всем службам прокатилось что-то вроде лихорадки. Вероятно, начальник вокзала уже получил указания от начальника станции, а тому досталось от начальника отделения. Иначе с чего бы ему делать замечание Челкашу, столько лет носильщики работали кто в чем и вдруг вспомнили о форме. Многие и не знали, на каких антресолях она дома преет... Правда, Муртаз не позволял себе такого разгильдяйства, обычно что-нибудь из положенного на нем было надето. Или брюки, или куртка. Не говоря уж о фуражке. А иногда, как, например, сегодня, он сподобился вообще собрать на себе целиком всю форму. Именно из-за этих ничем не объяснимых порывов он прослыл среди носильщиков пижоном.

— Так вот, теперь пижонами мы будем все как один,— заявил Челкаш, прямо глядя на свою команду.

Надо отдать бригадиру справедливость — сам за все годы ни разу не явился на работу в чем попало. Даже галстук черный на резинке цеплял, что, однако, не снимало с него босаяцкого прозвища.

Носильщики хмуро молчали, разглядывая толпу на вокзальном дворе. К чему спорить — не пройдет и месяца, как все встанет на свое место...

— Туристов сегодня шестьдесят человек. Придется взять сороконожку с багажного двора. Там три телеги, думаю, хватит,— продолжал Челкаш и повел перешибленным носом в сторону багажного отделения.

— У сороконожки двигатель барахлит, контакты ржавые,— ответил Муртаз.— Возьмем сороконожку от почтальонов. Она и выглядит аккуратней.

— Ладно. Возьмем у почтальонов,— согласился Челкаш.

Сороконожки — сцепленные между собой тележки, влекомые электрокаром-самоходкой,— числились на балансе вокзала, но то почтальоны их перехватывали, когда свои выходили из строя, то бельевое хозяйство... Возьмут, а вернуть забывают.

А недавно — наглость какая! — самоходка появилась и у бутылочного гетмана Богдана Стороженко. Где он ее раздобыл, неясно. То ли из запасных частей собрали его молодцы, то ли списанную отремонтировал, то ли просто купил. Во всяком случае, вместо грузовика, который давно мозолил глаза начальству, ползая вдоль путей отстоя, собирая мешки с бутылками у проводников, вдруг появилась довольно приличная самоходка с прицепом — сороконожка. Да, разворачивал гетман свое предприятие, ничего не скажешь. На глазах у всего честного народа и его правоохранительных органов. Сколько же в сутки собирала бутылок его вольница, расплачиваясь с проводниками по тринадцать копеек за штуку? Муртаз однажды насчитал пятьдесят мешков. А в мешок, говорят, они складывают сто бутылок для ровного счета. Увозят на пункты приема, где у них бутылка идет за восемнадцать копеек — надо же и тем что-то поиметь. Итого чистая прибыль с одного налета на утренние поезда — двести пятьдесят рублей. А сколько таких налетов совершают люди гетмана Стороженко в сутки, да еще летом, когда жажда мучает пассажира?! Вот и считай, если грамотный.

Муртаз был знаком с гетманом. Мужичок лет шестидесяти, вертлявый, в потертых джинсах, сидит себе в одном из гаражей, что волной подступили к полосе отчуждения у Сортировочной станции, и ведет бухгалтерию. А сборщиками бутылок служат ему не какие-нибудь там алкаши привокзальные, нет, вполне приличные молодые люди служат. Некоторые даже с законченным высшим. Правда, кулаки у всех крепкие. И горло луженое. Работа требует. Сколько своих конкурентов они в бараний рог скрутили! Кого угрозами, а кому и бока намяли. Люди серьезные... Гетман и Муртаза пыгался в свое

время завербовать — полезный был бы для него человек: Муртаз знал станцию как свою квартиру. Хорошими доходами соблазнял, только не пошел на это Муртаз. Сегодня ты гетман, а завтра — поднадзорный особого поселения. В жизни все меняется... Только слишком уж затянулось гетманство Богдаши Стороженко — люди удивляются. Неужели государству не выгодно самому взять этот промысел в свои руки? Как-то даже в газете писали. Оказывается, у государства то автомашин нет, то тары. А у гетмана все есть, и в лучшем виде. Да, не глупый человек Богдан и не жадный. Сам живет и другим дает жить. И не прячется, не роет носом землю, как крот. Телефон даже провел в свой гараж. диванчик сафьяновый поставил — не сидеть же гетману на дачном треножнике, телевизор цветной завел, чтобы следить за событиями в мире...

— Шесть человек хватит, — решил Челкаш и, морщась как от ветра, оглядел команду. Конечно, кандидатура Муртаза была первой. — Ты! — Вскинул палец Челкаш в сторону Расилова, потом подобрал еще пятерых, вполне сносных на вид кандидатов. — Вагон седьмой и восьмой. Напоминаю, автобусы ждут туристов на площади, со стороны моста опять копают, учтите это.

До прихода «фирмы» еще осталось время, и носильщики разошлись покурить. Муртазу вменялось пригнать сороконожку от здания почтовой службы к платформе.

— Послушай, Челкаш, дело есть. — Муртаз тронул бригадира за острый локоть и отвел в сторону.

— Ну? — нетерпеливо произнес Челкаш.

— Вчера я провожал поезд. Кисловодский... Что-то мне не очень понравился восемнадцатый вагон...

За время работы бригадиром носильщиков Челкаш привык ко всякому, его трудно было чем удивить. Но тут удивился, вскинул черные брови. Однако продолжал молчать.

— Не очень понравился вагон. — неуверенно повторил Муртаз.

— Говори яснее. — не выдержал Челкаш. — в чем дело?

— Я, когда делал посадку, случайно взглянул на щиток. Там контрольные лампочки энергоснабжения горели по-разному, не с одинаковым накалом. А у меня на это глаз!

— Ну и что? Пусть горят...

Муртаз тряхнул головой.

— Я ведь электриком был. В депо столько лет работал...

— А проводник что, слепой? Там и свой электрик есть в поезде.

— В том-то и дело... Они поднимают шум, когда плюсовая лампочка горит, а когда минусовая — не обращают внимания... А это неверно, могут быть и с минусом неприятности

Челкаш взглянул на вокзальные часы и хлопнул ладонями. Два воробья, что суетились на подоконнике зала ожидания, испуганно вспорхнули.

— Честное слово, Расилов. Как маленький. Иди лови сороконожку. Стоит, лапшу мне на уши вешает... Иди, говорю! — И, повернувшись, заспешил к бригаде. — Если бы что случилось с твоим вагоном, давно бы стало известно. Сколько часов прошло... Вези сороконожку от почтарей, живо!

Муртаз сунул руки в карманы и поплелся в сторону ограды, за которой высылало хозяйство почтовиков. К ним можно было попасть и через багажное отделение, и Муртаз никогда не упускал этой возможности...

Спускаясь по щербатым ступенькам в прохладный туннель, Муртаз чувствовал, как беспокойство распирает его в полном смысле этого слова, голова стала тяжелой, словно он и вовсе не спал ночь.

Весовщица Галина поначалу встретила Муртаза обычной насмешливостью, чувствовала свою власть.

— Что, Муртазушка, заблудился? — промолвила Галина с призывной ленцой распрямляя свою пышную фигуру. Но что-то в облике носильщика ее насторожило. И Галина умолкла.

Муртаз отозвал Галину в весовую и поведал ей историю. Со стороны казалось, что мать разговаривает с подростком-сыном: круглое лицо Галины источало тревогу и любопытство.

— Что же может случиться? — туго соображала весовщица.

— Как что? — отчаянно воскликнул Муртаз.— Пожар!

— Ой!

— Пожар в вагоне... Утечка тока. Шутка?

Галина передернула плечами.

— С ума ты сошел... Если бы что случилось, то давно...

— Это меня и успокаивает... Конечно, если была бы утечка на корпус, то давно... А так? Когда горит минус... Но все равно... Случай, понимаешь... Мне тебе сложно объяснить...

— В поезде же электрик есть. Что он, дурнее тебя? — успокоила Галина и словно невзначай придвинулась к носильщику.

Муртаз с уважением задержал свой взгляд на пышной груди весовщицы. Слова застряли в горле.

— Что ты переживаешь? Со вчерашнего дня ждешь пожар, а его нет?

— Отодвинься.

— Что?

— Отодвинься, говорю. У меня мысли разбегаются.

Галина покачала головой, но искушать судьбу не стала; отодвинулась, еще сильнее распалая станционного рабочего Муртаза Расилова. Стараясь подольше побыть с Галиной, Муртаз накручивал невероятные страхи вокруг тревожно светившей индикаторной лампочки на щите служебного отделения восемнадцатого вагона кислородского поезда...

Отделение дорожной милиции на главном вокзале Северограда находилось в конце шестой платформы. Чтобы добраться до него, требовалось время даже такому легкому на ногу ходоку, как Муртаз Расилов. А до прихода фирменного поезда оставалось всего полчаса. Конечно, Челкаш не осудит, если к прибытию поезда в бригаде не окажется Расилова, ребята подменят, ничего страшного. Но связываться с милицией не хотелось... Да случись что с вагоном, уже вся дорога бы гудела! Может, ему и показалось, что индикаторные лампы на щите горели не одинаково. Поднимет шухер на всю дорогу, а потом его же засмеют, прохода не дадут...

Сомнение мучало Муртаза Расилова, а ноги, точно чужие, несли его в сторону отделения милиции. После разговора с Галиной Муртаз отправился к дежурной по станции. Та раскричалась: ей, мол, головы не поднять из-за пассажиров, окна бьют, а тут еще этот со своими глупостями... Может, и вправду плюнуть-растереть? И Муртаз дал себе слово: если не примут его в милиции — все, закроет он для себя эту историю...

Сотрудник милиции сидел на месте. Мужчина лет тридцати с гладко зачесанными набок светлыми волосами.

— Дежурный по отделению лейтенант Снегов! — представился он.— Слушаю вас, гражданин... Что-то знакомое лицо...

Вопрос этот поверг Муртаза в замешательство. Вспомнил, что нет с собой никаких документов, вспомнил и вечное свое невезенье.

— Я носильщик Расилов Муртаз.

— Ну и что? — с какой-то радостью ответил дежурный.— Я знал одного субъекта, который носил форму полковника авиации. Чтобы не привлекать внимания. И перегнул палку, надо было ему поскромнее себе чин присвоить... Ладно, не теряйтесь, пошутил я... Встречал я вас, столько раз проходил по вокзалу...

— У вас, видно, хорошее настроение.— У Муртаза отлегло от сердца. Вероятно, парень неплохой, долго тянуть не будет.

Дежурный указал Муртазу на стул. Тот осторожно присел на краешек и упрятал под сиденье ноги.

Зазвонил телефон. Дежурный поднял трубку, потом, придерживая ее плечом, принялся что-то искать в столе, нашел и, положив трубку, поднялся.

— У меня поезд через двадцать минут,— осмелел Муртаз.

— Начальство вызывает,— ответил дежурный.— Если бы вас начальник вызывал...

И ушел по скрипящей лестнице куда-то на второй этаж.

Муртаза начальство никогда не вызывало. Только что к пивной у окружного моста, где Челкаш иной раз устраивал «разгрузочный» день. И то Муртаз откликнулся на это без всякого интереса, старался быстрее уйти...

Ладно, подождем, решил Муртаз. Судя по всему, ему так и не успеть к прибытию фирменного поезда. А жаль... Честно говоря, хотя от «фирмы» доход носильщиков снижался— пассажир там ехал обстоятельный, не слишком отягощенный тюками и ящиками,— лично Муртазу нравилось обрабатывать фирменные поезда. Вагоны чистые, полы устланы дорожками, воздух свежий, проводники одеты как положено. Возьмешь в купе чемодан, пронесешь вдоль коридора — и пылинки не сядет. Не то что в обычном пассажирском — пока продедешься с каким-нибудь сундуком к выходу, становишься чумазым, точно вылез из дымохода,— дети пугаются. Конечно, «фирму» не сравнить с пассажирскими, хотя деньги за билеты платят равные... Но, честно говоря, в последнее время и «фирма» Муртаза настораживала. Не вся, правда, но настораживала. Внешний вид вагон еще хранил: и название броское по всей длине расписано, и стекла в рамах держатся. А вот внутри нет-нет да и начинает «пассажирам» пахнуть. То ли сами вагоны изнашивались и не обновлялись, то ли проводники не выдерживали марафона, как говорится, надоело им ходить с чистой шеей. Да и соблазн заработать на безбилетниках оказывался сильнее законного оклада. А раз появляется заяц, значит, в вагоне должна быть неразбериха вроде тумана в лесу. Иначе невозможно...

Понемногу Муртаз освоился с дежурной комнатой. Собственно, какая это комната — широкий коридор, по которому то и дело сновали люди. Муртаз приглядывался к ним с интересом. В то же время его не покидало ощущение, что и за ним наблюдают. Он ерзал, сутулился, не знал, куда деть руки. Поднял глаза и покачал головой — со стены на него в упор смотрел Феликс Эдмундович Дзержинский... Муртаз поздоровался с портретом, но не успокоился, а еще больше разволновался. «Ну и дела,— подумал Муртаз,— вроде ни в чем не виноват, а такое ощущение, что вот-вот тебя тут прикнопят». Муртаз ругнулся про себя, вспомнив, как договаривался со стариком провезти его чертовые тюки, минуя формальности. И сдать прямо в багажный вагон. Не без корысти ведь договаривался... Пришел из-за одного дела, а потянется другое. Не лучше ли ему отсюда дунуть, пока лейтенант у начальства? Муртаз даже приподнялся, повертел головой, выбирая направление, но тут в комнату вернулся дежурный.

— Как там начальство? — пересилил себя Муртаз.— Не ругало?

— Служебная тайна! — ответил дежурный.— Так с чем пожаловали? Как назвали себя?

— Расилов Муртаз... Мне кажется, в вагоне может быть возгорание.

— В каком вагоне?

— В восемнадцатом вагоне, кисловодский поезд. Вчера ушел в рейс.

— Вчера? — Дежурный вздохнул, точно понятие «вчера» уже относилось к вечности.— Пассажир вез что-нибудь подозрительное?

— Нет... Раньше я работал в бригаде предварительного осмотра вагонов. Электриком. Потом началось сокращение, лишних людей искали. Решили, что предварительно осматривать не надо. Хватит для этого и поездного электрика...

— Ближе к делу,— нетерпеливо поправил дежурный.

Муртаз разволновался и сбился с мысли.

— С другой стороны... Вам же ничего не известно о происшествии с вагоном? — заторопился он.

— Сведения не поступали.— Дежурный окончательно успокоился, пригладил и без того покорно лежащие волосы, вздохнул.— Ручка у вас есть?

Муртаз кивнул. Ручка у него всегда была.

— Вот вам лист бумаги. Все изложите. Дату. Время. Свою фамилию. Имя-отчество. Адрес. Должность. Суть дела.

Муртаз присмирел. Предложение дежурного его испугало. Поднимет шорох, а все окажется в порядке. Еще и багажные его дела всплывут...

— Надо подумать,— уклончиво проговорил он.

Дежурный с укоризной покачал головой:

— Всегда так... Как писать, так сразу в кусты... Я должен запрос сделать, чтобы проверить вагон, верно? А на каком основании? А вы...

— Что я? — насупился Муртаз.— Я плохо пишу, с ошибками.— Муртаз пытался увести разговор в сторону.

— Ничего. Тут не экзамены.— Дежурный оставил без внимания уловку Муртаза.

— У меня почерк неважный,— вяло сопротивлялся Муртаз.— С детства.

— Пишите! — коротко обрубил дежурный.

Муртаз умолк. Тяжелые мысли ворочались в его голове. А еще говорят, что в милиции избегают регистрировать дела, чтобы не завышать число преступлений. Врут люди, ну зачем врать?

— Что, план по регистрации происшествий еще не выполнили? — проворчал Муртаз.

— Какой план? — не расслышал дежурный. Или сделал вид.

— Да ладно,— буркнул Муртаз.

— Послушайте,— строго произнес дежурный Снегов,— вы куда пришли? Сознаете? Никто вас сюда не приглашал, пришли добровольно.

— Тогда и добровольно могу уйти? — взбодрился Муртаз.

— После того как напишете,— сухо пояснил дежурный.— И не беспокойтесь за нашу отчетность, справимся как-нибудь.

Муртаз поправил листок.

— Я на работу спешу. Поезд надо обрабатывать. Иностранные туристы прибывают. Международное осложнение может быть.

— Министерство иностранных дел уладит. ТАСС уполномочат заявить. Пишите! — Дежурный явно терял терпение.

Муртаз горестно вздохнул и взглянул на кончик ручки. Снял какой-то волосок. С самого детства любое изложение мыслей на бумаге вгоняло его в тоску. Легче было перекидать гору чемоданов и тюков, чем вот так сидеть один на один с чистым листком бумаги. Он взглянул на дежурного, во взгляде Муртаза сквозила такая тоска, что тот смутился. А надо заметить, что дежурный железнодорожной милиции смущается не так уж и часто, особенно в конце дежурства. Мелькнула даже мысль отпустить носильщика: ложная тревога. Вторые сутки как ушел поезд. И все спокойно. Но какое-то чувство удержало его от этого шага.

Глава третья

1

Резкий свет потолочных плафонов будто отсек плацкартный вагон от остального мира. За окном густая темень, и кажется, что вагон катится наугад, по своей воле.

Проخور Евгеньевич, обитатель верхней боковой полки, с удовольствием утирался после умывания и соображал, как бы ему с соседкой перед сном побеседовать. Самое время — и братья-колхозники угомонились, похрапывают себе, и солдатик притомился, книжку на живот уронил, и карга старая дрыхнет...

— Что, Проша, никак душ умудрился принять? — подала вдруг голос Дарья Васильевна. — Мокрый как цуцик.

Проخور Евгеньевич аж сплюнул с досады, но отвечать не стал — еще разгуляет старушку. Проخور Евгеньевич демонстративно нахмурился, продолжая возню.

— У всех голова в темени, а мне свет прямо в глаза лупит, — объяснила старушенция. — Нет чтобы унять немного в калидоре, не ярманка ить. Где он, проводник-то наш? Едем как сироты.

Действительно проводник плацкартного что-то не очень отягощал пассажиров своим присутствием. Весь вечер где-то пропадал. Потом появился, напоил чаем и вновь исчез. Даже на станциях не объявлялся.

— Глаза полотенцем накройте, будет вам тьма, — посоветовал Проخور Евгеньевич.

— Задохнусь я под полотенцем. И так в вагоне дышать нечем, — возразила старая. — Рассказал бы какую историю, я б и уснула. Или на скрипке сыграл. А, Проша?

Проخور Евгеньевич онемел от подобного предложения. Он швырнул на полку полотенце, сунул мыльницу под подушку и, набычившись, сел, вытянул ноги, сжимая колени кулаками. Дарья Васильевна расправила складки одеяла и перевернулась на бок, лицом к стене.

Поезд шел весело, захлеб стучали колеса. Вагон приседал на упругих рессорах, словно отплясывал трепака.

— Спать, что ли, лечь? Вроде рановато... — проговорил Проخور Евгеньевич. Он искоса оглядел тихий профиль соседки и вздохнул.

Дарья Васильевна со значением заерзала и пробубнила в стенку:

— Ну репей, ну репей... И не стыдно? Сына бы постеснялся. Гони его, Варвара.

Проخور Евгеньевич благоразумно промолчал, опять вздохнул. Обладай вздох физической силой, от старушенции осталось бы только мокрое место.

Варвара Сергеевна приподняла бутылку и налила полстакана минеральной воды.

— И мне, если можно, — воспользовался Проخور Евгеньевич.

Варвара Сергеевна налила и ему, молча подала стакан и, не отвечая на благодарность, вновь отвернулась к окну. Решив, что дело его безнадежное, скрипач еще раз вздохнул. Пассажирка негромко засмеялась и покачала головой.

— Хороший у вас сын, — воспрянул духом Проخور Евгеньевич. — Надежный.

Соседушка резко обернулась, бросила на скрипача удивленный взгляд.

— Надежный? Да, пожалуй... Верно вы сказали.

— Видно, вы его раненько на свет призвали, — ободрился скрипач.

— Куда уж раньше... Восемнадцати не было. — Варвара Сергеевна улынулась и повела подбородком в сторону Дарьи Васильевны, чье ухо торчало над одеялом точно локатор.

Проخور Евгеньевич отмахнулся: мол, ну ее, старую.

— А вы до Гудермеса едете? — промолвила Варвара Сергеевна.

— Да. Объявление прочел в «Вечерке» — требуются скрипачи в оркестр. Вот и решил поглядеть, какой он, Гудермес. Название понравилось. Собрал чемодан, взял скрипку... Весна на дворе, барахла много не надо. Я пассажир легкий, — воодушевился Прохор Евгеньевич. — Вообще, жить надо легко... Жизнь, Варенька, штука покладистая — будешь ее отягощать нитьем, и она тебя не подведет, даст для нитя основания. И наоборот: не примешь близко к сердцу неприятности, и жизнь тебе легкостью ответит.

— Как сказать, — не согласилась Варвара Сергеевна. — От людей мы зависим. Жизнь сама по себе, другой вопрос... Только впечатление от жизни через людей складывается. А люди-то разные...

— Конечно, — вежливо согласился Прохор Евгеньевич. — Я вот стараюсь избегать дурных людей. Чувствую, что начинается, — скрип-ку в футляр и до свидания.

— Хорошо вам с таким характером. Взяли да поехали. — Тон у Варвары Сергеевны был раздумчивый, точно она проверяла свои мысли. — А квартира же как без вас?

— Соседи присматривают. А сейчас я приятеля впустил, гобоиста, у него внук родился, вот и спасается у меня... Вы чем занимаетесь, Варенька?

— Ветеринар я.

— Серьезно? — удивился Прохор Евгеньевич. — Никогда бы не подумал... Вообще, для слуха городского жителя ветеринар звучит экзотичней, чем космонавт.

— Вы просто не знаете. Очень интересная профессия. Я работаю в зверосовхозе.

— Перестаньте, перестаньте, — манерно замахал руками Прохор Евгеньевич. — Вы — и вдруг зверосовхоз, ветеринар. Думал, что вы учительница. Или врач.

— Врач и есть. Между прочим, животные — как люди: и гриппом болеют и ангиной. Только не бюллетенят.

— Да... Представляю, если бы лисе оплачивали больничный лист куриной косточкой.

— На самом деле, — засмеялась Варвара Сергеевна. — Больные звери на особом режиме... Почему вы не пьете?

— Жду, когда газ выйдет. — Прохор Евгеньевич покачал стакан. Он и не заметил, как придвинулся ближе к своей спутнице. Тон беседы их стал дружеским и непринужденным, точно у людей, которые друг другу не в тягость...

Вскоре Прохор Евгеньевич уже рассказывал о своем житье-бытье... Сокрушался над вопросом: почему в пятьдесят пять он живет перекасти-полем, не имея жены, будучи женатым, и бездетным, имея детей? Подавал надежды как музыкант. Давно это было, пожалуй, тогда Варвара Сергеевна только в школу пошла. Но все сложилось не так, как думалось. И не пил вроде и жизнь не проматывал. Добросовестно работал. А все не складывалась судьба. Иной раз, бывало, казалось, еще чуть-чуть — и слава, деньги... Но вдруг что-то срывалось. Например, выдвинули его кандидатуру на конкурс в Прагу. Прошел два отборочных тура, а к третьему переиграл руку. И таких случаев у него множество...

— Судьба, — вздохнула Варвара Сергеевна. — У вас взрослые дети?

— Вам сколько? Тридцать шесть? А моей Клавдии тридцать. — Прохор Евгеньевич сделал глоток. У воды был теплый запах резины. — Да, музыкант без судьбы — это живой патефон. Кто заведет, того и ублажает. Последние годы я вообще гастролирую. В Саратове работал, в Сызрани, в Бокситогорске. Где только не побывал. И все мимо...

Есть люди, которым доставляет удовлетворение самоистязание. Не принимая критики в свой адрес со стороны, они в то же время поносят себя с превеликим усердием и гордостью и прислушиваются в ожидании восхитения своей бескомпромиссностью.

— Ну... вероятно, вы слишком строги к себе,— жалостливо пролепетала Варвара Сергеевна, клюнув на эту уловку.

— Ах, милая Варенька, у меня есть одно несомненное достоинство: хорошо знаю свое место... Иной раз столько наслышишься от коллег-музыкантов. Особенно если выпьют. Все сплошь гении. Все Паганини да Рахманиновы. А мне легко...

Старая Дарья Васильевна со значением шевельнулась под рыжим одеялом. Прохор Евгеньевич скосил глаза в ожидании подвоха и не ошибся.

— Проша! Совсем в слезы вогнал дамочку. Ежели ты такой, оказывается, сапог, то лучше ехай к нам в деревню. Дрова б колол вдовам, воду тягал из колодца. Все был бы сыт.

Прохор Евгеньевич оторопело глядел на острый гребень одеяла, под которым угадывалось тощее тельце неугомонной старушки. Варвара Сергеевна закусил губу мелкими зубами, чтобы не дать воли смеху. Ему, Прохору Евгеньевичу, свести бы к шутке замечание старушки, он же надулся. И сидел расстроенный, выкатив унылые круглые глаза и сдвинув рыжеватые брови.

— Вам шпионом бы работать, Дарья Васильевна, с такими ушами,— буркнул он всерьез.

— Уши как уши,— бубнила бабка в стену.— Я ими восьмой десяток слушаю. Ладно, Проша, не обижайся ты... Точно наш Степанов, участковый. От него жена ушла к шоферу. А Степанов больше всего сокрушался, что ушла она в праздник милиции. Бегал по деревне и жалился всем: от, стерва, время выбрала.

— При чем тут ваш участковый? — недоумевал Прохор Евгеньевич.

— Да так. Спать буду,— вдруг разозлилась бабка и втянула голову под одеяло, точно черепаха.— Скучный ты. Сон нагнал, спасибо.

— Вот и хорошо.— Прохор Евгеньевич по-ребячьи распустил губу и состроил гримасу на круглом рыжебровом лице.

Варвара Сергеевна покачала головой и отвернулась к окну. Оранжевые фонари станции катились к хвосту поезда точно крупные апельсины... Вдруг в черном зеркале стекла отразилась чья-то могучая фигура, и Варвара Сергеевна обернулась.

В светлом проеме купе стоял высокий здоровяк в спортивном костюме и железнодорожной фуражкой на затылке. Рыхлая его щека хранила багровую вмятину от подушки, след крепкого сна.

— Где хозяин? — хрипло спросил он.

— Проводник? — уточнил Прохор Евгеньевич.

— Ну!

— Не знаем, где проводник. Давно исчез,— на подмогу скрипачу подоспел пассажир из служебки.— Чаем напоил и исчез.

— Ух, чулочник! Наверняка у своей крали ляды точит,— буркнул здоровяк и приказал кому-то за спиной: — В следующий вагон! И не отставать, за руки держитесь, елки-палки.— И он двинулся к тамбуру.

Следом за ним потянулись две гражданки средних лет. Одна прикрывала ладонью косынку с торчащими бигуди, вторая нервно щелкала замком сумки. Обе казались крайне испуганными и едва сдерживали слезы. Послушно ухватившись за руки, гражданки заспешили к тамбуру...

Когда странная процессия исчезла, Игорь плотно прикрыл за ними дверь площадки и, вернувшись в купе, произнес, глядя на Прохора Евгеньевича:

— Нехорошо смеяться над старой женщиной.— Интонация была и шутливая и серьезная одновременно.— Мне ведь рядом все слышно.

— Как не стыдно подслушивать,— строптиво ответила Варвара Сергеевна.

— У меня было трудное детство,— весело уклонился Игорь.— Дурное воспитание.

— Это и видно,— скрипач метнул в молодого человека недовольный взгляд.

— Извините,— покладисто ответил Игорь.— Душно в купе, я с вами посижу. Не возражаете?

Варвара Сергеевна промолчала, Прохор Евгеньевич вздохнул.

Некоторое время они сидели молча, покоряясь резвому раскачиванию вагона.

«Так хорошо разговаривали — и на тебе, явился, обормот»,— подумал Прохор Евгеньевич и проговорил:

— Хорошо вам, Варенька. Обе нижних полки занимаете, удача.

— Мне всегда удается взять нижние места. Прием знаю.— Варвара Сергеевна наклонилась к сыну и поправила подушку. Темная ямочка у основания шеи придавала особую прелесть ее смуглой груди, резко обозначенной в глубоком вырезе платья.

Прохор Евгеньевич с беспечным видом отвел взгляд, пугаясь, что его заподозрят в нескромных желаниях. Мельком оглядел незваного гостя. Игорь сидел, прижавшись ровной спиной к стенке купе. Удлиненное его лицо сейчас казалось бледным, глаза прикрыты, пухлая нижняя губа опущена, обнажая десны. У него был вид человека, углубленного в трудные, малоприятные мысли. Странно, когда же они успели овладеть им? Казалось, только что купе будоражил громкий голос, а глаза источали уверенность и нахальство. Или он просто пьян, а сейчас расслабился, забылся?

Присутствие в купе странного молодого человека тяготило не только скрипача. Варвара Сергеевна приняла прежнюю позу, отвернувшись к окну, однако облик ее был напряжен и тревожен.

— Какую же уловку вы припасли, чтобы раздобыть нижние полки? — Прохор Евгеньевич сцепил пальцы рук и накиннул их на колени, точно уздечку.

— А, пустяки,— ответила Варвара Сергеевна не оборачиваясь.— Заказываю по телефону четыре билета, оставляю себе два нижних места, а два оставшихся сдаю обратно. Вся премудрость.— Она ждала одобрения своей находчивости.

— Да... Хитрим всё.— В голосе скрипача прозвучала суховатая интонация.— Я вас все Варенькой величаю, а вы, оказывается, ого-го...

— Это почему же ого-го, Прохор Евгеньевич? — покраснела Варвара Сергеевна.— Я что, спекулирую этими билетами? Сдаю в кассу. Даже теряю на этом... комиссионный сбор.

— Дело в другом, Варвара Сергеевна... Время какое-то... Надувательство предлагается как добродетель. И не стесняются, наоборот, видят в этом доблесть... Но что доблестного — обмануть ближнего...

— Что с вами, Прохор Евгеньевич? — резко прервала Варвара Сергеевна.

— Обидно, Варвара Сергеевна... Я замучился с этими билетами, пока достал. Да и то еду на верхней боковушке, хуже не бывает.

— Разве я в этом виновата?

— Вы, мой ангел! Вы! Чистые глаза, нежное лицо. Воплощение женственности...

— Ну знаете! — вскипела Варвара Сергеевна.— Просто вы старый брюзга... Понятно, почему вы женатый холостяк и бездетный отец. Кто же вытерпит такого? Вас не удивляет, что я работаю с утра до ночи со своим нежным лицом в зверосовхозе. А когда решила с сыном в поезде по-человечески проехать, сразу в ловкачки попала. Возмутительно! Вы лучше спросите, почему и нижние полки, и верхние, и боковушки в проходе стоят одинаковых денег. Или, к примеру, что в скором, простудном, что в фирменном — цена билета одна и та

же, хотя условия далеко не одинаковые. А все потому, что тот, от кого это зависит, в поганом скором не едет и на боковых полках не кукует. Вот где ловкачи настоящие, а вы меня обличаете! Нехорошо...

— Все в одну кучу.— Прохор Евгеньевич уже жалел, что затеял бузу.

— Хватит,— отмахнулась Варвара Сергеевна.— И разговаривать с вами нет настроения. Тоже мне обличитель...

Это замечание, произнесенное с подчеркнутым спокойствием, вновь вывело скрипача из себя. Его рыжие брови задергались, еще немного — и он вспылал бы, наговорил дерзостей, но тут пассажир служебного купе подтянул ноги, подержал какое-то мгновение узкогрудое сутулое свое тело на длинных руках, обвел спорщиков отсутствующим взглядом голубоватых глаз, встал и молча отправился к себе, шаркая подошвами по полу. С грохотом отодвинул дверь...

— Чудак какой-то.— Скрипач с облегчением вздохнул и виновато поглядел на пылающую гневом соседку.

Варвара Сергеевна не успела ответить.

В коридоре послышался топот и громкие голоса. По проходу гуськом шли люди в железнодорожной форме. Двое из них держали полевые сумки, какие обычно носят ревизоры. Поравнявшись с купе проводника, они остановились. Высокий ревизор с тонкой щеточкой усов над серыми губами подергал ручку замка. Дверь не поддавалась. Замыкавший группу чернявый и круглолицый проводник Гайфулла Мансуров испуганным голосом высказал предположение, что ответственный за вагон Елизар Тишков, вероятно, находится в соседнем купейном вагоне, и, предупредительно обойдя ревизоров, открыл дверь в тамбур.

Ревизоры двинулись в купейный вагон следом за взволнованным Гайфуллой...

2

Приподнятое настроение Елизара не смогло омрачить даже появление проводника восьмого вагона Сереги Войтюка в спортивном костюме с широкими белыми лампасами и в тапочках на босу ногу.

— Гляди-ка,— удивилась Магда,— Серега прискакал давление тебе мерить... Улетай, туча!

Елизар молчал, глядя на красное беспокойное лицо проводника.

— Какое давление, какое давление?! — торопился Серега Войтюк.— Горим, Магдалина! Ревизоры залетели. И где они, гады, сели, никто не знает.

— А Аполлон Николаевич где? — заволновалась Магда.

— Где, где... Кацетадзе говорит: сами разберетесь. Точно ему вожжа под хвост попала. Предупреждал я вас, говорит.

— Ну?! — изумился Елизар.— Когда же он нас предупреждал?

— Было! Когда вы с Магдалиной вагон принимать отправились. Так и сказал: «Глядите в оба. Сами с усами, нечего меня в игры с ревизорами впутывать!» Сидит сейчас в штабном злой как собака. Заперся и разговаривать ни с кем не хочет.

— Кто? Аполлон Николаевич? — изумлялась Магда.

— Ну. А те уже напустили шорох. На Гайфуллу акт катанули... Может, возьмешь ревизоров на себя, а, Магдалина? Яшка отказывается, говорит, ему прятать нечего.

— А ты?

— Я... — замялся Войтюк.

Елизар высунулся в коридор — он понял, что Серега Войтюк не один в вагон прискакал.

И верно. К стене испуганно жались две гражданки средних лет. Судя по всему — только со сна, бедняги. У одной бигуди косынку топорчат. Елизар представил, как гнал их через полсостава, подгонял, словно коз, из вагона в вагон Серега Войтюк...

— Твои, что ли, стоят? — обронил Елизар.

И Магда выглянула в коридор.

— Ну даешь, Серега! — закричала она. — Я своего не знаю, куда упрятать...

— У тебя ж служебка пустая, Магдалина, — взмолился Серега.

— Все знает, черт. Ну? Беспроволочный телеграф, да? — запричитала Магда. — А если что случится? Выходит, мне за твоих теток тоже отвалится? Сколько же ты себе оставил, если этих некуда прикнуть?

— Пятерых, — потупился Серега. — Семейство целиком, понимаешь. Что я, не человек, что ли, семью разбивать... А одиноких привел в надежде на добрых людей. Пусть они за тобой и числятся. А?

— Ну даешь, ну даешь, — отходила Магда. — А своего я куда дену? На буфера посажу позади вагона? У меня два места в служебке. — Не станет же Магда рассказывать, что она две полки свободными придержала, когда бегунок относила начальству. — Куда мне своего-то деть?

— Мужчину, что ли? — Серега Войтюк мельком оценил скорбно стоящего у окна человека с подстаканником в руках. — Я его в вагон-ресторан спроважу, пусть там посидит, пока ревизоры уберутся. Пивка попьет.

— Я пива не пью, — тихо вставил мужчина от окна. — Печень у меня, врачи не позволяют...

— Ша! — осадил Серега. — Один разок можно.

Мужчина переводил взгляд со здорового Сереги на Магду и Елизара, ожидая решения своей судьбы. Удивительно, какими покорными становятся люди в таком положении. Предложи им переждать суматоху в туалете или в топочном отделении — полезут и будут сидеть сколько необходимо...

— Вот что. Серега, в своем вагоне распорядись. — Магда не знала, на что и решиться. А решаться надо было, и срочно. — Елизар! Может, ты возьмешь теток?

— На кой они нужны, когда ревизоры на хвосте. И щита нет...

Все трое на мгновение задумались о странностях поведения начальника поезда.

— Ну и сюрприз, — проговорил Серега Войтюк.

И все поняли, кого и что имел в виду проводник-гипертоник.

Одна из женщин поправила на голове платок и произнесла плаксиво:

— Решайте уж... Деньги-то уплатили как в кассу, даже боле. А мучаемся, точно мы не люди...

— Ша! — осадил ее Серега. — Ходила бы ты со своими деньгами у перрона, если б не моя доброта и мягкое сердце.

— Дак я о чем...

— Ша! Твое дело молчать! — еще грознее прокричал Серега Войтюк. — По шпалам следом пойдешь. Не хочешь?

Вторая женщина угодливо дернула товарку за подол. Та обиженно засопела, но умолкла...

— Может, на антресоли их законопатить? — размышлял Серега.

Женщины испуганно ойкнули, но от слов воздержались под жутким взглядом Сереги.

— Как ты, Магдалина? С пассажирами в купе не перецапалась? А то выдадут.

— У себя конопать! — отрезала Магда. — Куда их на антресоли? На десять пудов каждая потянет

— Да, отъелись, — вздохнул Серега.

— М-м-мы еще и виноваты, — плаксиво не выдержала все та же, в бигуди.

Тут молчавший до сих пор мужчина вскочил со своего облучка. Сиденье с пистолетным звуком хлопнуло в стенку вагона.

— Гады неподсудные! Подонки! Нет на вас советской власти! Или всех перекупили?! — завопил мужчина. — Я сам пойду к ревизорам, сам! Пусть мне что положено впаяют, но таких гадов я согну. Нашлись тоже! Живых людей на антресоли конопатить!

Женщины дружно завизжали. Видно, представили эту картину.

— Тю, придурки! — заорал Серега Войтюк. — Где ты этого припадочного подобрала, Магдалина? — Он уже держал мужчину за лацканы плаща. И тот стоял перед Серегой точно приклеенный...

— Крохоборы! Пользуетесь неразберихой, рыбку ловите! — отважно орал мужчина. — Всех за ушко да на солнышко! Пусть мне впаяют, пусть! Но и вас, вагонных жуков...

Серега сильно встряхнул мужчину. Тот клацнул зубами и умолк, с ненавистью тараща глаза в Серегину переносицу.

— Ну вот, ну вот, — ласково приговаривал Серега. — Успокоился, малахольный...

Вдоль коридора из всех дверей торчали головы пассажиров.

Серега Войтюк потянул носом, принюхался. От мужчины пахло смолой, видно, в лесу работал человек.

— Лесоруб ты, что ли? Малахольный?

— Счетовод, — неожиданно смиренно ответил мужчина. — В леспромхозе. Пусти, задушишь, медведь. — Он поправил лацканы плаща, смятые ручищами Сереге, повертел морщинистой шеей с красной полоской от тесного галстука...

— Ты вот что, Серега, — и Магда растерялась от неожиданного выступления своего тихого подсадка, — бери своих теток и дуй отсюда! Весь вагон мне взбаламутил...

Большое лицо Сереге Войтюка стянулось мелкими морщинками к конопатому носу, он зажмурился и, едва отвернувшись, чихнул.

В тот же момент дальняя дверь вагона распахнулась и в коридор вступил Гайфулла Мансуров. Он открывал собой небольшую процессию, вращая со значением черными красивыми глазами и кривя пухлые губы на растерянном лице.

Следом за испуганным проводником деловито вышагивали два ревизора.

Магда сделала шаг назад в глубину купе. Приподняла нижнюю полку и спрятала в слепую щель пустую бутылку. Теперь стаканы не мешают замаскировать, у ревизоров зрение особое, найдут к чему привязаться, страху нагнать. И соответственно взвинтить цену. Не мешкая, Магда для отвода глаз плеснула в оба стакана чайную заварку и прикрыла салфеткой.

Серега Войтюк просунулся в проем двери. Белая его физиономия напоминала сырой блин.

— Эх, ты... не могла, — плаксиво протянул Серега. — Теперь улаживай...

Елизар повернулся к Сереге и прошипел возмущенно:

— Ты с какой такой радости ввалился?! Мало нам своих забот?

— Люди вы или нет? — хныкал Серега. — Ну ладно... Тиха! Тиха! Все! — И он обернулся к приближающейся бригаде, бросая поверх фуражки Гайфуллы теплый взгляд на высокого ревизора. Второй ревизор, чернявый и круглолицый, отдаленно напоминал Гайфуллу. Ясная картина: чернявый «ассистировал», а «солистом» выступал тот высокий в плаще...

Поравнявшись с тетками, старший ревизор понимающе оглядел их, перевел взор на взъерошенного счетовода. То же самое проделал и чернявый.

— Безбилетники! — произнес старший и пальцем погрозил всем троим.

Тетки затравленно шныряли глазами по сторонам и покаянно сопели, сдерживая слезы. Счетовод вытянул шею и колючим видом напоминал оципанного петуха. Серега Войтюк попытался широкой

своей спиной оградить счетовода от представителей контролирующих органов, но тот, пользуясь небольшим росточком, вынырнул из-под локтя проводника, продолжая буравить взглядом ревизоров, словно они являлись причиной его бедственного положения. Но ревизоры люди бывалые, не приняли его вызов. Не стоило затевать бузу по мелочам, важно дать понять, что они все видят и все знают. Вот они, зайчики, а сколько их еще, припрятанных...

За свою дорожную жизнь Елизару довелось повидать всяких ревизоров. Одни несли службу исправно, не поддавались соблазнам и уговорам, другие, наоборот, даже состав не осматривали, а прямехонько направлялись в штабной вагон, где их поджидал начальник поезда. Ведь повод для составления акта всегда найдется. Даже в самом прекрасном фирменном вагоне, а не то что в зачуханном «пассажире». Поэтому нежелание Аполлона Николаевича опекать свою бригаду вызвало определенные сложности: здесь, как и в любом деле, существовала своя, отработанная годами, технология, своя метода, своя, если угодно, этика отношений. И всякая самодеятельность вносила в спокойное течение событий излишнюю нервозность и риск. Любой благоразумный ревизор насторожился бы, встретив странное поведение начальника поезда. Любой, только не Куприян Степанович по прозвищу Косилка...

Шагнув в служебное отделение, Куприян Степанович оглядел верхнюю полку, словно пересчитывая посылки; придерживая фуражку, запрокинул голову, осматрел антресоли.

— Н-да,— произнес он.— Другие проводники даже велосипеды перевозят, а ты все по старинке продукты...

Магда не успела ответить — вмешался Гайфулла. Не решаясь переступить порог купе, он прижался щекой к дверному косяку и, ковыряя пальцем петельку на лацкане кителя, протянул робким голосом:

— Клянусь, это мой велосипед. Племяннику везу в подарок.

— Уйди! — незло посоветовал ревизор.— Велосипед ни при чем. У тебя шесть безбилетников, уйди, не зли меня.

— Как они попали в вагон, клянусь, не знаю,— продолжал Гайфулла.— Начальник, а начальник... Такой акт написал...

Ревизор приподнялся, отпихнул Гайфуллу и выглянул в коридор.

— Сигарету? — спросил «ассистент».

Ревизор от сигареты отказался и напомнил помощнику, чтобы тот внимательней приглядывал за безбилетниками. Моргнуть не успеешь, как улизнут. На что помощник развел руками: мол, постарается, не упустит. Серега Войтюк обескураженно хлопнул себя по бедрам и пожал плечами. На его лице было то выражение, какое бывает у человека, случайно влетевшего в историю, которая, в общем-то, не имеет к нему никакого отношения. Тетки в полубморочном состоянии от страха присели на сиротские откидные стульчики. Взъерошенный счетовод опустил руки в карманы и стоял, явно дожидаясь своего часа. А маленький Гайфулла, напоминающий понурого ослика, никак не мог взять в толк, почему слышший сговорчивым Куприян Степанович оказался таким норовистым: катанул на него акт. Казалось, Гайфулла ничем его не оскорбил: и угощение предлагал нестыдное — хранилась у него на пожарный случай рябина на коньяке,— да и деньгами не обидел бы...

Куприян Степанович задвинул плотно дверь и вернулся на место.

Магда стояла посреди купе, выжидательно следила за ревизором. Вытянутый, со слегка припухшим кончиком ее нос вздрагивал, словно у настороженного зверька. Она прислушивалась к тому, что происходит в коридоре. Ей казалось, что вот-вот раздвинется дверь и в купе, опровергая весть, что начальник поезда устранился от забот, ввалится Аполлон Николаевич. Но никаких обнадеживающих звуков его приближения не было, и Магду обуял страх. С одним своим посадком она бы вывернулась, придумала бы что-нибудь. Мол,

взяла на свободное место до ближайшей станции, а билет оформить не успела. Собиралась пойти в штабной, к начальнику, а тут подоспели ревизоры. Но что делать с этими тетками?! Не станет же она подводить Серегу. И как это Магда не сообразила: надо было теток загнать в купе, а потом уж выяснять отношения с этим прохиндеем Войтюком. Да и возможность была, неспроста она придержала в сведениях два места... Но как-то стремительно все произошло. «Ладно, подожду. Может, и образуется,— подумала Магда.— Наверняка ревизоров смутило поведение Аполлона, вот они и лютуют...»

Вагон двигался упруго, перебивчивый шум выровнялся и заметно утих, словно колесам надоел бессмысленный спор. Куприян Степанович покосился в черное окно: не станция ли? В Снегирях кончался участок его службы, заступала другая бригада контролеров. Прилипшую к стеклу густую темень колупнул случайный огонек — фара далекой автомашины. Куприян Степанович перехватил вспыхнувший надеждой взгляд проводницы и усмехнулся со значением: не радуйся, мол, успею произвести досмотр. Он откинул салфетку. Два стакана с чаем на донышке не вызывали подозрения, но Куприян Степанович поднес один из них к носу и понюхал. Разве чем водочный дух перешибешь? Пить, да еще при исполнении службы! И какой службы! Проводник отвечает за жизнь людей... Магда хотела было вступить: ну, выпили чуть-чуть. Не так же, когда после прибытия поезда на конечный пункт пассажиры выносят проводника на платформу и сажают у двери. Сколько таких случаев. Да и пассажиры хороши, каждый норовит угостить, ублажить, кто же откажется от дармовщинки. Словом, на эту тему Магда могла многое порассказать, только не ревизору. Тот и сам знает. Все знают, но помалкивают, за нос друг друга водят...

— Ну? — Куприян Степанович щелкнул ногтем по стакану.— Как дела?

Услышав этот условный сигнал, появление которого о многом говорит сведущим людям, Магда всплеснула руками и улыбнулась. Непостижимо, каким образом на всей сети дорог ревизоры, которые не изнуряют себя чрезмерной строгостью, выработали свой лексикон. А Магда, слава богу, не была новичком, знала что по чем...

— Есть дела,— ответила Магда на пароль.

— Знаю, что есть дела.— Куприян Степанович не смягчал строгого выражения сухого лица.— И что будем делать?

— Вначале закусим чем бог послал,— совсем взбодрилась Магда.

— Угощать должен один человек. А он у вас сегодня что-то не в духе.— Куприян Степанович положил на колени сумку и откинул ремни.— Вот мы его и накажем... Где санитарная книжка? Какой у тебя рабочий номер?

Магда с удивлением наблюдала за движениями ревизора. Ее крепкие щеки опали, посерели, губы побелели, гнев сейчас в ней боролся со страхом. Куприян Степанович извлек из сумки чистые бланки актов, копирку, ручку...

— Освободи-ка мне местечко, красавица,— произнес ревизор.— Темно как у негра под мышкой... На аккумуляторах катаешься? Нет чтобы генератор исправить... Все тебе отмечу.

— Вагон у меня из подмены.— Магда ниже опустила голову, разглядывая лежащие на краю столика листы.— Акт собираетесь писать? — удивленно спросила она.

— А ты думала! Убери-ка свой гастроном... Где санитарная книжка? Как без нее катаешься?

— Что же вы... «Как дела, как дела?» — Магда достала потрепанную санитарку.

— Интересуюсь твоими делами.— Ревизор придирчиво рассматривал записи в книжке.— Так, так... Значит, Магда Сергеевна Сави-

на. Хорошо.— Он с явным разочарованием вернул книжку: придрать было не к чему.— Ну так как твои дела? — повторил он.

— Вы же их видели.— Магда повела подбородком в сторону коридора.

— Видел. И состояние вагона видел. И пьянку вашу. Все видел. И все отмечу в акте.— Куприян Степанович отодвинул в сторону дверь и прокричал в щель: — Давай сюда безбилетников. Протокол вначале составим, потом и акт на закуску.— И, вскинув острые глаза на Магду, добавил: — А ты, подружка, выдь в коридор. Подожди. Тесно здесь.

Магда выпрямилась и, надменно уложив руки на грудь, села на полку, прижавшись спиной к углу. Ревизор взглянул на нее и, поняв, что увещевать бесполезно, крикнул:

— Ну, что вы там? Я жду.

В проеме с испуганно-воинственным видом показался Серега Войтюк.

— Послушайте, начальник,— неуклюже занес он вперед плечи, желая подавить робость.— Договориться не можем?

— Ты ступай к себе. Мы с тобой виделись вроде. К обоюдной радости.

— А что? Я чистый.

— И ступай к себе, пока не замарался. Нечего у соседей ошиваться, пассажиров без присмотра оставлять.

Скис Серега. Обмяк, точно проколотый мяч. Не хватило духа сознаться, что тетки в коридоре вагона это его грех, воли не хватило. Боялся, что возобновится осмотр и ревизоры обнаружат целое семейство безбилетников. Серега виновато посмотрел на Магду. И, не поймав ее взгляда, совершенно расстроился.

— Лучше бы применили власть, почему мы в одно лицо катаемся на таком длинном плече,— вяло попробовал на зуб Серега строгого ревизора.— Почти трое суток. Да обратно столько же... Ну провезли одного-двух человечков. За такую черную работу большое нарушение? Поезд остановится?

— Ступай, говорю! — рассердился ревизор.— Защитник нашелся.

Серега все старался уловить взгляд Магды. Показать, что не такой уж он и отпетый стервец.

— Да иди ты к себе, черт! — воскликнула Магда.— Стоит канючит. Уходи, говорят!

Серега ссутулился и умолк. Мучнистая в прожилках кожа его лица разгладилась, порозовела. В глазах появилось просительное выражение. И вместе с тем он демонстрировал обиду за незаслуженное к себе отношение. И даже попытался что-то сказать...

— Иди, Серега,— добавила Магда,— не выводи меня из себя. Все равно теперь. Померь давление и ложись спать.

Серега Войтюк продолжал стоять, бормоча что-то глухое и неразборчивое. Елизар ухватил проводника за плечо и потянул в коридор. Серега не сопротивлялся, наоборот, почувствовал облегчение, но продолжал хранить обиженный вид. А в дверь уже протискивались под нажимом «ассистента» безбилетники. Первой та, что в бигуди, следом «ассистент» готовил и вторую, прижимая боком счетовода к титану, чтобы отрезать ему путь к бегству...

Вагон швыряло из стороны в сторону, что говорило не столько о резвом ходе, сколько о состоянии полотна дороги. Бедолага последний вагон старался изо всех сил, чтобы не отстать, не затеряться в весенней ночи.

— Торопится, нагоняет,— проворчал ревизор.— На три часа опаздывает, вот и шустрит.— Он искоса взглянул на таившуюся в углу Магду, словно желая смягчить ее грозное настроение.

Магда продолжала молчать, исходя упрямым гневом.

— Так и будешь стоять? — спросил ревизор снизу у нависшей над бумагами женщины в бигуди.

— Что же вы хотите делать? — настороженно спросила женщина.

— Протокол составляю. По всем правилам. Как фамилия?

— Чья?

— Не моя же.

— А зачем вам? — И тихо, как-то по-кошачьи заплакала, моргая круглыми глазами, из которых выползали прозрачные слезы. — Я больше не буду, дяденька.

— Я тебе не дяденька, а ревизор-инструктор финансово-ревизорской службы. И нечего реветь. Заплатишь штраф, и все... Дяденька! Небось постарше меня будешь.

— Я ж заплатила проводнику. — Тетка трянула бигуди, точно овца кудлатой шерстью.

— Это твое дело! — Поерзав, ревизор стащил плащ с широких плеч, показывая испуганной тетке свой черно-медный китель. — Фамилия!

— Не говори! — сунулся в купе счетовод. — Чего он нас треплет? Пусть проводников своих треплет.

— Эх, хорошо! — буркнула Магда. — Я вообще тебя в первый раз вижу.

— Меня? — изумился счетовод. — Что я, с крыши свалился? — Он умолк в негодовании и отступил в коридор.

Магда была очень недовольна собой. Как вырвалась эта фраза, она не понимала — не в ее манере отрекаться от своих безбилетников. Последнее дело. И ревизоры этого страшно не любят. Сразу возникают сложности, никчемные дознания, трата времени...

Ревизор приподнялся с места, вытянул шею и крикнул в дверную щель:

— Помалкивай! Адвокат выискался. И до тебя очередь дойдет. Фамилия! — вернулся он к своим бумагам. — Будешь молчать — в милиции заговоришь.

Из коридора донесся новый вопль счетовода:

— Все они заодно! Шайка-лейка! Что ревизоры, что проводники. Мать их!

— Ты не лайся, не лайся! — перекрыл крики Елизар. — Как маленький. Такой хлипкий, а, поди ж ты, крикун какой.

Между ними завязалась перепалка.

Женщина хлопала по коленям красными широкими ладонями и частила испуганным шепотом:

— Ох ты господи. Это ж надо... Что же делать-то, господи! Говорила свекруха: «Не езжай, Марья. И без тебя там обойдутся». Нет, поехала. А куда поехала? — зывала она к чувствам ревизора. — Я ж племянника от артистки оборонить поехала. Ах ты господи, это ж надо. Ну и женился бы на той лахудре, мало ль женятся с кондачка...

— Так и запишу, что фамилию называть отказываешься, — оборвал ревизор и принялся что-то корябать на листе.

— Покорись, Мария! — запричитала из коридора вторая безбилетница.

— А ты помалкивай! — взъярилась женщина. — Из-за тебя все.

— Это почему ж из-за меня? — возмутились в коридоре.

— Кто меня от кассы тянул, чуть рукав не оборвал, кто? — прокричала женщина в дверь.

— Так ведь билетов не было! — поддала та из коридора.

— Были бы! Посулила б кассирше шоколадку, нашла бы. А то пожадничала.

— Покорись, Мария, — продолжали бубнить из коридора. — Хуже будет. Их власть...

Фраза эта, видимо, придала новые силы счетоводу из леспромпхоза. Отпыврнув Серегу и Елизара, он рывком отодвинул дверь и возник на пороге купе. Остренькое личико пылало жаждой справедливости.

— Что ж получается?! Вместо того чтобы жучить проводников, они на нас отыграться решили? Да?!

Серые усики ревизора выгнулись дугой, а нос от возмущения вскинулся торчком.

— И до проводников очередь дойдет, не шуми! — крикнул ревизор. — Каждый ответит. Хватит. Распоясались... Выдь-ка за порог!

— Накосы! — Счетовод сложил дулю, на удивление крупную для его сухонького кулачка, и сунул под нос изумленному ревизору. — Ты когда-нибудь видел, чтобы на нашей Кедровке билеты продавали, а? Все проводникам платим. У нас и окошко заколотили досками.

— Меня это не касается! — закричал ревизор, отводя в сторону лицо. — Езжай до Сосновки, там и садись в поезд по закону.

— До Сосновки? А на чем, на ишаке?

— На попутке, как все. Заплатишь штраф, сразу найдешь на чем... И убери лапу, болван! Я тебя еще за хулиганство привлеку!

Ревизор вскочил и принялся выталкивать счетовода из купе. Тетка завизжала... Счетовод сопротивлялся. Пуговица на воротнике линялой рубашки оторвалась, показывая кусок тельняшки.

— Не пихайся! — взвизгнул счетовод. — Счас как звездану, своих не узнаешь, пихала!

— Это кого ты звезданешь? Представителя власти?!

— Тебя и звездану! — орал счетовод, цепляясь за каждую загоулину в купе.

— Ну звездани! Ну! Звездани!

— И звездану!

Скандал набирал обороты.

В коридор повыскакивали пассажиры. Пытаясь выяснить причину такого шума, они еще больше сгущали обстановку. Кто-то пустил слух, что поймали дорожного вора. Это внесло свежую струю в общий гвалт.

Только Серега Войтюк молчал. Он еще не терял надежды уломать Косилку и подавал взглядом знаки теткам, чтобы не раздражали ревизора. Тетки его не понимали, но тем не менее притихли и поглядывали на Серегу с надеждой...

В это время случилось нечто совершенно невероятное.

Вытолкнув наконец строптивного счетовода в коридор, ревизор собрался было вернуться к своей писанине, как увидел, что Магда... рвет уже заполненные им листы протокола. За годы своей небезопасной работы Куприян Степанович впервые видел подобное. Были случаи, когда его крепко колотили. Однажды расшвирипевший проводник спихнул его с поезда. Куприян Степанович лежал в больнице с переломом, еле вытянул. И акты рвали проводники, и протоколы жгли безбилетники. Чего только не творил народ за время его ревизорской службы. Но чтобы так спокойно, без истерики, даже по-деловому женщина-проводник превращала в клочки номерные листы протокола...

— Ты что делаешь?! — От волнения Куприян Степанович даже осип. — Понимаешь, что ты делаешь? Под суд захотела, да? — Он бросился к Магде.

В дверях с разинутыми от удивления ртами торчали головы почти всех участников перепалки.

— Что делаю? Не видишь? — спокойно произнесла Магда. — Ты накалякал, а я рву.

Из-под мышки поднятой для удара руки ревизора в купе протиснулся Елизар.

— Только тронь ее попробуй!— Розовые уши Елизара пылали безрассудной отвагой.— Только попробуй!

— Что тронь, что тронь?— чуть не плача выдавил ревизор.— Понимаешь, что она натворила, дура! Как я теперь отвечу!? Листы-то подотчетные.

— Ага! Боишься?!— радостно воскликнула Магда.— Так я и знала. На испуг хотел нас взять, да? Самозванец ты, а не ревизор!

— То есть как самозванец?! — растерялся Куприян Степанович.

— Покажи свой открыттый лист! По какому такому приказу и графику ты досмотр сегодня производишь? Ну?! Где твой открыттый лист?

Вопрос Магды явно застал ревизора врасплох.

— Какое ты имеешь право требовать мой открыттый лист? Кто ты есть?— взвился Куприян Степанович с глупыми от гнева глазами.

— А какое ты имеешь право проводить ревизию без начальника поезда? Или доверенного лица от нашей бригады? Где они? Ага... То-то. Была бы нормальная ревизия, по закону, вы б не шастали одни со своим дружком... Где он, кстати? А ну-ка давай его сюда, Елизар. Сейчас сдадим их на станции. Думают, если в кармане удостоверение, значит, что хотят, то и делают. Думают, мы законов не знаем...

В обомлевшей толпе, что закупирила дверной проем, произошло движение. И через мгновение Серега Войтюк объявил, что «ассистента» и след простыл.

— Ага!— воскликнула Магда.— Чует лиса, чью куру стянула. Убежал твой напарник, Куприян Степанович, ловчее оказался.— засмеялась Магда.— Эх вы... Ну сняли бы по своей трешке с вагона и отвалили, как всегда. А то вон какой шорох навели. Санитарную книжку подавай, суд буду вершить. Сам себя обхитрил!— злорадно торопилась Магда, пока ревизор возился с плащом.

— Попомнишь эту встречу, Магда Сергеевна... Железку не объедешь, все равно встретимся, когда при исполнении буду,— бормотал ревизор, тараща глупые и злые глаза.— А то устроила тут купе свиданий. Вон сколько мужиков нагнала.

— За это и по мордасам можно заработать,— проговорила Магда.

— И пух-перья пощипать,— вставил уязвленный Елизар.

— Ну-ну! — Ревизор не прятал испуга.— Геть с дороги!

Он продрался в коридор и выдернул следом свою сумку...

— Ворон ворона в глаз клюнул! — петушился счетовод перед ничем не понимающими тетками.— Есть охота — спасу нет. Всегда, как годовой отчет или неприятности какие, аппетит разыгрывается.

— Коль все обойдется, пойдем, накормим тебя,— произнесла гражданка в бигуди.

— Ступайте, ступайте!— прикрикнул Серега.— Я сейчас иду.

— Ишь раскомандовался,— буркнула та, что в бигуди, и пошла вдоль коридора, обтирая широкими бедрами стены.

Следом потянулась и вторая женщина, ухватив за руку, точно ребенка, маленького счетовода...

Стоящие в дверях купе пассажиры с подозрением глядели им вслед — так всегда смотрят на безбилетников те, кто имеет законный билет. Толком не зная, в чем дело, они по гаденькой людской манере вполголоса осуждали эту тройцу. Кто-то ж должен быть виноват, если вагон чуть ли не полчаса ходуном ходил от криков.

А в служебном купе на полке рядком, точно птицы на заборе, расселись проводники.

— Что, может, споем, Елизарушка? — воскликнула Магда.

— Высплет он тебе за это,— уныло обронил Елизар.— Злопамятный, сволочь.

— Как бы я ему не всыпала. Рыльце-то в пуху.— Магда еще не отошла от всех треволнений.— За такое браконьерство знаешь что ревизорам бывает... Под суд могут отдать...

Они молчали несколько минут, подчиняясь сильному раскачиванию вагона.

— Извини, Магда,— проговорил Серега.— Нехорошо вышло со мной, извини...

— Ладно тебе,— великодушно ответила Магда.— Бывает...

Серега широко и радостно улыбнулся: прощен, прощен. Просунул длинные руки между коленями и пощелкал пальцами.

— Одного не пойму,— Серега все улыбался широким лицом,— если они капусту решили пощипать, то к чему такое рвение показывать? Акты, протоколы. Точно голую зарплату отрабатывают. Не сходится что-то...

— Вот и я думаю,— согласился Елизар.— Что-то, видно, стряслось.

Гайфулла снял широкую кепку и провел ладонью по влажным волосам.

— Все хорошо, одному Гайфулле плохо,— сказал он печально.— Гайфулле всегда плохо. Букса загорелась, час простояли — Гайфулле нагоняй. Теперь акт на стол положат — Гайфулла на месяц в охрану вагонов сошлют. А самый сезон...

— Заладил...— прервала Магда.— Вот твой акт, держи!— Магда достала из-за пазухи кителя лист бумаги.— Скажи спасибо тому придурку счетоводу, внимание Косилки отвлек, я и стянула твой акт вместе с протоколом. Семь бед — один ответ!

Она смеялась, откидывая за плечо густые волосы, вздернув уголки тонких губ. Громко и открыто.

В глазах Гайфуллы метались черные искорки восторга, а на кончике носа набухла капля пота. Он прижимал к груди смуглые ладони и цедил какие-то не связанные между собой благодарные слова. И не было сейчас человека счастливей...

Начальник поезда Аполлон Николаевич Кацетадзе передал сведения дежурному по очередной станции и вернулся в штабное купе.

До отправления оставалось несколько минут. Швырнув фуражку в угол, он достал из холодильника бутылку пива, нащупал пальцами открывалку под столиком, завел горлышко и ловким движением откупорил бутылку. Пиво оказалось теплым, не успело остудиться, такое лучше пить из горла: кажется более прохладным...

Вагон вздрогнул. Скрипнули колеса. Что-то резко громыхнуло под полом... Аполлон вслушался. Вероятно, на пути валялась какая-нибудь железка, на этой станции вечно беспорядок. Не станция, а свалка. Дохозяйничают когда-нибудь до аварии...

За окном к хвосту поезда медленно текла ярко освещенная платформа, неся на своем мокром асфальте людей, киоски, тумбы. Проплыла прозрачная витрина парикмахерской с мастером в докторском халате. Потом потянулось кафе, где в стеклянном капкане томились люди с подносами в руках. Бювет с горячей и холодной водой. Багажное отделение с тележками, уставленными коробками. Лестница, ведущая на мост. Все! Вокзал исчез, подставляя взгляду панораму обсиженного тусклыми огоньками городка. Когда-то это был довольно бойкий городок, но с тех пор, как поблизости открыли нефть, обезлюдил, захирел...

За время своих поездок Аполлон так изучил населенные пункты по пути следования, что казалось, сам прожил в них годы. А все пассажиры. Всю подноготную вывернут: и что выпускается, и почему мясо на рынке, и кто в горисполкоме правит...

Аполлон задернул занавеску и взял со стола бутылку. Но пить расхотелось... Надел фуражку, оправил китель, мельком взглянул на себя в зеркало и вышел из купе, замкнув дверь.

В служебном отделении Судейкин пересчитывал одеяла, они горкой высились на средней полке. Проводники-новички могут спокойно отнестись к тому, что у вагона недосчитаются колеса, но не-

хватка одеяла или затрепанного полотенца вгоняет их в панику. Оттопыренными пальцами, словно измерителем, Судейкин перебирал уголки одеял, шепча цифры. Аполлон прошел мимо.

В вагоне было чисто. Ветерок выгибал крахмальные занавески, свежил воздух.

Тамбур встретил Аполлона лязгом и грохотом. Но площадки пригнаны аккуратно, хоть это и не забота проводника. Чувствовалось, что и следующий вагон оставит хорошее впечатление...

— Что вяжешь, тетя Валя?— сунулся Аполлон в служебное купе.

Тетя Валя едва умещалась на полке своим пухлым задом. Вытянутые толстые ноги грелись в опрятных чувках. Да и вся она просто лучилась домашним несуетливым уютом. Аполлон не представлял бригады без тети Вали.

— Что вяжу? Что получится, Аполлоша.— С глазу на глаз тетя Валя всегда обращалась к начальнику ласкательно и на «ты». Сколько лет вместе работают! — Небось к Магде скачешь?

Аполлон смутился.

— Твое какое дело? Вяжет... Смотри, вагон спицами не проткни.

— Вагону ничего не будет,— спокойно ответила тетя Валя.— А Елизар тебя и впрямь чем-нибудь проткнет.— Она посмотрела на Аполлона долгим взглядом.— Оставь ты ее, Аполлоша. Любит ее Елизар. И она его любит. Не мешай им. Не доводи до беды...

Аполлон покраснел. Этого еще не хватало — так открыто, без всяких хитростей...

— О чем говоришь, тетя Валя? Я начальник поезда, совершаю вечерний обход.— У Аполлона появился грузинский акцент.— В конце концов, я женатый человек, понимаешь?! — Не договорив, он заторопился по коридору.

Не задерживая ни на чем внимания, он миновал несколько вагонов. Мелькали растерянные лица проводников. Аполлон знал причину их растерянности. Никто из них не мог понять поведения начальника поезда в той истории с ревизором. Вслух пока не роптали, но между собой наверняка не раз перемысли косточки своему капитану...

В тамбуре вагона-ресторана сидел паренек и чистил картошку. Вокруг огромной кастрюли валялась шелуха. Мокрыми руками он поправлял галстук, что выпадал из отворота курточки.

— Тебя где такого подобрали?— спросил Аполлон.

— В Сосновке,— охотно ответил паренек.

— И куда едешь?

— До сотога километра.— Паренек закинул через плечо клетчатый галстук и поднял глаза на Аполлона. Признав в нем важную птицу, паренек испугался.— Ножик тупой, плохо режет,— невпопад пробормотал он.

— Требуй острый. Раз тебя наняли, пусть и инструментом обеспечат.

— Тут потребуешь,— усмехнулся паренек.

Пройдя узким коридорчиком в салон ресторана, Аполлон тотчас увидел директора Зинаиду. В желтом взъерошенном парике Зинаида напоминала растрепанную хризантему.

— А, начальство пожаловало!— Улыбка Зинаиды заполнила салон, обмытый ядовитым ртутным светом. Если на принцип, то Зинаиде начальник поезда не указ, другое ведомство ей жить дает. И за уголек она из своего кармана платит и за ремонты всякие... Но все равно с начальником поезда портить отношения ни к чему, он всегда может свинью подложить, тем более, для этого не надо глубоко копать, стоит только на кухню пройти...— Накормим Аполлона Николаевича! Котлетки свежие, прямо с огня...

Не заметив ответной улыбки, Зинаида подобралась, точно спряталась в конуру, выставив наружу, подобно сторожевым фонарикам, свои мелкие порочные глазки...

Аполлон присел на табурет у стола, на котором валялись калькулятор, какие-то накладные, апельсиновая кожура и окурки. Обе стройные черноволосые официантки в розовых беретах и коричневых платьях казались на одно лицо, словно две бутылочки из-под пепси-колы. Забыв про клиентов, они приблизились к столу, задабривая красавца начальника игривыми взглядами.

Аполлон вытянул руки, раздвинул эту красновато-коричневую оградку и, глядя сквозь образовавшуюся щель на директоршу, проговорил:

— Ты, Зинаида, своим подсадкам ножи бы острые выдавала. А то картошки не напасешься, вермишель будешь варить.

— Ничего, справится. А где мне острые взять? И так свои из дому приношу,— отозвалась Зинаида.— Какие еще претензии, начальник?— переходила в наступление директорша.

Аполлон молчал, чувствуя в груди закипающую злость.

— Словно я первая и последняя,— обидчиво произнесла Зинаида.— Не обеды же он готовит, верно? А картошку почистить или прибрать на кухне и зайчик может... За билет платить не надо, да еще и накормлю.

— Плантатор ты, Зинаида. Из «Хижины дяди Тома». Читала, нет? В детстве...

— Какое там детство? Вы же знаете мою биографию.— Зинаида толчком раскидала официанток.— Работайте, птички, люди ждут...

— Знаю твою биографию,— усмехнулся Аполлон.— Как ты дошла до дачи на Рижском взморье.

— Дача... Курятник в одно окно!

— И в пять комнат,— подхватил Аполлон.— Или в десять, не помню.

— Да ведь и вы не в пещере живете,— разозлилась Зинаида.— И жена не в синтетике ходит...

Видно, Аполлон крепко обидел Зинаиду, если она в такие вольности пустилась...

А в салоне дым стоял коромыслом, пассажиры угощались. За ближайшим столиком перед батареей бутылок сидели трое военных и дама. Через проход — семья: отец, мать и двое деток уплетали люля-кебаб, запивая лимонадом. Остальные ряды тоже не пустовали.

— На сколько сегодня моим проводничкам поблажка вышла за обед?— поинтересовался Аполлон, поднимаясь из-за стола.

— На рубель,— пояснила Зинаида.— Скидка.

— А в прошлый рейс всю дорогу семьдесят копеек платили.

— На сливочном масле в этот раз готовим.

— А тогда на чем? На машинном?

— Тогда на маргарине.— Ее губы в ярко-красной помаде напоминали два пельменя в томате.— Разговору-то из-за тридцати копеек... А еще грузин называется,— попыталась свести к шутке скользкий разговор Зинаида.— Национальность у вас широкая, Аполлон Николаевич.

Почему-то это признание вывело Аполлона из себя. Он взял Зинаиду за ватный локоть, приблизил к себе просторное ее лицо, усеянное мелкими прыщиками.

— А ты какой национальности будешь, Зинаида? Хитрая, жадная...

— Вы что, Аполлон Николаевич?! — Зинаида испугалась. Таким она еще не видела начальника поезда.

Аполлон оттолкнул ее, ссутулился, пошел через салон, наткнувшись на танцующие углы столиков. С чего он вдруг взъярился на эту бабенку? Но в глубине сознания он мог объяснить свою неуклюжую вспышку ярости. Зинаида чем-то вдруг напомнила ему Алину, его жену. Не внешне, нет. Разве можно их сравнивать внешне? Но чем-то

они схожи, и от мысли этой Аполлон не мог отвязаться. Все обиды на Алину вспомнились, и давние обиды, и самые последние...

Размышления Аполлона прервал тихий возглас Шурки Мансурова, старшего из братьев проводников. Звук доносился откуда-то снизу. Аполлон оглянулся. Шуркина голова торчала из рабочего купе — он лежал на нижней полке и, видно, не успел подняться, когда заметил начальника поезда.

— Начальник, хорошее мясо есть,—заговорщически произнес Шурка.— Домашнее, угощу.

— Отвали,— буркнул Аполлон.— Все в порядке?

— Все в порядке, начальник,— ответил Шурка.— Скоро чай буду разносить.

Тут из ближайшего купе выступил гражданин. Выпирающий живот сдерживался одиноким ремешком подтяжек, второй ремешок болтался на боку.

— Он еще чаем хочет нас поить?! — воскликнул гражданин.— Вы начальник? Не отпирайтесь, я слышал.

— Я и не отпираюсь,— улыбнулся Аполлон, глядя на возбужденное лицо толстяка.

Из соседних купе появилось еще несколько пассажиров.

— Хочу сделать заявление, товарищ начальник... — отважно произнес толстяк.

— Да, да! — поддержали остальные.— Мы тоже возмущены.

Аполлон выжидательно молчал.

— Мы не хотим сказать ничего плохого о нашем проводнике,— продолжал толстяк.— Парень он работающий, услужливый. В вагоне чистота, порядок... Но то, что он собирается нас поить чаем... Нам этого не перенести.

— Не понял, уточните.

— Поить горячим чаем людей, которые и без того едут точно ошпаренные кипятком. это как называется?!

— Да! — загомонили вокруг.— Бегаем за холодной водой к соседям. Не все же могут себе позволить умываться минеральной водой?! И еще чай собирается подавать.

Шурка стоял пунцовый от смущения и что-то бормотал.

— Все понятно, товарищи,— кивнул Аполлон.— Расходитесь по своим местам. Все будет в порядке, уверяю вас.— Он боком задвинул Шурку в рабочее купе.

— Против самого проводника мы ничего не имеем, он парень добросовестный. Но нельзя же отправлять в рейс вагон-кипяильник,— не успокаивались пассажиры.

Аполлон задвинул дверь, отсекая голоса.

— Ты что же, мерзавец, делаешь?! Немедленно прекрати греть воду!

Аполлон поднял крышку нижней полки. Весь рундук был забит бутылками из-под минеральной воды.

— Ох, хитрюга! — качал головой Аполлон.— Половину автомобиля везешь в стеклотаре!

Шурка моргал черными девичьими ресницами и обескураженно разводил руками. Но в глазах его тлели огоньки довольства.

Эта история развеселила Аполлона, и к шестнадцатому вагону он вообще забыл о предсказании тети Вали и о Зинаиде...

Яша Гурин сидел в одном из купе среди пассажиров и играл в шахматы.

— Встать! — закричал он, увидев Аполлона.— Смирно-о-о!

Его партнер по шахматам поднял от доски очумелое лицо, дернулся вверх, опрокидывая фигурки на пол. Следом за ним, ничего не понимая, вытянулся следящий за игрой болельщик. С полка тарасили глаза две девицы...

Яша по-военному шагнул к Аполлону и четко отрапортовал:

— Товарищ начальник поезда! За время нахождения в пути никаких происшествий не было. Если не считать мордобоя в соседнем вагоне, после чего враг позорно бежал. Победила дружба! На вверенной мне территории ограниченный контингент после ужина дрыхнет. Проводник плацкартного вагона Яков Гурин.

— Вольно! — поддержал забаву Аполлон, еле сдерживая смех.

— Вольно! — разрешил Яков.

Очкастый шахматист нагнулся к полу собрать упавшие фигуры, ему помогал болельщик. Девицы оставались лежать смирно, точно на медосмотре. Строгий внешний вид начальника поезда производил впечатление...

— Интересно, с каких это пор в поездах такое гусарство? — не унимались за перегородкой.

— Указ был! — пояснил Яша в пространство.— При появлении начальства все пассажиры выстраиваются в коридоре.

— И шмон будет? — допытывались за перегородкой.

— Шмона не будет,— авторитетно заявил Яша. Не выдержав, он со смехом свалился на полку.

И Аполлон хохотал. Он всегда ждал от Якова какого-нибудь фортеля. Пассажирам с ним было весело. За все время ни одной жалобы, хотя дела он проворачивал покруче других. Яша был убежден: рыбку выгодней ловить в чистой воде. Да и порядок в вагоне был отменный. Он умел наладить такой контакт с пассажирами, что те сами следили за чистотой в купе, а туалетами пользовались так, что, умываясь, не брызгали на пол. Удивительно, но пол в туалетах был почти сухим...

Аполлон и Яков прошли в служебное помещение.

— Могу угостить вишневым наливком,— проговорил Яша.

— В шахматы выиграл?

— Нет, пассажир угостил. А в шахматы мне еще днем две уборки проиграли. На завтра и на послезавтра...

Аполлон усмехнулся.

— Очень кстати. Хочу с тобой выпить...

Яша быстро собрал весьма приличный стол. И даже сервировал со вкусом. Аполлон с одобрением оглядывал шпроты, буженину, банку с грибами. Нет, Яша не был крохобором, ломающим зубы о сухари, он любил жить красиво даже в плацкартном вагоне.

Яркое освещение в купе умиротворяло, настраивало собеседников на откровенный разговор. Аполлон хотел было для начала рассказать об ухищрениях Шурки Мансурова, но сдержался. Ни к чему разносить слухи о проступках членов своей бригады, это всегда в конечном счете оборачивается неприятностями. Аполлон Николаевич Кацетадзе потому и слыл хорошим начальником, что не увлекался сплетнями. Даже ради уютного застолья...

— У меня такое ощущение, Аполлон Николаевич, что у вас есть что мне сказать,— произнес Яша, разливая по стаканам наливку.

— Попросить, Яша, попросить.— Аполлон тронул пальцами кончики усов.

— Интересно, о чем может попросить такого человека, как я, такой человек, как вы,— продолжал Яша манерный разговор.

— Я хочу попросить тебя занять мою должность на время,— охотно подыграл Аполлон.— Вернее, не должность, а обязанности. От Москвы до Минеральных Вод. Думаю, что ты с этим справишься лучше других.

— Безусловно,— скромно подтвердил Яша.— Чем вызвана такая необходимость? — Он внимательно и серьезно смотрел на начальника.

— Завтра в восемь утра мы должны быть в Москве. А в десять заседание коллегии министерства по пассажирским перевозкам. На коллегии должен выступить начальник нашей дороги.

— Свиридов? — важно спросил Яша.

— Да, Свиридов... Словом, мне надо послушать его сообщение. Потом я сажусь в самолет и лечу в Минеральные Воды. Я все рассчитал.

— Наверное, это необходимо?

— Да, Яша, необходимо. Не стану вдаваться в подробности, но это необходимо.

— Все понятно, начальник,— кивнул Яша.— Народ будет извещен?

— Естественно... Состав в нормальном рабочем состоянии, так что у тебя забот немного. Сведения о наличии мест, мелкие неурядицы...

— И ревизоры,— поддержал Яша.

— И ревизоры. Не мне тебя учить.

— Именно поэтому, Аполлон Николаевич, мне видится странным ваше выступление во дворе вагонного участка,— вставил Яша.

— Какое?

— О вашем самоотстранении в случае конфликта с ревизорами.

И в подтверждение — история с Магдой.

— Да, некрасивая история, Яша... Тот ревизор наглец, пробы негде ставить. Ввалился ко мне в штабной со своим напарником, который вообще ревизор-общественник оказался. Я потребовал открытый лист. Он явно не ждал подобного, привык, понимаешь, к страху. Думал сорвать свое и убраться, как обычно. Я сказал, что напишу на него рапорт. Вот они и пошли по составу. Чтобы против моего рапорта своими актами потрясти. Мол, я ему за добросовестную работу мщу...

— А почему без открытого листа, если он ревизор?

— Деньгу вышел шибануть, выпить захотелось, подлецу. Халтурку себе устроил с дружкой... Как Магда его раскусила, не пойму.

— Как? Я был у нее, разговаривал... По инструкции, говорит, с ревизорами должен быть начальник поезда. Или уполномоченный от бригады. Вот и смекнула, что дело нечисто. Потребовала открытый лист. И пошло-поехало.

— Молодец девочка,— засмеялся Аполлон.

— Может, чайку, начальник? — предложил Яша и, не дожидаясь согласия, полез в шкафчик.

Колеса зарокотали на стрелках. В окне промелькнули одиночные огоньки. Поезд, не сбавляя скорости, проскочил разъезд и вновь выбрался на главный ход... Ехидный лунный серп приклеился в угол окна. Продержавшись недолго, серп стал заваливаться по дуге к боковой стойке. Аполлон уперся рукой о стол, его вело на повороте. Яша вцепился в край полки.

— Какие ж все-таки твари ползают вокруг,— проговорил Яша, вновь обретая устойчивость.

— А чем мы с тобой лучше? А, Яша?

— Чем! — Яша криво усмехнулся, но без тени смущения.— Во-первых, мы работаем. И делаем трудное дело...

— Мы, Яша, такая же мразь, как и тот ревизор,— перебил проводника Аполлон.— Себя-то не обманывай. Спрятались за фразу «умеем жить». Пройди по вагону, Яша, поговори с людьми. Разве они не умеют жить? Посмотри на их руки, Яша...

— Руки я видел разные, Аполлон Николаевич,— возразил Яша.— Да разве по ним сейчас что-нибудь скажешь? Переменилось все. Смотришь, у одного руки гладкие, без мозолей. Думаешь — вот попался интеллигентный человек, работник умственного труда. А он, оказывается, обыкновенный бюрократ, бездельник. Руки гладкие оттого, что ни хрена он ими не делает. Они у него и атрофировались. А у другого мозоли — хоть коленвал ими гни. Ну, думаешь, стале-

вар, без подмеса! А он, родной, у Богдана Стороженко ящики ворочает.

— Кто такой? Не знаю.

— Частное предприятие по сбору стеклотары. Бутылочный гетман Богдан Стороженко. Вся дорога его знает, а вы не знаете.

— А Николая Георгиевича ты знал?

— Не имел чести,— ответил Яша.— Кто таков?

— Мой отец, Яша, Николай Георгиевич Кацетадзе. Обыкновенный труженик железной дороги... У него было много друзей, Яша. Гораздо больше, думаю, чем у нас с тобой.

— Кто их считал, Аполлон Николаевич, друзей?

— Я считал, Яша. Когда хоронили отца... А за твоим Стороженко пятеро молодцев понесут в мозолистых ладонях дюжину поллитровых бутылок, а после распития на могилке сдадут где-нибудь, не пропадать же добру.

Яша рассмеялся. Когда он смеялся, из-под тонкой губы выдавались розовые десны. Аполлон отвернулся в сторону.

— Очень смешно,— проговорил Яша.— Только убежден, что за гробом Стороженко пойдет весь вагонный участок. И знаете почему?

— Из любопытства? — произнес Аполлон.

— Именно. Чтобы узнать, как железная дорога будет теперь справляться с проблемой порожних бутылок. Иначе говоря — куда нести сдавать добро.

— Ты за частное предпринимательство, Яша? — отшутился Аполлон.

— Я за разумную инициативу, Аполлон Николаевич,— серьезно ответил Яша.— В этом плане даже нашу проводниковскую суету я рассматриваю как общегосударственное дело.

— Ну? Интересно.

— Именно. Взгляните на полку, Аполлон Николаевич. Там целый склад посылок. Обычным своим ходом через почту они бы шли не меньше двух-трех недель. При этом почта выставит множество условий, чтобы не принять: и не так прошито, и не так прибито, и не так надписано. Опять же очереди, особенно в праздники... Мы же за скромную плату доставляем из рук в руки за самый короткий срок. Пропажа исключена, фирма гарантирует... Или те же безбилетники! Если дорога не может организовать нормальную продажу билетов и не гонять полупустые вагоны... Частное предпринимательство, Аполлон Николаевич, возникает там, где государство дает слабину. Ибо жизнь не терпит пустоты, тут же находятся люди, которые заполняют своей предприимчивостью пустоту. Это, если хотите, здоровая конкуренция. Именно она в какой-то степени и толкает государство на решение проблем, иначе частник закидает шапками. И нечего на это закрывать глаза, отворачиваться в спесивом высокомерии, уповать на лозунги и призывы. Надо на вещи смотреть трезво — от этого государство только выиграет, ибо на его стороне гораздо больше возможностей, чем у нас, диких частников... Вот поэтому, дорогой мой начальник, вероломное поведение ревизора я рассматриваю как мерзость. Он есть клоп, который, пользуясь официальным положением, сосет кровь и у государства, и у нас, проводников. Ничего при этом не давая взамен. Он не спит стоя и не стоит в тамбуре часами, уступив свое место человеку, не сумевшему из-за чужого головатяпства купить билет на поезд. Он паразит... И в этом наше с ним принципиальное различие, вопреки вашему утверждению, дорогой Аполлон Николаевич... А главное в нашей конкуренции с государством то, что оно под нашим давлением выдвигает из своих рядов талантливых и энергичных людей, способных решать проблемы. И убирает всякий балласт: тупарей чванливых, блатников, которые все тормозят. Эти гады — да, гады — держатся за зарплату, за

привилегии, да семи пядей во лбу у них нет. А иначе... Плохо будет...

— Серьезный разговор, Яша, не нам его решать, не нам...

— Это верно. А что от этого, сердце меньше болит? Или люди разговаривают меньше? Да вы только прислушайтесь!

— Прислушаются кому надо, прислушаются. А тебе с твоим умом делом бы заняться,— сказал Аполлон.

— Так занимался, Аполлон Николаевич, честно занимался... Но как подумаешь, кто нами правит... Вы когда-нибудь попадали, скажем, в инстанцию, где надо что-то согласовать, что-то утвердить? Из-за этих инстанций я и сбежал. Когда смотрят на тебя чистыми глазами и говорят на белое — черное. Или ничего не говорят, молчат! Умолкают сразу после того, как сойдут с трибуны, где призывали всех творить добро. Я подловил однажды такого оратора после выступления. Подошел и говорю: «Подпишите, завод может остановиться. Вы только что говорили о том, что завод не должен останавливаться!» Не подписал. Я и уволился. Пошел в проводники, сам себе хозяин. А ведь и я не без роду-племени. Отец — известный хирург, мать поет в опере. Вполне обеспеченные люди. Да и я неплохо зарабатывал. А бросил все, ушел под начало человека, который сам все решает...

— Спасибо, Яша. Приятные слова говоришь, генацвале.— Аполлон поглядел усы.— Тамада из тебя отличный, тоже профессия непростая.— Аполлон встал, подобрал фуражку, надел ее по-уставному.— Засиделся я у тебя.

— Понимаю,— со значением ответил Яша.

— Ни черта ты не понимаешь... Я именно к тебе и шел.— Аполлон остановился в дверях, обернулся, уперся руками в боковины.— Подумай. Яша. если мы все такие умные, все понимаем. А живем... Как живем!.. Есть же люди, которые все понимают, как и мы, да только... Человеческое достоинство у них еще есть. Я знаю таких, Яша, знаю.

Яша вскинул голову и посмотрел на Аполлона внимательным взглядом.

— Нелегко вам, Аполлон Николаевич. Я думал — легко, а оказывается, не очень... Или дома не все в порядке?

— Там, что ли? — Аполлон щелкнул пальцем по своему лбу.

— Нет, дома в смысле в семье.— Яша не улыбался.

— Ладно. До свидания, философ.

Аполлон почувствовал досаду Рассуждения Якова его затронули. Не смыслом, нет. Он все прекрасно понимал, и не хуже Якова, тем более то, что касалось железной дороги. Яша задел его какой-то уверенностью в том, что все останется по-прежнему. И нечего плевать против ветра. Интонация была у Якова такая, ироническая, что ли...

Аполлон направился к себе в штабной вагон.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

В четыре тридцать утра Магда собиралась встречать Ярославль. Стоянка двадцать минут. Из ее пассажиров никто там не выходил, но появиться на платформе надо, вагон хвостовой, мало ли что... Магда приподнялась и села, угадывая в тусклом свете остатки вчерашнего ужина. Она старалась оставлять столик с вечера чистым, но так уж случилось, засиделась она с Елизаром. Спала часа полтора, не больше, до того как ее поднял будильник. Вот звонок так звонок — мертвого поднимет. Все же в одно лицо это не работа. Надо кончать с этим... Хотя бы три проводника на два вагона и то облег-

чение, обычно думала Магда, когда разбитая поднималась с желанной и теплой полки. Только потом, подхваченная суетой взбалмошного вагонного быта, она забывала о помощнике...

Нащупав выпавшие во сне заколки, Магда ловкими движениями перекрутила на затылке волосы, подколола в нужных местах и, раскинув руки, сладко потянулась до хруста в спине. А память продолжала хранить обрывки вчерашнего серьезного разговора. Елизар ставил вопрос ребром: или выходи за него замуж, законно, со свадьбой, как у людей, или он переведется на другой маршрут, чтобы не терзать душу. Замуж Магде не хотелось, достаточно хлебнула со своим первым муженьком. С другой стороны, не век же ей болтаться в поездах, пора и на дочь обратить внимание, интернат при живой матери ни о чем хорошем не говорит... И, совершенно расстроенная, Магда вышла из купе.

Пустой ночной коридор вагона, как всегда, щемил душу своей обнаженностью — сколько Магда ни встречалась с ним, привыкнуть не могла... Нащупав в кармане трехгранник, она вышла в тамбур и по лязгающим трапам перешла в соседний вагон.

В узком дверном проеме служебки Магда видела руку спящего Елизара. Еще вчера они уговорились, что ночные станции Магда возьмет на себя, предоставив Елизару возможность поспать, а после Москвы на вахту заступит Елизар...

При дежурном освещении плацкартный вагон со свисающими прстынями и одеялами напоминал двор с вывешенным сушиться бельем. Сквозь шум колес прорывались храп, посвист и бормотание пассажиров.

Магда шла коридором, негромким голосом напоминая название станции: «Ярославль, кому Ярославль — приготовиться».

Миновав коридор и замкнув дверь туалета, она вышла в тамбур, проверила, заперты ли на ключ входные двери.

После простора полей и перелесков станция — с перекинутым через пути мостом, оранжевым светом фонарей, затемненных окон служебных строений — как бы сама притормаживала мощный ход поезда, уговаривая его остановиться, погостить перед дальней дорогой. Колеса, словно смиряя гордыню, все медленней и медленней перекатывались под полом, пока окончательно не прекратили своего монотонного верчения...

Магда отворила тяжелую холодную дверь. Как обычно, бедняге прицепному не хватило платформы, пришлось поднимать трап-фартук, освобождая ступеньки лестницы.

Напротив через пути стоял фирменный поезд «Северная Ривьера». Его серебристые вагоны в тусклом свечении раннего утра казались сказочными теремами, невесть откуда попавшими на это чумазое, покрытое мазутом полотно...

Рядом с каждым теремом скучали одинокие фигуры проводников в ладной форме. Они закончили посадку и ждали отправления.

Со стороны поезда напоминали братьев-близнецов, один из которых выбился в люди, а второй как был неудачником, так им и остался. Да и спрыгнувшие с подножек проводники «пассажира» в сравнении со своими коллегами из «фирмы» казались отпетыми бродягами...

Хрумякая щебенкой, по межпутью сновали люди с чемоданами, разыскивая свои вагоны. В предутренней тишине пассажиры переговаривались негромко, с какой-то деликатностью, точно боясь разбудить тех, кто спал в вагонах. Это всегда умиляло Магду...

— От гад, нашел время, когда свою змеюку волочить, — обронил какой-то дядечка, спотыкаясь о толстый резиновый шланг.

— Ноги, ноги поднимай! Ползет себе, как насекомое, — добродушно отреагировал водолив. Он присоединил шланг к вагону и крикнул Магде: — Лить, что ли?

— Что у вас тут, воды нет? — спросила Магда.

— Есть, только не бесплатно, — ответил водолив. — За рупь я тебе по крышу залью.

— За рупь? Что она у тебя — с сиропом?

— А как же, ядрена вошь? — хохотал водолив, показывая белые, чистые зубы. Конечно, он шутил, на понт, как говорится, брал. Но некоторые проводники клевали, особенно молодые. Кто кинет двугривенный, кто более. Кому охота в дороге без воды оставаться...

— Ладно, твоя взяла, — продолжал хохотать водолив. — Жадюга! — И он отсоединил шланг, омывая гравий потоком чистой утренней воды. — А с того санатория где хозяйка? Дрыхнет? — спросил он, подтягивая шланг к Елизарову вагону.

— И ему лей! — приказала Магда. — Да полнее.

Сделав свое нехитрое дело, веселый водолив потащил дальше шланг, пересчитывая вагоны, навстречу такому же весельчаку, что шел от начала состава.

Никто на посадке к прицепному не стремился, распыляясь где-то на подступах к Яшиному вагону, и Магда решила вернуться в служебку: чего стоять без толку?

Тут ее окликнули по имени. Магда повернула голову, вглядываясь в скудно освещенную площадку фирменного вагона, что стоял напротив.

— Татьяна? Ты, что ли? — неуверенно проговорила Магда.

— А то! — ответила молодая женщина в аккуратной форме и кокетливо сдвинутом набор берете с золотыми крылышками.

— Господи, Танька-Мимоза?! — окончательно признала Магда подругу, вспомнив стародавнее прозвище.

— Она самая! — подтвердила со смехом проводница и, ловко соскочив с площадки, подбежала к Магде.

Хохоча, они принялись обнимать друг друга.

— Ну и встреча! Сколько же мы не виделись? — радовалась Магда.

— Сколько? Считай сама... Я четыре года как переехала в Одесу. Из них два дома сидела, сына родила... Ведь я замуж вышла, — торопилась Татьяна, поглядывая на далекий глаз светофора. — А ты как, рассказывай.

— Сына родила? Ну молодец, — радовалась Магда, любясь открытым и добрым лицом подруги. — А муж-то кто?

— Моряк. Дом у него в Одессе. С его матерью живу. Ничего, ладим. Ты ведь знаешь мой характер, на рожон не лезу. Да и в рейс ухожу, когда муж в море, — охотно тараторила Татьяна. — Он по полгода в море ошивается. Возвращается на месяц-два, а я к тому времени дни к отпуску подкапливаю, с оборота не слезаю — выходит по равному на круг... Пошли, я тебе фото покажу, хочешь? Пошли, пошли. Еще минут пять верных простои.

И подруги поспешили через пути.

— Ох Танька, ох Мимоза! — Магда нетерпеливо пошлепала подругу. — Быстро! Еще стану от поезда с твоими родственниками...

Вагон встретил Магду особым гостеприимным уютом. Крахмальные занавески, голубая дорожка в сочетании с серой обивкой стен ласкали глаза.

— Батюшки! И цветы у них, подумать только, — не без зависти воскликнула Магда, бросив взгляд на ползущие под потолком зеленые вьюны. — А тепло-то как.

— Плюс электрификация всей страны, — важно произнесла Татьяна. — Помнишь небось? Я свой вагон знаешь как облизываю? Что ты! Пылинки не найдешь. — Она отодвинула непривычно бесшумную дверь и пригласила Магду в служебку.

— Н-да...— Магда задержала взгляд на своем отражении в дверном зеркале.— Как же ты меня, подружка, без дезинфекции к себе выпускаешь? — усмехнулась Магда.— Не боишься?

— Ничего. У меня хлорка есть в туалете,— в тон ответила Мимоза.— Иной пассажир таким ввалится, словно до сих пор в окопах отсиживался. Так я за ним особый надзор устанавливаю. А ты еще ничего, стены не мажешь... Вот они, мои родненькие,— Татьяна ткнула ухоженным пальцем в фотографии.— Только ты не очень-то шуми, напарницу разбудишь.

На средней полке, свернувшись калачиком под простыней, посапывала вторая проводница. На полу смиренно стояли черные лодочки на довольно высоком каблучке с крупной бронзовой пряжкой. Вид туфелек в служебном купе окончательно сразил Магду.

— Это Сережка, а это мой муж.— С фотографии улыбались бравый усатый моряк и забавный мальчуган в белом слюнявчике.

— Хорошо, что пояснила, а то я чуть было не перепутала,— ответила шепотом Магда, все косясь на туфли.

Татьяна прыснула, прикрыв ладонью рот.

— Чем тебя угостить? — Она распахнула шкаф-холодильник.— У меня ликерчик есть, умрешь. Давай, Магда, за встречу! — Татьяна достала бутылку, плоскую, как камбала.— Муж привез из Африки. Ликер манговый, пропади пропадом. живем раз.— Она налила в рюмочки себе и Магде.— Пей, подружка! Кто знает, когда еще встретимся.

— Будь здорова, Мимоза! — кивнула Магда.— Хорошего тебе в жизни.

— Спасибо тебе, подружка. И тебе хорошего желаю.— Татьяна пила медленно, прикрыв в наслаждении глаза.

И Магде ликер понравился, но она вернула рюмку на стол, прикрыв ладошкой.

— Хватит. Еще застряну в твоей светелке!

Магда расцеловалась с Татьяной и спрыгнула на полотно.

Выходной светофор уже светил зеленым глазом. Сейчас «фирма» отправится...

— Сколько получаешь? — спросила Магда, задрал лицо к высокой площадке.

— До трехсот,— ответила Татьяна.— А ты?

— Сотни две... Ну и, сама понимаешь... набегают всякое...

— Мы стараемся без этого,— произнесла Татьяна.— Опасно. Местом рисковать не хочется. Да и на душе спокойней.

— Конечно, все же три сотни на дороге не валяются.

— Ну да,— согласилась Татьяна.— Побегай заработай.

«Северная Ривьера» плавно снялась с места.

Магда помахала рукой.

— Будешь в Северограде, заходи.

— А ты в Одессе... Черт, адрес не дала... Ладно, узнай на вагонном участке,— прокричала Татьяна и, послав воздушный поцелуй, захлопнула серебристую дверь...

Ее прозвали Мимозой за то, что когда-то возила с юга цветы ящиками. Сдавала перекупщикам. На этом и погорела. Была списана в охрану на полгода. Но потом нашла в себе силы, поднялась — и вот, гляди, удаляются, сближаясь между собой три красных габаритных огонька хвостового вагона фирменного поезда «Северная Ривьера», увозя к лазоревому горизонту вполне счастливую Таньку...

Вдоль состава приближалась высокая вихляющая фигура. Магда узнала поездного электрика Гаврилу Петровича, человека тихого, незаметного и безвредного. Обычно после ознакомительного обхода поезда Гаврила Петрович затаивался в ресторане и цедил пиво. Потом куда-то исчезал и появлялся только в конце рейса — мятый, зашпанный, хмурый...

— Заявился! — бросила навстречу электрику Магда. — Когда Елизар за тобой бегал? А он только заявился. Все крикуны мои спят по лавкам. Нужен очень ты мне сейчас.

— Не шуми, Магда, не шуми, — заискивал Гаврила Петрович. Не любил он связываться с проводниками, а тем более с Магдой. — У меня же ремешка нет запасного. Думал, у электрика с «фирмы» куплю. И у него не было. Не руками же мне генератор крутить. Завтра до стану. Обещаю. Куплю у ханыг в Харькове.

— Больно нужно, — остывала Магда. — Давай на подачу подключи. От Елизара. Хватит ему света.

— Я и пришел с тем, — обрадовался компромиссному решению Гаврила Петрович и хлопнул ладонью по брезентовой сумке. — Сколько еще простоим? Успею, нет?

— Успеешь. Еще локомотив не подали... Я тебе крикну, если светофор мигнет.

— Лады! — согласился электрик и полез под вагон.

Магда пританцовывала, пытаясь согреться. Лето на носу, а такая холодина по ночам. И звезды какие-то мелкие...

Кряхтя и роняя сумку на гравий, из-под вагона выполз Гаврила Петрович.

— Готово! Катайся, как царица. Удружил тебе... Пошли в вагон, я на щиток гляну.

Магда поднялась следом за электриком. В тесной служебке нескладный Гаврила Петрович стал еще выше ростом.

— Перепачкаешь тут мне все своим мешком, — ворчала Магда. — Скорей сматывайся!

— Сейчас, — огрызнулся электрик.

Он поставил переключатель в положение приема.

— Ну, лады, — заключил электрик. — Минусовый вроде поярче горит. Но ничего. При таких скоростях справимся. Лишь бы не плюс... Пойду к твоему Елизару, поставлю на подачу. — Электрик вышел.

Послышался гудок локомотива. И через короткое время поезд дернулся ревматическими суставами, стронулся с места.

Лампочка в тамбурном плафоне замерцала живым матовым светом. Нельзя сказать чтобы в полную мощность — как-никак на иждивении была у соседей. Однако читать можно. И в домино поиграть, вспомнила Магда пассажира в пижаме.

Проводив фонариком станцию, Магда вернулась в служебку и увидела там начальника поезда Аполлона Николаевича Кацетадзе. Он расположился на откидном стуле, брезгливо упираясь локтями о край стола, заставленного остатками вчерашнего пиршества.

Магда чувствовала, как лицо заплывает жаром. Она подхватила полотенце и накинула на стол, прикрывая это безобразие.

— Люди могут поужинать? Или нет? — произнесла Магда.

— Могут, — согласился Аполлон. — Необязательно это скрывать.

— Пересядьте, пожалуйста, на полку, я все приведу в надлежащий вид.

Аполлон послушался. Вдавливаясь спиной в стенку, он оглядел купе, задержал взгляд на электрощитке.

— Вроде один «кошачий глаз» ярче светит?

Магда с вывертом, из-за плеча оглядела щиток.

— А-а-а... Минусовая... Всю дорогу так светит.

— Непорядок. Электрик был?

— Заглядывал. Сказал: лишь бы не плюс.

— Все равно непорядок. В пункте оборота подай заявку, пусть разберутся. Мало ли? Вагон, сама понимаешь.

— Если бы только это! Вагон подменный. Всегда что-нибудь да не работает. Пока до ума доведешь... — Магда продолжала вытирать стол. — Что-то у вас вид утомленный, Аполлон Николаевич. Не выспались?

— Совсем не спал. Ворочался, ворочался... Пошел по составу...

— А я подругу встретила, на «Северной Ривьере» работает. Живут же люди! А мы как чумовые.

— Разве? — спокойно возразил Аполлон. — Зайди к тете Вале. Только домашних щей нет. — Худыми пальцами он пощипывал кончики черных усов, словно убеждаясь в их существовании на смуглом скуластом лице.

Магда искоса оглядела начальника поезда. Движения ее рук стали более мягкими и тягучими, ей показалось, что Аполлон сейчас погрузился в свои какие-то далекие мысли, и, пользуясь этим, она старалась оттянуть разговор, который, казалось, нависал в купе, Магда чувствовала это.

Аполлон думал об Алексее Свиридове. Собственно говоря, он и не прекращал думать о начальнике дороги с тех пор, как незадолго до последнего рейса его вызвали в управление. Признаться, он ждал этого вызова. Позвонил Савелий и сообщил, что у него состоялась встреча с Алешкой в гостинице. Правда, Савелий и словом не обмолвился, что они вспоминали и Аполлона. Но иначе и быть не могло... И вот — приглашение зайти в управление. Причем после рабочего дня.

Встреча прошла не очень тепло. И только по вине Аполлона. С самого начала, когда Свиридов вышел из-за стола и хотел обнять старого институтского приятеля, Аполлон бестактно уклонился, официально протянув руку. Свиридов замкнулся, посуровел, хотя и старался сохранить радушие. Они обменялись какой-то необязательной информацией. Аполлона насторожил тон бывшего приятеля, когда разговор коснулся места работы жены, Алины. «В железнодорожной кассе работает Алина», — сказал Аполлон. «Я знаю», — ответил Свиридов. Именно тон, каким он проговорил эту короткую фразу, и оставил в душе Аполлона странный осадок. Показалось, что Свиридов знает многое о личной жизни Аполлона, и это знание его сковывает. «Послушай, — сказал Свиридов. — Когда-то мы звали друг друга не по имени-отчеству, я хорошо помню те времена». «Да, но вы тогда не были начальником дороги», — ответил Аполлон, испытывая смутение... Этими фразами они обменялись в самом конце неловкой и скомканной беседы. «Неестественно, Аполлоша. Мы старые друзья. Ты странно ведешь себя», — произнес Свиридов. Аполлон лишь пожал плечами, глубже втягивая себя в горячее, точно угольями набитое бархатное кресло.

Конечно, во время беседы и его прорывало. Особенно, когда разговор зашел о судьбе Савелия. Но, признаться, не слишком прорывало. А все из-за давящей тишины, что просачивалась со всех этажей опустевшего здания в кабинет со старинным лепным потолком и огромным слепым камином. Словно напоминая, кто сидит перед Аполлоном, хотя Свиридов уже давно вышел из-за стола и расположился рядом в таком же бархатном кресле. К облегчению Аполлона раздался телефонный звонок, и, видимо, очень важный, из Москвы. Аполлон поглядывал на дверь, решая, тактично ли сейчас уйти или все же переждать затянувшийся телефонный разговор. И все обдумывал неожиданное предложение Алексея.

Речь шла о давних предложениях покойного отца Аполлона, касавшихся пассажирской службы. Свиридов узнал о них от Савелия Прохорова. «Что ты их прячешь? — возмущался Свиридов, вольно закинув на спинку кресла руки с четырьмя властными звездочками на обшлагах кителя. — Савка говорил, что ты и сам немало поработал над отцовскими бумагами. Торопись. Через месяц коллегия по пассажирским делам. Если надумаешь — занеси мне бумаги, ознакомь...» Аполлон принес. Оставил секретарю. Вскоре Свиридов позвонил ему, сказал, что намерен вынести предложение отца и сына Кацетадзе на коллегияю...

— Удивительно, как меняется внешность человека,— произнес Аполлон.— Был у меня друг. В институте учились...

— Ну и что? — Магда кругами водила по столу влажной тряпкой.

— Он меня подавил как-то. Не знаю чем; то ли положением своим высоким, то ли... Достоинством, что ли? Я чувствовал себя малявкой. Пыжился, стараясь этого не показать. Таким выглядел со стороны дураком...

— Я тоже встретила подругу.— Магда умолкла. Не могла сообразить, как увязать свои рассуждения с мыслями начальника поезда.— Катается себе в новом вагоне, как принцесса. Триста рублей получает... А тут возишься в полутьме, точно мышь... Как по-вашему, Аполлон Николаевич, что такое совесть? — неожиданно для себя повернула Магда.

— Я думаю, когда в человеке просыпается человек.

— Рядом просыпается, что ли? — усмехнулась Магда.

— Иногда и рядом. Как укор,— без улыбки ответил Аполлон.— Видно, задела тебя чем-то подруга.

— Кто? Танька-Мимоза? Нет, не она... Но, если честно, одно к одному.— Магда швырнула тряпочку на шкафчик и села, продев под себя спрямленные ладони.— Мне Косилка настроение крепко испортил, ревизор с Оленьего Ручья... Дерьмо мужик. Сижу и думаю: ведь он встречает порядочных людей, «здрасьте» говорит. Руку жмет. На праздники ходит, поздравляет. Его поздравляют. Детей воспитывает, паразит!

— Ну... а мы с тобой лучше? — Аполлон умолк. Он вдруг вспомнил последний разговор с Яшей-проводником. Но удержаться не мог, видимо, эта тема занозой впилась в сердце, не было никакого удержу.— Лучше, скажи? Я, ты, Елизар твой, Яков, Серега Войтюк, братья единоутробные! Лучше?

Магда молчала. Потом тяжело вздохнула и проговорила упрямо:

— Елизар лучше. Он такой же, как и вы и мы, но... другой.

— Да-а-а.— Аполлон качнул головой.— Может быть. Разглядела, значит.

— Разглядела. У меня зрение хорошее! — резко ответила Магда.— А если мы все такие, то и нечего, знаете... Сами-то! Оставили всю бригаду без прикрытия. Кто так поступает? А если бы попался нормальный ревизор? Штук пять актов на бригаду. Хорошо это?

— Хорошо, Магда,— негромко вставил начальник.

— Кому хорошо, интересно?.. Да что с вами, Аполлон Николаевич?

— Ты ведь, Магда, другая. Совсем другая. Почему тебе казаться не такой, какая ты есть?

— Аполлон Николаевич, я — одинокая женщина с дочкой на руках...

— Вот и выходи за меня замуж.

Магда ждала от начальника поезда всего. И крепких слов, и ухаживаний, и серьезных разговоров, и соленых шуток, но такого...

— Сказали не подумав,— повела головой Магда.

— Уже подумал. Успел,— улыбнулся Аполлон.— Я тоже одинокий человек. Да, женат. Есть и дочь у меня... Но я одинокий человек. И мне кажется, я люблю тебя... Твои отношения с Елизаром... Понимаю. Но я тоже не святой, Магда...

Какой-то пассажир сунулся было в купе, перепутав со сна двери, и, извинившись, удалился.

Поезд шел как-то нервно: то набирая скорость, то притормаживая. Обычно на этом участке ход держался равномерным, и такая сумятица настораживала. Чего доброго, в Москву прибудет с опозданием.

— Вы не подумали, Аполлон Николаевич.— Магда уже овладела

собой.— Я очень похожа на вашу жену. Не внешне, нет... Я и моложе, и... Мы там схожи.— Магда ткнула себя в грудь.

— Нет, вы разные,— горячо проговорил Аполлон.— Я понимаю, что ты имеешь в виду. Вы разные! Ты никогда не предала бы меня, а она предает ежедневно. Не как женщина, нет. Для этого она слишком ленива. Иначе... В последнее время мне стало совсем невыносимо, Магда. Куда уходит моя жизнь? Мне сорок шесть, а что я значу? Ничего! У старых друзей своя жизнь, а новые... Ты их всех знаешь, в одной упряжке катаемся...

— Многие из них неплохие люди, напрасно вы так,— вставила Магда, скрывая растерянность.

— Неплохие, согласен. Только другие.

— И я такая же.

— Ты другая. Ты даже не знаешь, какая ты.— Аполлон тронул Магду за руку.— Ты не отвечай мне. Повремени, подумай... Я сойду в Москве, вместо меня останется Яков. В Харькове или в Минводах я вас догоню.— И, упреждая возможные расспросы, Аполлон поднялся и шагнул за порог.

Магда не собиралась ни о чем расспрашивать.

Он миновал пустой коридор купейного вагона, перешел в плацкартный. Дверь служебки Елизара была плотно задвинута. Отстраняя липнущие к лицу простыни, Аполлон прошел коридор и шагнул в тамбур.

— Все стоите? — весело произнес он, повернув голову к наглухо закрытой правой двери.

— А вы, начальник, пересчитали колеса? — спросил молодой человек.— Ни одного не потеряли?

— Колеса на месте. И вы на месте.— Аполлон вступил на танцующие в сатанинском веселье трапы.

— Все на своих местах, начальник! — Молодой человек захлопнул за Аполлоном тяжелую тамбурную дверь.— Вас не продует, Варвара Сергеевна?

— Сейчас вернусь в купе,— ответила женщина.— Что-то мы с вами увлеклись...

Час назад Варвара Сергеевна вышла в тамбур подышать свежим воздухом. Она и не думала, что к ней привяжется этот молодой человек. Явился, как черт из бутылки, со своими любезностями. Но границы не переступал, и у Варвары Сергеевны не было повода возвращаться в душный вагон... Поначалу она отмалчивалась, но постепенно Игорь втянул ее в разговор. И даже чем-то заинтересовал. И Варвара Сергеевна незаметно для себя поведала ему свою жизнь. Временами она умолкала, удивляясь себе, с чего она так разоткровенничалась, но вскоре вновь затевался разговор, и ее было уже не удержать. О муже своем Варвара Сергеевна могла говорить часами. Одно время тот служил летчиком на международной линии и забил голову своей памятной супруге самыми невероятными историями. Теперь, слава богу, мужа списали из авиации, и он работал в том же совхозе механиком... Игорь слушал о черных ночах бомбейского аэропорта, где ошалевшие от жары священные коровы могут гулять и на взлетной полосе, вызывая ужас у летчиков. «Бедные коровки,— сочувственно говорил Игорь, желая чуть-чуть приостановить поток информации со стороны разохотившейся пассажирки,— в одурманенной религиозными предрассудками стране они совершенно лишены ветеринарной помощи». Варвара Сергеевна согласно кивала и, ничуть не умеряя пыл, приступала к очередной истории, которая происходила с ее славным мужем на другом континенте... И поезд, точно мощное животное, рвал ночную мглу, оставляя на полотне дороги световые плюхи вагонных окон. Случайные огоньки, точно спелые неубран-

ные дыни, желтели на черной простыне поля. Варвара Сергеевна умолкала, пытаясь разглядеть в этих огоньках признаки близкой станции. А возможно, ее фантазия видела в них алмазную россыпь ночного Мехико, куда летал ее супруг во время чемпионата мира по футболу в далеком семидесятом году...

В разгар захватывающей дух очередной истории дверь отворилась и в тамбур вперлась Дарья Васильевна, егозливая старушенция, озабоченная тем, что соседка по купе что-то долго не возвращается на свое место. И братья-колхозники значились на своих полках, и Проша-скрипач похрапывал над головой, и солдатик сопел в стенку, а вот матери его на месте не было... Увидев в тамбуре Варвару с постылым нахалом из служебного купе, старая всерьез расстроилась:

— А-а-а... Соблазнит ведь он тебя, Варвара!

— Слушай-ка, бабка,— отвечал опешивший Игорь.— Ты что, участковый уполномоченный? Или добровольная дружина? Спать ночью надо, а то сидит, точно сова, глаза таращит.

— Спать? — растерялась бабка.— А чемодан упрут?

Она не ожидала такого отпора. И Варвара характер проявила. Видно, ей очень уж хотелось досказать историю, что произошла с ее благоверным в небе Испании... Она резко осадил старую. Дарья Васильевна струхнула. Поправила выбившуюся из-под платка художочную косицу и вернулась в вагон. Игорь одобрил поведение Варвары Сергеевны.

— Да, общение с животным миром придало вашему характеру черты некоторой суровости,— проговорил он.

Вскоре после старушки явился начальник поезда, тощий и уса-тый. Внимательно оглядел стоящих в тамбуре, но ничего не сказал. Через полчаса начальник возвратился обратно. К тому времени Варвара Сергеевна заметно подустала. Или истории иссякли. Она выразила желание отправиться спать.

— Ну, пожалуйста... Еще десять минут,— повторил Игорь.

Его красивый низкий голос прозвучал на какой-то срывающейся ноте. Сутулые плечи острее подались вперед, округляя спину. Да и во всем облике появилась странная рыхлость. Варвара Сергеевна бросила на ночного собеседника строгий взгляд. С самого начала ей показалось, что Игорь чем-то взволнован. Потом во время разговора она привыкла к нему. А сейчас вновь почувствовала необъяснимую странность...

— Вы себя хорошо чувствуете, Игорь? — вырвалось у Варвары Сергеевны.

— А что? — спросил Игорь.— Кажется, мы с вами даже шутили.

— Меняетесь вы как-то... Точно вас вдруг начинает лихорадить.

— Нет, нет... Я прекрасно себя чувствую.

— Ну и ладно,— вздохнула Варвара Сергеевна.— Я все же пойду.

— Скажите... Вы вот ветеринарный врач... Вы не наблюдали, животные чувствуют свою смерть? Предчувствуют ли, вернее?

— Животные? Да,— кивнула Варвара Сергеевна.— Гораздо острее, чем человек. Причем менее высокоразвитые чувствуют смерть острее, что ли. Странно, но так... Скажем, намеченная на убой овца или корова... Они как бы готовятся к этому сами. И подчиняются судьбе с покорностью. Умирают загодя, до того, как свершается физический факт смерти...

— А, скажем, бабочка? Порхает себе и вдруг вы ее прихлопнули. Ведь до этого она не сидела в ожидании, сложив крылышки, а порхала.

— Не знаю, как бабочки,— раздраженно ответила Варвара Сергеевна.— А овца или баран... Странные вопросы вас интересуют в шесть часов утра, Игорь.

Она окинула собеседника плывущим взглядом и вышла.

С силой оттолкнувшись от стекла, Игорь вернулся к себе в темное купе, наполненное протяжным воющим храпом старика. Этот храп и выгнал Игоря в тамбур час назад...

Однако сейчас храп не был слышен, и темноту купе нарушал лишь монотонный рокот колес.

— Где вы ходите? — спросил Павел Миронович из темноты.

— Пока еще в пределах вагона, — вяло ответил Игорь. — Вы так храпите... Я мог спрыгнуть с поезда.

— Я сильно храплю? — В тоне Павла Мироновича звучало наивное любопытство.

— Как вам сказать... — Игорь чувствовал, что его покидает опустошенность, что он вновь обретает злость и напор. — За подобные шумовые эффекты надо штрафовать, как за нарушение общественного порядка.

— Толкнули бы меня, что ли, — с извинением промямлил старик.

— Куда? — Игорь удивился простоте этого короткого вопроса, так много сейчас в себя вобравшего. И не выдержав, добавил: — Под колеса?

— Ну вот еще, — серьезно ответил Павел Миронович. — Не каждый на это способен.

Игорь нащупал край полки, чуть сдвинул ноги старика и сел. Он молчал, он понимал, что любое сказанное сейчас слово будет невольно углублять неожиданно возникшую тему разговора...

— Что вы молчите? — спросил Павел Миронович и, не дождавсь ответа, принялся поворачиваться на спину, кряхтя, охая, стягивая одеяло и матрац. — Господи, переворачиваюсь точно шкаф, — укорял он себя. Наконец устроившись, произнес: — Сон мне снился.

— Пропали ваши тюки с барахлом?

— Нет, мне снилась ваша мама, Игорь. Приходит ко мне домой и говорит: «Торопись, Павлуша, сегодня уже суббота».

— Допустим, сегодня только четверг, — буркнул Игорь.

— Да-да, так и сказала: «Сегодня уже суббота». И одета была как-то странно. В платье таком, с оборочками...

«Перестань вспоминать мою мать! — мысленно закричал Игорь. — Даже во сне! Ты гадкий, глупый старик! Ты сломал ей жизнь, вогнал в гроб отца. Я ненавижу тебя, я готов сбросить тебя с поезда...»

Но Игорь молчал. Он видел умоляющие глаза матери, слышал ее голос: «Отвези его, помоги, нам всем будет легче...»

Постепенно гнев отпустил Игоря; ослабленный, он полез на свою полку...

— А ваша мать и говорит мне, — вновь загнусавил старик. — Во сне... говорит: «Ступай, Павел, позови Кирилла». Отца твоего, стало быть...

Игорь помолчал, потом проговорил глухо:

— Что-то вы о смерти часто говорите.

— С таким проводником только о ней и говорить, — ответил старик. — И вы ушли куда-то. А я чуть не преставился. В глазах круги, в голове звон, тошнота. Пришлось укол сделать вне очереди.

Игорь знал, что больные диабетом во время приступа начинают вести себя словно наскипидаренные. Суетятся, врачи рассказывали, места себе найти не могут, несут чепуху. Без присмотра их оставлять нельзя — еще выкинут что-нибудь...

Старик резво вскочил на ноги. В мятом тренировочном костюме он выглядел жалким.

— Помогите мне, Игорь. — Он принялся дергать дверь. — Выйти хочу.

— Замок заедает, вы знаете, — недовольно проговорил Игорь.

Старик оставил дверь, метнулся к окну и принялся скоблить стекло худыми слабыми пальцами.

— Душно мне, душно. Откройте окно. Или я его выломаю.

— Ну, знаете! — Игорь спрыгнул с полки и обхватил старика за плечи. — Успокойтесь, Павел Миронович, успокойтесь.

Старик пытался выскользнуть из крепких рук опекуна, но постепенно смирился, затих. Игорь усадил его на подку, затем завалил на спину и уложил ноги. Старик с шумом вздохнул и закрыл глаза.

Игорь накинул на него одеяло и вернулся на свою полку.

Глава вторая

1

Свиридов поднимался по эскалатору станции метро «Лермонтовская». До начала коллегии оставалось не более часа. А он рассчитывал побывать в нескольких нужных отделах, условился по телефону еще в Северограде. Правда, в день коллегии разговоры комкались, но кое-что решить он успеет.

Толпа запрудила тротуар перед входом в метро, как перед гигантской воронкой. Утро. Самое горячее утреннее время. Час пик! Непосвященному и невдомек, какими сложностями оборачиваются для железной дороги такие вот пиковые ситуации. Взять, к примеру, конец августа, когда после летних каникул собираются студенты и школьники. И всем надо к первому. Вагонный парк выталкивает в маршрут все ресурсы. Но это еще игрушки в сравнении с тем, что происходит в зимние каникулы в январе, когда в самые морозы приходится на десять дней поднимать вагонный резерв страны. Оборудовать, созывать проводников-сезонников, а среди них всякие попадают люди. Сколько жалоб падает на это время! Представили бы эти жалобщики ту работу, которую надо проделать ради десяти дней января, когда вагоны примерзают к рельсам. А если бы начинать не разом с первого января? Растянуть бы их дней на пять, облегчить судьбу железной дороги? Всем была бы польза. Не говоря о том, что вагоны не стояли бы без толку десять дней в ожидании возвращения домой отдохнувшей ребятни, а работали бы с перекрытием. Тогда и пишите свои жалобы, если что не так! Нет, только наступит первое января — поднимаются всем миром. Попробуй тут управься... Вот какие мысли обычно одолевают железнодорожника при виде людской лавины в час пик...

Свиридов вышел на площадь и направился к переходу, что широкой тельняшкой стелился по серому асфальту Садового кольца. Еще на середине перехода он заметил, как у подъезда министерства остановился черный лимузин. Из салона вышел заместитель министра, хлопнул дверцей, но в подъезд не вошел, а так и стоял, чего-то дожидаясь.

— Тебя жду, Алексей Платонович, — сказал заместитель министра подошедшему Свиридову. — Подъезжаю, гляжу, ты вроде...

— Я, Сергей Сергеевич. — Свиридов пожал протянутую руку. — Собрался навестить кое-кого до коллегии.

Заместитель министра взял Свиридова под руку, отвел в сторону, к сырой с ночи стене здания. Форменная фуражка едва дотягивалась Свиридову до подбородка. Из-под лакового козырька фуражки поглядывали по-утреннему оттаявшие глаза.

— Ты что же, Алексей Платонович, вчера отчебучил у банкиров, а? — Заместитель министра не отпускал руки Свиридова.

— Что, уже известно?

— А ты думал? Тут же позвонили: что, мол, это за архаровец на Североградской командует? Отдубасил, понимаешь, начальника отдела, — засмеялся заместитель министра.

— Отдубасил, — хмыкнул Свиридов. — Только и было что потрянул его за ворот.

— Этого мало? Ну и орел! Как же это случилось?

— Может, зайдём в здание? Что мы здесь стоим? — Свиридов отвернулся в сторону, точно нашаливший школьник.

— Нет, ты тут доложи. Там мне не до твоего озорства будет. Говори, не таись.

Свиридов принялся рассказывать... Приехал он со своими помощниками вчера в Стройбанк. Надо было заручиться их поддержкой в восстановлении забытых ещё с войны третьих путей на подходе к Северограду, необходимость этих работ доказана. Дорог был каждый день, и Свиридов решил строить частями по мере готовности проекта... Всех он сумел убедить. Сам приезжал в организации и не покидал кабинетов, пока не заручался поддержкой. Дело доходило до курьезов. Один из его помощников, узнав о слабости директора проектного института, приехал на прием со знаменитой на всю страну эстрадной певицей, в присутствии которой и сдался строптивый директор-меломан. Вот она, жизнь! И не поверишь, если услышишь... Постепенно Свиридову покорился Севтрансстрой, управляющий которого согласился вести работы, но на особых условиях: путевое хозяйство наладит служба пути управления дороги, всю энергетику оборудует служба электрификации. Ну и хитрец! За одну реконструкцию полотна будет все лавры собирать! Но Свиридов согласился, не до славы ему. Выхода не было — первый квартал на исходе, а тут такие предстоят работы! Надо начинать, нельзя медлить. Это понимали в министерстве, изыскивали всяческие лазейки. И шпалами помогли и рельсы нашли... Все бы ладно, только вот на пути Стройбанк. Уперлись — ни в какую! «Год начался, по всем работам титулы закрыты, нет лишних денег. Планируйте на будущий год, если еще успеете!» С одним из финансистов и схлестнулся вчера Свиридов. Началось все в кабинете заместителя управляющего. Свиридов приехал в банк не один, с помощниками. Привезли для убедительности графики, таблицы, схемы. Было ясно, что без третьего пути Североградской дороге несдобровать, что это не прихоть. Заместитель управляющего поддержал Свиридова. И тут влез этот страж финансовой дисциплины из транспортного отдела. Принялся нашептывать на ухо заместителю управляющего: и что в Госплане не разобрались, и что это противозаконно... Казенная душа! Все же заместитель управляющего решил: будем финансировать, и баста!

— Ну а когда мы вышли из кабинета, тот самый хмырь из отдела транспорта... Синицын, что ли?.. — силится вспомнить Свиридов.

— Синицын, — подтвердил заместитель министра. — Знаю его.

— Так этот Синицын в коридоре обернулся ко мне, сложил дулю и крикнул как ненормальный: «Вот вам деньги! Не подпишу! Авантюристы!» Ну я и не выдержал...

— Вот как?! — удовлетворенно отметил заместитель министра. — И были свидетели? Что он тебе дулю показал.

— Ну! Ребята даже рты пораскрывали.

— И ты, значит, его поставил на место, — определил заместитель министра.

— Да нет, просто попенял. — Свиридов развел руками. — Сказал, что он чиновник, казенная душа. Что если он не подчинится указанию и примется искать закорючки, чтобы отказать в финансировании, то я его вздую при всех.

— Так и сказал?!

— Не помню дословно, но по смыслу так.

— Да. Вполне современный метод решения деловых вопросов.

— Он уже пожаловался?

— Нашлись доброты...

Свиридов хотел спросить, знает ли об этом инциденте министр. Но сдержался. Могло бы не так прозвучать.

— Черт с ним! — проговорил Свиридов. — Лишь бы денег дал. И такая козявка, понимаете... Начальство — за, он — против!

— Козьявки иной раз погоду и делают... Думаю, теперь он деньги даст,— подытожил заместитель министра.— После скандала не может не дать. Подумают, что со зла мстит... Он тебя в другой раз на крючок насадит.

— В другой раз ладно,— вздохнул Свиридов.— Мне бы пути пострить, кислород дороге вдохнуть. А там пусть казнят, согласен.

Свиридов собирался выступить сразу после докладчика. И в ожидании просматривал бумаги. В основном это были предложения отца и сына Кацетадзе, только приправленные данными нескольких последних месяцев...

«Современный пассажирский поезд, состоящий из восемнадцати вагонов, вмещает около восьмисот пассажиров и по объему услуг равен крупной гостинице.— прочел Свиридов на первой странице.— При этом условия работы в поезде намного сложнее, а обслуживающего персонала в несколько раз меньше. Покупая билет, пассажир оплачивает и услуги, которые дорога обязана ему предоставить. Однако с уровнем этих услуг пассажир сталкивается непосредственно после начала поездки, исключая тем самым право выбора или отказа от поездки. Поэтому основная масса жалоб падает на качество обслуживания, а не на перевозку как таковую».

Свиридов перелистал несколько страниц. Он вспомнил Аполлона. Их последний разговор по телефону. Конечно, Свиридов мог взять его с собой на коллегию. Но не взял. Почему? Может быть, оттого, что не хотел разочаровывать, если сообщение будет принято с прохладцей. Или, возможно, сам до конца не был уверен, что выступит именно с этими предложениями. Точнее, доложит о них, ведь кое с чем Свиридов был не согласен... Вообще, их встреча оставила в душе Свиридова ощущение неловкости. Слишком натянуто держал себя Аполлон. Людям трудно свыкнуться с мыслью, что тот, кого знаешь давно, вдруг оказывается наверху...

Энергичный голос начальника главка вещал собравшимся железнодорожным командирам о состоянии пассажирских дел. Наступает лето, время больших перевозок...

По хмурому лицу министра чувствовалось, что он с трудом сдерживается, чтобы не вмешаться в доклад. И Свиридова сообщение не увлекло. Статистика, цифры, общие положения... Обзорный доклад, понятное дело. Но тем не менее все слишком осторожно. В зале сидели волки, талдычить им, что и так хорошо известно, только время терять. Хотя выражениями лиц они являли образец внимательности. Многие из них летели в Москву самолетом чуть ли не двенадцать часов с другого конца России — не для того ведь, чтобы выслушивать то, что знакомо. Им дело подавай. Или, на худой конец, хотя бы возможность вслух сказать то, о чем только между собой перешептываются. А услышат громогласно произнесенные с трибуны их собственные думы и решат, что неспроста о них заговорили, тронулся лед, наступил конец изнуряющей душу всяческой кривде. Ради этого и стоило болтаться над облаками, солнышко обгонять.

Но вот спокойная и рассудительная речь докладчика подошла к концу. К микрофону потянулся министр...

Разговор он начал сдержанно. Но эта сдержанность была знакома: ветерок перед бурей.

— Год назад в этом зале состоялась коллегия. Были приняты ответственные решения. Со всех концов пошли заверения, что положение с графиком выправляется. А выходит, у некоторых это просто отписка, обман! Известен закон дороги: поезда должны ходить по расписанию. Поезда по расписанию не идут. И не идут потому, что там мост. там подъем там ремонт. И так далее. Если так, то поезда никогда не будут ходить по расписанию! Да, поезд может опоздать, но только по причине крушения. Но из-за расхлябанности?! Что же

вы делали год? Чем занимались? Если в ближайшее время не произойдет сдвигов, мы освободим тех руководителей, которые срывают график. И народ скажет, что мы сделали правильно. И вы не вправе будете на нас обижаться, потому что мы поступили честно... Второе! — Министр снял очки, хотел протереть, но передумал. — Год назад также шел обстоятельный разговор об обслуживании людей на вокзалах. Чтобы не было очередей у касс, чтобы не было обмана, волокиты. Почти в десять миллиардов рублей оценивается пассажирское хозяйство. Ради чего? Ради того чтобы люди стояли в очередях? Проклинали все и вся? Из-за какой-то ерунды мы не можем организовать работу касс!

Кто-то еле слышно возразил министру. Тот склонил голову.

— Верно. Кассиров не хватает. — Министр обернулся к столу президиума, остановил взгляд на мужчине средних лет в сером аккуратном костюме — заместителе министра финансов, который тоже принимал участие в работе коллегии. — Кстати, Петр Сазонович... Как-то мы решили привлечь к работам в кассах пенсионеров. В разгар сезона. Профсоюз поддержал, комитет по труду поддержал. Кто же против? Минфин! Почему? Дескать, готовится решение. Но нам нужны кассиры сейчас, а не завтра. Кто там у вас в Минфине не может понять простую вещь? Жизнь диктует нам свои условия, а мы хотим вогнать ее в искусственное ложе... Да мы должны просить этого пенсионера, а не строить препятствия. Разве можно допускать такое расточительство при острой нехватке кадров? Где творческое решение вопроса, к которому нас призывает партия?! Так что передайте, пожалуйста, министру финансов этот, я бы сказал, крик души. — Министр вновь обернулся в зал. — Поэтому я обращаюсь к вам, товарищи... Значит, так! Приглашайте на лето пенсионеров. Изыскивайте возможности оплаты, пока Минфин расшевелится. Я вас поддерживаю! Очередей быть не должно. Это символ нашей бесхозяйственности и головотяпства.

По залу прокатился довольный рокот...

— И еще одна беда. — Министр повысил голос. — Кассиры билетных касс придерживают билеты. Кому? Своим знакомым. Знакомым знакомых. Директорам магазинов. Носильщикам надо оставить: неудобно, вместе работают. Отделению надо дать. Кому еще? Звонят из райкома, звонят из горкома, исполкома. Потом, потом, потом... И как минимум тридцать процентов законных мест не поступает в продажу... Необходимо поломать эту систему! Количество мест известно, количество заявок известно. Изучайте, сопоставляйте... Назначайте дополнительные поезда. Если вагоны не соответствуют нормам, продавайте билеты дешевле. И люди вас поймут. Творчески надо работать, гибче... Но делайте все чистыми руками. И никто вас за это не накажет!

Министр снял очки, протер их, слепо оглядел зал.

— Недавно я посылаю начальника отдела писем на отдаленные дороги. Побывал он и в Заозерске... До границы рукой подать. По свидетельству некоторых товарищей там, через границу, вокзал в порядке, чистота, дисциплина, налажена торговля бытового обслуживания. Считается, что город на особом положении — граница! В нашем же Заозерске на вокзале грязь, перроны корявые. С гор течет талая вода, заливают пути. В зале ожидания диваны переломаны, двери не закрываются, со стен сыплется штукатурка. Рабочий поселок — трущобы, лачуги. Питьевой воды нет, канализации нет.. Идет демонстрация! Чего? Демонстрация позора великой страны! Кто это делает? Бывший начальник отделения Воробьев. Следом за ним — бывший начальник отделения Кочкин. Теперь там новый начальник... — Министр посмотрел в зал. — Где вы там?

Со своего места поднялся плечистый мужчина с квадратным

лицом, на котором терялись круглые очки в простенькой металлической оправе.

— Что они делают? — продолжал министр. — Двенадцать лет пишут письма! Минтрансстрою! Те исправно отвечают, что у них в Заозерске нет строительных мощностей... И двенадцать лет идет демонстрация позора. Думают, что они от Москвы далеко, никто не заметит... Привыкли не делать! Привыкли перечислять причины, чтобы ничего не делать и жить спокойно. Забывая, что наводят тень не только на транспорт, но и на страну... Когда в Заозерске будет вокзал? Когда будет образцовый советский поселок?

— Вокзал уже приводится в порядок, товарищ министр. Приступаем к поселку, — отчаянно воскликнул начальник отделения. — Я собрал сто пятьдесят человек, договорился с местными строителями. За две недели сделали вокзал. Вот фотографии, — начальник заозерского отделения вытянул вверх руку с пакетом.

— Вот! — Министр снял очки и бросил на стол. — Двенадцать лет и две недели! А ведь это только о пассажире. Он на виду. А о грузовых перевозках?

Железнодорожник из далекого Заозерска смущенно озирался, не зная, что делать с пакетом, потом послал его в президиум и сел, потирая широкой ладонью пунцовый лоб. И тут Свиридов поверх макушки незадачливого начальника заозерского отделения дороги в конце зала среди сотрудников министерства увидел смуглое лицо с вислыми усами. Механически отметив сходство усача с Аполлоном, Свиридов в следующее мгновение вновь метнул взгляд в конец зала. Но ему уже мешала какая-то женщина с высокой прической... Наверное, обознался. Откуда тут взялся Аполлону? Свиридов собрал бумаги в пластмассовую папку. У этой прозрачной папки замочек был с норовом, не сразу открывался. «Сломаю его, если что», — решил он, поднимаясь на трибуну.

К удивлению, замочек поддался безо всякого напряжения. Счастлирое предзнаменование... Свиридов улыбнулся.

— Что, Алексей Платонович, вспомнил Стройбанк? — произнес министр.

Члены коллегии засмеялись.

«Все уже знают», — подумал Свиридов и пожал плечами: так уж, мол, получилось. Но министр не хотел упускать повода поговорить о деле.

— Пожалуйста! — проговорил он в зал. — Одни по двенадцать лет ждут проект, а другие начинают строить почти без проекта. А деньги вытряхивают из Стройбанка древним методом, как на большой дороге. Не утверждаю, что это самый удачный метод, но он говорит о многом... Прошу, Алексей Платонович!

— Товарищ министр, товарищи члены коллегии, товарищи! — начал Свиридов. — В своем сообщении я коснусь некоторых сторон пассажирской службы, которые имеют принципиальное значение. Не снимая ответственности с вагонного хозяйства, я хочу разобраться в недостатках через систему планирования. Парадоксальное явление: железная дорога как хозрасчетное предприятие не заинтересовано в формировании поездов и в предоставлении услуг пассажирам. Поразительно, но факт — не заинтересовано! — Свиридов читал бумаги так, как это было написано у старого Нико Кацетадзе, отца Аполлона, чей эмоциональный характер не мог принять сухость стиля, присущего солидному сообщению. Хотя Аполлон и предупреждал Свиридова о некоторых вольностях изложения. — Самое удивительное, что меньше всех заинтересованы в качественной экипировке вагона именно те службы, где вагон снаряжается в дорогу. Пассажирские перевозки могут послужить ярким примером, когда планирование в его существующей форме из инструмента хозяйствования превращается в его оковы. Все об этом знают, но почему-то мирятся. Пример жи-

вучести консерватизма. Чем можно объяснить безобразие, когда дорога, на которой формируется состав и которая тратит деньги на оборудование вагона, зарплату проводникам, получает в итоге такой же доход, как обыкновенная транзитная дорога, через которую этот поезд только проходит?! Чистый формализм! А все из-за грубой уравниловки распределения доходов по всему маршруту. Более того, чем протяженней маршрут поезда, тем меньший интерес у дороги, которая первоначально отправляет его в путь, так как увеличиваются и транзитные станции. Кому же это выгодно? Пункту формирования состава? Нет, как мы видим. Пункту оборота? Нет! Снабжают чужие поезда углем, водой, ремонтируют. А получают такой же доход, как и все. Может быть, государству выгодно в лице Министерства путей сообщения? Нет! Выгодно только одним транзитным станциям, которые паразитируют, ничего не делают, но деньги получают наравне со всеми... Подобная система привела к падению престижа пассажирских перевозок, сделала их невыгодными. Отсюда нередко совершенно безобразная экипировка вагонов, вызывающая справедливый гнев пассажиров. Отсюда текучка кадров проводников, люди не выдерживают тяжелейших условий труда. И на их место приходят всякие нечистоплотные элементы, которые еще больше дискредитируют дорогу. Вот к каким последствиям приводит равнодушие и непрофессиональное планирование. Поэтому многие дороги стараются вообще избавиться от формирования поездов, передать их другим магистралям. Вместо того чтобы драться за каждый поезд, беречь каждый вагон, дорожить рабочим местом, выгодным материально именно своей честной, добросовестной работой, что и является в нашем понимании социалистическим отношением к делу. Как исправить положение? На этот вопрос мы и хотим ответить.

Свиридов посмотрел в зал, где за пышноволосой дамой сидел тот, чья внешность так напоминала Аполлона. Точно желая убедиться, что он обознался. И в то же время в полной уверенности, что никакой ошибки нет, что там в конце зала сидит именно Аполлон...

Теперь с трибуны Свиридов ясно видел своего старого институтского приятеля. «Ну и тип!» — с непонятной растерянностью подумал Свиридов, но в следующее мгновение понял, что может сейчас, если только отважится, одним рывком изменить судьбу Аполлона Кацетадзе, привлечь к нему внимание, заставить заинтересоваться им. Именно в такие моменты и готовится звездный час, упустить их — всю жизнь потом жди, когда они повторятся. Но судьба, эта своенравная дама, редко когда повторно проявляет свое великодушие. Свиридов это знал... В то же время намерение Свиридова в отношении своего старого друга было явным вызовом коллегии. Ему, начальнику дороги, доверили серьезнейший вопрос. За столом президиума кроме членов коллегии сидели ответственные работники Центрального Комитета, высшие руководители смежных министерств... И вдруг такая демонстрация?!

В зале чувствовалось недоумение... Чего это вдруг Свиридов умолк?! Так набирал и умолк?

Министр повернулся к трибуне.

— Продолжайте, Алексей Платонович. Мы слушаем.

— Дело в том, — произнес Свиридов, — что здесь находится автор этих записок... Аполлон Николаевич Кацетадзе. И если коллегия не возражает, я передам ему слово.

В президиуме воцарилось недоумение.

— Не понял, — проговорил министр. — А вы кто?

— Я... В сущности, я только передаю чужие идеи.

— С какой целью?

— Я хотел предложить свою дорогу как экспериментальную базу под эту идею. Заручиться решением коллегии. Поэтому и выступил... Но в зале я сейчас увидел одного из авторов...

— Кто же он?

— Начальник поезда...

— ?!

— Есть и другой автор? — спросил министр.

— Да. Его отец. Он был маневровый диспетчер последние годы.

— А стрелочников у вас там нет? — ехидно бросили из повеселевшего зала.

— Нет, стрелочников у нас нет, — усмехнулся Свиридов. — И нет у нас дураков.

В зале переглядывались. Еще бы! Все равно что Генеральному штабу предложить мнение лейтенанта из охраны... Хорош Свиридов! Ну доложил бы честь по чести, потом бы и обмолвился невзначай о существовании этих начальника поезда и маневрового диспетчера. Никто и внимания бы не обратил. Зачем же вытаскивать этого начальника из зачуханного пассажирского поезда на трибуну? Не каждый из больших начальников бывал на этой трибуне, украшенной гербом страны. Ведь не торжественное сейчас идет заседание под объективами телекамер, мог бы и понимать, не мальчик этот Свиридов. Замахнулся! Так и рога обломать можно.. На некоторые лица сидящих в зале напознала скука. И они ее не прятали. А ведь многие из них в прошлом сами были начальниками поездов, а то и стрелочниками. Или даже «башмачниками»... А вот разъели душу спесь и высокомерие. Графья да князья в первом поколении. Великие спецы, а поезда ходят через пень-колоду... Гнев поднимался в Свиридове, гнев застил глаза, туманил голову...

— В чем же дело? — проворчал министр. — Остановились на интересном месте. Продолжайте же... хоть кто-нибудь.

Аполлон шел к трибуне. Казалось, столы сдвинулись к проходу, чтобы непременно зацепить его своими углами. После нескольких таких тычков Аполлон выпрямился, одернул китель, подумал, что обшлага на рукавах распушились... Он сейчас не волновался. Во всяком случае, гораздо меньше, чем когда выступал Свиридов. На душу снизошло умиротворение, как нередко бывает при неотвратимости предстоящего. Возможно, подсознательно Аполлон и был преисполнен пониманием важности минуты, но это он осознает потом. А сейчас он испытывал не робость, а, наоборот, превосходство. Какое испытывает опытная медицинская сестра в присутствии врачей...

Аполлон взошел на трибуну. Вид оставленных Свиридовым бумаг его окончательно успокоил. Главное начать. Потом пойдет...

— С начала, что ли? — проговорил он ровным голосом.

И что-то сместилось в общем настроении зала. То ли из-за простого вопроса, заданного без всякого подобострастия и даже с подчеркнутой иронией, то ли из-за манеры держаться. Да еще эти молодецкие усы...

— Да нет уж, — в тон ответил министр. — Продолжайте дальше, чего уж там.

И зал раскололся добрым смехом, заряжаясь атмосферой озорства. Того самого озорства, которое любому серьезному делу придает особую легкость и живой интерес. Именно в такой обстановке четко выявляется, кто чего стоит...

Аполлон между тем торопливо решал, с чего начать разговор...

Когда-то, лет двадцать назад, он присутствовал на коллегии, привозил отчеты какому-то тузу. И сейчас в смущении он вдруг вспомнил об этом, испытывая состояние человека, который пытается удержаться на скользком склоне и не может этого сделать.

— Я очень давно не был на коллегии, — пробормотал Аполлон, забыв, что стоит перед микрофоном, — извините, если что не так.

В зале громко засмеялись.

— Ничего,— всерьез произнес министр.— Мне кажется, что многие из сидящих здесь тоже давно не ездили в плацкартных вагонах. Так что мы на равных... Слушаем вас, товарищ Ку... Кацетадзе?

— Да,— кивнул Аполлон,— Кацетадзе. Аполлон Кацетадзе.

Имя это тоже вызвало в зале смешок. Министр постучал карандашом о графин, призывая к порядку.

— Товарищ министр, товарищи члены коллегии,— пылко начал Аполлон и умолк. Он впервые испугался. Оглянулся, затравленно разыскивая Свиридова...

— Смелее, смелее, товарищ Кацетадзе.— В голосе министра слышалось легкое раздражение.— Начните, как думаете.

И Аполлон начал первой же фразой, вырванной наугад из своих записей. Потом он вернется к тому, на чем остановился Свиридов. А пока...

— Товарищи! Скажу одно: проводника надо заинтересовать материально. Иначе как было, так и будет. Чем заинтересовать? Работой! Той выгодой, которую дает добросовестная работа. Мы тратим большие деньги на текущий ремонт вагона. В докладе приводится расчет, основанный на нормах выработки... Так вот, если вагон передать проводнику на социалистическую сохранность и выплачивать ему за это стоимость ремонта вне зависимости от того, ремонтировался вагон или нет, исходя только из реального состояния вагона в конце года, мы увидим, как резко изменится картина. Причем без всякого ущерба для государственного бюджета. Ибо деньги, которые получают бесчисленные ремонтные бригады, теперь явятся стимулом для проводников. Речь идет о внутривагонной сохранности — полок, электрооборудования, стекол, фонарей...

Свиридов вышел через боковую дверь. Выступление Аполлона займет не менее часа. Ведь главные вопросы впереди...

2

К платформе Харьковского вокзала поезд прибыл с опозданием на час двадцать. Где растеряли это время — непонятно, вроде шли весело.

Магда отворила нагретую дверь, впуская в тамбур пахнувший антрацитом воздух, выкрики носильщиков, гул толпы сиротский свисток электрички. Неожиданно Магда почувствовала у лица прохладное трепыхание. Она отстранила голову, и в тамбур впорхнула бабочка. Кажется, такую крупную бабочку Магда видела впервые. Подумать только: вчера еще холодок Северограда, а сегодня в вагоне бабочка. Что значит юг.

Магда придержала спиной вагонную дверь, в которую ломились нетерпеливые пассажиры. Бабочке нравилось в тамбуре. Она кружила по узкому пространству, расплескивая крыльшками тихий свет.

— В чем дело?! Проводник! — кричали в дверь.— Почему не выпускаешь?

— Только осторожно,— ответила Магда в щель.— Сюда бабочка влетела. Осторожно, пожалуйста.— Магда шагнула к поручням, обтерла их тряпкой и откинула трап.

Пассажиры потянулись к выходу, косясь на летающую кругами бабочку... Магда не спускала с нее глаз.

— Товарищи, далеко не уходите. Поезд опаздывает, могут сократить стоянку.— Магда спрыгнула на платформу.

Бабочка села на стекло торцевой двери, пыльный прямоугольник которого вбирал в себя белесые сумерки уходящего дня. Странно, ведь рядом была распахнута дверь, была воля, а она прилипла к пыльному стеклу, сложив над собой фиолетовые крылья...

Пассажиры разгуливали по платформе, недовольно поглядывая на глухие киоски, витрины которых дразнили газетами и журналами

Не задержись поезд в пути, они застали бы киоски открытыми, досадно. Зато продуктовые точки торговали вовсю, собирая вокруг себя длиннющие очереди.

Магда любила харьковский вокзал—красивый.. А какие там были когда-то обеды! Прямо на перроне ждал пассажиров украинский борщ. Садись, ешь, плати, поезжай дальше. Никакой толпы, давки. На многих станциях они прижились в свое время. Только, видно, кому-то не понравилась эта система походных обедов. То ли не заплатил какой-нибудь прощельга, то ли еще что. Но борщи исчезли с перронов, унося с собой кроме удобств и какую-то романтику дорожной жизни. Так же как и стационарные базарчики со своими солеными огурчиками, отварной картошкой с укропом, фруктами в ведрах. Теперь всем этим торгуют из-под полы, скрываясь от востроглазых милиционеров. Или так далеко унесут от вокзала рынок, что надо добираться к нему специальным транспортом. Невдомек иным начальникам, издавшим грамоту о разгоне старушек с тесками и ведерками, какой урон они наносят престижу дороги, ее привлекательности и в конечном счете ее экономике. И кстати, экономике своего края, отбивая охоту к возделыванию всяких полезных продуктов...

— Елизар! — крикнула Магда.— Проснулся? Иди сюда!

Елизар махнул рукой: сейчас подойдет, только разберется с пассажиром.. Елизар обычно ложился спать после Курска и к Харькову поднимался, чтобы подменить Магду до Ростова.

Магда ждала, переминаясь с ноги на ногу. Надо знать Елизара: пока не растолкует пассажиру все, чем тот интересуется, с места не сдвинется.

— Иди скорее! — повторила Магда.

Елизар удивленно покосился: что за нетерпение такое, новости какие, может, Аполлон Николаевич из Москвы прилетел, пока Елизар сны свои рассматривал?

Утром во время завтрака Магда рассказала о ночном визите начальника поезда. Умолчав, конечно, что Аполлон Николаевич ей предложение сделал. Однако ей показалось, что Елизар что-то подозревает. Сидел насупившись, ел неохотно, точно больной. А чай и вовсе не пил, встал, ушел к себе. И не показывался на глаза даже в Москве. Лишь в Орле заявился. Вместе с ревизорами и с Яковом Гуриным, заменяющим начальника поезда... Не выдержал: может быть, за Магдой грешки какие есть, так он тут, вот он, для моральной или иной какой поддержки. Но Магда на этот раз была чиста — никаких нарушений. В Орле ревизоры строгие, к ним на кривой кобыле не подъедешь, вмиг акт составят...

— Елизарушка, Елизарушка,— приговаривала Магда навстречу Елизару.

— Ну чего тебе? — хмурился Елизар издали.

Его оттопыренные уши горели в красных лучах солнышка, разорванного ломаным городским горизонтом. Вот волосы у Елизара оставались красивыми, густые каштановые, с каким-то металлическим отливом.

— Чего тебе? — повторил он приблизившись.

— В тамбур бабочка залетела. Лето уже, Елизар.

— Ну? — искренне обрадовался Елизар.— Бабочка?

Магда рассмеялась, тронутая его детской интонацией.

Елизар поднялся в вагон.

— И вправду бабочка.— Ему очень хотелось не сердиться на Магду, тем более он и не знал за что. Мало ли зачем может навесить проводника начальник поезда...

Бабочка сидела, как прежде, сложив фиолетовые крылышки.

— Пусть с нами катается, безбилетница,— предложил Елизар.

— Выпусти ее,— заупрямилась Магда.— Открой дверь.

Елизар достал ключи и осторожно, боясь спугнуть бабочку, потянул на себя торцевую дверь. Видно, ее давно не открывали. Бабочка снялась со стекла, продержалась на месте, отчаянно размахивая крыльшками, и упорхнула...

Елизар стоял в распахнутых дверях. Вид уходящих из-под ног рельсов почему-то вызывал у него щемящее чувство.

— Магда,— сказал он.— Давай поженимся. А?

Магда засмеялась.

— Нашел время...

Елизар захлопнул дверь и соскочил на платформу, не сводя с Магды глаз.

— Знаешь, я не шучу, сколько можно,— проговорил он серьезно и осекся: к вагону приближался Яша, а за ним трусил Гаврила Петрович Пасечный, поездной электрик.— Чего вам?

— Радиограмму получили,— запыхался Яша.— Вагон под подозрением возгорания.

— Что?! — испугалась Магда.

— А то! — ответил Яша.— Еле разыскал Петровича, спал где-то.

— Не спал я, газету читал,— оправдывался электрик.— А хотели бы сгореть, давно бы сгорели... Паника это. У меня в деле ажур.

— Ажур, ажур,— передразнил его Яша, осматривая бурый вагон и точно удивляясь, что тот до сих пор еще цел.— Не горишь, Магда?

— Горю! — Магда подмигнула Елизару.

Тот смущенно потоптался и отправился к себе.

— Я-то горю,— повторила Магда,— а вот вагон мой почти не горит.

— Чего тебе еще надо? — возмутился Гаврила Петрович.— Подключил же к подаче.

— Спасибо! Хотя бы видим друг друга в вагоне,— ответила Магда.— А кто мне обещал ремень на генератор? Не ты ли, Петрович?

— Ладно. Ликвидирую безобразие,— кивнул электрик.— Пришпандорю тебе ремешок. У молодцев перекупил тут, сдается, что свой собственный... Успею ли до отправления?

С этими ремнями всегда беда. Не могут их надежно укрепить. То сами соскакивают, то их уворовывают. Крепкие ремни, под всякую разность приспособишь. А в свободной продаже нет.

— Успеешь,— заверила Магда.— Только на рельсы не свались. совсем небось ослабел от чтения. Пользуешься, что Аполлона Николаевича нет.

— Скажешь! — обиделся Гаврила.— Дам сей момент. Будет светло, как в театре.

— Бывал ли ты в театрах? — усмехнулся Яша и пошел к себе. Ошибка, видно, какая-то с радиограммой. Пусть электрик и разбирается...

Гаврила Петрович принялся за работу, не переставая ворчать.

— Ну и вагончик подсурили...

— Конечно, если спать всю дорогу,— обиделась Магда за бурого своего бедолагу.— Только в подушку и смотришь.

— Да ты вспомни, какая посадка была в Северограде! — оправдывался электрик.— А платформа там какая высокая! Вровень с площадкой. Поползай под вагонами. Разгляди, где нет ремня на шкиву!

— Работай, работай,— торопила Магда.

— А я что делаю? Ну, кажется, все! Ажур!

Успел Гаврила Петрович, натянул ремень. И вовремя... Поезд напругся. Вот-вот тронется в путь.

Электрик бросился бежать к себе в штабной. Не очень-то хочется возвращаться вагонами от самого, считай, конца поезда, мараться в тамбурах, хлопать дверьми, синяки набивать. По платформе удобней...

— Ты, Магда, пригляди за щитком! — крикнул на бегу Гаврила Петрович. — Доверяю.

Магда махнула рукой: чего смотреть на щиток, не телевизор! Не видела она эти лампочки, что ли? Помнится, много лет назад, когда служба начинала, ох и перепугалась. Смотрит — плюсовая ярче горит. Чуть-чуть, правда, но все же... Стоп-кран сорвала, тревогу подняла. Искали-искали электрики утечку, так и не нашли. А поезд из графика выбился, скандал. Вот и верь после этого инструкциям. Так что ученая уже Магда. А сейчас вообще минусовая горит, с ней годами катаются. Видно, тот пассажир в пижаме бучу поднял. Дал телеграмму, что с электричеством неладно в вагоне. Вот тип! Встречаются еще такие...

Магда тронула ладонью упругую ленту ремня. И отблагодарить не успела Гаврилу Петровича как положено. Ладно, потом сочтемся, свои люди.

3

Майские ночи в степи свежие. Бурый бедолага вагон за день, правда, согрелся, да ночью все тепло выдувало. Конечно, не сравнить с зимней спячкой в парках отстоя, под присмотром старушек охранных с собачкой. Его сосед, плацкартный вагон, еще бодрился, даже корил бедолагу. Ему-то хорошо корить, не хвостовым замыкает поезд, с обеих сторон, считай, прикрытый... Но ничего, терпеть можно. Известное дело, если бы всякие охотники до казенного добра не обобрали вагон зимой, не содрали бы все чуть ли не до ходовых тележек, то любая степная промозглость была бы нипочем, а так... Как ни восстанавливай на заводе то, что лихие люди разворотили, все равно пустое: ремонт он и есть ремонт. Разве сделают так, как было? Да ни в жисть! Что-нибудь да упустят. Недаром столько жалоб на вагоно-ремонтные заводы. Говорят, куда выгоднее новый вагон соорудить, чем восстанавливать старый...

Вот о чем судачили наши прицепные вагоны между собой. А что еще делать? Стоят они рядышком, сцепка в сцепку, вот и судачат, косточки переминают деповским работничкам... К примеру, вчера в Ярославле, когда отдыхали колесо в колесо с «фирмой», молодость свою вспомнили, девчонко-проводниц из прибалтийского городка. Не то что эти нынешние — Магда и Елизар. Тоже люди неплохие. Стараются, ухаживают по мере сил, поддерживают порядок. Да разве справишься теперь? Взять, к примеру, ту же пыль. Годами скапливается под крышей, в закутках всяких. Ну и расстрясывается по всему вагону. А не дай бог искра какая-нибудь залетит. Порох, а не пыль! За считанные минуты вагон сгорает. Раньше-то, когда паровозы бегали, сколько пожаров от встречных искр происходило. Не то в наши дни... Но и теперь случается. Кто из пассажиров сигаретой балуется: бросит за окно, а ее между рамами ветром затянет. Там и тлеет до пожара. Кто с пьяных глаз костер в купе устроит. Но это еще куда ни шло... Обидно, когда конец приходит из-за расхлябанности тех, кто по должности своей обязан следить за вагонами. От разгильдяйства их, от безответственности... Если по-честному: почему именно его, бурого, из парка отстоя вытащили? Из всего стада — его одного... Удобней всех стоял, у самой горловины. Вот и весь секрет. Наспех пробежали осмотрщики, глазом приглядили и подписали бумагу: все в порядке, мол. Нет чтобы внимательней присмотреться: может, где и прохудилась изоляция, ведь не первый год катается вагон, верно? А были времена, когда специальная бригада за это ответ держала. Каждый уголок вынюхивали перед тем, как в схему поездную вставить. Не спеша, по графику. Люди опытные, степенные, непьющие... Ведь у электрической искры разговор с пластиком короткий. Особенно на скорости, когда ветром раздувает. Спасайся кто успеет! Вот когда

тепло становится на десятки метров вокруг. Никакая степная ночь не страшна со своей прохладой. Да, ничего себе утешеньице...

Так они переговаривались друг с другом. Не зная, что бурому бедолаге оставалось жизни той, вагонной, всего ничего. Не дотянуть ему до белого южного города, остаться в степи ржавым металлическим скелетом, сваленным с полотна, чтобы не мешать веселому ходу других, более удачливых своих приятелей...

Колеса перестукивались друг с другом, словно узники. В такт им тренькала под полом какая-то неприкаянная деталь. Она-то и выводила Игоря из себя, не позволяя ему окончательно подавить утомленное сознание. Временами он все же проваливался в сон, вернее, в какое-то удушливое забытие. Но это длилось недолго. Открыв глаза, он вновь видел бледно-желтые солнечные полосы на стенах и двери. Несколько раз за это время поезд останавливался. И глубокая тишина закладывала уши. Даже топота за стеной не было. На какой-то остановке в коридоре раздался возглас: «Харьков! Пошли погуляем по перрону!» Загремели шаги. И вновь все стихло. Игорь надумал было выйти, купить что-нибудь в киоске, но так и не решился... Он и не почувствовал, как поезд отправился дальше. Только слышал, как заговорили колеса. Желтые солнечные зайчики сдвинулись вверх, проваливаясь в антресоли. В глубине антреселей он увидел новую автомобильную крышку. Видно, проводник оставил еще до того, как их перевели в этот вагон... Игорь сложил руки на груди, надеясь уснуть...

Когда он открыл глаза, купе освещалось скудным электрическим светом вполне адекватно. Часы показывали без четверти двенадцать. Неужели он так долго спал? Он почувствовал голод...

— Павел Миронович, — позвал Игорь.

Старика в купе не было.

Игорь отодвинул дверь и высунулся в коридор. Ему вдруг захотелось заглянуть в соседнее купе, увидеть спящую Варвару Сергеевну. А если не спит — может, и поговорить, как прошлой ночью... Но в полумраке ему так и не удалось ничего разглядеть. Еще простыня мешала, что мятой шторой выползала из-под разметавшегося во сне смуглого Чингиза.

— И что ходят? — произнесла Дарья Васильевна.

Игорь вздрогнул от неожиданности.

— Старика своего ищут, — проговорил он.

— Возле Варьки ищешь? — съязвила старушенция. — В соседний вагон побег дедок. Приспичило. — И передохнув, спросила: — А чего это он в наш не ходит? Брезгует?

Игорь усмехнулся. Вспомнил заявление старика, что пользоваться тот будет только туалетом купейного вагона, не его вина, что оказался в плацкартном курятнике...

— Давно ушел дедок, — приглашала к разговору Дарья Васильевна. — Все жду, когда вернется.

— Зачем?

— Интересно. Сколько он там просидит? Больной, что ли?

— Тихо вы! — грубо, со сна, осадил скрипач. — Поспать не дадут. Бабка прикусила язык.

Игорь направился в тамбур. Сквозь дверную щель разглядел в служебке сидящих рядом своего проводника и ту черноволосую из последнего вагона. Они что-то ели...

Приоткрыв на всякий случай дверь туалета, Игорь убедился, что там никого нет. Можно было и вернуться к себе, но длительное отсутствие старика внушало тревогу: мало ли, вдруг опять приступ? Лучше проверить, раз уж встал...

В тамбуре никого не было. Дверь поскрипывала на ржаво-зеленых петлях в такт движению поезда. Трапы с лязганьем терлись друг

о друга. Игорь вступил на их танцующие спины и толкнул дверь купейного вагона...

Потолочные светильники пустого коридора горели ярким светом. Но не ровно, а как-то пульсируя, точно кто-то шалил с реостатом, изменяя напряжение...

Надпись извещала, что туалет занят.

Игорь подергал ручку. Никакого ответа.

— Павел Миронович!

— Ну? — глухо ответил старик. — Я никуда не тороплюсь.

— Ничего, все в порядке, — миролюбиво ответил Игорь.

Он собрался было вернуться к себе, как услышал треск. Сухой и резкий, словно раскат грома. Плафоны на потолке затрепыхали бледным тающим светом. А далекий конец коридора мазнула короткая вспышка. Как раз напротив купе проводника.

Игорь вглядывался, переживая в нерешительности. Треск не повторялся... Любопытство перебороло лень. Горопливым шагом он прошел вдоль коридора, испытывая смущение, словно без приглашения попал в чужую квартиру, и заглянул в служебку.

Тонкие жгутики черного дыма выползали из-под приборного щита, донося едкий запах горелой резины. Сквозь жгутики прорвался безобидный розовый язычок огня, словно кто-то пробовал зажигалку... Но в следующее мгновение прямо на глазах язычок этот распух и игриво пополз вверх, перекручиваясь черным дымом...

В оцепенелой растерянности Игорь смотрел на эту картину. Ему казалось, что он прирос к полу навечно, хотя прошло не больше секунды. Страшная мысль пронзила сознание...

Игорь бросился бежать в свой вагон. Где-то в конце коридора плафоны погасли. И уже в темноте он рванул на себя дверь тамбура.

— Пожар! — немо крикнул Игорь в щель служебки.

Елизар вскочил на ноги и, оттолкнув охнувшую Магду, бросился вон из купе, метнулся в тамбур. Елизару хватило одного взгляда в дальний край коридора, чтобы все понять.

Он подался назад, но в спину напирала Магда.

— Стоп-кран! — прохрипел Елизар. — Горим...

Магда толчком спрыгнула с грохочущего трапа в тамбур плацкартного и повисла на стоп-кране. Раздался свист сжатого воздуха.

Вагон завизжал подобно раненому животному. Магда пыталась отжать себя от мгновенно выросшей перед грудью и лицом стеной, так велика была сила инерции. Страх сковал ее, сдавил виски, сбил дыхание. Ноги стали мягкими, чужими.

Торцевая дверь камнем ударила о стену.

— Огнетушитель! — прохрипел ввалившийся из купейного Елизар. — Я не нашел. Темно. — Он проскочил за своим.

Магда тупо подумала, что огнетушителя в подменном вагоне не было, не укомплектовали...

Но вернуться в хвостовой Елизару уже не удалось. В темный тамбур вагона вбежали раздетые со сна, испуганные страшным толчком пассажиры хвостового.

— Горим, горим! — истошно вопил первый в полосатой больничной пижаме.

— Да куда ты?! — заорал Елизар, прижимая к груди огнетушитель. — В дверь беги! В боковую! Прыгай! Дай дорогу!

— Заперта же дверь, сволочи! — Пассажир загораживал проход.

Позади него с нарастающей силой крепчал обвал голосов.

Пассажир в пижаме выдавил Елизара на площадку, освобождая дорогу безумевшей толпе. Тамбур тотчас заполнился людьми.

Елизар понял, что ему не прорваться. Он швырнул огнетушитель и метнулся к правой двери. Надо успеть ее открыть, пока толпа не забила тамбур, хорошо, ключ оказался в кармане, но не успел. Толпа

прижала его к выходной двери. Только и удалось что повернуть в скважине ключ.

— Что делать? Говори! — кричал Игорь. — Приказывай!

— Не паниковать! — истощно завизжала Магда. Она уже овладела собой и пыталась продрагаться ко второй боковой двери. Но в людском месиве сделать это было уже невозможно. — Назад! Все в плацкартный! — кричала она.

— Куда в плацкартный?! — выкрикнул Игорь. — Там затор! Чемоданы, люди... Все попадало... Пробка!

— Ключи дайте, ключи! — вопили из темного коридора купейного. — Откройте двери... Дышать нечем...

Чьи-то пальцы сдавили Елизару затылок. Он скосил глаза и увидел вытянутую смуглую руку.

— Давай ключи! — орал кто-то с кавказским акцентом. — Я с улицы пойду. Окно бить буду!

Это был Чингиз, один из братьев-колхозников. Крик Чингиза подсказал ход обезумевшей толпе...

Где-то уже били стекла...

Из глубины вагона потянулся едкий запах горячей резины. Разбитые стекла усилили ток воздуха и запах густел.

— Гори-и-им! — с новой силой закричали в чреве вагона.

Страшным усилием Елизар отодвинулся от двери и согнутым локтем ударил о стекло. Свежесть ночи остужала лицо... Если огонь прорвется в кровельные перекрытия, то в считанные секунды он по воздуховоду, пожирая на пути скопившуюся пыль, перекинется и на плацкартный...

«Господи, где же бригада?! Куда подевались эти гады?! — думал вслух Елизар, скалывая пальцами осколки стекла. — Ведь и не знают, что горим, не знают... Ползают по вагонам, ищут, кто сорвал стопкран...»

Казалось, что прошла вечность с начала этой жуткой суматохи, хотя на самом деле минуло не более двух-трех минут...

Машинист локомотива подавал периодические сигналы. Он наверняка и не подозревал о пожаре: открытого огня пока не было. Кто же ему сообщит, если между вагонами и локомотивом нет связи? А когда еще помощник машиниста доберется до хвостового, выясняя причину торможения! Бегаёт где-нибудь, сукин сын, в середине состава...

«У-у-ух! У-у-ух!» — вопрошал о причине экстренной остановки в ночи локомотив за пятьсот метров от хвостового вагона. А другой машинист подождет-подождет, да и тронет машину: мало ли какой хулиган сорвал стопкран, выбил из графика. И такое бывает...

Елизар почувствовал, как его придавливает тяжесть ползущего тела. Солдат Витюша тянулся к разбитому окну, пытаясь ужом проникнуть в проем... Это ему удалось.

— Что делать дальше? — орал он, размазывая по лицу кровь от порезов.

— Дверь продавливай, дверь! — хрипел Елизар, воспрянув духом. — Дави, родной. Старайся. На меня дави.

Виктору давить было неудобно, нет упора. Но все же дверь чуть отошла. Это придало силы Елизару. Он стал боком протискиваться в щель...

На помощь солдату подоспели оба брата-колхозника, и еще кто-то, и еще. Из тех, кто вылез из окна... Щель расширили настолько, что Елизар смог наконец вырваться из тамбура. Он вышел на насыпь, точно куль с песком. И на четвереньках засеменял к сцепке...

— Только бы не вспыхнула кровля. — Он нащупал рукоятку расцепного рычага. — Ну поворачивай же, поворачивай! — орал сам на себя Елизар.

Сил, что ли, не хватало у него? Такая нехитрая процедура... Подоспели еще люди. Как в тумане Елизар опознал Серегу Войтюка, Гайфуллу, Якова. Прибежали наконец...

Теперь бы отвести вагон от состава. Вот бы сейчас локомотиву поддать вперед. Так нет же...

— Взяли, ребята, взяли,— из последних сил шептал Елизар.

Все и без него понимали, что надо делать. Облепили вагон со всех сторон. Лишь гравий хрустел под напряженными ногами.

Вагон поддался. Из располовиненного резинового перехода-суфле начали сыпаться люди. Кто сам по себе, кто с чемоданами, баулами, сумками. Выбравшись из общей свалки, отбегали в сторону, глядя на свое последнее пристанище...

И тут, словно специально отмерив время на спасение, из-под кровли рванул яркий столб пламени, поглотив мощным гулом испуганный гомон толпы... Оранжевый сполох озарил вокруг степь, и столбы электропередач, и случайное дерево... Точно серые летучие мыши замелькали в душном воздухе рваные куски сажи. Люди умолкли, пораженные зрелищем этого фантастического костра...

Жар от полыхающего вагона горячим компрессом тронул лицо и руки сидящего на корточках Елизара. Рев огня заглушал все звуки, и Елизару казалось, что он один в степи. Он и горящий вагон.

Кто-то приблизился со спины. И через мгновение Елизар почувствовал на плечах тяжелые руки. Магда сползла по его спине, прижимаясь к Елизару...

— Как же так? — бормотал Елизар.— Что же это такое?

С опавшего лица Магды тихо скатывались черные бусинки слез и, свываясь, капали на мятый измазанный китель...

Игорь бегал в толпе. Изодранный свитер лохмами висел на его покрытом ссадинами теле.

— Павел Миронович! — кричал он, вглядываясь в людей, на лица которых наплывали багровые мазки пламени.

Старика нигде не было видно. Неужели не успел выбраться? Ведь наверняка всем удалось спастись, пока огонь мужал в дальнем конце коридора.

Игорь приблизился к месту, куда выходило рифленое стекло туалета. Жар горячей крыши был нестерпим. Игорь оглянулся. Увидел вблизи скрипача. Тот стоял словно околдованный, глядя на полыхающую шапку вагона...

— Послушайте! — крикнул он скрипачу.— Помогите мне подняться.

Скрипач смотрел тихим безумным взглядом и молчал.

— Эй! — Игорь схватил какой-то камень.— Помогите мне! Слышишь?

Скрипач опасливо приблизился к вагону, отворачивая лицо в сторону. Сцепил пальцы рук, подставив их под мокрые туфли Игоря. Дотянувшись до окна, Игорь ударил камнем по стеклу. Скрипач качнулся. Игорь скользнул вдоль сухой стены вагона, пытаясь за что-нибудь уцепиться.

В последний миг он увидел скрюченную фигуру Павла Мироновича, прильнувшего к двери туалета...

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФАКТА ПОЖАРА В ПОЕЗДЕ № 119 СЕВЕРОГРАД — КИСЛОВОДСК

(выписка)

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГОНА. Вагон № 2445, приписанный в Североградском вагонном депо. Построен в 1972 году (ГДР), автономного энергоснабжения с воздушным отоплением. Последний деповский ремонт проходил в сентябре 1983 года. Вагон был поставлен в поезд

технически неисправным, с наличием утечки тока. Указанный вагон обслуживался проводницей Савиной М. С. Бригаду проводников возглавлял механик-бригадир Кацетадзе А. Н.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЖАРА. В пути следования до станции Ярославль поездной электрик Пасечный Г. П., обнаружив слабую аккумуляторную батарею в вагоне № 2445, произвел подключение его к соседнему вагону на энергоснабжение в режиме «прием — подача». Сигнал утечки-минус оставил без внимания. В дальнейшем при следовании по станции Харьков электрик Пасечный Г. П. без выяснения причин утечки поставил вагон № 2445 на режим питания от генератора. При этом не отключив его с режима «прием — подача». А так как генератор был неисправен, то по ходу поезда произошло полное короткое замыкание плюсовой фазы генератора через пакетник подачи на минусовую фазу. В результате загорелся электроцит вагона приема энергии, что и явилось причиной пожара. Пожар ликвидировать не удалось. Погиб пассажир Гурзо П. М. Причина гибели — блокирование выхода из туалета тамбурной дверью во время эвакуации пассажиров. Материальный ущерб от пожара 52 000 рублей.

Подписи членов комиссии».

«ВЫПСКА ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРОГРАДСКОЙ ДОРОГИ

За нарушение технологического режима и должностных инструкций, в результате чего произошел пожар в вагоне поезда № 119, повлекший гибель одного из пассажиров, приказываю:

1. Начальнику Североградского вагонного депо тов. Безымянному Н. Н. объявить строгий выговор.

2. Механика-бригадира поезда № 119 Североградской дороги Кацетадзе А. Н. освободить от занимаемой должности сроком на 1 год.

3. Поездного электрика Пасечного Г. П. и проводника вагона № 2445 Савину М. С. снять с поездной работы без права допуска обслуживания поездов.

4. Начальнику военизированной охраны Североградской дороги тов. Рудневу Б. К. передать дело в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Начальник Североградской дороги СВИРИДОВ А. П.».

«ПРОКУРОРУ СЕВЕРОГРАДСКОЙ ДОРОГИ тов. ИВЛЕВУ С. Т.

Вам направляется материал служебного расследования случая пожара в поезде № 119 для привлечения к уголовной ответственности механика-бригадира Кацетадзе Аполлона Николаевича, поездного электрика Пасечного Гаврилу Петровича и проводника вагона № 2445 Савину Магду Сергеевну за нарушение должностных инструкций, приведшее к гибели пассажира.

Начальник военизированной охраны
Североградской дороги Руднев Б. К.».

1982—1984.

ЮРИЙ КОБРИН

★

ВИЛЬНЮС

Здесь мед — медус. Санскрит летуч!..
Гортань в предчувствии немеет —
три имени летят из туч:
Марина, Анна, Саломея.
Переливаются слова,
в славянский стих вплетясь узором,
здесь князь татарский раздевал
литовок узкоглазым взором.
Здесь мальчик плакал крепостной,
ему земля казалась адом,
здесь пел над быстрою водой
друг Александра юный Адам.
Здесь в узких улочках живет
неизъяснимое пространство...
Я им дышу из года в год
при возвращении из странствий.
Здесь я стихи перевожу,
стихи с литовского на русский,
и каждым словом дорожу,
двойную чувствую нагрузку.
Здесь сын рожден, здесь мой отец
пророс травой такой зеленой...
Здесь целовался, наконец,
сто лет назад под старым кленом.
Здесь никогда не одарю
друзей лукавостью чертовской,
когда негромко говорю:
«Я — русский сын земли литовской».

ДЖОН АПДАЙК

★

КРОЛИК РАЗБОГАТЕЛ

Роман

Имя американского писателя Джона Апдайка хорошо знакомо советскому читателю. Широкая известность пришла к нему после появления его романа «Кентавр», вышедшего в США в 1963 и опубликованного у нас в 1964 году. Затем на русском языке вышли его романы «Кролик, беги» (Апдайк начал писать его в конце 50-х годов), «Давай поженемся» и рассказы.

«Я поставил в центре своего романа «Кролик разбогател», — писал Апдайк своей переводчице в 1982 году, — среднего американского обывателя, все интересы которого сводятся к трем моментам — деньги, женщины и выпивка. Больше на свете его ничто не интересует». Этот роман, действие которого разворачивается на фоне широкого полотна жизни США в конце 70-х — начале 80-х годов, был удостоен (впервые в истории американской литературы) сразу трех премий — Пулицеровской, Национальной книжной премии и Премии критики.

Узнав, что «Новый мир» заинтересовался его романом, писатель дал разрешение на публикацию сокращенного варианта «Надеюсь, — писал он в январе этого года, — что читателям «Нового мира» роман понравится — хотя бы немного».

Т. Кудрявцева.

Вечерами он закуривает хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик и, ругнув, быть может, карбюратор, мчится домой. Он стрижет лужайку или практикуется с клюшкой, а там, глядишь, пора и ужинать.

Джордж Бэббит¹, «Об идеальном гражданине».

Как трудно думать, когда день клонится к вечеру, когда на солнце наползает тень и светлое пятно — лишь твоя шкурка...

Уоллес Стивенс², «Кролик — король призраков».

I

«**К**ончается горячее», — думает Кролик Энгстром, стоя за пыльными, как всегда летом, окнами демонстрационного зала «Спрингер моторс» и глядя на поток транспорта, текущий мимо по шоссе 111, — поток словно бы усохший и испуганный по сравнению с тем, каким он бывал раньше. В этом чертовом мире кончается горячее. Но его, Кролика, они в угол не загонят — пока еще нет, потому что с его «тоётами», учитывая расстояния, какие они покрывают при сравнительно небольших эксплуатационных расходах, не сравнятся ни одной колмаге. Читайте «К сведению потребителей», апрельский номер. Больше ничего и не нужно говорить людям, когда они заходят. А они заходят — люди-то ведь просто обезумели, они же понимают, что Великим американским гонкам наступает конец. Бензин дошел до девяноста девяти и девяти десятых цента за галлон, и девяносто процентов бензоколонок закрыты на уик-энд. Гу-

¹ Персонаж сатирического романа Синклера Льюиса «Бэббит» (1922), воплощение американского обывателя.

² Ст и в е н с Уоллес (1879—1955) — американский поэт.

бернатор Пенсильвании призывает отпускать бензина не меньше чем на пять долларов, чтобы прекратить создаваемые паникой очереди. А владельцы грузовиков, не достав дизельного топлива, расстреливают собственные грузовики — один такой случай произошел совсем недавно в округе Даймонд на Потсвиллской платной дороге. Люди теряют голову, доллары их превращаются в бумажки, они швыряют деньгами, как будто завтра конец света. А Гарри им говорит, что, покупая «тоёту», они превращают свои доллары в иены. И они верят. Он поставил у себя сто двенадцать новых и подержанных машин за первые пять месяцев 1979 года и за одни только первые три недели июня уже сбавил с рук восемь «Королл», пять «Корон», в том числе один «универсал» в люксовом исполнении, да еще «Селику» — каждую в среднем по цене на восемьсот долларов выше оптовой. Кролик разбогател.

Он теперь владелец «Спрингер моторс», одного из двух отделений фирмы «Тоёта» в районе Бруэра. Вернее, совладелец на полонинных началах со своей женой Дженис, а ее матери, Бесси, принадлежит вторая половина капитала, унаследованная от старика Спрингера после его смерти пять лет тому назад. Но Кролик ведет себя так, точно он здесь полный хозяин: день за днем он торчит в демонстрационном зале, держит в руках всю документацию и выплату жалованья, появляется в своем отутюженном вычищенном костюме то в отделе текущего ремонта, то в отделе запасных частей, где люди работают точно в преисподней, чумазые, все в масле, и когда поднимают взгляд от ярко освещенных моторов, глаза у них кажутся белыми, тогда как он занимается с клиентами, с жителями округи, — звезда и средоточие вселенной для двух десятков сотрудников, работающих на площади в сто тысяч квадратных футов, что уходит сейчас, когда он стоит у окон, широкой тенью за его спиной в глубину. Стена, обшитая вроде бы досками, а на самом деле панелями причудливо рифленного мазонита, вся завешена возле двери в его кабинет старыми газетными вырезками и фотографиями команд в рамках, среди них — две фотографии лучших десятков округа той поры, когда двадцать лет тому назад он был героем баскетбола — нет, не двадцать лет, а теперь уже больше. Даже под стеклом вырезки продолжают желтеть — что-то происходит с бумагой, и не только под воздействием воздуха, — так раньше пугали его, говоря, что от греховной жизни пожелтеешь. ЭНГСТРОМ ЗАБИЛ 42-Й МЯЧ. КРОЛИК ВЫВОДИТ КОМАНДУ МАУНТ-ДЖАДЖА В ПОЛУФИНАЛ. Идея устроить такую выставку — а вырезки эти были извлечены с чердака, где покойные родители Кролика с незапамятных времен хранили их, наклеив в блокнотах, но клей высох и вырезки можно было снять точно кожу со змеи, — принадлежала Фреду Спрингеру, равно как и фраза о том, что репутация фирмы зависит от репутации ее главы. Зная задолго до смерти, что он умирает, Фред готовил Гарри к тому, чтобы он мог возглавить фирму. О покойниках принято думать с благодарностью.

Десять лет тому назад, когда Кролик, работавший тогда линотипистом, был уволен и помирился с Дженис, ее отец взял его к себе продавцом, а пять лет спустя, когда Кролик поднаторел в деле, соизволил отдать богу душу. Кто бы мог подумать, что у этого маленького, нервного, деловитого человечка может случиться такой обширный инфаркт? Высокое давление — нижнее уже многие годы держалось у него на ста двадцати. Он любил соль. А кроме того любил поразглагольствовать о доблестях республиканцев, когда же Никсон лишил его этой возможности, он и скончался. Собственно, он протянул еще год при Форде, но кожа на его лице натягивалась все туже, а красные пятна на скулах и челюстях становились все краснее. Гарри, увидев его, нарумяненного, в гробу, понял, что этого следовало ожидать. Фред не очень изменился. По тому, как вели себя Дженис и ее мать, можно было подумать, что окочился то ли принц из сказки про Золушку, то ли пророк Моисей. Возможно, Гарри стал таким бесчувственным потому, что уже похоронил обоих своих родителей. Он опустил взгляд, заметил, что у Фреда не на ту сторону расчесаны волосы, и ничего не почувствовал. Великое все-таки дело делают мертвецы — освобождают тебе место.

Пока старик Спрингер еще был на скаку, жизнь в фирме была тяжкая. Он допоздна засиживался на работе и не закрывал демонстрационный зал даже в зимние вечера, когда по шоссе 111 не ходило ни единого снегоочистителя, вечнo гундел этим своим высоким нудным голоском про основные правила демон-

страции машин, да как получить прибыль на мойке, да как обслуживать покупателей, да оставил или не оставил механик отпечатки большого пальца на руле какого-нибудь чудика или окурков в его пепельнице. При старике Спрингере все они стремились быть под стать тому идеалу, каким непрестанно, неуклонно старался сделать «Спрингер моторс» старик. Когда же он умер, забота об идеале перешла к Гарри, а он был для этого явно жидковат. Теперь, став здесь королем, он полюбил магазин, и примыкающий к нему асфальт, и запах новых машин, исходящий даже от брошюр и всякой белиберды, которую фирма «Тоёта» рассылает из Калифорнии, и моющийся шампунем бобрик от стены до стены, и желтеющие свидетельства баскетбольных побед на стенах рядом с рекламными клубов «Кивани», «Ротари» и «Си-оф-Си» и трофеями команд Малой лиги, которые финансирует фирма, на высоко подвешенной полке, — полюбил этот тихий просторный квадрат мужского мирка, слегка разбавленного девочками в отделе расчетов и приема, наймом и увольнением которых ведаёт старушка Милдред Крауст, и маленькие карточки с напечатанными на них ГАРОЛЬД К. ЭНГСТРОМ, ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Ведущая фирма. Своего рода центр нападения, тогда как раньше он был просто нападающим. До чего же Гарри чувствует себя беззаботно, когда ему не надо дотягиваться до идеала, когда он завоевал себе репутацию. Машины согласно его философии продаются ведь сами собой. По телевидению все время рекламируют «тоёты» — это втемяшивается людям в голову. Гарри нравится быть частью этого мира — нравится, как с ним расклинаются люди, которые со времен школы смотрели на него сверху вниз. А в «Ротари» и «Чэмбер» он встречает ребят, с которыми тогда играл в мяч, или их уродов, младших братьев. Ему нравится то, что деньги так и текут к нему, крупному, добродушному, славному малому, каким он представляется себе: теперь в нем шесть футов три дюйма, а талия — сорок два, как пытался внушить ему продавец костюмов у «Кролла», пока он не втянул живот, и тогда продавцу нехота пришлось передвинуть по сантиметру большой палец. Теперь он избегал зеркал, хотя раньше любил в них смотреться. В его сегодняшнем лице то давнее лицо, узкое, с сонными глазами хищника под стриженными ежиком волосами, которое глядит на него с глянцевиных снимков команды, почти незаметно — подобно хромированной решетке на капоте машины, когда она стоит перед тобой вся на виду, вместе с крыльями. Нос у Гарри все такой же небольшой и прямой, глаза, пожалуй, стали чуть менее сонными. Довольно длинные волосы, какие носят дельцы, причесывая их феном, прикрывают кончики ушей и маскируют залысины. Эпоха контркультуры с ее наркотиками и отказом от воинской повинности не слишком нравится ему, а вот то, что не надо стричься под морских пехотинцев, что можно носить волосы подлиннее и причесывать их так, чтобы они лежали естественно, пушисто, ему нравится. Бреясь, он видит в зеркале свой двойной подбородок и набухающие жилы под ним — лучше не смотреть. И все равно жизнь прекрасна. Именно так говорили старики, и в молодости он всегда недоумевал: неужели они это серьезно?

Вчера вечером в Бруэре и пригородах шел град. Градины величиной с камушки скакали по спускающимся под уклон палисадникам и барабанили по жестяным вывескам с мерцающими неоновыми надписями в центре города; потом начался ливень, и в лужах отразилась серая, как камень, заря. Однако день выдался ветренный и золотой, и исчерченный белыми полосами, залатанный асфальт площадки для машин высох к концу этой долгой, последней в июне и первой в календарном лете субботы. Обычно в субботу по шоссе 111 деловито мчатся покупатели растаскивать торговые центры, возникшие там, где раньше тянулись поля пшеницы, ржи, помидоров, капусты и клубники. Через дорогу — четыре полосы бетона и разделитель из алюминия, покореженный бесчисленными, уже забытыми авариями. — стоит низкое строение с фасадом, облицованным темным кирпичом: в этом строении на протяжении нескольких лет — а Гарри видел, как его каркас постепенно расширяли, сбивая из досок, — перебивало уже несколько прогоревших один за другим ресторанов; теперь же там разместилась Придорожная кухня, торгующая шашлыками навывнос. В Придорожной кухне сегодня тоже вроде бы затишье. Позади разбитой рядом стоянки для машин, заваленной смятыми картонками из-под шашлыков, стоит одинокое дерево, пыльный клен, утоляющий жажду из ручья, превратившегося в канаву. Под ветвями клена гниет столик для пикников, которым никто не пользуется —

слишком близко он стоит к кухонной двери, возле переполненного отбросами контейнера. По канаве проходит граница зеленого участка, уже проданного, но никак не используемого. Красивый старый клен вечно манит к себе Гарри, но он не может откликнуться на его призыв.

Гарри отворачивается от запыленного окна и говорит Чарли Ставросу:

— А здорово все они перепугались.

Чарли поднимает глаза от лежащих перед ним бумаг — оплаченного счета и новой формы № 1 на «Барракуду-8» выпуска 1974 года, которую они наконец продали вчера за две восемьсот. Никому не нужны теперь эти старые прожорливые чудовища, а не брать их нельзя. Чарли ведь занимается продажей подержанных машин. Хотя он работает в «Спрингер моторс» в два раза дольше Гарри, столик его стоит прямо тут, в демонстрационном зале, в углу и на карточке его значится СТАРШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Однако он не держит на Гарри зла. Он кладет свое перо кончиком вровень с краем бумаг и откликается вопросом на обращение хозяина:

— А ты видел, на днях в газете писали, как где-то в глубинке нашего штата владелец бензоколонки и его жена обслуживали длиннющую очередь и один из клиентов не сумел включить сцепление и придавил жену к стоявшей свади машине, там вроде было написано, что он сломал ей бедро; муж подхватил жену и стал просить людей помочь, а они вместо этого схватили насосы и давай качать задаром бензин.

— М-да, — говорит Гарри, — по-моему, я слышал об этом по радио, правда, такому трудно поверить. И еще слышал про одного малого из Питтсбурга, который возит с собой две деревянные доски и подставляет их под задние колеса, чтоб при заправке ему залили на несколько центов больше бензина. С ума люди походили!

Чарли издает короткий иронический смешок и изрекает:

— А что обывателю остается, раз нефтяные компании так себя ведут! Беру свое, а на тебя — плевать.

— Я не виню нефтяные компании, — спокойно произносит Гарри. — Им тоже туго приходится. Матушка земля истощается — вот в чем дело.

— Мура, чемпион, у тебя никто никогда не виноват, — говорит Ставрос своему более рослому коллеге. — «Скайлэб» свалится тебе на голову, а ты, падая, скажешь, что правительство сделало все возможное, чтобы этого не произошло.

Гарри пытается представить себе эту картину и соглашается:

— Возможно. Правительство ведь нынче связано по рукам и ногам, как и мы все. Пожалуй, единственное, на что вашингтонские чиновники нынче способны, это получать жалованье.

— Тут уж можно не сомневаться — этикие алчные мерзавцы. Послушай, Гарри, ты прекрасно знаешь, что Картер и нефтяные компании сами заварили всю кашу. Чего хотят нефтяные короли? Чтоб прибыль была больше. Чего хочет Картер? Чтоб меньше импортировать нефти, чтоб меньше обесценивался доллар. Ввести нормирование он боится и надеется, что повышение цен все устроит. Вот увидишь, еще до конца года бензин без свинца будет стоить полтора доллара.

— И люди будут платить, — говорит Гарри: с годами его стало трудно вести из себя.

Оба умолкают, словно примирив точки зрения, в то время как по шоссе 111 испуганный транспорт вздымает пыль, а нераскупленные «тоёты» в демонстрационном зале распространяют специфический запах новых машин. Десять лет назад у Ставроста был роман с Дженис, женою Гарри... Беря зятя на работу, старик Спрингер спросил его, сможет ли он работать с Чарли. Кролик не понимал, почему, собственно, нет. Однако, почувствовав, что тут можно кое-что выторговать, он сказал, что готов работать вместе с Чарли, но не под ним. «Об этом не может быть и речи, ты будешь подчиняться только мне, пока я тут, на земле, — обещал ему Спрингер, — вы просто будете работать бок о бок». И вот бок о бок они ждали покупателей и в дождь и в солнце, и поругивали придирчивого хозяина, и ежемесячно определяли, какие из подержанных машин никогда от них не уйдут, и соответственно снижали на них цену, чтобы продать по себестоимости и хотя бы окупить затраты на их содержание. Бок о бок страдали

они вместе со «Спрингер моторс», когда в Бруэре появились по лицензии машины «дацун», и потом все те годы, когда люди покупали «фольксвагены» и «вольво», а теперь «хонды» и «ле-кары» — последнее слово по части экономики. За эти десять лет Гарри прибавил в весе тридцать фунтов, тогда как Чарли из коренастого грека, которого, когда он был в темных очках и клетчатом костюме, можно было принять за местного бандита — распространителя игры в числа, превратился в высохшего жучка из тех, что околачиваются на скачках. У Ставроса всегда барахлило сердце — следствие ревматизма, перенесенного в детстве. В свое время Дженис как раз и купилась на это — на эту слабость, сидевшую в нем, несмотря на могучую грудь. И вот теперь, подобно трещине в хрустале, разбегающейся во все стороны, болезнь сказалась и на внешнем облике — он стал похож на иссохшего, исправившегося пьяницу, который повседневно печется о своем здоровье. Его брови, которые словно железный прут пересекали раньше лицо, разделились на два черных самостоятельных куста, точно мазки углем на лице клоуна. Баки у него поседели, а на макушке появилась будто наведенная краской широкая черная полоса. Каждое утро, не успев войти в помещение, Чарли снимает свои голубоватые очки в черной роговой оправе и надевает другие, с янтарными стеклами, и топчется целый день по магазину точно этакий старый седеющий баран, который боится поскользнуться на уступе и свалиться в пропасть...

Впервые со времен детства Кролик счастлив — просто от сознания, что жив. И он говорит Чарли:

— Я так считаю: нефть подойдет к концу вместе со мной — этак году в двухтысячном. Вроде бы смешно говорить такое, но я рад, что живу в наше время. Эти ребята, которые идут нам на смену, им же достанутся крохи со стола. А у нас был полный обед

— Крепко тебе голову задурили, — говорит ему Чарли. — И тебе и многим другим. У больших нефтяных компаний разведано столько месторождений, что хватит еще на пятьсот лет, но они хотят выдавать нефть понемножку. Я слышал, в заливе Делавэр стоят сейчас на якоре семнадцать супертанкеров — семнадцать! — и ждут, когда подскочат цены, а тогда они подойдут к нефтеперегонным заводам Южной Филадельфии и выгрузятся. А пока происходят смертубийства в очередях за бензином.

— Так перестань ездить. Бегай, — говорит ему Кролик. — Я вот начал бегать и чувствую себя великолепно. Хочу сбросить тридцать фунтов.

На самом деле его решение бегать на заре до завтрака по росистой траве продержалось меньше недели. Теперь он довольствуется тем, что после ужина иногда бегаёт трусцой вокруг квартала, спасаясь от дрызг, которые разводят жена и ее матушка.

Он затронул болезненное место. Чарли признается, снова заполняя форму № 1:

— Доктор говорит, что, если я стану заниматься любым видом спорта, он умывает руки.

Кролик смущен — но не слишком.

— В самом деле? Этот доктор — как-его-там-звали — говорил иначе. Уайт. Пол Дадли Уайт.

— Он умер. Любители спорта падают в парке, как дохлые мухи. В газетах об этом не пишут, потому что индустрия укрепления здоровья приносит большие барыши. Помнишь, все эти маленькие магазинчики натуральных продуктов, которые пооткрывали хиппи? Знаешь, кому они теперь принадлежат? «Дженерал миллз»³.

Гарри не всегда знает, насколько серьезно следует воспринимать Чарли. Зато тот знает, что его бывший соперник — сильный и крепкий малый, уж никак не обделенный господом богом по части телесного здоровья. Если бы Дженис удрала с Чарли, как собиралась, ей пришлось бы теперь быть ему нянькой. А так — она нынче играет в теннис три-четыре раза в неделю и никогда еще не была в лучшей форме. Гарри старается держаться с Чарли помягче, чтобы тот — и так он все чахнет — не чувствовал себя придавленным везучеством коллеги. Он молчит, а Чарли возвращается мыслью к тем памятным дням, ког-

³ Концерн, специализирующийся на продаже полуфабрикатов и бакалейных товаров.

да еще не было энергетического кризиса, забыв о том позорном и печальном факте, что доктор по поводу него умывает руки.

— Бензин, — неожиданно произносит он с легким смешком, точнее придыханием. — До чего же мы привыкли его жечь! Был у меня однажды «империэл» с двумя карбюраторами, так когда снимешь фильтр и посмотришь на всасывающий клапан — а мотор в это время работает вхолостую, — такое впечатление, точно воду в уборной спускают.

Гарри смеется, подыгрывая собеседнику.

— А как раскатывали. — говорит он. — выходили из школы, и делать-то больше нечего — ну раскатывать. Вверх и вниз по Центральной, вверх и вниз. Эти старые «В-8» — насколько, ты думаешь, им хватало одного галлона? Миль на десять — двенадцать? Да никому и в голову не приходило считать.

— Мои дяди до сих пор не желают ездить в маленькой машине. Говорят, им вовсе неохота, чтоб их сплющило, если они столкнутся с грузовиком...

— Сейчас расскажу историю. Однажды, когда мы с Дженис только поженились, я за что-то разошелся на нее — наверное, просто за то, что она такая, какая есть, — сел в машину и за вечер смотался в Западную Виргинию и обратно. С ума спятить. Теперь, чтоб пуститься в такую авантюру, надо сначала в банк зайти.

— М-да, — тянет погрустневший Чарли. А у Кролика не было ни малейшего желания его огорчать. Он ведь толком так никогда и не узнал, действительно ли Чарли любил Дженис. — Она мне об этом рассказывала. Ты в ту пору немало покуражился.

— Было дело. Но машину я всегда пригонял назад. И когда Дженис ушла от меня, она забрала машину. Ты же помнишь.

— Разве?

Чарли так и не женился, и это лестно для Дженис, а следовательно, и для Гарри, раз он с ней...

— Это все нефтяные компании нас подталкивали, — говорит Чарли. — Они говорили: «Давай жми на все педали — вон сколько вокруг дорог, сколько торговых центров!» Через сотню лет люди просто не поверят, до чего расточительно мы жили.

— Вот так же было и с лесом, — говорит Гарри, пытаясь продаться сквозь дебри истории, словно подвеченные туманом: в его представлении она расчерчена на столетия, как футбольное поле, и из всего этого выступает несколько дат — 1066⁴, 1776⁵ — и несколько лиц, отнюдь не радующих взор (Джордж Вашингтон, Гитлер), в рамках по краям. — Или, например, с углем. Я помню, когда был мальчишкой, как антрацит с грохотом летел по старому желобу и на каждом куске — красная точка. Я не мог представить себе, что это делают люди, думал, это происходит с ним в земле. Маленькие эльфы метят уголь красными щеточками. А теперь нет больше антрацита. Эта мура, которую нынче добывают, крошится у тебя в руке. — Когда Кролик видит, как растрачиваются богатства мира, и понимает, что и земля тоже смертна, его это радует и укрепляет в сознании, что он богат.

— Что ж. — вздыхает Чарли. — По крайней мере эти черномазые и желтые уже никогда не устроят промышленной революции.

Похоже, черта под разговором подведена, хотя у Гарри такое ощущение, что они оставили за бортом нечто очень существенное, нечто жизнетворное, имеющее энергией. Правда, в последнее время он стал замечать, что как в частных беседах, так даже и по телевидению, где людям ведь платят за то, что они говорят, многие темы довольно быстро иссякают, исчерпываются, словно в этом послушании все уже сказано. В своей духовной жизни Кролик тоже замечает гораздо больше пустот, чем было раньше. — прогалины растраченных клеток серого вещества, откуда раньше шли сигналы вождения, смелых взлетов фантазии и страха с расширенными зрачками; к примеру, он засыпает теперь мгновенно, так сказать, не успев донести голову до подушки. Раньше он никогда не понимал этого выражения. Но ведь раньше у него и голова была другая. Раньше, к примеру, он мог ходить без шляпы, а теперь стоит подуть прохлад-

⁴ Завоевание Великобритании норманнами.

⁵ 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости, провозгласившая создание самостоятельного государства США из бывших английских колоний.

ному ветру, как он ее надевает. Крыша его прохудилась — стал проникать свет звезд.

У НАС ЕСТЬ ТО, ЧТО ВАМ НАДО — возвещает большой бумажный плакат, висящий в витрине демонстрационного зала в полном соответствии с кампанией, которую ведет по телевидению фирма «Тоёта». Плакат перерезает послеполуденное солнце, которое придает демонстрационному залу вид затененного аквариума или огромного затонувшего судна, где две «Короны» и пронзительно зеленая «Королла-универсал» ждут, когда их купят, переправят по воздуху на другую сторону стеклянной стены и благополучно опустят на площадку для машин, а там выведут на шоссе 111 и в асфальтовый мир за ним.

Из этого мира вырывается машина — приземистый старый «универсал-кантри сквайр», 1971 или 1972 года выпуска, весь побитый, со смятым и наполовину выправленным крылом, однако покрытый еще незакрашенным рыжим сломом грунтовок против ржавчины. Из машины выходит юная пара: девчонка, молочного-белая, с голыми ногами, усиленно моргает на солнце, а парень к солнцу прищипывает кожу у него закрученная, красная, рабочие джинсы в красной глине здешних краев стоят колом. На хромированном багажнике машины надстроена клетка из неструганных досок, а с того места, где стоит Кролик, выдаваясь пузом вперед, он видит, как пострадала внутренняя обивка стен и сидений «универсала» оттого, что фермер пользовался им вместо грузовика.

— Деревенщина, — бросает Чарли со своего места за столиком.

Пара входит в помещение застенчиво — два жалких длинных зверя, приносящихся к охлажденному кондиционером воздуху.

Почувствовав, одному богу известно почему, желание покровительствовать им, несмотря на ехидное замечание Чарли, Гарри направляется к молодым людям и первым делом бросает взгляд на руку девушки, проверяя, есть ли на ней обручальное кольцо. Кольца нет, но теперь это не имеет такого значения, как прежде. Молодые люди живут вместе — и все. На его взгляд, девушке лет двенадцать-двадцать, парень постарше, того же возраста, что и сын Кролика.

— Чем могу служить, молодежь?

Парень отбрасывает назад волосы, открывая низкий белый лоб. Его задушенное от солнца лицо такое широкое, что кажется, будто он улыбается даже когда и не думает улыбаться.

— Мы заглянули так, посмотреть.

Происхождение выдает в нем обитателя южной части округа — меньше резких, свойственных голландскому языку звуков, чем на севере, где кирпичные церкви вздымают в небо острые шпили, а дома и сараи сложены из известняка, не из песчаника. Гарри предполагает, что они, видно, собираются бросить ферму и перебраться в город, где не придется больше таскать столбы для забора, и скирды сена, и тыквы, и все то, что этой несчастной колымаге приходится перевозить. Найти себе крышу над головой, пристроиться в городе на работу и раскатывать в маленькой «Королле». У НАС ЕСТЬ ТО, ЧТО ВАМ НАДО. Вполне возможно, что парень просто приехал поразведать цены для отца и прихватил с собой подружку, или, может, это вовсе и не подружка, а сестра или первая встречная, которую он подвез. Есть в ней что-то отдающее панелью. То, как ее пышное тело распирает тесную одежду — выцветшие полотняные шорты и малиновый, в огурцах бюстгальтер. Блестящая, чуть присыпанная веснушками кожа на плечах и руках и рыжевато-каштановая, с выцветшими на солнце прядями буйная грива, небрежно стянутая сзади. Где-то в глубине, давно похороненный, звякнул колокольчик. У нее голубые глубоко сидящие глаза, и она молчит, как и положено деревенской девчонке, привыкшей к тому, что мужчины говорят, а она помалкивает, храня, посасывая свою горько-сладкую тайну. Никак не вяжущиеся с ее обликом туфли для дискотeki на высоком пробковом каблучке, с ремешками вокруг щиколоток. Розовые пальцы, окрашенные ногти. Эта девчонка с этим парнем не задержится. Кролику хочется, чтобы это было так: ему кажется, что он уже чувствует, как ток сам собою бежит от нее к нему, хотя она по-прежнему стоит как вкопанная. Он чувствует, что ей хочется спрятаться от него, но слишком она для этого большая и белая, слишком в ней вдруг ощутилась женщина, почти обнаженная. Туфли удлиняют ей ноги; она выше среднего роста и в объеме не толстая, а скорее полноватая, особенно в талии. Верхняя губа ее нависает над нижней, слегка припухшая, словно

ее удлинити. У нее вообще такое тело, что стоит ударить — и оно пойдет синяками. Кролику хочется защитить девчонку; он перестает буравить ее взглядом — и так он слишком долго на нее смотрел — и поворачивается к парню.

— Это «Королла».— говорит Гарри, хлопая рукой по оранжевой жестянке.— Модель с двумя дверцами, стоимостью от трех тысяч девятисот, на шоссе расходует галлон бензина на сорок миль, а в городе галлон на двадцать — двадцать пять миль. Я знаю, если судить по рекламе, некоторые другие марки тратят меньше, но, поверьте, сегодня в Америке вы не купите ничего лучше этого драндулета. Почитайте «К сведению потребителей», апрельский номер. А что до обслуживания и ремонта, то в первые четыре года условия куда лучше существующих в среднем. Да и кто в наши дни и в наше время держит машину дольше четырех лет? Через четыре года, если дело так пойдет, мы, может, все на велосипеды сядем. Ну, а у этой машины четырехскоростная синхронная трансмиссия, транзисторная система зажигания, передние дисковые гидравлические тормоза, виниловые откидывающиеся кресла, запирающаяся крышка бензобака. Это особенно важно. Вы не заметили, что в последнее время ни в одном магазине по продаже автомобильных частей нет сифонов? Сифона в Бруэре нынче не купишь ни за какие деньги — угадате почему? На днях из старого «крайслера» моей тещи, который стоял в Маунт-Джадже у парикмахерской, выкачали весь бензин, а она и ездит-то в своей колымаге разве что в церковь. Люди черт те что себе позволяют. Читали сегодня утром в газетах, что Картер собирается отобрать бензин у фермеров и дагь его грузовикам? Приставляет пистолет к виску, а?

— Я не видел газет,— говорит мальчишка.

Он стоит на земле так прочно, что Гарри вынужден сжаться и протиснуться позади него, чтобы не опрокинуть картонную фигуру счастливой покупательницы с собачкой и пакетами, и хлопнуть по ядовито-зеленой машине.

— Ну а если вы хотите сменить свой старый «универсал» — это же настоящая древность — на другой, почти такой же вместительный, но потребляющий вдвое меньше бензина, то вот этот «СР-5» — великолепная машина: пять скоростей, с ускоряющейся передачей, что действительно экономит топливо на больших расстояниях, и складное сиденье сзади, что позволяет посадить там одного пассажира, а сбоку остается еще место, чтобы положить клюшку для гольфа, или столбы для забора, или что хотите. Право, не знаю, почему Детройт до этого не додумался — это я насчет складного сиденья. Нас считают автомобильным раем, а все идеи приходят к нам от иностранцев. Хотите знать мое мнение — Детройт всех нас подвел, все двести миллионов. Я бы с радостью продавал наши американские машины, но, между нами говоря, они просто бахла. Картонки. Одна видимость.

— А вон там — это что такое? — спрашивает парень.

— Это «Корона» — машина ближе к высшему классу. Более мощный мотор — две тысячи двести кубических сантиметров вместо тысячи шестисот. Более европейский внешний вид. Я езжу в такой и люблю ее. На шоссе расходую галлон бензина миль на тридцать, а в Бруэре примерно на восемнадцать. Все, конечно, зависит от того, как ехать. Насколько сильно жмешь на педаль. Эти ребята, что испытывают машины для журнала «К сведению потребителей», они, видно, гонят всюю: показатели в милях, уж во всяком случае, кажутся мне неточными. Этот «универсал» стоит шесть тысяч семьдесят пять, но помните: вы покупаете иены за доллары, и когда придет время продавать, исчисляться стоимость машины тоже будет в иенах.

Девчонка улыбается при слове «иены». А мальчишка, поосвоившись, говорит:

— А вот эта? — Молодой фермер дотронулся до черного, с плавными линиями капота «Селики».

Весь пыл у Гарри пропадает. Если мальчишка заинтересовался этой машиной, он не намерен ничего покупать.

— Вы сейчас дотронулись до машины экстра-класса,— говорит ему Гарри.— Спортивная модель «Селика-ГТ» может свободно состязаться с «порше» или «МГ». Радиально расположенные стальные крепления, кварцевые часы с хрустальным стеклом, стереоприемник — все это у нее стандартные детали.

Стандартные! Можете себе представить, каковы добавки! У этой машины автоматическое управление и крыша с противосолнечным стеклом. Честно говоря, она кусается — цена почти пятизначная, — но, скажу я вам, это хорошее помещение капитала. Люди нынче все больше и больше покупают машины в этих целях. Представление о том, что каждые два года машину надо выбрасывать, как бумажную салфетку, и брать новую, давно устарело. Нынче купишь хорошую, солидную машину и долго будешь иметь вещь, а доллары, если сидеть на них, за это время ухнут к черту. Покупайте добротные вещи — вот мой совет любому молодому человеку, который сейчас начинает жизнь.

Слишком оно, видно, стал наседать, потому что парень говорит:

— Да мы ведь только присматриваемся, так сказать.

— Я это понимаю, — спешит вставить Кролик и поворачивается к молчащей девчонке. — Я на вас нисколько не давлю. Выбирать машину — все равно что выбирать подругу жизни: это надо делать не спеша.

Девчонка вспыхивает и отворачивается. А Гарри уже разговорился, как добрый папочка, его не остановишь:

— Страна-то у нас пока еще свободная... Так что я, молодежь, никак не могу заставить вас что-то купить, пока вы не почувствуете, что созрели. Мне-то безразлично — эта продукция сама продается. А вообще вам повезло — у нас сейчас такой выбор: как раз две недели назад нам доставили морем пополнение и до августа новых машин не будет. Япония не в силах производить столько машин, чтобы осчастливить весь мир: «Тоёта» ведь импортер номер один на всем земном шаре. — Он не может оторвать глаз от девчонки. Эти глубокие глазницы, плечи, врезавшаяся в тело лямка бюстгалтера. Сожми ее — и останутся вмятины от пальцев, такая она свеженькая, точно из печки. — Скажите, — произносит он, — какого размера машина вас интересует? Вам нужна такая, чтоб возить семью, или только для вас самих?

Девчонка краснеет еще больше. «Не выходи замуж за этого чурбана, — думает Гарри. — Его выродки сведут тебя в могилу».

— Нам не нужен другой «универсал», — говорит мальчишка. — У папки есть «пикап-шевроле», а когда я закончу школу, он разрешит мне пользоваться этой машиной.

— Это же не машина, а металлолом, — снисходительно замечает Кролик. — Побить ее можно, а доконать — никогда. Еще в семьдесят первом на одну машину расходовали куда больше металла, чем теперь. Детройт выпускает дух. — Он чувствует, что парит как на крыльях, все способствует этому — их молодость, его туго набитый кошелек, этот яркий июньский день, таящий обещание, что и завтрашний день, воскресенье, будет ясным и не испортит ему игры в гольф. — Но для людей, которые намереваются завязать узелок и начать серьезную жизнь, нужно нечто другое, а не такая штука из прошлого, нужно что-то вроде вот этого. — Он снова хлопает рукой по оранжевой жестянке и замечает раздражение в поднятых на него холодных светлых глазах девчонки. «Прости меня, детка, тебе до смерти надоело стоять тут, но когда подойдет время, у тебя слюнки потекут».

Позабытый всеми Ставрос подает голос из-за столика в другом конце демонстрационного зала, прорезанного полосами солнечного света, которые постепенно принимают горизонтальное положение:

— Может, им охота покрутить баранку. — Ему нужны покой и тишина, чтобы заниматься своими бумагами.

— Хотите прокатиться? — спрашивает Гарри у парочки.

— Вроде поздновато, — замечает мальчишка.

— Это же минутное дело. Вы ведь не каждый день сюда приезжаете. Так воспользуйтесь случаем. Я сейчас возьму ключи и номерной знак. Чарли, ключи от синей «Короллы» висят снаружи на доске или лежат у тебя в столике?

— Сейчас принесу, — буркает Чарли.

Он резко встает из-за столика и, так до конца и не выпрямившись, направляется в коридорчик за переборкой с матовым до пояса стеклом — жалкое нововведение, сооруженное Фредом Спрингером к концу жизни. За перегородкой три тонкие панельные двери в стене из прессованной стружки, разделанной под орех, ведут в кабинеты Милдред Крауст и девчонки-счетовода — очередной новенькой в этом месяце, — а также в кабинет главного торгового предста-

вителя, расположенный между ними. Двери эти обычно приоткрыты, и девчонка с Милдред то и дело бегают друг к другу за консультациями. Гарри же предпочитает находиться в демонстрационном зале. В старые времена тут было лишь три стальных стола да ковровая дорожка; единственная закрытая дверь вела в туалет со стеклянной колбой, наполненной спрессованным мылом, которую надо перевернуть, чтобы вытряхнуть содержимое. Теперь же принимают клиентов в отдельном закутке рядом с комнатой для ожидания, которой почти никто не пользуется. Ключи, потребовавшиеся Чарли висят среди многих других — некоторые из них уже вообще ничего не открывают в этом мире — на доске, потемневшей от прикосновений жирных от машинного масла пальцев, рядом с дверью, ведущей в отдел запасных частей, этот тоннель из заставленных всякой всячиной стальных полок, оканчивающийся раздвижным окном, которое открывается в полную лязга пещеру текущего ремонта. Собственно, Чарли вовсе не обязательно было идти за ключами — правда, он знает, где что лежит, да и покупателей ни на минуту нельзя оставлять одних, а то еще им станет не по себе и они смоятся. Пугливее оленей эти покупатели. Поскольку говорить им не о чем, мальчишка, девчонка и Гарри слышат натужное хриплое дыхание Чарли, когда он возвращается с ключами от «Короллы» и с номерным знаком фирмы на проржавевшем зажиме крепления.

— Хочешь, чтобы я поехал с этими ребятами? — спрашивает он.

— Нет, ты сиди отдыхай, — говорит ему Гарри и добавляет: — Начни пока запирать сзади помещение. — На табличке у них сказано, что они открыты по субботам до шести, но в такой злосчастный июньский день, когда бензин на пределе, можно закрыть и без четверти. — Я мигом вернусь.

Мальчишка спрашивает девчонку:

— Хочешь поехать или побудешь здесь?

— Да что ты, — говорит она, и, когда поворачивается и называет его по имени, спокойное лицо ее вспыхивает от нетерпения. — Джейми, меня же мама ждет...

Гарри заверяет ее:

— Это займет всего минуту.

Мама. Вот бы спросить, как выглядит мама.

На улице от бодрящего ветерка веет летом. Полоски гравы вокруг асфальтовой площадки принарядились проклюнувшимися одуванчиками. Гарри прирепляет сзади к «Королле» номер и вручает парню ключи. Он наклоняет пассажирское сиденье вперед, чтобы девчонка могла сесть сзади, и пока она туда пролезает, шорты ее слегка отстают от тела, позволяя увидеть кусочек бедра. Кролик втискивается на место «смертника» и поясняет Джейми назначение всех штук на приборной доске, включая вместилище для магнитофона. Они все трое скорее высокие, и в маленькой машине становится тесно. Однако «Тоёта» с этой своей импортной наглостью стремительно сдвигает их с места и вливается в поток машин на шоссе 111. Такое впечатление, точно сидишь на спине большого шмеля — прямо на урчащем моторе.

— Лихо, — признает Джейми.

— И при этом гладко катит, — добавляет Гарри и обращается к сидящей сзади девчонке: — Вы там о'кей? Может, мне пододвинуть сиденье, чтоб вам было удобнее?

— Нет, все в порядке, я сижу боком.

Ему хочется повернуться и посмотреть на нее, но в его возрасте поворачивать голову не так-то просто — бывают дни, когда он просыпается с болью в шее и в плечах только потому, что отлежал их за ночь. Тем не менее он все-таки ухитряется повернуться и посмотреть на девчонку.

— У этих япешек при всех их достоинствах довольно короткие ноги, — общается он ей.

А она вынуждена сидеть чуть ли не на полу, задрав кверху колени, так что сейчас эти молодые лоснящиеся колени находятся всего в нескольких дюймах от его лица.

Она машинально вытягивает изо рта несколько длинных волосков, разметанных ветром, и смотрит в боковое окошко на горговую часть Большого Бруэра. Теперь старый Уайзер-Пайк выглядит совсем иначе — домишки причудливой

формы, где торгуют готовой едой, и рыночки, где торгуют всем, начиная со свадебных нарядов и кончая пластмассовыми ванночками для птиц, изменили его облик, и невеста каким чудом уцелевший дом с его обрубленной лужайкой торчит теперь печальным напоминанием о минувшем. Конкуренты — «Пайк-порше» и «Рено», «Дифендорфер», «Фольксваген», кирпично-красная старушка «Мазда» и «БМВ», марки, импортируемые в округе Даймонд, — вывесили плакаты «Экономьте горючее!», а на бензоколонках рядом с зазывными рекламами стоят насосы в чехлах, и подъезды к ним загораживают грузовики с прицепами, тогда как раньше сюда подкатывали автомобили, заправлялись и мчались дальше. В конце дня это выглядит как вражеское ограждение. Откуда они взяли чехлы? Есть даже хорошо сшитые — из холста в малиновую клетку. Новая индустрия — изготовление чехлов для бензоколонок. Посреди пустынных озер асфальта — несколько лоточков, где продают клубнику и ранний горошек. Высоченная реклама указывает на здание из железобетона, стоящее в стороне от дороги. Кролик помнит, когда здесь стоял гигантский Мистер Земляной Орех, указывавший на приземистую лавку, где в стеклянных ящиках лежали соленые орешки — бразильские орехи, и фундук, и недробленные кешу, а по более дешевой цене — дробленые; округ Даймонд славился своими орехами, но, видно, славился недостаточно — и лавка прогорела. Остов ее разобрали и, в два раза увеличив, превратили в ночной клуб, а рекламу перекрасили, цилиндр Мистеру Земляному Ореху оставили, но сделали из него светского повесу во фраке и с бабочкой. Теперь после многих превращений здесь стоит не слишком ладно скроенная женская фигура, черный силуэт без малейшего намека на одежду, голова запрокинута, и из разрезанного горла, пузырясь, низвергаются вниз одна за другой огромные буквы Д И С К О. За этими рекламами лежат усталые зеленые холмы, подернутые дымкой, и жарятся под солнцем бесцветные поля с рядами наливающейся кукурузы. Внутренность «Короллы» нагревается, наполняясь человеческими запахами. Гарри думает о длинных ногах девчонки, когда она пролезала на заднее сиденье...

Молчание ребят смущает Гарри. Он нарушает его. Говорит:

— Ну и гроза была вчера вечером. Я сегодня утром слышал по радио, что в подземном переходе между Эйзенхауэр-авеню и Седьмой вода стояла больше часа.

Потом говорит:

— Знаете, мне даже жутковато становится при виде всех этих закрытых бензоколонок — точно кто-то умер.

Потом говорит:

— А вы читали в газетах, что компании «Херши» пришлось временно уволить девятьсот человек из-за стачки водителей грузовиков? Этак мы скоро будем стоять в очереди за шоколадом «херши».

Мальчишка всецело поглощен обгоном грузовичка хлебопекарного завода «Фрайхоферс», и Гарри снова заполняет молчание:

— Все магазины выбираются из центра. Теперь там ничего не осталось, кроме банков и почты. Они там посадили эти идиотские деревья — решили устроить сквер, но толку все равно не будет: люди по-прежнему боятся ехать в центр.

Мальчишка держится полосы быстрого движения и едет на третьей скорости — то ли из лихачества, то ли потому, что забыл про существование четвертой скорости. Гарри спрашивает:

— Ну как, почувствовал машину, Джейми? Если хочешь повернуть назад, тут сейчас будет съезд.

Девчонка сразу поняла:

— Джейми, давай повернем. Человек хочет попасть домой к ужину.

Джейми как раз начал сбавлять скорость у разворота, когда слева, не обращая внимания на поток транспорта, вынырнул «пэйсер», самая дурацкая машина, какая встречается на дорогах. — ну прямо стеклянная ванна вверх тормашками. Водитель — толстый итальяшка в гавайской рубашке. Джейми ударяет по рулевому колесу, тщетно пытаясь нащупать сигнал. В «тоёте» сигнал действительно находится в странном месте — на двух маленьких дисках внутри рулевого колеса, до которых легко достать пальцем; Гарри быстро протягивает

руку и гудит. «Пэйсер» возвращается на свою полосу, бросив на них через плечо, обтянутое гавайской рубахой, мрачный взгляд. Гарри наставляет:

— Джейми, у следующего светофора свернешь налево, пересечешь шоссе и, как только сможешь, свернешь снова налево, и мы выедем к магазину. — А девчонке поясняет: — Эта дорога красивее. — И говорит, как бы думая вслух: — Что же мне еще рассказать вам об этой машине? В ней уйма замков. Эти японцы, они ведь живут один у другого на голове и просто помешаны на замках. Не думайте, мы сами к этому придем, меня-то уже тогда не будет, а вы будете. Когда я был мальчишкой, никому и в голову не приходило запираеть свои дома, а теперь все запирают — кроме моей сумасшедшей жены. Запри она дверь — она тут же потеряет ключ. Одна из причин, почему я хочу поехать в Японию — а «Тоёта» предлагает такие поездки некоторым своим торговцам, только надо иметь больший вал, чем у меня. — так вот я хочу посмотреть, как они запирают бумажный домик. Вот так-то. Ключ из зажигания можно вынуть, только если нажать на эту кнопку. Багажник сзади открывается с помощью вот этого рычажка. Насчет того, что крышка бензобака запирается, я вам уже говорил. Кто-нибудь из вас слышал про историю, которая произошла около Ардмора на этой неделе: какая-то женщина подъехала без очереди к бензоколонке, а парень сзади нее пришел в такую ярость, что навинтил свою крышку на ее бензобак, так что, когда она подъехала к насосу, служитель не мог ее отвинтить? Пришлось ее машину тягачом оттаскивать. Хороший урок стерве, я так считаю.

Они сделали свои два поворота и едут теперь по извилистой дороге, где поля подступают так близко, что видны комья красной земли, все еще подбрасываемой там, где ее разворотили плугом, а предприятия — ТОЧКА КОСИЛОК ДЛЯ ГАЗОНОВ, ПЕНС. ГОЛЛАНДСКИЕ СТЕГАННЫЕ ОДЕЯЛА — словно возникли из прошлого столетия в сравнении с теми, что стоят вдоль шоссе 111, которое пролегает параллельно этой дороге. На обочинах между почтовыми ящиками, на которых намалевано где сердце, где шестигранник, фиолетовыми цветочками пестрит вика. С вершины холма открывается вид на бензохранилища Бруэра цвета слоновой кости и склон горы Джадж, испещренный рядами красных кирпичных домиков. Кролик отваживается спросить девчонку:

— Вы здешняя?

— Нет, я живу ближе к Гэлили. У моей мамы там ферма.

«А твою маму зовут не Рут?» — хочется спросить Гарри, но он не спрашивает, чтобы не напугать ее, а в себе не уничтожить легкую дрожь волнения, предвкушение открывшейся возможности. Он пытается еще раз взглянуть на нее, проверить, не подскажет ли ему ответ ее белая кожа и не в него ли ее наивно-голубые глаза, но грузное тело мешает ему, да еще эта тесная машина...

Гарри почувствует себя куда лучше, когда заберет «тоёту» из рук этого болвана...

— Сворачивай здесь налево, на желтый свет. Ты как раз пересечешь сто одиннадцатое и сможешь въехать к нам на площадку сзади. Так какое суд выносит решение?

— Я ведь сказал — мы только присматриваемся, — говорит Джейми. — Машина уж больно маленькая, но, может, вы как раз к такой привыкли.

— А хочешь покрутить баранку на «Короне»? Она покажется тебе дворцом после того, как посидишь в одной из этих, а так ведь в жизни не подумаешь: она всего на два сантиметра шире и на пять длиннее. — Он сам себе поражается: до чего лихо сантиметры слетают у него с языка. Еще пять лет продает эти машины — и заговорит по-японски. — Но лучше все-таки привыкай снижать свои требования, — говорит он Джейми. — Большим старым колымагам пришел конец. Люди продают их, а мы не можем сбыть их с рук. Половину придется отдавать оптовикам, а оптовики ставят их в витрины. Если бы я дал пятьсот долларов за твою машину, то лишь в порядке одолжения, поверь мне. Мы любим помогать молодым людям. Если такая молодая пара, как вы, не в состоянии купить себе машину или собственный дом, мир-то наш, по-моему, ни к черту не годен. Когда человек не может стоять даже на самой нижней ступеньке социальной лестницы, люди начинают терять в него веру. А если дело и дальше так

пойдет, шестидесятые годы покажутся раем в сравнении с тем, что нам предстоит.

На площадке для машин под колесами затрещали камешки. Мальчишка ставит «Короллу» на прежнее место и никак не может найти кнопку, высвобождающую ключ из зажигания, — приходится Гарри снова ему показать. Девчонка пригибается, горя нетерпением побыстрее выйти, — от ее дыхания на руке Гарри шевелятся бесцветные волоски. Он встает и чувствует, что рубашка прилипла у него к спине. Все трое медленно распрямляются. Солнце светит по-прежнему ярко, но высоко в небе появляются перистые облачка, что побуждает сомневаться, будет ли завтра хорошая погода для гольфа.

— Отлично прокатились, — говорит Гарри: ясно, что машину продать Джейми не удастся. — Зайдите-ка на минутку — я вам дам кое-какую литературу.

Внутри, в зале, солнце бьет прямо в бумажный плакат, так что все буквы просвечивает: ...БТСЕ САН У. Ставроса нигде не видно. Гарри вручает мальчишке свою визитную карточку со словом ГЛАВНЫЙ и предлагает расписаться в книге покупателей.

— Я же вам говорил... — заводит мальчишка.

У Гарри лопаются терпение.

— Это ни к чему вас не обязывает, — говорит он. — Просто «Тоёта» пришлет вам на рождество поздравительную открытку. Я напишу за вас. Имя — Джеймс?..

— Нунмейхер, — настороженно говорит мальчишка и произносит по буквам. — Гэлили. сельский район, номер два.

С годами почерк у Гарри испортился, длинная рука стала дергаться, но какая она ни длинная, все равно он не видит, что пишет. Ему следует носить очки, но самолюбие не позволяет носить их на людях.

— Сделано, — говорит он и нарочито небрежно поворачивается к девчонке. — О'кей, юная леди, а вас как величать? Фамилия та же?

— Не выйдет, — говорит она и хихикает. — Вам я для этой книги не нужна.

Холодные пустые глаза решительно сверкнули. В этой глупенькой женской науке уловок она прошла все круги. Когда она смотрит прямо на тебя, в очертаниях нижних век есть что-то возбуждающее, а под ними — тени недосыпа. Но у нее чуточку вздернутый.

— Джейми — наш сосед, я поехала с ним просто прокатиться. Хотела выбрать себе летнее платье у «Кролла», если хватит времени.

Что-то глубоко заставленное засверкало в свете солнца. Сегодня солнце добралось до полки, где стоят призы для вручения покупателям «Спрингер моторс» — овалы изображения сверкают на легком белом металле. «Можешь оставить при себе свое имя, маленькая сучка, — у нас пока еще свободная страна». А вот как его зовут, она теперь знает. Она взяла его карточку из широкой красной лапы Джейми, и глаза ее, по-детски вспыхнув, перескакивают с букв на карточке к его лицу, а затем к той части дальней стены, где висят, желтая, старые афиши с его именем, поджаренные временем, точно хлеб. Она спрашивает его:

— Вы никогда не были знаменитым баскетболистом?

На этот вопрос нелегко ответить — ведь это было так давно. Он говорит ей:

— Был — в доисторические времена. А почему вы спрашиваете, вы слышали мою фамилию?

— О нет, — весело лжет эта посетительница из давно утраченного времени. — Просто вид у вас такой.

Как только они отъехали на своем «кантри сквайре», раскачиваясь на расхлябанных амортизаторах, Гарри отправляется в туалет рядом с дверью Милдред Крауст в коридорчике, отделенном переборкой с матовым стеклом, и по дороге встречает Чарли, который возвращается, заперев все двери. И все равно воруют — таинственные недочеты сжирают часть положенных за продажу процентов. Деньги — ну прямо как вода в дырявом ведре: не успеваешь налить — она уже вытекает.

— Как тебе девчонка? — спрашивает Гарри своего помощника, когда они возвращаются в демонстрационный зал.

— Где мне разглядывать девчонок при моих-то глазах. Да если б и разглядел, при моем здоровье это все равно ни к чему. Слишком уж крупная и тупая, на мой вкус. И ноги прямо из ушей растут.

— Во всяком случае, не тупее этого вахлака, с которым она приехала, — говорит Гарри. — Господи, как посмотришь, с кем некоторые девчонки связываются, прямо плакать хочется.

Черные кустики бровей у Ставроса приподнялись.

— В самом деле? Иным может показаться и наоборот. — Он усаживает за свой столик. — Мэнни не говорил с тобой насчет этой «торино», которую ты взял на продажу?

Мэнни возглавляет текущий ремонт — низенький сутулый человек с носом в черных точках, как будто он этим носом разгребает каждый день всю грязь. Конечно, его возмущает Гарри — женился на дочке Спрингера и теперь расхаживает по залитому солнцем демонстрационному залу и принимает на продажу бросовые «торино».

— Он говорил мне, что нарушена центровка передних колес.

— Ну а если по-честному, он считает, что в машине нужно сменить клапаны. Кроме того, он считает, что владелец скрутил счетчик километража.

— А что я мог поделывать, когда у малого был при себе справочник: не мог же я ему дать меньше, чем там сказано. Если я не дам сколько там значится. «Дифендорфер» или «Пайк-порше» уж наверняка дадут полную цену.

— Надо было тебе попросить Мэнни проверить ее — он бы с одного взгляда сказал, что она побывала в аварии. А если бы он заметил махинации со счетчиком, этот поганец вмиг откатился бы на оборонительные позиции.

— А он не может утяжелить передние колеса, чтоб скрыть вибрацию?

Ставрос терпеливо опускает руки на оливково-зеленую доску своего стола.

— Весь вопрос в том, захочет ли. Клиент, которому ты сбagriшь эту «торино», больше носа к нам не покажет, гарантирую.

— Так что же ты советуешь?

Чарли говорит:

— Продай ее по бросовой цене «Форду» в Потсвилле. Ты собирался зарабатывать девятьсот долларов на продаже этой машины — пожертвуй двумя сотнями, чтобы не раздражать Мэнни. Ему же придется ставить свою марку на части, которые будет заменять его отдел, а на фордовских частях уже стоит их марка. В Потсвилле на нее наведут лоск и ошастливят какого-нибудь мальчишку, который погоняет на ней с неделю.

— Неплохо придумано. — Кролику хочется поскорее выбраться из помещения, шагать по вечерней прохладе, раздумывая о своей дочери. — Будь на то моя воля, — говорит он Чарли, — я бы продавал по оптовой цене все американские марки, какие к нам поступают. Никому они больше не нужны, кроме черных и итальяшек, да и они в один прекрасный день очухаются.

Чарли не согласен.

— Да нет, на продаже подержанных машин еще можно неплохо зарабатывать, если только подходить с выбором. Фред, бывало, говорил, что на каждую машину найдется свой покупатель, вот только не надо обещать за подержанные машины больше, чем ты готов заплатить за них живыми деньгами. Это ведь и есть живые деньги. — Он откидывается вместе с креслом назад так, что ладони его со скрипом скользят по столу. — Когда я поступил на работу к Спрингеру в шестьдесят третьем, мы продавали только подержанные американские модели — так далеко от побережья иностранные марки никто и в глаза не видал. Машины въезжали к нам прямо с улицы, мы их красили и подновляли, и никакой заводчик не говорил нам, какую брать за них цену, — мы попросту представляли цену кремом для бритья на ветровом стекле и, если в течение недели машина не входила, потом стирали эту цену и ставили новую. Никаких пошлин за импорт, никаких пересчетов — честно, ясно: вор вору помощник.

Воспоминания жалко смотреть, как они разъедают Чарли. Гарри уважительно выжидает, пока Чарли вернется в настоящее, затем спрашивает как бы между прочим:

— Чарли, если бы у меня была дочка, как, ты думаешь, она бы выглядела?

— Редкая была бы уродина, — говорит Ставрос.

— Занятно было бы иметь дочку, а?

— Сомневаюсь. — Чарли приподнимает со стола ладони, и передние ножки его кресла с грохотом опускаются на пол. — А что слышно от Нельсона?

В Гарри закипает раздражение.

— Слава богу, почти ничего, — говорит он. — Парень нам не пишет. В последний раз он сообщил, что отправился на лето в Колорадо с этой своей девчонкой.

Нельсон учится в Кентском государственном университете в Огайо — от случая к случаю, — и за его обучение заплачено сполна, а ему осталось учиться еще год, хотя мальчишке в ноябре уже исполнилось двадцать два года.

— А что это за девчонка?

— Одному богу известно, мне за ним не уследить. Каждая новая чуднее предыдущей. Одна была семнадцатилетняя алкоголичка. Другая гадала на картах. По-моему, эта же была вегетарианкой, а может, и другая. Он, наверное, специально выбирает таких, чтобы мне досадить.

— Не ставь на парне крест. Он же — все, что у тебя есть.

— Господи, что за мысль.

— Поезжай домой. Я хочу закончить дела. Я все закрою.

— О'кей, поеду посмотрю, какое очередное блюдо сожгла Дженис нам на ужин. Не хочешь попытаться счастья и заглянуть? Ей доставит удовольствие тебя повидать.

— Благодарю, но меня ждет Манна-мау.

Мать Чарли, одряхлев, перебралась к нему на Эйзенхауэр-авеню, и это тоже роднит их с Гарри, поскольку Гарри живет вместе с тещей.

— О'кей. Будь здоров, Чарли. Увидимся в понедельник на мойке.

— Будь здоров, чемпион.

На улице все еще стоит золотой день — золотой, но давно знакомый, если учесть, как уже долго живет Гарри. Он столько раз видел, как лето приходило и уходило, что его угасание и наступление слились в сердце Гарри воедино, хотя он до сих пор не может назвать растения, которые — каждое в свой черед — цветут в течение лета, или насекомых, которые тоже в предопределенном порядке появляются на свет, живут и погибают. Он знает, что в июне кончаются занятия в школах и открываются детские площадки и что если ты мужчина, то должен снова и снова стричь траву, а если ты ребенок, то можешь играть на улице, пока в теплых родительских кухнях позвякивает посуда перед ужином, и ты вдруг обнаруживаешь, что со все еще голубого неба через твое плечо заглядывает луна, а на колене у тебя таинственно появился серебристый плевочек молочая. Счастье повернулось к тебе. В июле продажа машин достигает пика — это значит, что торговец вроде Гарри, пропускающий через свой магазин по триста машин в год, продает на двадцать пять машин больше; двадцать одна из них уже оплачена, а торговать еще шесть дней. В среднем восемь сотен чистого дохода помножить на двадцать пять равняется двадцати косым минус двадцать пять процентов на жалованье и премиальные продавцам остается пятнадцать косых минус что-то между восемью и десятью на жалованье всем этим маленьким сучкам которые все время меняются в бухгалтерии была одна такая несколько лет назад по имени Сисси полька они даже потискивались в коридоре да еще арендная плата которую «Спрингер моторс» платит сама себе старина Спрингер не доверял банкам сам хотел своим имуществом владеть но и ему со временем пришлось выплачивать по закладной бог ты мой проценты теперь такие что прикончат любого новичка открывающего свое дело а Кредитный банк Бруэра уже многие годы дает деньги под двузначные проценты и из двенадцати процентов назад к тебе возвращаются два-три процента в восполнение убытков никто не хочет называть это подачкой а Служба внутрисоциальных доходов называет это облагаемыми налогом поступлениями и во сколько обойдется электричество потребляемое диагностическим компьютером «Сан-20001» который хочет установить Мэнни а электроинструменты теперь ведь даже гайку на колесе не завернешь без пневматического инстру-

мента р-р-р а какая жарница слава богу хоть на несколько месяцев отпустит а эти чертовы арабы которые совсем загнали нас в угол а еще эти механики не желают надевать свитер на комбинезон а с молодыми механиками и вовсе сладу нет у них видите ли немеют пальцы от холода а страхование здоровья это же сущее убийство платить приходится все больше и больше а в больницах не дают людям умереть хотя на самом деле это уже давно покойники им хорошо а на чьи денежки содержат бесплатную медицинскую помощь а реклама он часто думает много ли от нее пользы где-то он прочел что пристрастие листать журналы приносит торговцам полтора процента валового дохода но если посмотреть на автомобильную страничку воскресной газеты там такая неразбериха а надо бы просто давать перечень цен и фамилию торговца как говорил старина Спрингер которого видят в «Ротари» и городских ресторанах и в загородных клубах право надо бы разрешить списывать на деловые расходы то что он там оставляет ведь жалованье в четыреста семьдесят пять долларов в неделю которое он себе выплачивает установлено без учета костюмов а их приходится менять три-четыре раза в год чтобы иметь пристойный вид и покупает он их уже не у «Кролла» не нравится ему этот их торговец который измерил ему талию и сказал что он растолстел Уэбб Мэркетт знает один магазинчик на Пайн-стрит где продают вещи все равно как сшитые на заказ а налоги на недвижимость а стеклянная вывеска на улице в которую ребята то и дело швыряют камнями или банками надо бы вернуться к дереву оштукатуренному дереву но у «Тоёты» свои требования на чем же это он остановился да скажем если считать что ежемесячные расходы составляют около девяти косых это значит четыре косых чистой прибыли если вычтешь из этого еще тысячу на инфляцию мелкие кражи и всякие непредусмотренные случайности все-таки остается три косых значит полторы тысячи мамаше Спрингер и полторы тысячи ему с Дженис да еще две тысячи жалованья а покойник отец бедняга каждое утро являлся в типографию в четверть восьмого за сорок долларов в неделю и в ту пору это считалось неплохим заработком. Интересно, раздумывает Гарри, что сказал бы отец, если бы только увидел его сейчас — такого богатого.

Его «Корона-универсал» 1978 года выпуска в люксовом исполнении, с пятью дверцами, стоит на отведенном ей месте. Считается, что она металлически красная, а на самом деле скорее бурая, словно перестоявшийся томатный суп. Если японцы в чем-то и хромают, так это по части цвета: их «медь», на взгляд Гарри, коричневая, как креозот, их «мятно-зеленый» скорее похож на цианистую кислоту, а то, что они называют бежевым, это пронзительно лимонный. Во время войны было много карикатур, изображавших японцев в очках с толстыми стеклами, — интересно, может, они и в самом деле плохо видят и путают все цвета спектра. Но его «Корона» все равно удобная машина. Большая, солидная; слегка наклоненное, с мягкой прокладкой рулевое колесо; удобный предохранительный пояс для водителя; приемник с четырьмя динамиками, установленный на заводе. А он любит слушать радио, когда мчится по Бруэру, подняв стекла, заперев дверцы и включив вентиляцию, и из всех четырех углов машины, словно из четырех углов воображаемого танцевального зала, грохочет современная музыка. Бодрящая и нежная, эта музыка напоминает Кролику мелодии, которые он слышал по радио, когда учился в школе... городские мелодии, не похожие на народные шестидесятых годов, которые пытались увести тебя назад, сделать лучше, чем ты есть. Черные девчонки тоненькими мелодичными голосками выводят бессмысленные слова под грохот электрических ритмов, и Гарри это нравится, он представляет себе этих черных девчонок, скорее всего из Детройта, в блестящих переливчатых платьях, которые под крутящимися прожекторами то и дело меняют цвет, а их парни вкалывают на конвейере. Надо им с Дженис съездить хотя бы в это заведение ДИСКО на шоссе 111, мимо которого он сегодня в сотый раз проезжал, но куда ни разу так и не осмелился зайти. Мысленно он пытается сложить из кусочков картинку — Дженис, и цветные девчонки, и крутящиеся огни, — но все рассыпается. Он думает о Скитере. Десять лет тому назад этот черный человек явился к нему и жил с ним и Нельсоном черт знает сколько. А теперь Скитер умер — Гарри недавно узнал об этом, в апреле. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, прислал ему вырезку в длинном конверте, такие про-

дают на почте, надписанном аккуратными печатными буквами шариковой ручкой, как это делают бухгалтеры или школьные учителя, — вырезку, набранную знакомым шрифтом бруэрской «Вэт», где Гарри работал линотипистом, пока линотипный набор не сочли устаревшим:

НАШ БЫВШИЙ ГРАЖДАНИН УБИТ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Хьюберт Джонсон, живший ранее в Бруэре, умер от огнестрельных ран в филладельфийской городской больнице, как утверждают, после перестрелки с полицейскими.

Джонсон якобы неспровоцированно выстрелил первым в полицейских, расследовавших сообщение о нарушении санитарных норм и законов общежития в религиозной коммуне, которую, судя по всему, возглавлял Джонсон; в его «Семью мессии, несущего свободу» входили как белая молодежь, так и несколько черных семей.

Пение допоздна и вызывающее поведение повлекли за собой многочисленные жалобы соседей. «Семья мессии, несущего свободу» размещалась в доме на Колумбия-авеню.

На Джонсона был объявлен розыск Джонсон, проживавший последнее время на Плам-стрит, был известен здесь под кличкой Скитер, а также под фамилией Фарнсуорт. Местная полиция подтвердила, что его разыскивали в связи с многочисленными жалобами.

Лейтенант филладельфийской полиции Роман Сэрпитски сообщил корреспондентам, что ему и его людям не оставалось ничего другого как открыть по Джонсону ответный огонь. К счастью, никто из полицейских и никто из членов коммуны при этом не пострадал.

Сотрудники уходящего в отставку мэра Фрэнка Риццо отказались комментировать происшедшее. «Мы теперь не так часто сталкиваемся с такими сумасшедшими, как раньше», — заметил лейтенант Сэрпитски.

К вырезке не было приложено никакой записки. Однако тот, кто ее послал, должно быть, хорошо знал его, Гарри, знал кое-что из его прошлого и следил за ним, как якобы следят за нами наши покойники. Жуть. Скитер умер, и в мире стало мрачнее, исчезла отвага, надежда на то, что все переменится. Скитер предчувствовал, что умрет молодым. Последний раз Гарри видел его, когда он шел по полю скошенной пшеницы, где среди жнивья сидели лоснящиеся на солнце вороны. Но это было так давно, что вырезка из апрельской газеты, которую он держал в руке, оказала на него не большее воздействие, чем любая другая новость или те спортивные вырезки, что висели в рамках в демонстрационном зале вокруг него. Душа твоя тоже постепенно умирает. Та частица Гарри, которая находилась под обаянием Скитера, съезжилась и покрылась коростой. И хотя за всю свою жизнь Гарри близко не знал ни одного другого черного, он, по правде говоря, ничуть не боялся этого критикана-незнакомца, неожиданно явившегося, словно ангел с небес, и не испытывал ни малейшей неловкости от его внимания, а, наоборот, был польщен: Гарри казалось, что этот разъяренный человек как бы по-новому увидел его, будто просветил рентгеном. И однако же, он был несомненно сумасшедший, его требования были несообразны и бесконечны, и теперь, когда он умер, Кролик чувствует себя куда спокойнее.

Ему уютно сидеть в своей запертой и отлично собранной машине, за стеклами которой, словно в немом кино, разворачивается панорама достопочтенного города Бруэра. Кролик едет по шоссе 111 вдоль реки к Западному Бруэру, где он жил когда-то со Скитером, затем пересекает реку по мосту Уайзер-стрит, недавно переименованному в честь какого-то покойного мэра, хотя никто этот мост так не называет, затем, чтобы избежать пешеходной части с фонтанами и березками, которые плановики города решили насадить вдоль двух самых длинных кварталов Уайзер-стрит якобы с целью подновить центр (смех да и только: насадили в два раза больше деревьев, чем требовалось, считая, что половина погибнет, а деревья почти все прижились, так что теперь в центре города образовался настоящий лес, где уже не раз совершались ограбления и где теперь спят алкаши и наркоманы), Гарри сворачивает налево, на Третью улицу, проезжает несколько кварталов, где попадаются особнячки — и в каждом вто-

ром кабинеты офтальмологов, — и выскакивает на главную артерию, пересекающую город по диагонали и именуемую Эйзенхауэр-авеню, на которой в этом районе стоят старые фабрики и железнодорожные депо. Железные дороги и уголь ведь и создали Бруэр. Теперь в этом городе, некогда четвертом по величине в Пенсильвании, а ныне перешедшем на седьмое место, то и дело падаются здания — памятники исчерпанной энергии. Высокие стройные трубы, которые уже полвека не дымят. Фонари на битых чугунных столбах, которые не зажигались со времен второй мировой войны. Вся нижняя часть Уайзер-стрит отдана под продажу товаров по сниженным ценам, и единственное новое заведение на ней, большущее строение из белого кирпича без окон, — похоронное бюро Шонбаума. Бывшие текстильные фабрики, отданные под продажу одежды по удешевленным ценам, пестрят веселыми, наспех сделанными объявлениями **ФАБРИЧНАЯ ЯРМАРКА** и плакатами — **ЗДЕСЬ ДОЛЛАР ВСЕ ЕЩЕ ДОЛЛАР**. Эти акры мертвых железнодорожных путей и депо, где лежат горы колес и стоят пустые товарные вагоны, торчат в сердце города точно огромный ржавый кинжал. Все это было создано в прошлом столетии теми, кто сейчас кажется нам гигантами, в период бурного внедрения в жизнь железа и кирпича, которые и по сей день определяют облик этого города, где единственные новые здания — похоронные бюро и казенные учреждения, биржа безработных да призывной пункт.

За железнодорожным депо и подземным переходом у Седьмой улицы, который заглохло вчера ночью, Эйзенхауэр-авеню круто поднимается вверх среди плотно сбитых основательных домов, построенных рабочими-немцами на свои сбережения и ссуды от кредитных товариществ. — нашествию алюминиевых навесов и обшивки из искусственного камня не поддались здесь лишь веерообразные цветные витражи над дверьми: поляков и итальянцев теснят тут черные и латиноамериканцы — в юности Гарри они селились в нижней части города, у реки. Темнокожие парни, думающие на своем языке, пляшут теперь с треугольных каменных крылечек старых бакалейных лавчонок на углу.

Исчезнувшие белые гиганты, заполняя соты Бруэра, дали улицам, что пересекают Эйзенхауэр-авеню, имена фруктов и времен года: Зимняя, Весенняя, Летняя, а вот Осенней улицы нет. Двадцать лет назад Кролик жил три месяца на Летней улице с женщиной по имени Рут Леонард. Там он зачал дочь, которую видел сегодня, если только это его дочь. Ни от чего никуда не уйдешь — твои грехи, твои потомки настигают тебя...

Какая-то машина с двойными фарами — желтый «ле-ман» с широкой вертикальной полосой посреди решетки — так близко прижимается к Кролику, что он сворачивает и приостанавливается за припаркованной машиной, пропуская подлогу — молодую блондинку с надменно вздернутой красивой головкой; в наши дни такое часто бывает — вскипишь, думаешь, за рулем сидит наглый лихач, а смотришь, оказывается, девчонка, чья-то дочь, и по мечтательному отсутствующему выражению ее лица видно, что она просто хочет добраться побыстрее и ей в голову не приходит, как нахально она себя ведет. Когда Кролик только сел за руль, на дороге полно было старых чудаков, которые еле ползли, сейчас же такое впечатление, что по дороге мчится, всех расталкивая, одна молодежь. Пропускать ее — таково его правило. Может, на следующей миле они врежутся в телефонный столб. Он на это надеется.

Путь его лежит мимо величественной бруэрской средней школы, именуемой Замком и построенной в 1933 году — в том году он родился, потому и помнит. Теперь такую не построили бы — никто не верит в образование, к тому же говорят, что прирост населения приближается к нулю и нечем заполнять нынче школы, поэтому многие начальные школы приходится закрывать. Здесь строители города исчерпали названия времен года и перешли к названиям деревьев. Вдоль бульвара Акаций, к востоку от Замка, стоят окруженные газонами дома, но стоят настолько тесно, что рододендроны погибают из-за отсутствия солнца. Здесь живут люди более преуспевающие — костные хирурги, юристы высокого ислета и среднее звено заводской администрации. — люди, у которых не хватило ума поселиться на юге или которые, наоборот, перебрались оттуда. Дальше бульвар Акаций вливается в городской парк и становится аллеей Панорамного обзора, хотя деревья там настолько разрослись, что от обзора ничего не оста-

лось; теперь весь Бруэр можно увидеть только из отеля «Бельведер», ставшего местом разгула вандализма и террора, тогда как раньше там танцевали и целовались парочки. Не любят эти итальяшки, когда белая молодежь живет хорошо, — окружают машину, разбивают камнями ветровое стекло, сдирают с девчонок одежду, а над парнями измываются. Что за мир, как трудно в нем расти — особенно девчонке. Они с Рут раза два ходили в «Бельведер». Переходы через железнодорожное полотно сейчас, наверное, прогнили. Рут снимала туфли, потому что каблук тонул в гравии между железнодорожными путями, он помнит, как шагали впереди ее белые ноги горожанки, обнаженные словно бы специально для него. Люди тогда довольствовались куда меньшим. В парке танк, поставленный в память о второй мировой войне, нацелил свою пушку на теннисные корты, где то и дело срывают сетки. Сколько сил тратят эти ребята — просто чтобы разрушать. А он тоже был таким в их возрасте? Человеку хочется оставить в жизни какой-то след. Мир кажется вечным, и он держит тебя. Пропускай других.

Светофор, и Гарри, свернув налево, едет теперь мимо домов с остроконечными крышами и башенками — так строили в начале века, когда мужчины ходили в соломенных шляпах, мороженое крутили вручную и люди ездили на велосипедах, — а затем мимо торгового центра, где кинотеатр на четыре зала рекламирует свои фильмы высоко в небе, чтобы вандалы не могли сорвать буквы: ЧУЖАК ЛУНОПРОХОДЕЦ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА. Ни один из этих фильмов у Гарри нет охоты смотреть...

Музыка прекращается, пошли известия. Молодой женский голос читает их так гнусаво, точно женщина знает, что только отнимает у нас время. Горючие водители грузовиков. Продолжается расследование взрыва на Три-Майл-Айленде. Дата приземления «Скайэба» перенесена. У Сомосы тоже осложнения. Сообщение об отсрочке казни флоридского убийцы не подтверждается... Следующее преступление, о котором сообщают в новостях: балтиморского врача обвиняют в убийстве канадского гуся палкой для гольфа. Ответчик утверждает, гнусавит равнодушный женский голос, что он случайно попал в гуся мячом для гольфа. А потом, чтобы несчастная птица не мучилась, прикончил ее палкой. «Это убийство из сострадания или гнуснейшее преступление?» — спрашивает в заключение голос. Гарри громко хохочет — один, в машине. Надо запомнить это, чтобы рассказать завтра в клубе. Завтра день будет солнечным, заверяет женщина, переходя к сводке погоды...

Теперь он уже едет по шоссе 422, и оно вьется вокруг горы Джадж — справа крутой откос и вид на виадук, по которому когда-то с севера округа в город поступала вода, пересекая черную гладь реки Бегущей Лошади. Две бензозаправки отмечают начало городка Маунт-Джадж; вместо того чтобы следовать дальше по шоссе 422 в направлении Филадельфии, Гарри выезжает на своей «Короне» на Центральную улицу у гранитной баптистской церкви, затем вверх по Джексон-стрит и через три квартала сворачивает направо, на Джозеф-стрит. Если бы он проехал по Джексон-стрит еще два квартала, то очутился бы у своего бывшего дома, первого после пересечения с Кленовой улицей, но с тех пор как папа отдал богу душу, продержавшись без мамы лишь несколько лет (все делал сам — и во дворе, и убирал, и готовил, пока его не доконала эмфизема и он не засел в своем кресле, весь скрюченный, словно рука, прикрывшая от ветра пламя оплывающей свечи), Кролик редко здесь ездит: люди, которым они с Мим продали дом, выкрасили его в жуткий яблочно-зеленый цвет, а в большом переднем окне повесили ультрафиолетовую лампу для растений. Должно быть, они, как и эта бруэрская молодежь, считают, что для дощатого дома, пусть даже маленького, все сойдет и вообще они оказывают миру услугу, купив его. Гарри не понравился ни выговор парня, ни его стрижка, ни выходной костюм: понравилась правда, цена, которую ему заплатили, — пятьдесят восемь тысяч за дом, который стоил маме и папе сорок две тысячи в 1935 году. Даже при том, что Мим забрала свою половину с собой в Неваду, налог на прирост капитала вылился в солидную сумму — семь тысяч долларов, не считая налога на недвижимость и гонораров юристам, а они тотчас возникают, как гольфы: деньги переходят из рук в руки: и чтобы не платить налога на прирост капитала, он умолял Дженис купить дом для них двоих, может, в Пенн-Парке, в За

падном Бруэре, в пяти минутах от магазина. Так нет же, Дженнис считала, что они не имеют права бросать матушку: Спрингеры-де приютили их, когда у них не было крыши над головой, дом их сгорел, и брак распался, а Гарри поступил работать к папочке лишь незадолго до его смерти, и у Нельсона уже было столько потрясений в жизни, и в этой части Бруэра еще не скоро забудут, что дознание в связи с гибелью Джилл ведь продолжается, и полиция работает, и родители Джилл в Коннектикуте намереваются подавать в суд, да еще страховая компания никак не разберется с выплатой денег, потому что, видите ли, обстоятельства пожара подозрительны, так что бедняжке Пегги Фоснахт пришлось поклясться, что Гарри был с ней и потому никак не мог поджечь дом, — когда такое происходит, лучше затаиться, спрятаться за имя Спрингеров в этом большом оштукатуренном доме; и потекли недели, за ними месяцы, за месяцами годы, а молодые Энгстромы так и не переселились в собственный дом, а потом Фред неожиданно скончался, и Нельсон уехал в колледж, так что в доме стало куда свободнее и еще меньше было оснований куда-либо переезжать. Дом на Джозеф-стрит, 89 с его узким, вытянутым в ниточку газоном вокруг и раскидистыми деревьями всегда напоминает Гарри сказочный домик, где стены сложены из ванильной помадки, а крыша — из лакричных вафель «некко». Хотя снаружи дом Спрингеров кажется большим, на первом этаже не повернуться из-за всей этой мебели, доставшейся мамаше Спрингер в наследство от Кёрнеров, да и жалюзи там всегда приспущены; только на веранде, выходящей во двор, да в маленькой комнате наверху, которая в детстве служила спальней Дженнис, а потом в течение пяти лет здесь спал Нельсон, пока не уехал в Кент, Гарри дышится привольно и ничто не заслоняет свет.

Он сворачивает на аллею, посыпанную толченым медным купоросом, и ставит «Корону» в гараж рядом с темно-синим «Ньюпортом» марки «крайслер» 1974 года выпуска, который Фред подарил своей старушке ко дню рождения за год до смерти и в котором она ездит по городу, вцепившись обеими руками в руль с таким видом, точно под капотом у нее находится бомба. Дженнис всегда оставляет свой «Мустанг» со складным верхом у тротуара под кленами — чтобы сок с деревьев побыстрее разъел парусиновую крышу. А в теплую погоду и вовсе оставляет машину на целую ночь открытой, так что сиденья всегда липкие. Кролик: опускает дверь гаража и шагает по цементной дорожке через задний дворик — и внезапно, словно в туннеле включили фары, его пронзает сознание, что у него не один ребенок, а два.

Дженнис встречает его на кухне. Что-то стряслось. Она надела свежее платье в полоску цвета мяты, но волосы, все еще влажные после плавания в клубном бассейне, висят патлами. Чуть ли не каждый день она играет в теннис с какой-нибудь из приятельниц в их клубе «Летающий орел», недавно возникшем на нижних склонах соседней с горою Джадж лесистой горы с индейским названием Пемаквид, а потом остаток дня валяется у бассейна, сплетничая или играя в карты и постепенно накачиваясь коктейлями или водкой с тоником. Гарри приятно, что его жена может проводить столько времени в клубе. В свои сорок четыре года Дженнис расплнела в талии, но ноги у нее все еще крепкие и без вен. И загорелые. Она вообще смуглая и, хоть еще и не июль, выглядит уже как дикарка — ноги и руки у нее почти черные, точно она какая-нибудь полинезийка из старого фильма Джона Холла. К нижней губе ее прилип кусочек окиси цинка — это возбуждает, хоть ему и не нравится, когда она вот так упрямо сжимает рот — настоящая щель. Ее еще мокрые волосы зачесаны назад, обнажая высокий, неровно загоревший лоб — точно коричневая оберточная бумага, на которую попала вода, а потом высохла. По ее взбудораженному виду он понимает, что она снова поссорилась с матерью.

— Что еще случилось? — спрашивает он.

— Настоящая буря, — говорит Дженнис. — Она теперь сидит в своей комнате и говорит, чтоб мы ели без нее.

— Ничего, сойдет вниз. А что мы будем есть? Я что-то ничего не вижу на плите.

Часы, встроенные в плиту, показывают шесть тридцать две.

— Гарри! Клянусь богом, я собиралась поехать за покупками, как только вернусь и переоденусь после тенниса, а тут эта открытка, и с тех пор мы с мамой воюем. В любом случае сейчас лето, и тебе не следует много есть. Дорис Кауфман — я бы отдала что угодно, если бы она согласилась нам помогать,— так вот она говорит, что на обед выпивает один только стакан чая со льдом, даже среди зимы. Вот я и подумала, что, может, поедим супа и этот ростбиф, который я купила, а вы с мамой отказываетесь к нему даже притронуться,— надо же его когда-то съесть. Да и салат так разросся на огороде, что надо его есть, пока он весь в рост не вымахал.

Она разбила маленький огорожок во дворе за домом, где раньше висели качели Нельсона, наняла соседа, чтобы он взрыхлил землю своим «рототиллером», земля оказалась удивительно мягкой и пахучей под зимней коркой, и Дженис с превеликим пылом размеряла ее бечевкой и ровняла граблями в легкой тени набирающих почки деревьев, а теперь, когда настало лето и густая листва затеняет огород, в клубе начались состязания в теннис, и Дженис забросила свои грядки.

Все равно он не может проникнуться неприязнью к этой кареглазой женщине, которая, в мае тому будет уже двадцать три года, является его весьма посредственной женой. Он разбогател благодаря полученному ею наследству, и то, что она знает это, соединяет их, как постель,— этакая греющая душу тайна.

— Салат и копченая колбаса — самая моя любимая еда,— смирившись, говорит он.— Только дай я сначала выпью. Какие-то мерзавцы явились в магазин, как раз когда я собирался уезжать. Так скажи же, что это за открытка.

Он стоит у холодильника, смешивая джин с лимонным тоником: он знает, что эти тоники добавляют калории в алкоголь и способствуют прибавлению в весе, но считает, что зато ужин сегодня скудный, да потом можно ведь и пробежаться; тем временем Дженис идет через темную столовую в затхлую парадную гостиную, где всегда спущены жалюзи и царит недовольный дух мамыши Спрингер, и приносит открытку. На ней изображен белый заснеженный склон под ярко-голубым клинышком неба; две маленькие темные фигурки, согнувшись, прочерчивают на лыжах переплетающиеся «S». ПРИВЕТ ИЗ КОЛОРАДО — гласят красные буквы, нарисованные на небе, похожем на голубую кляксу. На обратной стороне знакомыми каракулями так тоненько, точно мальчишку давили изо всех сил, когда он учился писать, выведено:

Привет, мам, пап и ба!

Гора Джадж по сравнению со здешними просто хляк! Сейчас, правда, никакого снега, зато травки (шучу) полно. Учусь планеризму. С работой ничего не вышло: малый оказался прощельгой. Пенсильвания зовет. О'кей, если я приеду с Мелани? Она может подыскать себе работу и не будет в тягость. Целую.

Нельсон.

— Мелани? — спрашивает Гарри.

— Поэтому-то мы с мамой и схватились. Она не хочет, чтобы девчонка жила здесь.

— Эта та же, с которой он крутил две недели назад?

— Не уверена,— говорит Дженис.— Ту звали что-то вроде Сью, или Джо, или как-то так.

— А где она будет спать?

— Ну, либо в комнате для шитья, что окнами на улицу, либо в комнате Нельсона.

— Вместе с парнем?

— Что ты, Гарри, так удивляешься? Ему ведь уже двадцать два года. С каких это пор ты стал таким пуританином?

— Я вовсе не пуританин, я просто практически мыслю. Одно дело, когда эти ребята резвятся под открытым небом и занимаются планеризмом или чем там еще, и совсем другое, когда они вместе со своими травками и девками оседают в гнезде. Ты же знаешь, что второй этаж у нас довольно нелепый. Большущий холл, а стоит чихнуть или кашлянуть — и услышит весь дом; честно говоря, это же счастье, что, кроме нас да твоей мамыши, в доме никого больше нет. Помнишь, как у парня, пока он ходил в школу, радио орало до двух часов

ночи и он засыпал под него? Да и кровать у него односпальная — что же, нам покупать ему и этой Мелоди двухспальную?

— Мелани. Не знаю, она ведь может спать и на полу. У них у всех есть спальные мешки. Можно попытаться поселить ее в комнату для шитья, но я знаю, что она там жить не станет. Мы бы не стали. — Ее темные затуманенные глаза смотрят мимо него, сквозь призму времени. — Сколько сил мы тратили на то, чтоб ускользнуть в коридор или потискаться на заднем сиденье машины, и я считаю, мы могли бы избавить от этого наших детей.

— У нас всего один ребенок, а не дети, — холодно замечает он, чувствуя, как джин расширяет сосуды. У них были дети, но малышка Бекки умерла. По вине жены. И в том, что вся его жизнь зажата и обкорнана, тоже ее вина: куда бы он ни повернулся, всюду она вставала стеной на его пути к свободе — Послушай, — говорит он ей, — я многие годы пытался выбраться из этого треклятого унылого дома и я вовсе не хочу, чтобы этот никудышный наглый бездельник, которого мы вскормили, вернулся сюда и вынудил меня ужаться. Эти ребята воображают, что мир существует для них, а мне надоело быть всегда под рукой и ждать, когда меня попросят об услуге.

Дженис, укрытая, как броней, приобретенным в клубе загаром, смело принимает вызов.

— Он наш сын, Гарри, и мы не откажем в крове гостю, которую он с собой привезет, только потому, что это женщина. Будь это приятель Нельсона, ты бы так не кипятился, ты выходишь из себя потому, что это приятельница, приятельница Нельсона. Будь это твоя приятельница, ты бы не думал о том, что наверху слишком тесно. Это мой сын, и я хочу, чтобы он тут жил, если ему так хочется.

— Нет у меня никаких приятельниц, — возражает он. Звучит это жалко. Дженис что же, намекает, что у него должны быть приятельницы? Женщины, едва речь заходит о сексе, становятся сущими ведьмами. Ты подонок, если спишь с ними, и ты подонок, если не спишь. Широкими шагами Гарри направляется в столовую, так что стекла в старинном буфете звенят, и, подойдя к окрашенной в темный цвет лестнице напротив буфета, кричит: — Эй, Бесси, спускайтесь вниз! Я на вашей стороне!

Ответа нет, словно он взывал к господу богу, затем раздается скрип кровати, избавляемой от тяжести, и неспешные шаги по потолку, нехотя направляющиеся к лестнице. Миссис Спрингер спускается на своих больных, опухших ногах, изрекая по пути:

— Этот дом по закону мой, и эта девчонка ни одной ночи не проведет под крышей, которую отец Дженис сохранил для нас, работая целыми днями в поте лица своего.

Буфет снова сотрясается: в столовую вошла Дженис. Подражая матери, она произносит таким же твердым тоном:

— Мама, тебе никогда бы не сохранить эту огромную крышу над головой, если бы мы с Гарри не участвовали в расходах. Это большая жертва со стороны Гарри — чтобы у человека с его доходами не было собственного дома, и ты не имеешь права запретить Нельсону вернуться домой, когда он захочет, никакого права, мама.

Грузная старуха, тяжело вздыхая, добирается до площадки, от которой остается еще три ступеньки до пола столовой, и, приостановившись там, говорит со слезой в голосе:

— Я рада видеть Нелли, когда бы ему ни вздумалось приехать, я люблю этого мальчика всем сердцем, хоть он и вырос не таким, каким мы с дедушкой надеялись.

Дженис говорит, тем больше распаляясь, чем больше сетует старуха:

— Вечно ты ссылаешься на папочку, когда он сам уже ничего не может сказать, но пока он был жив, он был очень гостеприимным и терпеливо относился к Нельсону и его друзьям. Я помню, как Нельсон устроил шашлык на заднем дворе по поводу окончания школы, а у папочки уже был первый удар, я пошла наверх посмотреть, не раздражает ли его шум, и он сказал мне с этой своей кривой улыбочкой — геперь уже и в голосе появляются слезы: «Мое старое сердце радуется, когда я слышу молодые голоса».

Эта его типичная для торгашей улыбочка — мелькнет и погаснет. Кролик так и видит ее. Точно лезвие выскальзывает из складного ножа — только без щелчка.

— Шашлык на заднем дворе — одно дело, — произносит миссис Спрингер, с трудом спустившись в своих грязных голубых парусиновых туфлях с последних трех ступенек и стоя теперь вровень с дочерью. — А шлюха в кровати мальчика — другое.

Лихо высказалась старуха, думает Гарри и хохочет. Дженис и мамаша обе маленькие; точно две куклы-марионетки с головами, насаженными на палки равной длины, они поворачивают лица — со щелью вместо рта и одинаковыми карими глазами — и в ярости смотрят на него.

— Мы же не знаем, шлюха эта девчонка или нет, — оправдываясь, говорит Гарри. — Мы знаем только, что ее зовут Мелани, а не Сью.

— Ты же сказал, что ты на моей стороне, — говорит миссис Спрингер.

— Я на вашей стороне, ма, на вашей. Просто не понимаю, чего это парень мчится домой — мы же дали ему достаточно денег, чтобы он мог начать там жизнь, мне бы хотелось, чтобы он встал на ноги. Я не позволю, чтобы он лоботрясничал тут все лето.

— Ах, деньги, — говорит Дженис. — Ты только об этом и думаешь. А что ты сам делал — разве не лоботрясничал? Твой отец устроил тебя на одну работу, а мой отец — на другую, я бы не назвала это великим достижением с твоей стороны.

— Я вовсе не только об этом думаю, — не очень убежденно произносит он, имея в виду деньги, но тут в разговор встревает теща.

— Никакой свой дом Гарри не нужен, — обращаясь к дочери, изрекает мамаша Спрингер. Когда она волнуется и боится, что ее могут не понять, лицо ее раздувается и покрывается пятнами. — Слишком у него неприятные воспоминания о той поре, когда вы жили отдельно.

Дженис стоит на своем: она моложе, лучше держит себя в руках.

— Мама, ты ничего об этом не знаешь. Ты ничего не знаешь о жизни — точка. Ты сидишь дома и смотришь идиотские шоу по телевидению да болтаешь по телефону с приятельницами, которые еще не умерли, и после этого изволишь осуждать Гарри и меня. Ничего ты о нынешней жизни не знаешь. Ты понятия о ней не имеешь.

— Можно подумать, что, если ты играешь в загородном клубе с людьми, у которых завелись денежки, и каждый вечер являешься домой навеселе, ты очень поумнела, — парирует старуха, вцепившись в шишечку на балясине перил, словно этим она облегчит боль в лодыжках. — Ты являешься домой, — продолжает она, — и у тебя не хватает ума даже приготовить мужу приличный ужин, а еще хочешь вселить эту бродяжку в дом, где я занимаюсь хозяйством, хоть и еле держусь на ногах. Это ведь я буду здесь с ними, а ты будешь раскатывать в своей спортивной машине. Да и что скажут соседи? Что скажут прихожане нашей церкви?

— Мне на это плевать, даже если им не наплевать, а я убеждена, что им наплевать, — заявляет Дженис. — И вообще глупо приплетать сюда церковь. Последний священник в церкви святого Иоанна сбежал с миссис Эккенрот, а новый — голубой, я бы своего мальчика в жизни не пустила в его воскресную школу, будь у меня сын таких лет.

— В любом случае Нелли в воскресную школу не очень-то ходил, — напоминает Гарри. — Он говорил, что у него там разбалывалась голова. — Ему хочется разрядить атмосферу, пока страсти не разгорелись и обе женщины не разобидели друг друга. Он понимает, что надо с этим кончать, переезжать в собственный дом, пока еще есть порох в пороховнице. Снаружи камень, внутри деревянные балки на потолке и гостиная ниже уровня улицы — вот о чем он мечтает.

— Мелани, — тем временем произносит его теща, — что это за имя такое? Похоже, она цветная.

— Ох, мама, не вытаскивай на свет все свои предрассудки. Ты сидишь и хихикаешь над Джефферсонами, точно ты им родня, а Гарри и Чарли сбывают

все свои старые драндулеты черным, и если уж мы принимаем их деньги, то можем принять и все остальное.

«Неужели она действительно черная?» — спрашивает себя заинтригованный Гарри. Будут шоколадные младенцы. Вот Скитер пришел бы в восторг.

— Так или иначе,— продолжает Дженис, и вид у нее становится вдруг измученный,— никто не сказал, что эта девочка черная, мы знаем только, что она занимается планеризмом.

— А может. это другая?— спрашивает Гарри.

— Если она сюда явится, я уеду,— заявляет Бесси Спрингер.— У Грейс Штул полно свободного места — Ральф ведь умер, и она не раз говорила, что надо нам съехаться.

— Мама, это же нас унижает — то, что ты напрашиваешься к Грейс Штул.

— Совсе я не напрашиваюсь — эта мысль сама собой пришла нам обеим в голову. Но я, конечно, рассчитываю, что вы мне выплатите мою часть за дом, а стоимость домов здесь сильно поднялась с тех пор, как запретили сквозной проезд для грузовиков.

— Мама! Гарри ненавидит этот дом.

Он произносит, все еще надеясь утихомирить разбушевавшуюся стихию:

— Я, собственно, не ненавижу его, просто я считаю, что наверху...

— Гарри,— говорит Дженис,— почему бы тебе не пойти в огород и не нарвать салата, как мы говорили? Тогда мы сядем есть.

Охотно. Он охотно смоемся из этого дома, из тисков этих женщин, из накаленной атмосферы...

Кролик распахивает примитивную калиточку, которую он соорудил две весны тому назад, и вступает в огороженный прямоугольник, в тихое царство овощей... Мысли его вновь обращаются к покойникам, которых он знал и которых становится все больше, и к живым: к девочке (кто знает, может, и его дочери), которая приходила к нему сегодня — длинноногая, белотелая, в туфлях на высоком каблуке из пробки,— и к сыну (этот уж точно его сын — гены сказываются даже в том, как он испуганно скидывает на вас глаза), который пригрозил, что вернется. Кролик обрывает самые большие листья салата (но не слишком толстые у основания — те слишком жесткие и горькие) и ищет в своем сердце слова привета, привета и любви к сыну. Вместо этого он обнаруживает грудку опасений, такую же бесформенную и склизкую, как мокрое полотенце, преждевременно вытащенное из сушилки. Он обнаруживает сотни воспоминаний: иные — четкие, как фотоснимки, и ничего не значащие, запечатленные мозгом по каким-то своим соображениям, другие же — просто факты, он знает, что так было, но в мозгу они не запечатлелись. Жизнь наша растворяется в тумане прошлого еще до нашей смерти. Он менял малышу пеленки в унылой квартире в начале Уилбер-стрит; он жил с ним несколько безумных месяцев в зеленом одноэтажном доме под номером 26 по Виста-Креснт в Пенн-Вилласе, а потом здесь, на Джозеф-стрит, 89, он наблюдал, как его мальчик стал учеником старших классов с пробивающимися усиками, которые становились видны на свету, с индейской повязкой на нестриженных волосах, с набором пластинок, стоявших целое состояние, в этой солнечной комнате у Гарри над головой, где сейчас закрыты ставни. Он прожил с Нельсоном столько лет, что за это время дуб мог сгнить, и, однако же, эти сморщенные листья салата, которые Гарри берет и срывает,— они реальные, а сын — нет. Грустно...

В доме его встречает возглас Дженис:

— Куда ты столько нарвал — этого на шестерых хватит!

— А где мамаша?

— Она в передней, звонит Грейс Штул. Нет, право, она невозможна. Я, право, думаю, у нее начинается маразм. Гарри, что же нам делать?..

— Ну, лапочка, это ведь ее дом, а не наш и не Нельсона.

— Ох, да заткнись ты. Никакой от тебя помощи. — В ее карих, затуманенных джином глазах медленно загорается мысль. — Ты и не хочешь помочь,— объявляет она. — Тебе нравится видеть, как мы воюем.

Вечер проходит в атмосфере приевшегося треска телевизора и подавленных обид. «Жду, чтоб позвонил любимый...» Мамаша Спрингер, соблаговоллив разделить с ними за кухонным столом трапезу, состоящую из грибного супа в комьях, который разогрела Дженис, и холодного ростбифа, покрывшегося легкой испариной после чрезмерно долгого пребывания в холодильнике, а также всего этого салата, который он нарвал, удаляется наверх в свою комнату и так решительно захлопывает за собой дверь, что, наверно, звук донесся даже до того дома, где живут женщины с короткой стрижкой. Несколько машин в поисках «горячих штук» медленно проезжают по Джозеф-стрит — шуршанье их шин по мокрому асфальту вызывает у Гарри и Дженис такое ощущение. будто они сидят вдвоем на острове. К ужину они откупорили полугаллонную бутылку галло-шабли, и Дженис то и дело выскальзывает на кухню, чтобы подлить себе, так что к десяти часам ее начинает пошатывать, чего Гарри терпеть не может. Он прощает людям многие грехи, но терпеть не может отсутствия координации — это корень всех зол, так он считает, ибо без координации не может быть порядка, взаимосвязи. В таком состоянии Дженис ударяется о косяки, проходя в дверь, и ставит бокал на ручку дивана, так что из него на мохнатую серую обивку вылетает большой прозрачный язык жидкости. Они смотрят до конца «Войну звезд» и достаточно большой кусок «Ладьи любви», чтобы понять, что в это плавание отправляться не стоит. Когда она в очередной раз поднимается, чтобы наполнить свой бокал, он переключает телевизор на футбол — играет команда «Филлис»... В новостях показывают беспорядки из-за бензина в Левиттауне: летят пивные бутылки, заправленные бензином; бутылки взрываются — такое впечатление, что смотришь старые фильмы о войне во Вьетнаме, но происходит это в Левиттауне, совсем рядом, севернее Филадельфии. Показывают бастующего водителя грузовика, который держит плакат со словами ШЕЛЛ НА МЫЛО. А в другую сторону от Филадельфии — на Три-Майл-Айленде — обнаружилась утечка радиоактивных нейтронов. Погода завтра, похоже, будет хорошая, поскольку широкий фронт высокого давления продолжает двигаться из района Скалистых гор на восток, к Мэну. А теперь пора и спать.

Гарри ничуть не сомневается — он это знает по опыту уже столько лет, — что вечером после сражения с матушкой и чрезмерных возлияний Дженис потребует любви. Первые десять лет их брака ему было с ней трудноато — она многого не знала и даже не желала знать, а это как раз и занимало тогда мысли Кролика, но после ее романа с Чарли Ставросом... Гарри уже не на что было жаловаться. Собственно, жалобы по этой части были теперь у нее. Где-то в начале правления Картера его интерес к постели, который до тех пор был неизменным, начал убывать, а теперь у него появилась настоящая неуверенность в себе. Он винит в этом деньги — то, что он наконец стал жить в достатке и довольстве, а кроме того деньги, лежащие без движения в банке, все время уменьшаются, и он постоянно думает, как тут быть, да и многое другое крутится в мыслях: «Филлисы», покойники и гольф. Он страстно увлекся этой игрой, с тех пор как вступил в «Летающий орел», однако мастерство его не улучшается — во всяком случае, четкость и сила, с какими сокращаются его мускулы, радуют не больше, чем в те первые разы, когда он удачно отбивал мяч. Вот так и в жизни — ее течение нельзя форсировать, а движущий ею принцип навечно не определить...

Стукнувшись о косяк, Дженис голая возвращается из ванной в спальню. И голая плюхается на кровать, где он пытается читать июльский номер «К сведению потребителей», и вливается поцелуем в его рот. Он чувствует вкус галло, болонской копченой колбасы и зубной пасты, в то время как мысль его все еще пытается разобраться в достоинствах и недостатках великого множества консервных ножей, описанных на пяти страницах убористого шрифта... В ярости он швыряет журнал в стену, за которой спит мамаша Спрингер. И уже осторожно снимает очки для чтения, кладет их в ящик ночного столика и выключает лампу.

Теперь докучливой плоти его супруги придется состязаться с призывом ко сну, который несет с собой темнота. День-то ведь был длинный. Проснулся Гарри в шесть тридцать и в семь был уже на ногах. Веки у него стали слишком тонкими и не защищают от утреннего света. Даже сейчас, хотя еще нет и полуночи,

он чувствует приближение завтрашней зари. Он снова вспоминает голубоглазое видение, в котором, казалось, слились его гены и гены Рут...

Дженис вдруг спрашивает:

— О чем ты думаешь?

— О работе,— жмет он.— Меня беспокоит Чарли. Он так о себе печется, что трудно даже попросить его что-нибудь сделать. Теперь мне приходится самому заниматься большинством покупателей.

— А почему бы и нет? Ты положил себе жалованье в два раза больше, чем ему, а он прослужил там всю жизнь.

— Угу, но женат-то на дочке босса я. Мог и он жениться, да вот не женился.

— Мы не стремились к браку,— говорит Дженис.

— А к чему вы стремились?

— Не важно.

Он рассеянно гладит ее длинные волосы, лежащие у него на животе,— такие мягкие после всего этого плавания.

— Сегодня к нам заглянула пара ребятишек,— начинает он рассказывать и умолкает... Ее убаюкала любовь, сморило вино. Какое счастье, что существует хмель.— Дженис,— шепотом спрашивает он,— ты не спишь?— Его не огорчает то, что она вот так его бросила: когда рядом с тобой лежит бодрствующий человек, это накладывает определенную ответственность, ставит препятствие на пути твоих мыслей...

Дженис храпит — хриплый вздох, словно она под водой на большой глубине и нос ее там превратился в подобие арфы. Ее необъятные, как ночь, бедра вдруг заполняют всю комнату, где свет от уличных фонарей разрезают лопасти вентилятора под потолком. Он решает приласкать жену. В конце концов, это ведь она разбредила его. Так кто же говорит, что он выдыхается?

— По мячу-то я бью о'кей,— изрекает на другой день Кролик,— но будь я проклят, если мне удастся выиграть.— Он сидит в зеленых плавках за белым столиком в «Летащем орле» со своими партнерами в этом раунде и их женами. Ну а у Бадди Инглфингера, правда, не жена, а приятельница. Когда-то у Бадди тоже была жена, но она ушла от него к линейному телефонному монтеру, работающему близ Западного Честера. Как это могло произойти, более или менее понятно, поскольку все приятельницы Бадди несомненно одна хуже другой.

— А ты когда-нибудь выигрывал?— говорит ему Ронни Гаррисон так громко, что в плавательном бассейне все поворачивают головы.

Кролик знает Ронни уже тридцать лет и никогда не любил его — этакий хвостун из тех, кто в раздевалке вечно перед всеми распускал хвост, угощая молодых игроков семечками, а на баскетбольной площадке лез напролом, точно медведь, весь мокрый, усиленно работая локтями и пытаясь восполнить мускульной силой отсутствие стиля. И однако, когда Гарри и Дженис вступили в «Летащий орел», кого они прежде всего там увидели — старину Ронни с вполне приличным положением в Скулкиллской страховой компании и славной, вполне пристойной женой, которая уже многие годы преподает в третьем классе и, должно быть, очень хороша в постели, ибо в свое время Ронни в раздевалке только об этом и говорил — он буквально заклинен на этой теме. Его курчавые волосы цвета меди, начавшие редеть сразу после средней школы, сейчас основательно вытерлись на макушке, а годы и респектабельность лишили его щеки бывшего румянца; теперь кожа на висках и у глаз стала у него тонкая, как бумага, и голубоватая, и Кролик что-то не помнит, чтобы у Ронни были белесые ресницы. Кролик любит играть с ним в гольф, потому что ему нравится одерживать над Ронни победу, что не так уж трудно...

— А я слышала, что Гарри лихо забывает,— тихо произносит жена Ронни Тельма.

У нее узкое неприметное лицо, и она все еще носит этакий чудной допотопный купальный костюм с коротенькой плиссированной юбочкой. Она часто набрасывает на плечи или на щиколотки полотенце, словно стремясь защитить кожу от солнца; вся она за исключением обожженного носа какая-то землистая. А в волнистых тусклых волосах попадаются седые пряди. Глядя на нее, Кролик

всякий раз задается вопросом, как это она умудряется ублажать Гаррисона. Он чувствует, что она неглупа, но ум в женщинах никогда особенно не привлекал его.

— В пятьдесят первом я установил рекорд по забитым мячам в лиге «Б» нашего округа,— говорит он, обороняясь, и, обороняясь дальше, добавляет:— Не шутки.

— Твой рекорд уже давно перекрыт,— считает нужным пояснить Ронни,— Черными.

— Все рекорды перекрываются,— вставляет Уэбб Мэркетт, стремясь внести примирение... Уэбб — самый старший из их постоянной четверки, ему за пятьдесят — сухощавый, задумчивый господин, подрядчик, занимающийся наведением крыш и обшивкой домов, с убаюкивающим низким голосом, длинным лицом, исполосованным продольными складками, и карими глазами, почти скрытыми мохнатыми желтыми бровями. К тому же он самый заядлый из игроков в гольф. Непостоянство его проявляется лишь в том, что у него третья жена: зовут ее Синди, это пухленькая обаяшка с загорелой спиной, и ее еще вполне можно принять за школьницу, хотя у них уже двое детишек, мальчик и девочка пяти и трех лет. Ее мокрые стриженные волосы лежат все в одну сторону, будто она только что вынырнула из воды после затяжного прыжка, а когда она улыбается, ее зубы выглядят неестественно ровными и белыми на загорелом лице с розовыми пятнами на круглых щечках там, где слезает кожа.

— Это оттого, что люди стали лучше питаться, верно? — пищит девчонка Бадди Инглфингера, и голосок у нее такой тоненький и детский, никак не вяжущийся с ее изнуренным лицом. Она что-то вроде специалиста по культуре тела, хотя ее собственные формы оставляют желать лучшего. Девчонки, которых приводит с собой Бадди, являются хорошим уроком для Гарри не связываться с одиночками — маленькие секретарши и метрдотели с жестким взглядом; бывшие хиппи, похожие на ведьм, с сединой в «хвосте» и плоской грудью, увешанной индейскими украшениями; располневшие помощницы начальников отделов кадров в одном из этих мрачных новых зданий без окон, возникших в квартале за Уайзер-стрит, где они весь день только и делают что вытаскивают из компьютера напечатанные листы и бросают их в корзинку для мусора. Женщины, замаринованные в четырех стенах, с белыми, как мел, ногами и свернутыми на сторону лицами, словно их втолкнули в третий десяток жизни ударом сбоку. Они почему-то напоминают Гарри пиратов, отчаянных и изуверченных, только без повязки на глазу. Как же, черт подери, эту зовут? Ее ведь представляли меньше полтора часа назад, правда когда все еще были поглощены гольфом.

Бадди привел ее с собой, поэтому он не может не поддержать ее грошового замечания, а то молчание становится уж слишком мучительным. И он заполняет паузу:

— Я так думаю, что дело главным образом в тренировке. Даже второстепенные тренеры знают такие технические приемы, какие в старое время вырабатывали лишь выдающиеся атлеты, понимаете ли, путем практики. А теперь самый выдающийся уже не такой и выдающийся, потому что за ним стоит с десяток других. Или за ней... — На Бадди очки в стальной оправе, какие носили лишь тоари у станка, чтобы стружка не попадала в глаза. Бадди имеет какое-то отношение к электронике, у него и ум такой — слишком точный...

— Это же поразительно,— влезает снова девчонка Бадди, считая себя экспертом по этой части, — на что способно человеческое тело. Любая из нас, женщин, находящихся здесь, могла бы выйти сейчас на улицу и, если нужно, поднять машину за передний бампер. Скажем, если бы под колесами оказался наш ребенок. О таких случаях все время пишут в газетах, и в больнице, где я проходила практику, доктора могли тут же дать вам цифру на бумаге. Мы и наполовину не используем нашу мускульную силу.

— Слышишь, Синди? — подтрунивает Уэбб Мэркетт. — Все бензokolонки закрыты, так что давай носи «оди» домой. Ну а если серьезно, я всегда удивлялся людям, которые знают дюжину языков. Если считать, что мозг — это компьютер, представляете себе, сколько нужно для этого клеток серого вещества! Правда, судя по всему, там их много больше.

Его молодая жена молча поднимает руки, чтобы выжать воду из волос, но волосы для этого слишком коротки. При этом груди ее в мокром черном маленьком лифчике слегка приподнимаются, и четко обрисовываются их очертания. На ногах у нее лежит полотенце, что избавляет Гарри от необходимости разглядывать ее бедра... Джорджина? Джеральдина? Тем временем девчонка продолжает своим звонким, чересчур возбужденным голоском:

— А как эти йоги поднимают себя над землей или погружаются на тысячи лет в прошлое... И ничего тут нет сверхъестественного: в бога я не верю — слишком уж много на земле страданий, религия просто использует то, что заложено в человеке, ничего не развивая. Всем вам следовало бы прочитать тибетскую Книгу мертвых.

— В самом деле? — сухо произносит Тельма Гаррисон.

Теперь уже молчание прочно овладевает их компанией. От зеленоватой воды бассейна исходит призрачный неприятный отсвет, ложащийся на их лица, и слышно, как судорожно дышит плывущий ребенок. Затем Уэбб, будучи человеком добрым, произносит:

— Обратимся теперь к тому, что происходит у нас дома, а мы недавно пережили страшноватый момент. Я тут купил одну из этих камер, «полароид», новинку, чтобы занять детишек, и она нас всех буквально заворожила, это что-то сверхъестественное, когда видишь, как у тебя на глазах проявляется фотография...

— В «К сведению потребителей» что-то было на этот счет, — говорит Гарри.

— Это просто чудо, — сообщает им Синди. — Уэбб заводится с пол-оборота. — Когда она склается, обнаруживаются по-детски здоровые десны и зубы у нее кажутся будто подпиленными.

— Почему у меня пусто в стакане? — спрашивает Дженис.

— Проигравшие угощают! — буквально выкрикивает Гарри. Несколько лет тому назад так заорать можно было бы только в мужской компании, но теперь оба пола достаточно насмотрелись рекламы пива по телевидению и знают, что именно так — удачно и шумно — надо вести себя по уик-эндам в барах, у жаровен с шашлыком, на пляжах, на палубах и на склонах гор. — Выигравшие уже заплатили за первый раунд, — без всякой нужды добавляет он, точно находится среди чужих или беспамятных, а тем временем несколько рук уже машут, подзывая официантку...

— Вы верите в астрологию? — внезапно спрашивает Синди Мэркетт девчонку Бадди. Может, она лесбиянка, поэтому Гарри не в силах вспомнить ее имя. Оно какое-то мягкое, округлое — не Гертруда. — Не знаю, — говорит Синди; расширенные удивлением глаза ее кажутся белыми на загорелом лице. — Я, правда, иногда просматриваю гороскоп в газетах. Некоторые вещи там кажутся очень точными — но нет ли тут какого-то трюка?

— Это не трюк, это древняя наука. Самая древняя какая есть.

Это стремление вывести Синди из безмятежности нарушает покой Гарри, и, повернувшись к Уэббу, он спрашивает, смотрел ли тот вчера вечером игру «Филлисов».

— Эта команда сдохла, — вставляет Ронни Гаррисон.

Бадди тут же вылезает со статистикой: из последних тридцати четырех игр они проиграли двадцать три.

— Я воспитана в католической вере, — говорит Синди девчонке Бадди так тихо, что Гарри приходится напрячь слух, чтобы расслышать. — И священники говорили нам, что это все дьявольские ухищрения. — При этом она теребит маленький крестик, который висит у нее на цепочке, такой тоненькой, что на загорелой коже она даже не оставила следа.

— Отсутствие Бовы здорово их подкузьмило, — с умным видом произносит Уэбб и, машинально приподняв, точно верблюд, дряблую верхнюю губу, так что все лицо пошло складками, сует сигарету в рот...

Дженис спрашивает Тельму, где она купила этот прелестный купальный костюм. Она видимо, пьяна.

— У «Кролла» таких больше просто не бывает, — слышит Кролик ее голос.

На самой Дженис старомодный костюм из лифчика и трусов, на плечи наброшена белая кофточка, которая была куплена к теннисному костюму. Дженис держит в руке сигарету, и Уэбб Мэркетт, нагнувшись, подносит к ней свою зажигалку из бирюзы. «А она совсем не дурна», — думает Гарри... По сравнению с болезненно-бледным и словно бескостным телом Тельмы у Дженис тело энергичное, с четкими линиями, кожа на округлых коленях натягивается, когда она наклоняется вперед, к огоньку. Делает это она с известной привычной грацией. Уэбб с уважением относится к ней — как-никак дочь Фреда Спрингера.

Интересно, думает Гарри, а где там, в деревне, находится сейчас его собственная дочь? Готовит ужин, накормив скот, или занимается чем-то еще? Воскресенья в глуши не так уж отличаются от будней: у животных ведь нет выходных. А утром она ходила в церковь? Рут этим не занималась. Он вообще не может себе представить Рут в деревне. Для него она всегда ассоциировалась с городом, с этими крепкими красными кирпичными домами Бруэра, которые вбирают в себя всех, кто сюда приезжает. Появились напитки. Радостные вскрики, совсем как в рекламе пива, и Синди Мэркетт решает, что надо сделать еще заплыв, чтобы заслужить выпивку. Когда она встает, ляжки у нее сзади все в квадратиках, а черный купальный костюм, еще мокрый, двумя полукруглыми прилип к ягодицам под двумя ямочками, симметрично расположенными, точно маленькие водовороты, на ее пышных бедрах, — от этого зрелища у Гарри все плывет перед глазами. В свое время он часто ходил с Рут в общественный бассейн в Западном Бруэре. День памяти погибших воинов⁶. Запах травы, примятой влажным полотенцем, расстеленным в тени деревьев, подальше от бассейна, выложенного кафелем. А теперь сидишь в проволочных креслах, покрытых эмалированной краской, которые, если у тебя нет подушки, отпечатываются, точно вафли, на твоих ляжках. Гора словно бы придвигается. Красное солнце за пеленой городских испарений золотит верхушки деревьев — точно грива колыхнется на хребте горы Пемаквид, а тени между деревьями в лесу, что толстым ковром покрывает все пространство от гребня горы до поля для гольфа, становятся все более глубокими. Подалекому шоссе 111 все еще ползут, словно букашки, куда-то люди. Пока он смотрит в эти дали, Синди плашмя глужается в воду, и несколько брызг попадает на голую грудь Гарри, которая кажется ему сейчас такой же широкой, как эта купающаяся в лучах солнца гора. Он мысленно составляет фразу: «Вчера, возвращаясь домой, я слышал по радио забавную историю»...

— ...мне бы ваши красивые ноги, — говорит эта уродка, жена Ронни.

— О, зато вы сохранили талию... А я, по словам Гарри, стала как корнешон. — И захихикала. Сначала захихикала, потом качнулась.

— Похоже, он спит.

Гарри открывает глаза и объявляет:

— Вчера, возвращаясь домой, я слышал по радио забавную историю.

— Выгнать Озарка, — громко твердит свое Ронни. — Он потерял всякое уважение, он действует деморализующе. Пока они не выкинут Озарка и не заметят его Роузом. «Филлисам» крышка.

— Я жду рассказа, — говорит Гарри эта жуткая Баддина девчонка, так что он вынужден продолжать.

— О, просто какого-то доктора из Балтимора, по словам радиокомментатора, потащили в суд за то, что он на поле для гольфа убил палкой гуся.

— На поле для гольфа палкой гуся, — хихикает Дженис. Когда-нибудь он с величайшим удовольствием возьмет этакий большущий булыжник и проломит ей башку.

— Где ты это слышал, Гарри? — спрашивает Уэбб Мэркетт; он только что подошел к ним, но делает вид, будто внимательно слушает — вежливо склонил набок свою голову огурцом и прикрыл один глаз от дыма сигареты.

— Вчера по радио, когда ехал домой, — отвечает Гарри, уже жалея, что начал рассказывать.

— Кстати, про вчера, — не выдержав, прерывает его Бадди. — Я видел очередь за бензином на пять кварталов... Там даже выставили регулировщиков и всякое такое. Я глазам своим не мог поверить, а машины все подкатывали и подкатывали. Это надо же — очередь на целых пять кварталов.

⁶ 30 мая.

— Один наш клиент,— говорит Ронни,— крупный поставщик отопительного масла, говорит, что у них полно сырой нефти — просто они решили поприжать производство бензина и выпустить больше отопительного масла. Нефть-сырец. По их планам зима уже наступила. Я спросил этого малого, что же будет с обычным автомобилистом, а он на меня так странно посмотрел и сказал: «Пусть сидит и ковыряет в носу, вместо того чтобы каждый уик-энд мчаться на побережье в Джерси».

— Ронни, Гарри пытается нам что-то рассказать,— вмешалась Тельма.

— Едва ли это так уж интересно,— говорит Кролик, хотя ему и приятно побыть в центре внимания, подрастянуть комедию. А гора вся залита солнцем. И второй стакан джина растекается по его телу, поднимая настроение. Ему нравится эта компания, его компания, и компании за другими столиками, кто-то может прийти оттуда к ним и пообщаться — все ведь знают всех, — и детишки в бассейне, которых непременно кто-нибудь спас бы, даже если бы этой шоколадной девчонки-спасателя, надувающей пузыри из жевательной резинки, и не было тут; нравится ему и то, что все здесь в кредит — клуб требует свое лишь десятого числа каждого месяца.

Теперь все принимают его упрощать.

— Да ну же, Гарри, не вредничайте,— говорит Баддина девчонка. Она уже называет его по имени, значит, придется и ему выяснить, как ее зовут. Гретхен.

Джинджер. Может, это и не прыщи у нее на ногах, а аллергическая сыпь от шоколада или от ядовитых чернильных орешков. Вид у нее аллергия — щеки втянуты, точно ей трудно дышать. Недостатки — их всегда несколько.

— Так вот этого доктора,— снисходит Гарри и продолжает рассказ,— потащили в суд за то, что он на поле для гольфа убил палкой гуся.

— Какой палкой?— спрашивает Ронни.

— Я знал, что ты задашь этот вопрос,— говорит Гарри.— А не ты, так какой-нибудь другой остолоп...

— Мы слушаем тебя, Гарри,— говорит Уэбб Мэркетт, закуривая новую сигарету, чтобы подчеркнуть свое долготерпение.

Джинджер ушла за мячами. А Тельма Гаррисон наставила на него свои огромные темные солнечные очки, и это его отвлекает.

— Так вот доктор оправдывался якобы тем, что тяжело ранил гуся мячом и потом из милосердия вынужден был его прикончить. Затем диктор — и не диктор, а дикторша — в тот момент мне это показалось забавным ..

— Подожди минуточку, лапочка, я что-то не понимаю,— говорит Дженис.— Ты хочешь сказать, что тот тип бросил мяч в гуся?

— О господи,— вырывается у Гарри,— до чего же я жалею, что вообще это затеял! Поехали домой.

— Нет, расскажи,— настаивает Дженис, запаниковав.

— Никакой мяч он в гуся не бросал, просто гусь оказался на поле, по всей вероятности, около пруда, и малый маханул по мячу или что-то в этом роде...

Безымянная девчонка Бадди обводит всех взглядом и своим деланно детским голоском спрашивает:

— А гусям разве разрешается ходить по полю для гольфа? То есть, может, я задаю глупый вопрос, но Бадди — первый игрок в гольф, с которым я встречаюсь...

— Вы называете его игроком в гольф?— прерывает ее Ронни.

— А я читал где-то,— сообщает им Бадди,— что на Аляске по одному полю для гольфа бродили олени. А может, это было в Швеции.

— А я слышал, что в Мэне по полям для гольфа ходят лоси,— говорит Уэбб Мэркетт. Клонящееся к закату солнце зажигает искорки в его мохнатых бровях. Вид у него грустный. Может, это тоже от выпитого, так как он продолжает: — Интересно, почему мы ни разу не слышали ни об одном шведском игроке в гольф? Вот про Бьёрна Борга слышим и про этого лыжника Стенмарка.

Кролик решает тут встрять:

— Вот дикторша и говорит: «Так он прикончил гуся из сострадания или совершил гнуснейшее убийство?»

— Ого!— вырывается у кого-то.

Синди, вся в сверкающих каплях воды, возвращается из бассейна. Остановившись перед ними, она одергивает слегка съехавший набок купальный костюм и краснеет, видя, что они смеются.

— Вы говорите обо мне? — Маленький крестик сверкает под впадинкой у ее горла. Ноги на плитках, устилающих края бассейна, выглядят бледными. Странно, что ступни у нее не загорели.

Уэбб сбоку обхватывает жену за широкие бедра.

— Нет, лапочка, Гарри рассказывал нам сказку про белого гуся.

— Расскажи мне, Гарри.

— Не сейчас. Она никому не понравилась. Уэбб тебе расскажет.

Крошка Сандра в зеленой с белым форме подходит к ним:

— Миссис Энгстром!

Гарри чуть не хватил кондрашка — точно из могилы вытащили его мать.

— Да? — деловито откликается Дженис.

— Ваща матушка на проводе.

— Ой боже, что там еще? — Дженис поднимается, ее слегка бросает в сторону, но она берет себя в руки. Снимает полотенце со спинки своего кресла и опоясывается им, чтобы не идти в клуб мимо десятков людей в одном купальном костюме — Что там могло случиться, как ты думаешь? — спрашивает она Гарри.

Он пожимает плечами.

— Может, она хочет узнать, какая копченая колбаса будет у нас на ужин.

Он таки уколол ее — и при всех. Эта жуткая девка, приятельница Бадди, хихикает. Гарри становится стыдно — тем более когда он вспоминает, как Уэбб обнял Синди за бедра. Эта компания, дай ей волю, способна разрушить любой брак. А он не хочет выглядеть глупо-сентиментальным.

Дженис вызывающе бросает ему:

— Золотко, ты не мог бы заказать мне еще одну водку с тоником, пока я хожу?

— Нет. — И, смягчаясь, добавляет: — Я подумаю.

Но на компанию уже повеяло холодком.

Мэркетты посоветались и решили, что пора ехать: с их ребенком осталась тринадцатилетняя соседская девочка. То же солнце, что зажигало искорки в бровях Уэбба, высвечивает сейчас крошечные волоски, вставшие дыбом на покрытых гусиной кожей ляжках Синди. Не трудясь прикрыться полотенцем, она не спеша направляется в дамскую раздевалку — бледные ноги оставляют на серых плитках черные следы. Стойте, стойте, сегодня же воскресенье, уик-энд еще не кончился, в стакане еще есть золотистая влага. На прозрачной крышке стола среди кресел из проволоки стаканы оставили призрачный циферблат из кружков, который высветило сейчас закатное солнце. Что, интересно, понадобилось матери Дженис? Она звонит из сумрачного старого мира, который так хорошо знаком Гарри, но который ему хочется похоронить, мира, где люди ходят всегда одетые, где не проветриваются гостиные, где стоят ведра с углем и в узких домах зловредно спущены жалюзи, где тяжкий труд фермеров и заводских рабочих словно две большие тучи придавил землю и город. А здесь чистеньким детишкам, дрожащим от резкого перехода из воды в более разреженную атмосферу, мамы протягивают полотенца. Полотенце Синди висит на ее пустом кресле. Вот статья бы полотенцем Синди и чтоб она села на тебя — при этой мысли у Гарри персыхает во рту!.. Рай! Он поднимает взгляд и видит, что косматая гора еще больше закрыла солнце, хотя кресла по-прежнему отбрасывают длинные тени, претвращая землю в ромбовидную шахматную доску. Бадди Инглфингер говорит Уэббу Мэркетту тихо, злобно, без малейшей иронии:

— Ты себя как-нибудь спроси, кому выгодна инфляция. Она выгодна людям, которые увязли в долгах, неудачникам нашего общества. Выгодна правительству, потому что оно получает все больше налогами, не повышая их. А кому это невыгодно? Человеку с деньгами в кармане, человеку, который платит по своим счетам. Вот почему, — тут голос Бадди опускается до заговорщического шепота. — этот человек исчезает с лица земли, как индейцы. Ну зачем мне работать, — спрашивает он Уэбба, — если у меня из кармана выкачивают деньги для тех, кто ничего не делает?

А Гарри мысленно бредет по хребту горы, откуда вверх, словно пар, поднимаются облака. Такое впечатление, что гора Пемаквид движется, рассекая летнее небо и солнце, хотя бассейн теперь уже весь в тени. Тельма весело объявляет приятельнице Бадди:

— Астрология, гадание по руке, психиатрия — я за все это. За все, что помогает жить.

А Гарри думает о своих родителях. Надо было им вступить в какой-нибудь клуб. А то жили как на войне: мама сражалась с соседками, папа и его профсоюз ненавидели владельцев типографии, где он всю жизнь гнул спину, оба презирали тех немногих родственников, которые пытались поддерживать с ними связь, все четверо — папа, и мама, и Хасси, и Мим — забаррикадировались от всего света и винули каждого, кто пытался из этой крепости протянуть руку в поисках друга. Никому не доверяй. Энди Меллон не доверяет, я тоже. Милый папка! Так он и не вылез из нужды. А Кролик наслаждается, он вознесся над этим старым, сохранившимся лишь в воспоминаниях миром — разбогатевший, успокоившийся.

Бадди продолжает жалобно нудить:

— Денежки из одного кармана перекочевывают в другой — они же не иссякают. А заправили на этом богатеют.

Со скрежетом отодвигается кресло, и Кролик чувствует, что это встал Уэбб. Голос его звучит откуда-то сверху весомо, иронически, примирительно:

— Тебе остается одно — самому стать заправилкой.

— Безусловно, — говорит Бадди, понимая, что от него хотят отделаться.

Крошечная точка — птица, возможно, сказочный орел, впрочем, нет, судя по тому, как неподвижны его крылья, это канюк, — резвится среди золотистых резцов горы: то парит над ними, будто крапинка на цветной пленке «кодака», то ринется вниз и исчезнет из виду, а мимо плывут, плывут облака с голубоватой подбрюшиной. Еще одно кресло царапнуло по плиткам. Резкий возглас: «Гарри!» Голос Дженис.

Он наконец отрывает взгляд от этого великолепия, и, пока глаза его привыкают к окружающему, во лбу возникает боль, легкая артериальная боль, возможно, именно с такой несущественной, необъяснимой боли начинается путь человека к смерти — у одних он медленный, будто их кошка лапкой задела, у других стремительный, словно их ястреб унес. Рак, сердечно-сосудистые заболевания.

— Так что же понадобилось Бесси?

Дженис говорит задыхаясь, слегка ошарашенно:

— Она сказала, Нельсон приехал. С этой девницей.

— С Мелани, — говорит Гарри, довольный, что вспомнил. А вспомнив это имя, он одновременно вспоминает и как зовут девчонку Бадди, Джоанна.

— Приятно было с вами познакомиться, Джоанна, — говорит он, прощаясь, пожимая ей руку. Производя хорошее впечатление. Оставляя свою тень.

Гарри везет их домой в «Мустанге» Дженис с опущенным верхом; воздушные струи обволакивают их, создавая иллюзию сумасшедшей и опасной скорости. Ветер срывает слова с губ.

— Что же мы, черт бы его подрал, будем делать с парнем? — спрашивает Гарри у Дженис.

— Что ты имеешь в виду? — Когда ветер откидывает назад ее темные волосы, Дженис кажется совсем другой. Глаза сощурены, рот приоткрыт, рука придерживает возле уха шелковую косынку, чтобы не улетела. Прямо Элизабет Тэйлор из фильма «Место под солнцем». Даже крошечные морщинки в уголках глаз и те придают ей шику. На Дженис теннисный костюм и белая кашемировая кофточка.

— Я имею в виду, собирается он поступать на работу или что он намерен делать?

— Послушай, Гарри, он же еще учится.

— По его поведению этого не скажешь. — Он чувствует, что надо кричать. — Мне вот так не повезло — я не ходил в колледж, а ребята, которые ходили, не катались в Колорадо на планерах или черт его знает на чем, пока у отца не кончатся денежки.

— Ты не знаешь, чем они занимались. Да и вообще времена сейчас другие. Так что будь помягче с Нельсоном. После того, что ему пришлось из-за тебя пережить...

— Не только из-за меня...

— После того, что ему пришлось пережить, ты должен быть благодарен, что ему захотелось приехать домой. Вообще.

— Ну не знаю.

— Не знаешь — что?

— Не по душе мне это. Слишком я был в последнее время счастлив.

— Не сходи с ума, — говорит Дженис.

Это означает, что ей это не грозит. Однако их всегда роднило то, что она поддается смятению с такой же быстротой, как и он. Ветер со свистом несется мимо, и в душе Гарри от испуга возникает любовь к чему-то безымянному. К ней? К своей жизни? К миру? Когда едешь от горы Пемаквид, городок Маунт-Джадж предстает перед тобой совсем иным, чем когда едешь домой из Бруэра: бывшая картонная фабрика — вытянутый брусок с узкими окнами — внизу, у высохшего водопада, загнанного под землю, чтобы давать электричество, и новая реклама «Эксон» и «Мобил», высоко-высоко вознесенная на алюминиевых столбах в небо над шоссе 422, так что кажется, будто это антенны корабля, прилетевшего из космоса. Солнце, чьи лучи тянутся сейчас над долиной, зажигает оранжевым светом стеллажи городских окон, и таким внушительным кажется отсюда шпиль лютеранской церкви из песчаника, куда Кролик ходил по воскресеньям в школу к сварливому старому Фрицу Круппенбаху, который внушал им на уроках, что жизнь хороша для тех, кто верит, а для неверующих нет ни спасения, ни мира. Никакого мира... Притормаживая машину, Гарри ощущает потребность излить Дженис душу:

— Я вчера вечером начал тебе рассказывать про молодую пару, которая заходила к нам в магазин, так девочка была очень похожа на Рут. И по летам вполне подходит. Постройнее и говорит иначе, но есть в ней что-то, сам не знаю что.

— Это все твое воображение. Ты узнал, как ее зовут?

— Я спросил, но она не сказала. Схитрила. И при этом кокетничала, хотя ни к чему не придерешься.

— И ты считаешь, что это была твоя дочь?

По тону Дженис он понимает, что не следовало ему изливать ей душу.

— Я ведь так не сказал.

— А что же ты сказал? Сообщил мне, что все еще думаешь об этой бабе, с которой ты спал двадцать лет тому назад, и что у вас, оказывается, есть прелестная крошка.

Он кидает на Дженис взгляд и видит, что сходства с Элизабет Тэйлор уже нет и в помине: губы жестко сжаты и сморщились, точно спеклись от злости. Ида Лупино. Куда они деваются, все эти знаменитые голливудские стервы? В городе на перекрестке, где Джексон-стрит вливается в Центральную, многие годы стоял просто указатель «стоп», но в прошлом году, после того как сын мэра разбил свою машину, налетев на этот указатель, здесь поставили светофор, который почти все время мигает — желтый в одну сторону, красный в другую. Гарри берет за тормоз и делает левый поворот. Дженис на повороте приваливается к нему, так что ее рот оказывается рядом с его ухом.

— Ты просто ненормальный! — кричит она. — Вечно ты хочешь того, чего у тебя нет, вместо того чтобы радоваться тому, что есть. Весь так и расплылся при одной мысли об этой несуществующей доченьке, в то время как твой реальный сын от собственной жены ждет тебя сейчас дома, а ты говоришь, что хотел бы, чтобы он сидел в Колорадо.

— Я действительно этого хочу, — говорит Гарри: он готов сказать что угодно, лишь бы переменить тему разговора. — И ты не права, считая, что я хочу, чего у меня нет. Мне очень даже нравится то, что я имею. Вся беда в том, что начинаешь бояться, как бы у тебя это не отобрали.

— Ну, во всяком случае, отбирать будет не Нельсон, он от тебя ничего не требует, разве что немного любви, но и этого не получает. Просто понять не могу, почему ты такой странный отец.

Стремясь закончить препирательство до того, как они подъедут к дому мамыши Спрингер, он сбавляет скорость на Джексон-стрит, где каштаны и клены так переплелись, что из-за густой их тени кажется, будто сейчас куда позднее.

— Мальчишка что-то затаил против меня, — мягко произносит он, чтобы посмотреть, что за этим последует.

Дженис тотчас снова распалается:

— Ты все время так говоришь, но это неправда. Он любит тебя. Или любил. — Небо там, где оно виднеется сквозь переплетение ветвей, еще светлое, и по их лицам и рукам, словно мотыльки, скользят блики. — Одно я знаю совершенно твердо, — капризным, но уже куда более мягким тоном говорит она. — Я не желаю больше слышать о твоей милой незаконной дочке. Это омерзительно.

— Я знаю. Сам не понимаю, почему я о ней упомянул. — Он ошибся, решив, что они единое целое, и поделившись с ней этим видением из тех времен, когда он был один. Ошибка, свойственная женатым людям.

— Омерзительно! — кричит Дженис.

— Я больше никогда не упомяну об этом, — обещает он.

Они сворачивают на Джозеф-стрит, где пожарная водозаборная колонка все еще стоит в выцветшем от времени красно-бело-синем клоунском наряде — так раскрасили ее школьники три июня тому назад по случаю двухсотлетия Америки. С вежливостью, рожденной новой неприязнью к Дженис, он спрашивает:

— Поставить машину в гараж?

— Оставь ее у крыльца — она может понадобится Нельсону.

Они поднимаются на крыльцо, и шагать ему так тяжело, будто резко возросла сила притяжения. Они с сыном много лет тому назад пережили сложный период — Кролик себя за это простил, а вот сын, насколько ему известно, его не простил. Когда сгорел дом Гарри, там погибла девочка по имени Джилл — девочка, которую Нельсон полюбил как сестру. По крайней мере как сестру. Но прошли годы, живые залатали раны, да и столько людей, сраженных болезнями, в которых повинен лишь один бог, с тех пор пополнили ряды мертвецов, что случившееся не кажется больше таким уж страшным. скорее Кролику кажется, что Джилл просто переехала в другой город, где непрерывно растет население. Джилл было бы сейчас двадцать восемь лет. Нельсону — двадцать два. Подумать только, какое бремя вины вынужден нести господь бог.

Входную дверь дома мамыши Спрингер заело, и ее удастся открыть лишь ударом плеча. В гостиной темно, и ко множеству мягкой мебели добавились еще рюкзаки. На площадке лестницы стоит потрепанный клетчатый чемодан — не Нельсона. С веранды доносятся голоса. Эти голоса ослабляют силу притяжения, гнетущую Гарри, как бы опровергают курсирующие в мире слухи о всеобщей смерти. Он идет на голоса через столовую, затем кухню и выходит на веранду, сознавая, что хватил немного лишку и потому недостаточно осторожен — раздался, обмяк и представляет этакую огромную движущуюся мишень.

Медные листья бука налипли на сетку, ограждающую веранду. Лица и тела поднимаются с алюминиево-нейлоновой мебели, точно облако взрыва, который видишь на экране телевизора с выключенным звуком. Сейчас, в зрелом возрасте, мир все чаще и чаще предстает перед Гарри в виде картинок на экране телевизора, в котором что-то не так: они похожи на картинки, которые мелькают в мозгу перед тем, как мы засыпаем, картинки, которые кажутся осмысленными, пока в них не взглядишься, а взглядишься — и просыпаешься потрясенный. Быстрее всех поднялась девица — курчавая, довольно крепкая девчонка с блестящими карими навывкате глазами и рубиново-красной улыбкой с ямочками, точно скопированной с открыток, какие посылали в начале века в Валентинов день. На девчонке выдавшие виды джинсы и что-то вроде индийской вышитой рубахи, на которой не хватает блесков. Ее рукопожатие — влажное, нервное — удивляет Гарри.

Нельсон не спеша поднимается на ноги. Как всегда встревоженное лицо покрыто горным загаром, и он выглядит стройнее, шире в плечах. Меньше похож на щенка, больше на паршивого пса. Где-то — в Колорадо или в Кенте — он коротко постригся под панка, а в школе носил волосы до плеч.

— Пал, это моя приятельница — Мелани. Мой отец. И моя мать. Мам, это Мелани.

— Приятно с вами обоими познакомиться, — говорит девчонка, к ее губам словно приклеилась веселая яркая улыбка, точно эти простые слова — преддверие шутки, маленького циркового представления. Вот кого она напоминает Гарри — этих не вполне реальных, но явно храбрых женщин, которые в цирке висят под куполом, держась за что-то зубами, или, зацепившись ногой за бархатный канат, быстро взбираются наверх и летят сквозь переливающийся блестящими воздухом, — именно их, хоть она и одета в подобие лохмотьев, какные нынче нацепляют на себя девчонки. Странная стена или завеса из слепящего света мгновенно опускается между ним и этой девчонкой — полное отсутствие интереса, которое он объясняет добрым отношением к сыну.

Нельсон и Дженис обнимаются. «Эти маленькие спрингеровские ручки», — вспоминает Гарри слова своей матери, глядя на то, как эти руки вжимаются сейчас в спину облаченной в теннисное платье Дженис. Обманчивые лапки — что-то в изгибе тупых пальцев указывает на скрытую силу... Нельсон унаследовал от Дженис эту привычку, надувшись, молчать и упрямо стоять на своем. Нищета духа.

Однако, когда Дженис отрывается от сына, чтобы поздороваться с Мелани, и отец с сыном оказываются лицом к лицу, и Нельсон говорит: «Привет, пап!» — и колеблется, как, впрочем, и отец, пожать ли ему руку, или обнять, или как-то дотронуться, любовь неуклюже затопляет паузу.

— Ты выглядишь окрепшим, — говорит Гарри.

— А чувствую я себя выпотрошенным.

— Как это вы сумели так быстро сюда добраться?

— Голосовали — вот только в Канзас-Сити сели на автобус и доехали до Индианаполиса. — Кролик в тех местах ни разу не был — его чадо проделало за него этот путь по дорогам его мечты. Тем временем мальчишка рассказывает: — Позапрошлую ночь мы провели в каком-то поле в западном Огайо, не знаю — где-то за Толидо. Жутковато было. Мы накурились до чертиков с парнем, который подвез нас в своем размалеванном фургоне, и когда он нас выбросил, мы с Мелани понятия не имели, где находимся, — мы все время разговаривали, чтоб не поддаться панике. Да и земля оказалась куда холоднее, чем мы думали. Проснулись мы совсем замерзшие, но хоть деревья больше не казались осьминогами — и то хорошо.

— Нельсон, — восклицает Дженис, — с вами же могло бог знает что случиться! С вами обоими!

— А кого бы это огорчило? — спрашивает парень. И, обращаясь к бабушке (а Бесси сидит замкнувшись в самом темном углу веранды), говорит: — Тебя бы это не огорчило, верно, бабуля, если бы я выпал из картины?

— Очень даже огорчило бы, — решительно отвечает она. — Дедушка ведь в тебе души не чаял.

— В основном-то люди очень даже милые, — говорит Мелани, чтобы успокоить Дженис. Голос у нее странный, булькающий, словно она только что справилась с приступом смеха, певучий. Такой, будто она думает о чем-то далеком, вызывающем радость. — Люди, с которыми трудно поладить, встречаются не часто, да и те ведут себя как надо, если не показывать страха.

— А что думает ваша мама по поводу того, что вы голосуете на дорогах? — спрашивает ее Дженис.

— Ей это неприятно, — говорит Мелани и смеется, тряся кудрями. — Но она ведь живет в Калифорнии. — И, посерьезнев, смотрит на Дженис светящимися, как лампы, глазами. — Право же, это разумно с экологической точки зрения: такая экономия горючего. Гораздо больше народу должно было бы так ездить, но только все бояться.

Роскошный лягушонок — вот как она видится Гарри, хотя сложена, на-

сколько можно судить при этих размахайках, вполне по-человечески и даже недурна. Он говорит Нельсону:

— Если бы ты лучше распоряжался своими деньгами, ты мог бы всю дорогу ехать на автобусе.

— В автобусе такая скукота, пап, и полно всяких чудиков. В автобусе же ничего не узнаешь.

— Это правда,— подпевает ему Мелани.— Я слышала жуткие истории от своих подружек о том, что с ними было в автобусах. Водители ничего не могут поделать — они же ведут машину, а если ты выглядишь, ну, понимаете, что у нас называется хиппи, они даже вроде бы натравливают на тебя парней.

— Да, в мире нынче небезопасно,— изрекает мамаша Спрингер из своего темного угла.

Гарри решает сказать свое отцовское слово.

— Я рад, что ты так поступил,— говорит он Нельсону.— Я горжусь тобой — тем, что ты сумел совершить такую поездку. Если бы я в твоем возрасте поехал побольше по Соединенным Штатам, я сейчас был бы куда лучшим гражданином. А я бесплатно съездил только в Техас, когда Дядя Сэм⁷ послал меня туда. Они выпускали нас,— сообщает он Мелани,— в субботу вечером на огромное поле, где пасутся коровы. Называлось это место Форт Худ.— Он переживает, слишком много говорит.

— Пап,— нетерпеливо обрывает его Нельсон,— теперь страна наша всюду одинаковая, куда ни поедешь. Везде все те же супермаркеты, везде продается одно и то же пластмассовое дерьмо. Смотреть просто не на что.

— Нельсон так разочаровался в Колорадо,— своим веселым тоном сообщает им Мелани.

— Сам штат мне понравился, просто не по душе пришлись эти жмоты, которые там живут.— Лицо какое-то обиженное, злое. Гарри знает, что он никогда не выяснит, что произошло в Колорадо, что заставило парня вернуться к нему. Совсем как в тех историях, что ребята приносят из школы: всегда не они, а кто-то другой начал драку.

— Дети ужинали? — спрашивает Дженис, входя в роль матери семейства. От этого ведь быстро отвыкаешь, если не практиковаться.

Мамаша Спрингер с неожиданно довольным видом объявляет:

— Мелани приготовила чудеснейший салат из того, что нашла в холодильнике и на дворе.

— Мне очень понравился ваш огород,— говорит Мелани, обращаясь к Гарри.— Эта маленькая калиточка. Все здесь так красиво растет.

Гарри никак не привыкнет к этой ее журчащей речи и манере пристально смотреть на тебя, точно она боится, как бы ты чего не упустил.

— Угу,— говорит он.— Но в известном смысле это действует гнетуще. А копченой колбасы у нас не осталось?

Нельсон говорит:

— Мелани вегетка, пап.

— Вегетка?

— Вегетарианка,— поясняет малый наигранно жалобным голосом.

— А-а. Что ж, законом это не запрещено.

Малый зеваает.

— Нам, пожалуй, пора на боковую. Мы с Мелани прошлую ночь поспали всего какой-нибудь час.

Дженис и Гарри застывают и переводят взгляд с Мелани на мамашу Спрингер.

Дженис говорит:

— Пойду приготовлю Нелли постель.

— Я ему уже постелила,— сообщает ее мамаша.— А другую постель приготовила в бывшей швейной. Я ведь сегодня почти целый день была одна — вы оба теперь, похоже, все больше и больше времени проводите в клубе.

— Как было в церкви? — спрашивает ее Гарри.

⁷ Так в просторечье именуется американское государство.

— Не скажу чтоб так уж к душе, — нехотя признается мамаша Спрингер...
— Мы с бабулей доели копченую колбасу, пап, — сообщает Нельсон отцу. — Мы ведь не вегеты.

— А что же мне есть? — спрашивает Гарри у Дженис. — Из вечера в вечер морите меня голодом.

Дженис царственным жестом, которого десять лет назад у нее бы и в помине не было, отмахивает его жалобу.

— Не знаю. Я думала, мы перекусим в клубе, а тут мама позвонила.

— Я не хочу спать, — говорит Мелани Нельсону.

— Может, показать ей немножко наши места? — предлагает Гарри. — А заодно вы могли бы купить и пиццу...

— Я по уши сыта, — расплывается в улыбке девчонка и говорит еще медленнее, словно захлестнутая восторгом: — Но я бы с удовольствием прокатилась с Нельсоном — мне в самом деле нравятся эти места. Такая пышная растительность и дома все такие аккуратные.

Дженис, чтобы не упустить представившейся возможности, дотрагивается до плеча девчонки — на это она бы тоже прежде не отважилась.

— А вы видели, как у нас наверху? — спрашивает она. — Комната, куда мы обычно селим гостей, находится через холл от маминной комнаты, вы будете пользоваться с ней одной ванной.

— О, я вовсе не ожидала, что мне дадут отдельную комнату. Я думала, расстелю спальный мешок на диване и посплю. По-моему, в той комнате, куда мы сначала вошли, есть такой большой славный диван!

— Вы не захотите спать на этом диване — в нем столько пыли, что вы обихаетесь до смерти, — уверяет ее Гарри. — А комната наверху, честное слово, славная, если, конечно, вы не против того, чтоб делить ее с манекеном.

— О нет! — восклицает девчонка. — Право же, мне достаточно маленького уголка, чтобы только никому не мешать: я ведь собираюсь найти себе работу — наняться подавальщицей.

Старуха, поерзав, переставляет кофейную чашку с колен на складной столик, придвинутый к ее креслу.

— Я многие годы сама себе все шила, но вот как только перешла на бифокальные очки, даже Фреду пуговицу не могла пришить, — говорит она.

— В любом случае к тому времени вы уже разбогатели, — говорит ей Гарри, вновь обретая способность шутить оттого, что история с раздельными постелями вроде бы прошла гладко...

Он выскакивает с веранды на кухню к телефону. Пока «У Джордано» звонит звонок, Нельсон подходит сзади к Гарри и роется у него в карманах.

— Эй, — говорит Гарри, — что ты хочешь у меня украсть?

— Ключи от машины. Мама велела взять машину, что стоит у крыльца.

Гарри прижимает трубку ухом к плечу, выуживает ключи из левого кармана и, передавая их Нельсону, впервые смотрит ему в лицо. В этом лице нет ничего от него — разве что небольшой прямой нос и маленькая загогулина на одной из бровей, отчего кажется, что она ползет вверх, словно человек все время в чем-то сомневается. Удивительная штука гены. Все так точно закодировано, что они могут взять и проявиться в такой вот крошечной загогулине. А у той девчонки осанка была совсем как у Рут, чуть припухшая верхняя губа и такие же, как у Рут, бедра — крепкие и одновременно мягкие, уютные.

— Спасибо, пап.

— Только не раскатывай зря. Ничего нет хуже холодной пиццы.

— В чем дело? — спрашивает грубый голос на том конце провода: кто-то наконец снял трубку.

— Извините, ни в чем, — говорит Гарри и заказывает три пиццы: одну с перцами, одну смешанную и одну простую — на случай, если Мелани передумает. Он дает Нельсону десятидолларовую бумажку. — Надо бы нам поговорить, Нелли, когда ты немного отдохнешь. — Эти слова как бы сопутствуют деньгам. Нельсон молча берет банкнот.

Молодежь уезжает, и Гарри, вернувшись на веранду, говорит женщинам:

— Ну, все сошло не так уж и плохо, верно? Она, похоже, не возражает спать в швейной комнате.

— Похоже — еще не значит, что это так, — сумрачно произносит мамаша Спрингер.

— А ведь это точно, — говорит Гарри. — Как она вам вообще, эта его подружка?

— Тебе кажется, что она его подружка? — спрашивает Дженис. Она наконец уселась с рюмкой в руке. Что у нее там налито, по цвету не установишь, что-то тошнотворное, пронзительно красного цвета, какой бывала в старину крем-сода или жидкость в термометрах.

— А как же иначе? Они ведь вчера спали вместе в поле. И одному богу известно, как они жили в Колорадо. Может, в пещере.

— По-моему, у них теперь это необязательно. Они пытаются дружить — у нас в молодости так не получалось. Дружба между мальчиками и девочками.

— Вид у Нельсона не слишком довольный, — непререкаемо заявляет мамаша Спрингер.

— А когда он был доволен? — спрашивает Гарри.

— Мальчиком он подавал большие надежды, — говорит бабушка.

— Бесси, как считаете, почему он вернулся домой?

Старуха вздыхает.

— Из-за какого-то огорчения. Из-за чего-то, что он не смог вынести. Только вот что я вам скажу. Если эта девчонка не будет вести себя под нашей крышей как надо, я уеду. Я говорила об этом после церкви с бедной Грейс Штул, и она очень даже будет рада, если я к ней переберусь. Она считает, что это может продлить ей жизнь.

— Мама, — говорит Дженис, — а ты не пропустишь «В кругу семьи»?

— Должны показывать ту часть, которую я уже видела, ту, где бывшая приятельница Арчи возвращается и просит у него денег. Теперь, летом, они показывают одно только старье. Но я все же собираюсь посмотреть «Джефферсонов» в половине десятого, до передачи о Моисее, если не засну. Пойду-ка я, пожалуй, наверх, дам отдых ногам. Когда я стелила Нельсону постель, задела за кровать ногой и зашибла вену — теперь она у меня ноет. — Старуха, морщась, поднимается со своего места.

— Мама, — теряя терпение, вставляет Дженис, — я бы сама постелила эти постели, если бы ты подождала. Я поднимусь с тобой, посмотрю, как все там, в комнате для гостей.

Гарри следом за ними уходит с веранды (слишком там становится мрачно — медный бук стал черный, как чернила, мошки разбиваются о железные сетки) и направляется в столовую. Ему нравится смотреть снизу на ноги Дженис, когда она в своем теннисном костюме поднимается наверх помочь матери устроить все как надо... Он мог бы тоже подняться наверх и помочь ей, но его привлекает необычно белое женское лицо на обложке июльского номера «К сведению потребителей», который он сегодня утром снес вниз, чтобы почитать в приятный час между отбытием мамашы в церковь и их с Дженис отъездом в клуб. Журнал по-прежнему лежит на ручке вольтеровского кресла, где по вечерам восседал старик Спрингер. Выкурить его оттуда было просто невозможно, а когда он отправлялся в ванную или на кухню выпить пепса, кресло пустовало. Сейчас Гарри опускается в него. Девчонка на обложке в белом котелке и в белоснежном смокинге, с вымазанным белилами лицом, она у нее раскрашено красным, белым, синим, как у клоуна, а на приподнятой руке лежит сгусток клейкой белой массы косметического молочка... «Бродвей пробует разное косметическое молочко» — сказано под ней, ибо номер за этот месяц посвящен косметическому молочку наряду с творогом (достаточно ли он очищен или только более или менее), кондиционерами, компактными стереопрорывателями и консервными ножами (и зачем только изготавливают прямоугольные консервные банки?). Гарри решает дочитать материал про воздушные кондиционеры и обнаруживает, что если вы живете в районе повышенной влажности (а, как он полагает, именно в таком районе он и живет, во всяком случае по сравнению с Аризоной), то кондиционеры почти всех марок имеют склонность капать — иные настолько, что их не стоит устанавливать над внутренними двориками или дорожками. Хорошо бы иметь внутренний дворик и утопленную гостиную, как у Уэбба Маркетта... Впрочем, Кролик доволен

и тем, что имеет. Вот что он любит — домашний покой. Чтобы женщины деловито сновали над его головой, а за окном, словно воды о берег озера, билась в стекла летняя ночь. Он успевает прочесть про компактные стереопроекторы и даже начинает читать статью о ссудах на приобретение автомобилей, но тут Нельсон и Мелани возвращаются с тремя перепачканными картонками пиццы. Гарри быстро срывает с носа очки — как ни странно, в них он чувствует себя почему-то голым.

Лицо у мальчишки просветлело и даже, можно сказать, повеселело.

— Ух ты,— говорит он отцу,— а мамашкин «Мустанг», когда надо, во дает! Какая-то обезьяна прямо из джунглей в «кадиллаке» этак шестьдесят девятого года всю дорогу до моста Бегущей Лошади. Страшновато было.

— Вы возвращались таким путем? Неудивительно, что у вас ушло на это столько времени.

— Нельсон показывал мне город,— сообщает Мелани со своей поющей улыбкой, уходя с плоскими картонками на кухню и оставляя за собой в воздухе мелодичный след. У нее уже появилась эта приятная прямая осанка, присущая официанткам.

Гарри кричит ей:

— Этот город знавал лучшие дни!

— По-моему, он прекрасн-ивый,— долетает ее ответ.— Люди красят свои дома в разные цвета, совсем как на Средиземноморье.

— Это испашки,— говорит Гарри.— Испашки и итальяшки.

— Пап, а ты, оказывается, полон предрассудков. Тебе бы надо больше путешествовать.

— Да нет, я это в шутку. Я всех люблю, особенно когда окна в моей машине закрыты.— И добавляет:— «Тоёта» собиралась оплатить нам с мамой поездку в Атланту, а потом какой-то агент под Гаррисбургом побил нас по продаже, и поехал он. Это была районная премия. Мне было досадно, потому что меня всегда интересовал юг — люблю жару.

— Не будь таким скупердяем, пап. Возьми себе отпуск и съезди за свои денежки.

— Отпуск — да нас же держит эта хибара в Поконах.— Радость и гордость старика Спрингера.

— Я прослушал в Кенте курс социологии. Так вот, ты жмотничаешь потому, что рос в бедности, во времена Великого кризиса. Ты этим травмирован.

— Да нет, мы не так уж плохо жили. Папка получал приличные деньги: печатники ведь всегда имели работу. А вообще кто говорит, что я жмот?

— Ты должен Мелани уже три доллара. Мне пришлось взять у нее.

— Ты хочешь сказать, что эти три пиццы стоили тринадцать долларов?

— Мы еще прихватили пару картонок пива по шесть бутылок.

— За ваше пиво вы с Мелани сами и платите. Мы тут пива никогда не пьем. Слишком от него толстеешь.

— А где мама?

— Наверху И вот что еще. Не оставляй мамину машину перед домом со спущенным верхом. Если даже нет дождя, с кленов капает сок и сиденья становятся липкими.

— Я думал, может, мы еще куда съездим.

— Ты шутишь. Ты же, по-моему, говорил, что прошлую ночь вы всего час спали.

— Пап, кончай баланду. Мне же скоро двадцать три.

— Двадцать три года, а ума ни на грош. Давай сюда ключи. Я поставлю «Мустанг» в гараж.

— Ма-ам! — кричит мальчишка, запрокинув кверху голову.— Папа не дает мне твою машину!

Дженис спускается вниз. Она переделась в платье цвета мяты и выглядит усталой. Гарри говорит ей:

— Я только попросил его поставить машину в гараж. От сока с этого клена

у нас все сиденья липкие. А он говорит, что хочет опять куда-то ехать. Господи, ведь уже почти десять.

— Сок с кленов в этом году уже перестал течь,— говорит Дженис. Нельсону же она говорит только: — Если ты никуда не собираешься больше ехать, лучше поднять у машины верх. Две ночи назад у нас была страшная гроза. Даже с градом.

— А почему, ты думаешь,— спрашивает ее Кролик,— верх у твоей машины весь черный и в пятнах? Потому что на него капает сок или черт знает что, и парусину потом не отчистить.

— Гарри, это же не твоя машина,— говорит ему Дженис.

— Пиц-ца! — кричит Мелани из кухни, голос у нее звонкий и переливчатый.— *Mangiamo, prego!*⁸

— Папка у нас совсем на машинах помешался, верно? — говорит Нельсон, обращаясь к матери.— Они стали для него прямо восьмым чудом света с тех пор, как он их продает.

Гарри спрашивает жену:

— А мамаша? Она будет есть?

— Мама говорит, что ей нездоровится.

— Вот те на! Опять прихватило.

— Сегодня у нее было столько волнений.

— У меня тоже сегодня было много волнений. И еще мне было заявлено, что я жмот и считаю машины восьмым чудом света...

Мелани красиво расставила тарелки и выложила пиццу из картонок на блюда.

— Мелани,— спрашивает Дженис,— ты тоже занимаешься планеризмом?

— О нет,— говорит девушка.— Я бы со страху умерла.— Она хихикает, но блестящие шоколадные глаза смотрят твердо.— Нельсон занимался этим с Пру. Я никогда бы не отважилась.

— Кто это Пру? — спрашивает Гарри.

— Ты ее не знаешь,— говорит ему Нельсон.

— Я знаю, что не знаю. Я знаю, что я не знаю ее. Если бы я ее знал, я бы не спрашивал.

— Слишком все мы, по-моему, злые и раздраженные,— говорит Дженис, беря кусок пиццы с перцами и кладя на тарелку.

Нельсон тут же решает, что это для него.

— Скажи папе, чтобы он перестал на меня наседать,— жалобно тянет он, опускаясь на стул, будто только что слез с мотоцикла и у него все болит.

В постели Гарри спрашивает Дженис:

— Как, по-твоему, что грызет парня?

— Не знаю.

— А ведь что-то грызет.

— Да.

Они раздумывают над этим под звуки телевизора, включенного в комнате мамы Спрингер,— судя по библейски звучащим голосам, крикам, грохоту и музыке, порой взмывающей крещендо, там пережевывают Моисея. Старуха засыпает, не выключив телевизор, и иной раз он крикает всю ночь, пока Дженис на цыпочках не пройдет в комнату и не повернет ручку. Мелани отправилась спать в комнату с портновским манекеном. Нельсон поднялся было наверх посмотреть с бабушкой «Джефферсонов», но к тому времени, когда родители в свою очередь поднялись наверх, он уже ушел к себе, не пожелав никому спокойной ночи. Сплошная болячка. Интересно, думает Кролик, эта провинциальная молодая пара придет к ним завтра в магазин или нет? Бледное круглое лицо девчонки и экран телевизора, светящийся неизвестно для кого в комнате мамы Спрингер, сливаются перед его мысленным взором под могучие звуки священных песнопений. Дженис спрашивает:

— Как тебе понравилась девочка?

— Крошка Мелани? Скрытная. Неужели они все теперь такие, это поко-

⁸ Кушать проси! (Итал.)

ление, точно их шмякнули камнем по башке, а они считают, что ничего приятнее в их жизни не было?

— По-моему, она старается понравиться. Нелегко это, наверно. приехать к приятелю в дом и суметь найти себе в нем место. Я бы с твоей матерью и десяти минут не продержалась.

А она ведь понятия не имеет, сколько яда вылила на нее мама.

— Мама была, как я,— говорит Гарри.— Не любила жить в тесноте.. А они не производят впечатления очень уж любящей пары, — добавляет он.— Или это так теперь принято? Не нежничать.

— Я думаю, они не хотят нас шокировать. Они же знают, что им надо поладить с мамой.

— Как и со всеми остальными.

Дженис размышляет над этим. Слышится скрип кровати и тяжелые шаги по другую сторону стены, затем щелчок, и возбужденные крики по телевизору умолкают. Это Берт Ланкастер как раз начал распалаться. А зубы какие — неужели они у него собственные? У всех звезд надеты коронки. Даже у Гарри — сколько он мучился со своими зубами, а теперь они у него так уютненько, безболезненно и безопасно сидят в футлярчиках из золотого сплава, которые обошлись ему по четыреста пятьдесят долларов каждый.

— Она все еще бродит,— говорит Дженис.— Никак не уляжется. Взвинтила себя...

Три машины проносятся мимо одна за другой, и в груди Гарри ширится и растет ощущение, что за окном несется мимо бурная жнзнь, а он лежит в полной безопасности в этой фантастически удобной постели. Он — в постели, а зубы его — в коронках.

— Она у нас отличная старушенция,— говорит он...

— Она выжидает и наблюдает,— говорит Дженис зловещим тоном, показывающим, что она в противоположность ему далека от сна.— Ну,— спрашивает она,— а когда до меня дойдет очередь?

— Очередь? — Кровать слегка поворачивается, Ставрос ждет его у большой витрины, залитой утренним светом, в котором танцуют пылинки.

— Я ведь могу подумать, что ты на меня больше не реагируешь.

— Да нет, что ты, как раз сегодня в клубе я думал, насколько ты аппетитнее большинства этих шлюх — этой старухи Тельмы в ее мини-юбочке и этой ужасной приятельницы Бадди.

— А Синди?

— Не мой тип. Слишком пышна.

— Врун.

Вот и получил по заслугам. Он до смерти устал, однако что-то удерживает его от погружения в черноту сна, и в этом полузабытьи до или сразу после того, как погрузиться в сон, он слышит легкие, более молодые шаги в холле, быстро направляющиеся куда-то.

Мелани держит слово: она устраивается официанткой в новом ресторане в центре, прямо на Уайзер-стрит. — собственно, ресторан-то старый, только название новое — «Блинный дом». Прежде это было кафе «Барселона» — расписной кафель и пазля⁹, чугунные решетки и гаспачо¹⁰; Гарри время от времени обедал там, но по вечерам кафе заполняли не те люди — хиппи и испанцы из южной части города, приходившие сюда с семьями, а не белые воротнички из Западного Бруэра и с холмов вдоль бульвара Акаций, без которых ресторану в этом городе не прожить... До того как «Блинный дом» был «Барселоной», он многие годы существовал под названием «Отбивные Джонни Фрая», где днем и вечером подавали добротную обильную еду для грузных старорежимных немцев, которые от обжорства давно уже сошли в могилу вместе с поглощенными ими тоннами свиных отбивных и кислой капусты и реками пива «Подсолнечник». Нынче, под новой вывеской бывшее заведение Джонни Фрая процветает: новая раса поджарых канцелярских служащих выходит в центре из банков, государственных учреждений и опустевших универмагов. пересекает в полдень лес,

⁹ Национальное испанское блюдо из риса с курицей, плодами моря и специями.

¹⁰ Испанская окрошка.

который городские плановики устроили на Уайзер-сквере, рассаживается за маленькими столиками с кафельной крышкой, оставшимися от кафе «Барселона», и поглощает прославленные блины с той или иной начинкой. Даже когда едешь из кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров, видишь, как они сидят там при свечах, сидят парочками, пригнувшись друг к другу, и с дьявольской жадностью поедают блины — молодежь, идущая в гору: парни в свободных пиджаках и рубашках с откидными воротничками и девчонки в обтягивающих платьях, липнущих к телу от электростатики. — в то время как еще с десяток таких же стоят в вестибюле, дожидаясь, пока их посадят. Наверное, это связано с диетой, думает Гарри. Люди стремятся меньше есть, а блины — это звучит как закуска, тогда как назови эти штуки оладьями, никто бы и близко к ним не подошел, кроме детей да двухтонных матрон. Удивительное дело, думает Гарри, какое появилось новое племя потребителей, причем с деньгами. Мир движется к своему концу, однако возникают все новые люди, слишком тупые, чтобы это понимать, и ведут себя так, будто праздник только начался. «Блинный дом» имеет такой успех, что его владельцы купили почтенное кирпичное здание рядом и превратили бывшие складские помещения в залы, оставив нетронутой лишь старую табачную лавку, где у кассы вместо фонаря по-прежнему горит маленькая газовая зажигалка. Для этих новых залов «Блинного дома» и потребовались дополнительные официантки. Мелани работает то в обеденную смену — с десяти до шести, — то с пяти часов вечера до часу ночи. Однажды Гарри взял с собой Чарли и отправился туда обедать, чтобы тот посмотрел на новую женщину, вошедшую в жизнь семьи Энгстром, но получилось не очень удачно: увидев отца Нельсона да еще с каким-то чужим мужчиной, Мелани, красная от смущения, обслуживала их среди обеденной толчеи.

— Недурна, — заметил Чарли в тот неудачный день, глядя вслед отошедшей от их столика молодой женщине. В «Блинном доме» официанток одевают в малиновые мини-платья с большим бантом сзади, который колыхнется на ходу.

— Ты так считаешь? — заметил Гарри. — Я нет. Это-то меня и удивляет. Что она на меня не действует. Ведь девчонка живет с нами уже две недели, и я бы должен лезть на стену.

— А ты не староват, чтобы на стену-то лезть, шеф? Так или иначе, определенные женщины не действуют на определенных мужчин.

— Как говорится, все при ней. И спереди — дай бог.

— Я заметил.

— Самое забавное, что она и на Нельсона вроде бы не действует. Они как приятели: когда она дома, они часами сидят у него в комнате, ставят его старые пластинки и разговаривают бог знает о чем; иногда, когда они выходят оттуда, такое впечатление, что он плакал, но спит она, насколько мы с Джен можем судить, в своей комнате, куда мы ее поместили, уступив старухе Спрингер, в ту первую ночь, хотя сами были уверены, что долго это не продержится. А сейчас Бесси вроде бы даже к ней привязалась — прежде всего потому, что она помогает по дому куда больше Дженис. так что теперь, я думаю, старуха не станет цепляться к Мелани, где бы она ни спала.

— Не может быть, чтобы у Нельсона с ней ничего не было, — стоял на своем Ставрос, решительно и слегка угрожающе ставя руки на стол — ладонями вместе, большими пальцами вверх.

— Казалось бы, да, — соглашается Кролик. — Но эти ребята нынче такие скрытные. Из Колорадо потоком идут письма в длинных белых конвертах, и Нельсон с Мелани тратят немало времени, отвечая на них. На почтовом штемпеле стоит «Колорадо», а обратный адрес, напечатанный на конверте, — какой-то деканат в Кенте. Может, Нельсона вышибли оттуда.

Чарли едва ли его слышит.

— Может, звякнуть ей, раз Нельсон на нее плюет?

— Перестань, Чарли. Я же не сказал, что он на нее плюет, просто я не чувствую, чтоб дом ходил ходуном. Не думаю, чтобы они занимались любовью в «Мустанге» — сиденья там как-никак виниловые, а эти ребята нынче слишком избалованы. — Он отхлебнул «Маргариты» и вытер осевшую на стенках стакана

соль с губ. Бармен здесь остался со времен «Барселомы»; должно быть, в погребке у них еще полно текилы¹¹. — Сказать по правде, я не могу себе представить, чтобы Нельсон с кем-нибудь спал — он такой кислятина.

— Он пошел в деда. А ведь Фред был ох какой ходок, так что не обманывайся. Такую волю давал рукам — не мудрено, что у нас столько конторских девчонок сменилось. Так откуда, ты говоришь, она?

— Из Калифорнии. Отец ее, похоже, бездельник, живет теперь в Орегоне, а раньше был юристом. Ее родители разошлись некоторое время назад.

— Далеко она заехала от дома. Наверняка ей нужен друг более зрелого возраста.

— Ну так я рядом — стоит только перейти холл.

— Ты же член семьи, чемпион. Ты не в счет. А кроме того, ты эту курочку не оценил, и она безусловно это чувствует. Женщины — они такие.

— Чарли, но ты же ей в отцы годишься.

— А-а. Этот средиземноморский тип женщин — им нравится, когда грудь в седине...

— Чарли, ты рехнулся! — восторженно произнес Кролик, уже не впервые за их долгое содружество восторгаясь более цепкой, как ему кажется, хваткой Чарли, его умением выделять главное в жизни. чего Гарри никак не может для себя установить.

— Значит, мы живы, если способны рехнуться, — сказал Чарли, снова отхлебнув супа, и, чтобы лучше его распробовать, закрыл глаза за темными стеклами очков. — Слишком много мускатного ореха. Может, Дженис пригласила бы меня — я ведь уже давно у вас не был. Чтобы я, так сказать, мог прощупать почву.

— Послушай, не стану же я тебя приглашать, чтобы ты соблазнял приятельницу моего сына.

— Ты ведь сказал, что она не такая уж близкая ему приятельница.

— Я просто сказал, что они ведут себя как-то не так. — но откуда я знаю?

— У тебя неплохой нюх. Я верю тебе, чемпион. — И он слегка переменял тему: — Что это Нельсон повадился к нам в магазин?

— Не знаю, с тех пор как Мелани поступила на работу, ему делать особенно нечего — вот и торчит дома вместе с Бесси или ездит с Дженис в клуб и плавает там, пока глаза не покраснеют от хлорки. Он искал работу в городе, но безуспешно. Думаю, не слишком старался.

— Может, мы могли бы пристроить его у нас.

— Я этого не хочу. Он и так уж слишком уютно здесь устроился.

— А в колледж он вернется?

— Не знаю. Боюсь и спрашивать.

Ставрос осторожно опустил ложку.

— Боишься спрашивать, — повторил он. — И при этом ты платишь по счетам. Если бы мой отец когда-нибудь сказал, что боится меня о чем-то спросить, я думаю, крыша бы рухнула.

— Ну, может, «боюсь» не то слово.

— Но ты же сказал — «боюсь». — Он поднял глаза и, прищурившись точно от боли, стал рассматривать сквозь толстые стекла очков Мелани, а она, взмахнув малиновыми воланами, как раз ставила перед Гарри Crêpes con Zucchini¹², а перед Чарли Crêpes à la champignons et oignons¹³. После нее облачком остался запах овощей, точно след духов от ее воланов.

— Недурна, — сказал Чарли, имея в виду не еду. — Очень даже недурна.

Кролик же по-прежнему ничего в ней не видел. Он попытался представить себе ее тело без этих воланов и не ощутил ничего, кроме какого-то страха, — точно увидел вынутый из ножен кинжал или смотрел на безжалостную машину, к которой его мягкому телу лучше не приближаться.

Тем не менее он счел необходимым сказать Дженис:

— Мы что-то давно не приглашали Чарли.

Она с любопытством смотрит на него.

¹¹ Водка из агавы.

¹² Блины с кабачками (итал.).

¹³ Блины с шампиньонами и луком (франц.).

— Ты хочешь, чтобы мы его пригласили? Тебе что, мало видеть его в магазине?

— Да нет, просто мы давно не виделись с ним в домашней обстановке.

— Мы с Чарли в свое время достаточно навидались.

— Послушай, малый живет с мамочкой, которая с каждым днем становится все большей для него обузой, так и не женился, говорит только о своих племянниках и племянниках, но я не думаю, чтобы они платили ему тем же...

— Хватит, можешь мне его не продавать. Я-то с удовольствием встречусь с Чарли. Просто, должна тебе сказать, странновато, что ты на этом так настаиваешь.

— А почему, собственно? Из-за той старой истории? Я на него не в претензии. Он же обтесал тебя.

— Покорно благодарю,— сухо говорит Дженис...— Так когда же? — спрашивает она.

— Когда хочешь. Как Мелани работает в эту неделю?

— А какое это имеет отношение к Чарли?

— А то, чтобы он мог с ней познакомиться как надо. Я водил его обедать в этот «Блинный дом», и хоть она старалась быть приветливой, ее раздирали на части, и знакомства не получилось.

— Что значит «не получилось»?

— Не донимай меня — сегодня так чертовски сыро. Я все думаю предложить мамаше купить пополам новый кондиционер, я читал, что марка «Фридрих» самая лучшая. А под «не получилось» я имел в виду, что обычные человеческие отношения не установились. Чарли без конца донимает меня не слишком приятными вопросами про Нельсона.

— Какими, например? Какие Нельсон может вызывать неприятные вопросы?

— Ну, к примеру, собирается ли он возвращаться в колледж и почему он то и дело появляется в магазине.

— А почему он не должен появляться в магазине? Это как-никак магазин его деда. Да и потом, Нельсон всегда любил машины.

— Во всяком случае, любил на них раскатывать. «Мустанг» стал дребезжать еще сильнее. Ты не заметила?

— Не заметила,— отрезает Дженис, подливая себе кампари. Решив сократить потребление спиртного, она поставила себе за правило летом пить кампари с содой, вот только соду она забывает подливать.— Он привык к ровным дорогам Огайо,— добавляет она.

В Кенте Нельсон купил у одного студента-выпускника старый «Сандербэрд», а когда надумал ехать в Колорадо, продал его за половину стоимости. Вспомнив о таком беспардонном отношении к родителям, Кролик почувствовал, что сейчас задохнется. Он говорит жене:

— У них там тоже предельная скорость пятьдесят пять миль в час. Несчастная страна пытается экономить бензин, чтобы арабы не превратили наши доллары в гроши, а этот твой крошка делает пятьдесят пять в час на второй скорости.

Дженис понимает, что он хочет вывести ее из себя, и стремительно, точно в ней повернули выключатель — совсем как в ускоренной съемке,— поворачивается к нему спиной и устремляется в столовую к телефону.

— Я приглашу его на будущую неделю,— говорит она.— Если ты после этого станешь меньше ко мне цепляться.

Чарли всегда приносил цветы — на этот раз в зеленом бумажном конусе, который он вручает мамаше Спрингер. Он столько лет гнул спину перед Спрингером, что знает, как ублажить его вдову. Бесси принимает цветы почти без улыбки: она ведь из Кёрнеров и никогда не одобряла того, что Фред нанял грека, тем более что ее предубеждение оправдалось, когда Чарли завел роман с Дженис, имевший такие ужасные последствия, да еще в такое время, когда американцы высадились на Луну. А ведь на Луну люди не так часто отправляются.

Цветы развернуты — это оказались розы, бархатные, как шкура арабского скакуна. Дженис, воркуя, ставит их в вазу. Она принарядилась — надела кокет-

ливое летнее платье в маргаритках, обнажающее ее загорелые плечи, и из-за жары уложила длинные волосы в высокую прическу, чтобы напомнить всем, какая у нее стройная шея, и одновременно показать золотое ожерелье из крошечных рыбьих чешуек, которое Гарри подарил ей к двадцатилетию свадьбы три года тому назад. Заплатил он тогда за него девятьсот долларов, а сейчас оно стоит, наверное, тысячи полторы — золото до чертиков подорожало. Дженис приближает лицо к Чарли и целует его — не в щеку, а в губы...

— Чарли, ты слишком похудел, — говорит Дженис. — Ты что, совсем не ешь?

— Уминаю за обе щеки, Джен, но к костям почему-то ничего не прилипает. А ты вот выглядишь здорово.

— Мелани всех нас заставила следить за здоровьем. Правда, мама? Проросшее зерно, и побеги люцерны, и чего только не напридумывала. Йогурт.

— Честное слово, я чувствую себя лучше, — изрекает Бесси. — Только не знаю отчего — то ли от пищи, то ли оттого, что в доме стало больше жизни.

Квадратные пальцы Чарли продолжают лежать на загорелой руке Дженис. Кролику это кажется таким же естественным, как любое явление природы — японский жук на листке или два сучочка, сцелившиеся на ветру. Потом он вспоминает — если брать совсем уж глубоко, — какое ощущение рождает любовь, когда всем естеством чувствуешь нечто огромное, словно сталкиваются планеты.

— Мы все слишком много едим сахара и натрия, — раздается радостный звонкий голосок Мелани, кажется, он никак не связан с нашей грешной землей, словно нежданная благодать, снизошедшая свыше.

Чарли резко снимает руку с локтя Дженис — он точно воин стоит по стойке «смирно»; его профиль в полумраке этой комнаты, через которую непременно проходят все гости, блестит — низкий лоб, выпирающая челюсть, на обтянутых кожей скулах ходят желваки. Он выглядит моложе, чем в магазине, — возможно, потому, что здесь хуже свет.

— Мелани, — говорит Гарри, — помнишь Чарли — мы еще с ним пообедали у тебя на днях, да?

— Конечно. Он ел грибы и каперсы.

— Луковички, — поправляет Чарли, продолжая протягивать ей руку.

— Чарли — моя правая рука, хотя он, наверное, сказал бы, что это я его правая. Он продает машины в «Спрингер моторс» с тех пор, как... — Каламбур не приходит на ум.

— С той поры, когда их еще называли каретами без лошади, — говорит Чарли и пожимает руку Мелани. А Гарри, наблюдая это рукопожатие, удивляется, какая у нее молодая и узкая рука. Мы все так расползаемся. Ноги у старух — это же точно разбухшие батоны хлеба, прочерченные венами, а Мелани, если не считать этого запредельного взгляда, вся такая крепкая, точно плотно связанный носок. Чарли тотчас разворачивает наступление. — Как поживаете, Мелани? Как вам тут у нас нравится?

— Мило, — улыбается оңа. — Даже своеобразно.

— Гарри говорил мне, что вы дитя Западного побережья.

Она смотрит куда-то вверх, в далекое прошлое — так заводит глаза, что под радужной оболочкой видны белки.

— О да. Я родилась в Приморском округе. Мама живет теперь в местечке, которое называется Кармел. Это южнее.

— Я слышал это название, — говорит Чарли. — Оттуда вышло несколько звезд рока.

— Да нет, не думаю... Разве что Джоан Баэз, но она скорее традиционная певица. Мы живем на нашей бывшей даче.

— Почему же?

Вопрос застаёт ее врасплох, и она сообщает:

— Мой папа работал в Сан-Франциско юристом в одной корпорации. Потом они с мамой разошлись, и нам пришлось продать дом на Пасифик-авеню. Отец теперь в Орегоне учится на лесничего.

— Печальная, можно сказать, история, — говорит Гарри.

— Папа так не считает, — сообщает Мелани. — Он живет с очаровательной девушкой, наполовину индианкой из племени якима.

— Назад к природе. — изрекает Чарли.

— Только в этом направлении и можно двигаться, — говорит Кролик. — Берите соевые бобы.

Это, конечно, шутка, ибо он протягивает им мисочку с сушеными кешу — орешками, которые он вдруг взял и купил в бакалейной лавке рядом с государственным винным магазином четверть часа тому назад, когда ездил в дребезжащем «Мустанге» запасись всем необходимым для сегодняшней компании. Его чуть не отпугнула цена на банке — 2,89 доллара, на тридцать центов дороже, чем последняя, которую он помнит, и он уже протянул руку к сушеным земляным орешкам. Но даже и они стоят больше доллара — 1,09 доллара. а ведь когда он был мальчишкой, можно было купить целый мешок неочищенных орехов за четвертак, вот он и подумал: «Какого черта, зачем же быть тогда богатым?» — и взял банку с кешу.

Он обижается, когда Чарли, взглянув на мисочку, протестующе поднимает ладонь и не берет ни одного орешка.

— Без соли, — уговаривает его Гарри. — Протейна хоть отбавляй.

— Никакой мерзости никогда не ем, — говорит Чарли. — Доктор говорит — ни-ни.

— Мерзости?! — пытается возразить Гарри.

Но Чарли всецело занят Мелани.

— Каждую зиму я на месяц отбываю во Флориду. В Сарасоту, что на берегу залива.

— А какое это имеет отношение к Калифорнии? — встревает в разговор Дженис.

— Такой же рай, — говорит Чарли, поворачиваясь к ней спиной и обращаясь уже прямо к Мелани. — Вот это мне по душе. В туфлях песок, день за днем носишь одни и те же старые обрезанные джинсы. Это на заливе. А то побережье, где Майами, я терпеть не могу. В Майами меня может занести гольфо в чреве крокодила, если он проглотит меня. Там они тоже есть — вылезают из каналов прямо к тебе на лужайку и сжирают твою любимую собачку. Частенько случается.

— Никогда не была во Флориде, — произносит Мелани, и глаза у нее еще больше затуманиваются, хотя, казалось бы, такое просто невозможно.

— Надо съездить туда, — говорит Чарли. — Вот где живут настоящие люди.

— А мы, по-твоему, не настоящие? — спрашивает Кролик, чтобы поддеть Чарли и потрафить Дженис. Ей ведь это, наверное, неприятно...

— Живут там не только старики, — продолжает Чарли, по-прежнему обращаясь к Мелани. — Там полно и молодежи, которая ходит нагишом. Потрясающе.

— Дженис, — окликает дочь миссис Спрингер (а получилось у нее «Ченнис»), — пойдете на веранду, предложи напитки. — И, обращаясь к Чарли, говорит: — Мелани приготовила чудесный фруктовый пунш.

— А джина там достаточно? — спрашивает Чарли.

Любит Гарри этого малого, хоть он и распустил хвост перед Мелани или Дженис, и когда они выходят на веранду и усаживаются в алюминиевые кресла со стаканами в руках, а Дженис на кухне следит, чтобы не пригорела еда, он спрашивает Чарли, чтобы дать ему блеснуть:

— Как тебе понравилась речь Картера по поводу энергетического кризиса?

Чарли склоняет голову к розовощекой девчонке и говорит:

— По-моему, она была такая жалкая. Он прав. Я тоже переживаю кризис доверия. К нему.

Никто не смеется, кроме Гарри. Чарли перебрывает мяч.

— А что вы думаете об этой речи, миссис Спрингер?

Старуха, призванная на авансцену, разглаживает юбку и оглядывает ее словно в поисках крошек.

— По-моему, им руководят самые добрые христианские чувства, хотя Фред всегда говорил, что демократы — это орудие профсоюзов. Всегда и все. Сиди там, наверху бизнесмен, может, он бы лучше придумал, как бороться с инфляцией.

— Так ведь Картер же бизнесмен. Бесси,— говорит Гарри.— У него плантации земляных орехов. Торговый оборот у него больше, чем у нас.

— А мне его речь показалась грустной.— неожиданно произносит Мелани, нагибаясь вперед, так что ее свободная цыганская кофта обнажает ложбинку меж не стянутых бюстгалтером груди. этаким коридор, по которому течет воздух,— особенно когда сказал, что люди в нашей стране стали впервые думать о том, что завтрашний день будет хуже, а не лучше.

— Это грустно для таких цыплят, как вы,— говорит Чарли.— А для старых кляч вроде нас в любом случае ничего хорошего не предвидится.

— Ты так считаешь? — спрашивает искренне удивленный Гарри. Ему-то кажется, что его жизнь только начинается, перед ним наконец открылась ясная перспектива, ведь у него появился капиталец и вечно подавляемый ужас, который не давал ему ни минуты покоя, слегка поулегся. Да и нужно ему теперь меньше. Стремление к свободе, которое он всегда считал движущим фактором, усыхает, как ручеек в пустыне.

— Конечно, я так считаю,— говорит Чарли,— а как считает эта милая девушка? Что спектакль окончен? Как может она так думать?

— Я считаю...— начинает Мелани.— Ох, сама не знаю... Бесси, помогите мне.

Гарри не знал, что она называет старуху по имени. Ему потребовались годы совместного пребывания под одной крышей, чтобы не чувствовать себя при ней скованно, причем перелом в их отношениях произошел лишь после того, как он однажды случайно вошел к ней в ванную, когда она была там, а их ванная была занята Дженис.

— Скажи, что у тебя на уме,— советует пожилая женщина молодой.— Все ведь говорят откровенно.

Мелани внимательно разглядывает их своими блестящими глазами, потом возводит их к небесам, совсем как святые на картинах.

— Я считаю, можно привыкнуть обходиться без того, в чем мы начинаем испытывать недостаток. Мне, к примеру, не нужны электрические ножи и все такое прочее. Меня куда больше беспокоит судьба улиток и китов, чем истощение запасов железа и нефти — Она делает упор на последнем слове и смотрит на Гарри. Точно он особо связан с нефтью. А он решает, что его раздражает в ней эта манера вечно как бы гипнотизировать его.— То есть я хочу сказать.— продолжает она,— что пока в мире что-то произрастает, нет предела возможностям...

— Словом, этаким огромный огород,— говорит Гарри.— Куда, к черту, запропастился Нельсон? — Раздражает его, видимо, то, что эта девчонка точно из другого мира и в ее присутствии его собственный мир становится совсем жалким. Он испытывает большее влечение даже к этой толстой старой Бесси. По крайней мере в ее голосе звучат интонации их округа, много такого, с чем связана его жизнь...

Бесси со скорбным видом отвечает:

— По-моему он поехал куда-то по делу. Дженис знает.

Дженис подходит к двери на веранду, такая нарядная в своих маргаритках и оранжевом переднике.

— Он уехал около шести с Билли Фоснахтом. Они должны были бы уже вернуться.

— А на какой машине?

— Им пришлось взять «Корону». Ты ведь уехал в винный магазин на «Мустанге»

— Какая прелесть! А что тут делает Билли Фоснахт? Почему он не в армии? — Гарри хочется порисоваться перед Чарли и Мелани, показать, кто здесь хозяин.

Но и Дженис очень по-хозяйски держит деревянную ложку. Она говорит, обращаясь ко всей компании:

— Дела у него, по слухам, идут отлично. Он занимается первый год на зубо-врачебном факультете где-то в Новой Англии. Хочет стать — как же это называется?

— Офтальмологом? — подсказывает Кролик.

— Специалистом по пародонтозу.

— Ну и ну,— только и в состоянии вымолвить Гарри. Десять лет тому назад, в ту ночь, когда у Гарри сгорел дом, Билли обозвал свою мать сукой. И хотя все эти годы, пока Нельсон ходил в школу в Маунт-Джадже, Гарри часто видел Билли, он не забыл, как Пегги закатила тогда сыну пощечину, а мальчишке было лет двенадцать или, может, тринадцать, так что на нежной коже от ее пальцев остались красные следы. Тогда Билли назвал ее проституткой — она ведь еще не остыла от объятий Гарри. А позже, ночью, Нельсон поклялся, что убьет отца: «Ах ты мерзавец, из-за тебя умерла Джилл. Я убью тебя... Я тебя убью»... Эта злосчастная жизнь увлекла Гарри далеко от людей, сидевших на веранде; в тишине он слышит вдали грохот молотка, которым соседка что-то забивает.— А как поживают Олли и Пегги? — спрашивает он; голос его звучит хрипло, хоть он и прочистил горло. Он потерял из виду родителей Билли, с тех пор как занялся продажей «тоёт» и поднялся на ступеньку выше в их округе.

— Да более или менее все так же,— говорит Дженис.— Олли по-прежнему торчит в музыкальном магазине. А Пегги вроде бы занялась общественной деятельностью.— И она возвращается к своей стряпне.

Чарли говорит Мелани:

— Купите себе билет и слетайте во Флориду, когда вам здесь надоест.

— Что это тебя заклинило на Флориде? — громко спрашивает его Гарри.— Она же сказала, что она из Калифорнии, а ты все пристаешь к ней с Флоридой. Какая тут связь?..

— Ну, связь мы можем найти.

— Дженис,— кричит Мелани в сторону кухни,— я не могу вам помочь?

— Нет, дорогая, спасибо — все почти готово. Что, вы уже проголодались? Никому ничего не долить?

— А почему бы и нет? — из ухарства откликается Гарри. С этой компанией не взбодрисься, если не взбодрить себя изнутри.— А как насчет тебя, Чарли?

— Обо мне забудь, чемпион. Моя норма — стаканчик. Доктора говорят, что даже и один-то ни-ни в моем положении.— И, обращаясь к Мелани, спрашивает: — А как ваше прохладительное себя ведет?

— Не оскорбляй напиток, называя его прохладительным,— говорит Гарри, словно вызывая Чарли на поединок.— Я восхищаюсь молодыми людьми, которые не отравляют своего организма всякими пилюлями и алкоголем. С тех пор как Нельсон вернулся, картонки с пивом сменяют друг друга в холодильнике с такой быстротой... точно когда уголь сбрасывают по желобу.— Такое впечатление, что он это уже говорил, и совсем недавно.

— Я вам принесу еще,— поет Мелани и забирает у Чарли стакан — и у Гарри тоже. Он замечает, что она никак его не называет. Отец Нельсона. Некто, движущийся под гору. Вон из этого мира.

— Мне послабее,— говорит он ей.— Джин с тоником.

А мамаша Спрингер все это время сидит и думает свое. И сейчас она говорит Ставрису:

— Нельсон все спрашивает меня про то, как работает магазин, сколько там продавцов, как их оплачивают и все такое прочее.

Чарли усаживается поудобнее.

— Эта история с бензином не может не повлиять на продажу машин. С какой стати людям покупать коров, которых они не в состоянии кормить? Правда, «тоёты» пока неплохо расходятся.

— Бесси,— вмешивается в разговор Гарри,— мы никак не можем взять Нельсона, не ущемив Джейка и Руди. А они оба люди женатые, и им надо кормить детей на свои комиссионные. Если хотите, я могу поговорить с Мэнни и выяснить, не нужен ли ему еще один человек на мойку...

— Он не хочет работать на мойке,— рывкает из кухни Дженис.

Мамаша Спрингер подтверждает:

— Да, он и мне говорил, что хотел бы попробовать себя в торговле: ты же знаешь, как он всегда восхищался Фредом, можно сказать, боготворил его...

— Ох, да перестаньте вы,— говорит Гарри.— Как только он дошел до

десятого класса, он и думать о своих дедушках забыл. Как добрался до девчонок и рока, всех старше двадцати стал считать нудилами. Только и мечтал уехать к черту из Бруэра, вот я ему и сказал — о'кей, вот тебе билет, отчаливай. Так чего же он теперь обхаживает свою мамочку и бабуся?

Мелани приносит мужчинам напитки... Кролик отхлебывает из своего стакана и находит, что получилось слишком крепко, а ведь он просил послабее. Это что, своего рода объяснение в любви?

Мамаша Спрингер упирает руки в бедра, выставив локти вперед, а каждый локоть весь в складочках, точно морда у мопса.

— Вот что, Гарри...

— Я знаю, что вы сейчас скажете. Вам принадлежит половина капитала компании. Вот и прекрасно. Бесси, я рад за вас. Будь я на месте Фреда, я бы все вам оставил.— И, быстро повернувшись к Мелани, говорит:— Вот что им надо сделать, чтобы выйти из топливного кризиса: вернуть трамваи. Ты слишком молода и не помнишь. Они ходили по рельсам, а питались электричеством от протянутых наверху проводов. Очень чисто. Всюду были трамваи, когда я был мальчишкой.

— О, я знаю. В Сан-Франциско они по-прежнему ходят.

— Гарри, я хотела только сказать...

— Но делом вы не управляете,— говорит он своей теще,— и никогда не управляли, а пока управляю им я, Нельсон, если он хочет начать там работать, может мыть машины для Мэнни. Я не желаю видеть его в торговом зале. Он не умеет держать себя. Он ведь даже не может стоять прямо и улыбаться.

— А я-то думал, что там канатная дорога,— обращаясь к Мелани, говорит Чарли.

— Да нет, канатная дорога там есть только на некоторых холмах. Все без конца говорят, что на них опасно ездить: канаты лопаются. Но туристам интересно.

— Гарри! Ужинать! — говорит Дженис. Говорит сурово.— Ждать Нельсона мы не будем — уже девятый час.

— Извините, если вам показалось, что я слишком жесток,— говорит Кролик, обращаясь ко всей компании, уже поднявшейся с места, чтобы идти есть.— Но вот смотрите, даже и сейчас у малого не хватило вежливости вовремя явиться домой к ужину.

— Сын весь в тебя,— говорит Дженис.

— Мелани, а что ты скажешь? Какие у него планы? Он не собирается ехать назад оканчивать колледж?

Она продолжает улыбаться, но улыбка растекается, словно намалеванная.

— Возможно, Нельсон считает,— осторожно произносит она,— что провел достаточно времени в колледже.

— Да, но диплом-то где? — Собственный голос звучит в ушах Кролика так пронзительно, будто он попал в западню.— Где у него диплом? — повторяет Гарри, не слыша ответа.

Дженис зажгла на столе свечи, хотя на дворе июнь и еще так светло, что языки их пламени почти не видны. Ей хотелось сделать все поуютнее для Чарли. Милая старушка Джен. Шагая следом за ней к столу, Гарри упирается взглядом в то, что редко видит,— бледную обнаженную впадинку сзади на ее шее. В суматохе, пока все рассаживаются, он задевает руку Мелани, тоже обнаженную, и бросает взгляд за ворот цыганской блузки, прикрывающей спелые плоды. Крепкие. Он бормочет:

— Извини, я вовсе не собирался что-то из тебя сейчас вытягивать. Я просто не могу понять, какую игру ведет Нельсон.

— Конечно, нет,— воркующе отвечает она. Колечки волос упали и затряслись; щеки вспыхнули. И пока мамаша Спрингер вперевалку бредет к своему месту у главе стола, девочка поднимает на Гарри взгляд, в котором он читает лукавство, и добавляет: — По моему, одна из причин, знаете ли, в том, что Нельсон стал больше заботиться о своей безопасности.

Гарри что-то не понял. Уж не собирается ли малый поступать на спецслужбу?

Стулья царапают по полу. Все ждут, чтобы призрак молитвы прошелестел над головами. Затем Дженис опускает свою ложку в суп—томатный, цвета машины Гарри. Где она сейчас? Где-то в ночи. Они редко сидят в этой комнате; даже теперь, когда их стало пятеро, они едят за кухонным столом, и Гарри словно впервые видит сейчас расставленные на серванте, где хранится семейное серебро, цветные фотографии: Дженис — старшеклассница с расчесанными и слегка подвитыми, как у пажа, волосами до плеч, малютка Нельсон, сидящий со своим любимым медвежонком (у которого был всего один глаз) на залитом солнцем подоконнике в этой самой комнате, а потом Нельсон — уже такой, как сейчас, выпускник школы, с волосами почти такими же длинными, как у Дженис, только нечесаными, сальными на вид — улыбается в объектив кривой, полувызывающей усмешкой. В золотой рамке пошире, чем у дочери и внука, — Фред Спрингер, без единой морщинки благодаря волшебству фотоателье, сидит вполоборота и смотрит затуманенным взором на то, что дано видеть мертвецам.

— А вы видели,— спрашивает Чарли, обращаясь к сидящим за столом,— как Никсон давал на островке Сан-Клементе большой прием в честь годовщины высадки на Луну? Этого малого всегда надо держать на виду как образец того, чего можно достичь одним нахальством.

— Но он ведь и хорошее кое-что сделал,— говорит мамаша Спрингер столь знакомым ему оскорбленным тоном, сухим и натянутым. Годы совместной жизни приучили Гарри тотчас реагировать на него.

Он решает поддержать ее в знак извинения за то, что был резковат с нею, когда говорил, кто руководит фирмой.

— Он открыл для нас китайский рынок,— говорит он...

— Видите ли, я считаю, что Уотергейт разбил сердце Фреду,— изрекает мамаша Спрингер.— Он следил за ходом событий до самого конца, когда уже едва мог поднять голову с подушек, и все говорил мне: «Бесси, у нас еще не было президента хуже. Это все ему подстроили, потому что он необаятельный. Будь это Рузвельт или один из Кеннеди,— бывало, говорил он,— вы бы про Уотергейт даже и не услышали». Он этому верил.

Гарри бросает взгляд на фотографию в золотой рамке, и ему кажется, что она кивает.

— Я вполне этому верю,— говорит он.— Старина Спрингер никогда не давал мне неверных советов.

Бесси бросает на него взгляд, проверяя, не иронизирует ли он. Он удерживает мускулы лица в неподвижности, как на фотографии.

— Кстати, говоря о Кеннеди,— вставляет Чарли (право же, он слишком разговорился, а выпил-то всего стаканчик прохладительного).— газеты снова взялись за эту историю на мосту у Чаппаквиддика. Ну что еще можно сказать о человеке, который ехал целоваться с девчонкой, а вместо этого ухнул в воду с моста?

Бесси, видимо, гоже глотнула немножко шерри, потому что она вдруг взвизгивает себя до слез.

— Фред,— говорит она.— никогда бы не согласился, что все так просто. «Смотри на результат,— не раз говорил он мне.— Смотри на результат и крути назад».— Ее темные глаза-вишенки таинственным образом призывают их к этому.— А каков был результат? — Это уже, судя по всему, ее собственные слова.— В результате погибла бедная девочка из далекого угольного района.

— Ах, мама.— говорит Дженис.— У папы был просто зуб на демократов. Я очень его любила, но, право же, он был абсолютно заклинен на этом.

Чарли говорит:

— Не знаю. Джен Я только слышал, как он говорил, что Рузвельт вовлек нас в войну и что он умер в постели со своей любовницей,— вот и все, причем и то и другое было правдой.— Сказал и устался на свечу, точно шулер, выложивший на стол туза.— А то, что нам теперь рассказывают про Джона Кеннеди, как он куролесил в Белом доме с любовницами гангстеров и уличными девками.— такое Фреду Спрингеру не могло привидеться даже в кошмарном сне.— Вот вам и второй туз. А он чем-то похож на старину Спрингера, думает

Гарри,— такая же узкая, тщательно причесанная голова. Даже брови у него тоже торчат, как жерла игрушечных пушек.

Гарри говорит:

— Я так и не понял, чем он плохо вел себя в Чаппаквиддике. Он же пытался вытащить ее. Вода, огонь, языки пламени — человек бессилён против этого.

— А тем плохо,— говорит Бесси,— что он посадил ее к себе в машину.

— А вы что по этому поводу думаете, Мелани? — спрашивает Гарри... — Вы какую партию поддерживаете?

— Ох уж эти партии,— мечтательно произносит она.— По-моему, они обе отвратительны.— Отвратительны... слово повисает в воздухе.— Что же до Чаппаквиддики, то одна моя подруга живет там каждое лето, и она говорит, просто удивительно, что никто больше не слетел с того моста — там ни перил нет, ничего. Какой чудесный суп,— добавляет она, обращаясь к Дженис.

— Суп из шпината тогда у вас был потрясающий,— говорит Чарли, обращаясь к Мелани.— Может, только чуточку многовато было в нем мускатного ореха.

Дженис курит и прислушивается, не хлопнет ли на улице дверца машины.

— Гарри, не сможешь мне убрать со стола? Кстати, и мясо, пожалуй, лучше резать на кухне.

На кухне можно задохнуться от сильного тошнотворного запаха жареной баранины. Гарри не любит напоминания о том, что мы едим живых существ с глазами и сердцем,— он предпочитает соленые орешки, котлеты, китайскую кухню, пирог с рубленным мясом.

— Ты же знаешь, что я не могу резать ягненка,— говорит он.— Никто не может. Ты решила его приготовить только потому, что это, по-твоему, едят греки, вздумала покрасоваться перед бывшим любовником.

Она протягивает ему доску и ножи с костяными шишковатыми ручками.

— Ты делал это сотни раз. Просто режь ломтями перпендикулярно кости.

— Легко сказать. Вот и режь сама, если это так легко...

— Слышишь? — шипит Дженис.

На улице хлопнула дверца машины. По крыльцу раздаются шаги — по их крыльцу,— и непослушная входная дверь с треском отворяется. Хор голосов из-за стола приветствует Нельсона. Но он не останавливаясь идет дальше в поисках родителей и обнаруживает их на кухне.

— Нельсон.— говорит Дженис.— мы уже начали беспокоиться.

Мальчишка тяжело дышит — не от усталости, а неглубоко, прерывисто, как бывает от страха. Он кажется маленьким, но мускулистым в своей тенниске винного цвета — налетчик, одевшийся, чтобы лезть в окно. Но застигнутый на месте преступления в ярком свете кухонной лампы. Он старается не встречаться взглядом с Гарри.

— Пап! У меня произошла маленькая неприятность.

— С машиной. Я так и знал.

— Угу. Поцарапали «тоёту».

— Мою «Корону»? Что значит — поцарапали?

— Никто не пострадал, так что не распалайся.

— Покорежена другая машина?

— Нет, так что не волнуйся, никто не будет подавать в суд.— Заверение сделано весьма презрительным тоном.

— Ты со мной не умничай.

— О'кей, господи, о'кей.

— Ты пригнал ее домой?

Мальчишка кивает.

Гарри возвращает нож Дженис и выходит из кухни, чтобы успокоить компанию, продолжающую сидеть за освещенным свечами столом: матушка во главе, рядом — с сияющими глазами Мелани, по другую сторону Мелани — Чарли, квадратные запонки его поблескивают, отражая пламя свечей.

— Никто не волнуется. Просто, по словам Нельсона, произошла маленькая неприятность. Чарли, ты не разрежешь вместо меня ягненка? Мне надо взглянуть, что там.

Он хочет взять парня за плечи — то ли чтобы пихнуть его, то ли чтобы утешить, он сам не знает зачем, это стало бы ясно, когда Гарри до него дотронулся бы, — но Нельсон, не подпустив к себе отца, ныряет в летнюю ночь. На улице зажглись фонари, и при их ядовитом искусственном свете красная «Корона» выглядит зловеще — просто черная тень, металлического блеска нет и в помине. Нельсон в спешке запарковал ее против правил, поставив к тротуару боком, где сидит водитель. Гарри говорит:

— Этот бок хорош.

— Д р у г о й бок не в порядке, пап. — И Нельсон объясняет: — Понимаешь, мы с Билли возвращались из Алленвилла, где живет его девчонка, по такой извилистой проселочной дороге, и так как я понимал, что опаздываю к ужину, то ехал, наверно, чуточку слишком быстро, не знаю — слишком-то ведь быстро по этим проселочным дорогам ехать невозможно, очень они извилистые. И вдруг прямо передо мной выскакивает этот сурок или как там его, и, чтоб его не раздавить, я чуточку съехал с дороги, зад у меня занесло, и я шмякнулся о телефонный столб. Все произошло так быстро, я и опомниться не успел.

Кролик обошел машину и при призрачном свете фонарей принялся осматривать повреждения. Царапина началась с середины задней дверцы и шла, углубляясь, по крышке отверстия для заливки бензина; затем задняя фара и маленький квадратный боковой сигнал задели за столб, и их вырвало с потрохами, раздрав при этом прозрачную пластмассу, кусочки которой валялись точно фольга с рождественских подарков, и обнажив красивые цветные провода... Царапина шла дальше вверх по задней дверце, которая теперь никогда уже не будет как следует закрываться.

— Билли знает одного парня, — продолжал трещать Нельсон, — который работает в автомастерской у моста в Западный Бруэр, и он говорит, тебе надо поехать в какой-нибудь шикарный гараж, где тебе оценят убытки, а потом, когда ты получишь чек от страховой компании, отдать этому парню машину, и он тебе все сделает за куда меньшую сумму. Таким образом, мы на этом даже выиграем, а навар поделим.

— Значит, навар, — тупо повторяет Гарри.

Гвозди или заклепки на столбе оставили длинные параллельные царапины по всей длине вмятины... У Гарри такое чувство, точно это рана на его собственном теле. У него такое чувство, точно он видит в сумрачном свете результаты преступления, к которому приложил руку.

— Да перестань же, пап, — говорит ему Нельсон. — Не делай ты из этого великой трагедии. Ведь платить за ремонт будет страховая компания, а не ты, да и потом, ты же можешь купить себе новую почти задаром — разве тебе не дают огромную скидку?

— Огромную, — повторяет Кролик. — А ты вот так взял и расколошматил ее. Мою «Корону».

— Я же не н а р о ч н о, это был несчастный случай, черт бы его подрал. Ну чего ты от меня хочешь — чтобы я харкал кровью? Упал на колени и плакал?

— Можешь не утруждать себя.

— Пап, это же всего лишь вещь, а у тебя такой вид, точно ты потерял лучшего друга.

Наверху, не затрагивая их, шелестит верхушками деревьев ветерок, и тени колеблются на деформированном металле. Гарри вздыхает.

— Ну что ж. А что произошло с сурком?

II

Когда первые суббота и воскресенье, наполненные беспорядками и слухами, миновали, лето стало складываться совсем неплохо: очереди за бензином уже не были такими длинными. Ставрос говорит, нефтяные компании взвинтили цены как хотели, а правительство сказала им — охладите-ка свой пыл, не то мы установим налог на сверхприбыли. Мелани говорит, мир вернется к велосипеду, как это уже и произошло в красном Китае; она купила на свое жалованье «фудзи» и в погожие дни крутит педали, разъезжая в вихре каштановых кудрей вокруг горы и вниз, через парк, по аллее Панорамного обзора — в Бруэр. В конце июля наступает неделя рекордной жары: газеты полны графиков тем-

пературы и мутных фотографий той поры на переломе столетия, когда на Уайзерсквере плавилась трамвайные рельсы — до того было жарко. В такую жару тебя словно жжет изнутри, распирает — хочется выскочить из одежды и, сменив оболочку, очутиться у моря или в горах. А Гарри и Дженис только в августе поедут в Поконы, где у Спрингеров есть домик, который они сдают на июль...

И вот в один из этих жарких дней Гарри берет в магазине подержанный «Каприс», поскольку его «Корона» еще ремонтируется, и отправляется на юго-запад в направлении Гэлили. По петляющим проселочным дорогам он едет мимо домов из песчаника, кукурузных полей, цементного завода, рекламного щита, указывающего на пещеру (разве естественные пещеры не вышли из моды давным-давно?), затем другого щита с огромным силуэтом бородастого менонита¹⁴, рекламирующего «Настоящую голландскую кухню». Гэлили — это, что называется, «городок цепочкой»: вытянувшись в ряд, домики карабкаются вверх по горе, с продуктовой лавкой в одном конце и агентством, дающим напрокат тракторы, в другом. Посредине стоит старая деревянная гостиница с широкой верандой вдоль всего второго этажа и подновленным рестораном на первом, все окно которого заклеено кредитными карточками в качестве приманки для автобусов с туристами, которые приезжают из Балтимора, набитые главным образом черными, — одному богу известно, что они рассчитывают увидеть в этой глуши. Группа местных парней торчит перед универмагом «Рексолл» — раньше такое никогда не увидел бы в сельской местности: люди были слишком заняты делом. Есть тут старый каменный желоб для лошадей; несколько черных, отпирванных времен столбов коновязи; сверкающий стеклом новый банк, островок среди проезжей части с памятником — в честь чего, Гарри не может понять — и маленькое кирпичное здание почты с блестящими серебряными буквами ГЭЛИЛИ, стоящее на боковой улочке всего в один квартал длиной, которая обрывается у края поля. Женщина на почте говорит Гарри, где найти ферму Нунмейхера — по дороге номер два. Держась указанных ею ориентиров — овощной киоск, пруд с плакучими ивами, две силосные башни у дороги, — он пробирается по буграм и перекатам красной земли, поросшим переливающейся зеленью, напористо покрывающей своим ковром даже спекшиеся обочины на дороге, где торчат кустики и коврики вики и жимолости, наполняя стоячий жаркий воздух легким благоуханием. Окна «Каприса» до конца спущены, а бруэрская станция, транслирующая музыку, то затихает, то снова прорывается с грохотом и треском — в зависимости от ландшафта и близости электрических проводов. НУНМЕЙХЕР — выведено выцветшими буквами на побитом жестяном почтовом ящике. Дом и сарай стоят довольно далеко от дороги, в глубине длинного проселка, некогда выложенного песчаником, но теперь покрытого красноватой пылью.

Сердце у Кролика поет. Он медленно едет, внимательно всматриваясь в соседние почтовые ящики, но Рут, когда он однажды случайно встретил ее в центре Бруэра лет десять тому назад, не назвала своей новой фамилии, а девчонка, которая была в магазине месяц тому назад, отказалась расписаться в его книге в демонстрационном зале. Единственным ориентиром — помимо того, что Нунмейхер живет по соседству с его дочерью, если это его дочь, — может служить ему фраза, оброненная тогда Рут, что у ее мужа не только ферма, но еще и небольшой парк школьных автобусов. Муж был старше ее и, по подсчетам Гарри, уже, наверно, умер. Значит, и автобусов не стало. На почтовых ящиках, что стоят вдоль этого отрезка дороги, значится: БЛЭНКЕНБИЛЛЕР, МУТ и БАЙЕР. Фамилии как-то не вяжутся с домами, виднеющимися в лощинках, среди деревьев, в конце поросших травой проселков. Гарри кажется, что он привлекает к себе всеобщее внимание, разъезжая в темно-малиновом «Каприсе», хотя на всем этом просторе не появилось ни единой души, которая увидела бы его. В этот подернутый дымкой, слишком жаркий для работы в поле день люди сидят в своих домах с толстыми стенами. Гарри наугад сворачивает на какой-то проселок, останавливается и едет задом по утопанной, исчерченной корнями площадке между строениями, а тем временем в загородке для свиней, мимо

¹⁴ Менониты — секта анабаптистов, возникшая в XVI веке в Нидерландах. Со второй половины XVIII века общины этой секты начали возникать в разных странах, в том числе в США.

которой он проехал, поднимается отчаянный визг, и в дверях дома появляется голстая женщина в переднике. Она ниже ростом, чем Рут, и моложе, чем Рут должна быть сейчас; черные волосы ее гладко зачесаны и убраны под менонитский чепец. Он машет ей и продолжает пятиться. Это Блэнкенбиллеры — он читает фамилию на почтовом ящике, когда снова выезжает на дорогу.

Два других дома стоят ближе к дороге, и он решает подойти к ним пешком. Он останавливает машину на широкой обочине, где на утопанной земле от колес трактора остались следы в виде елочки. Лишь только он выбирается из машины, в нос ему, невзирая на расстояние, ударяет сладковатый запах свинарника Блэнкенбиллеров, а тишину наполняет неумолчный сухой звон насекомых, пронизывающий все вокруг... Он останавливается у прорехи в живой изгороди, проделанной машинами, и смотрит на строения внизу — сарай, и дом, и обложенный асбестом курятник, и крытый шифером сруб для хранения кукурузы (последние два явно заброшены), и цементное строение поновее с крышей из рифленого стеклопластика. Похоже на гараж. На крыше дома — позеленевший медный громоотвод и телевизионная антенна буквой «Н», очень высокая, чтобы она могла принимать сигнал... Отсутствие порядка и некоторое запустение наводят на мысль, что на ферме хозяйничает женщина, нуждающаяся в мужской помощи. От непостижимой надежды сердце у него поет под стать окружающему звону насекомых.

И тут Гарри увидел его — за сараем, там, где лес во главе с сумахом и кедром наступает на вырубку, — скобочившийся желтый корпус школьного автобуса. Колес и стекол у него нет, и тупорылый капот отодран, обнажая пустоту, где был мотор, вытасченный варварами, но, подобно затонувшему кораблю, это свидетельство некогда существовавшей империи, целого автобусного парка, владелец которого умер, оставив вдову с незаконнорожденной дочерью. Кролику кажется, что земля под ним словно взбурлилась оттого, что подземное царство пополнилось еще одним обитателем.

Гарри стоит посреди бывшего фруктового сада, где еще и сейчас кривые, искореженные яблони и груши посылают вверх веера новых побегов. Хотя солнце нещадно палит, замшевые туфли Гарри промокли от влаги в садовой траве. Если он сделает еще несколько шагов, то выйдет на открытое место, и тогда его могут заметить из окон дома. Отсюда ему уже слышны в доме голоса, хотя звучат они глухо и монотонно, как голоса по радио или телевидению. Еще несколько шагов — и он сможет различить их. А если сделать еще несколько шагов, то он выйдет на лужайку у пластмассовой ванночки для птиц, прикрепленной к столбику в виде выкрашенной синей краской трубы, и тогда ему уже, хочешь не хочешь, придется шагнуть вперед, взойти на низкое цементное крыльцо и постучать. Входная дверь, глубоко врезанная в камень, была когда-то зеленой, а теперь нуждается в покраске. От местами побитой черепицы на крыше до жалких жалюзи, закрывающих окна, — на всем лежит мертвящая печать бедности.

Что он скажет Рут, если она ответит на его стук?

Привет, вы, может, меня и не помните...

Господи! Рада была бы не помнить.

Нет, подожди. Не закрывай дверь. Я ведь могу помочь тебе.

Какого черта, чем ты можешь мне помочь? Проваливай. Ей-богу, Кролик, от одного взгляда на тебя меня тошнит.

У меня теперь есть деньги.

Мне они не нужны. Я от тебя ничего не хочу. Когда ты был мне нужен, ты сбежал.

О'кей, о'кей. Но давай говорить о сегодняшнем дне. У тебя наша девочка...

Девочка — да она женщина. Верно, хорошенькая? Я ею горжусь.

Я тоже. Нам бы следовало иметь кучу детей. Великолепные гены.

Не подлизывайся. Я живу здесь уже двадцать лет — где ты все это время был?

А ведь и в самом деле он мог бы попытаться найти ее — он даже знал, что она живет где-то около Гэлили. Но он этого не сделал. Не захотел встретиться с нею — слишком много укоров и осложнений в жизни могла принести эта встреча. Ему хотелось, чтобы она осталась в его воспоминаниях такой, как была: ублаженная его ласками и счастливая, она лежит рядом с ним на кровати, опершись на локоть. Прежде чем он проваливался в сон, она приносила ему воды. Он не знает, любил он ее или нет, но с ней он узнал любовь...

Внизу хлопает дверь — с той стороны дома, которая ему не видна. Звонкий возглас — так обычно подзывают животных. Гарри отступает за яблоню — она оказывается маленькой, за ней не укрыться. Стремясь увидеть свою дочь, приблизиться к этому таинственному побегу, выросшему из его прошлого, расцветшему без него, но олицетворяющему собой утраченную силу, утраченный смысл жизни, он выставил на обозрение свою крупную фигуру, сделав из нее мишень...

— Эй! — раздался голос. Голос женский, молодо раскатившийся по воздуху, испуганный и приветливый. Неужели у Рут может быть такой молодой голос после стольких лет?

Вместо того чтобы предстать перед обладательницей голоса, он бежит. Вверх — по густой траве сада, ныряя между старыми фруктовыми деревьями, продирается сквозь неровную живую изгородь так стремительно, точно по другую сторону его ждет баскетбольная корзина, выскакивает на изборожденную тракторами красную дорогу и устремляется назад, к «Капрису», на ходу проверяя, не порван ли костюм, чувствуя возраст. Он задыхается; он оцарапал себе руку то ли о машину, то ли о шиповник. Сердце у него так бешено колотится, что он не в состоянии вставить ключ в зажигание. Когда наконец раздается щелчок, мотор несколько раз чихает, прежде чем завестись, перегретый от стояния на солнце. В ушах Гарри еще звучит женский голос, крикнувший так приветливо: «Эй!» — но мотор уже заурчал, а сам он прислушивается, не раздадутся ли крики преследователей или даже выстрел. У всех этих фермеров есть ружья, и они не раздумывая пускают их в ход: когда он работал наборщиком в «Вэте», не проходило и недели, чтобы в округе кого-нибудь не убили, и всегда это было связано с сексом, пьянкой и даже кровосмешением.

Но в мареве, висящем над окрестностями Гэлили, царит тишина, нарушаемая лишь звуком его мотора. Интересно, думает он, отчетливо ли было его видно и могли ли его узнать — Рут, которая давно его не видела, а ведь он с тех пор изрядно располнел, или его дочь, которая видела его лишь однажды месяц тому назад? Они сообщат в полицию, назовут его, и это дойдет до Дженис, и она устроит страшный тарарам, услышав, что он разыскивал девочку. Да и в «Ротари» на это посмотрят косо. Назад. Надо ехать назад. Боясь заблудиться, он заставляет себя развернуться и возвращается тем путем, каким приехал, — мимо почтовых ящиков. Он решает, что этой ферме, которую он обнаружил в маленькой заросшей лощинке с прудом для уток, соответствует голубой почтовый ящик с фамилией БАЙЕР. Голубой, как небо, свежавыкрашенный этим летом, и на нем переводной цветок — такое могла придумать только молодая женщина.

Байер. Рут Байер. Имя его дочери Джейми Нунмейхер, насколько мог припомнить Кролик, ни разу не произнес.

Как-то вечером он спрашивает Нельсона:

— А где Мелани? Мне казалось, она эту неделю работает днем.

— Так оно и есть. Она уехала кое с кем.

— Вот как? Ты хочешь сказать — у нее свидание?

«Филлисы» из-за дождя сегодня не играют, и Дженис со своей мамочкой смотрят наверху в который раз «Уолтонов», а Гарри с сыном сидят в гостиной; Гарри листает только что пришедший августовский номер «К сведению потребителей», а парень уткнулся в книжку, которую стащил из бывшего кабинета Фреда Спрингера при магазине, ставшего теперь кабинетом Гарри. Нельсон не поднимает на отца глаз.

— Можно назвать это и свиданием. Она просто сказала, что едет прокатиться.

— Но ведь с кем-то же.

— Конечно.

— И ты не возражаешь? Против того, что она проводит время с кем-то?

— Конечно, нет. Пап, я же читаю.

Тот самый дождь, который заставил отложить игру между «Филлисами» и «Пиратами» на стадионе Трех рек, переместился к востоку и барабанит теперь по окнам дома 89 на Джозеф-стрит, по низко нависшим ветвям лесного темно-пунцового бука, гордости их участка, а то грохочет по крыше и хлещет по навесу над верандой.

— Дай-ка мне взглянуть на твою книжку, — просит Гарри и, не вылезая из глубокого кресла, протягивает руку, благо она длинная.

Нельсон раздраженно швыряет ему пухлую зеленую брошюру — руководство по торговле автомобилями, написанное приятелем старика Спрингера, у которого магазин в Паоли. Гарри раза два заглядывал в нее...

— Тут столько всего порассказано, — говорит он Нельсону, — чего тебе и не нужно знать.

— Я пытаюсь разобраться, — говорит Нельсон, — в финансовой стороне дела...

— А зачем это тебе?

— Просто интересно.

— Тебе бы следовало интересоваться этим, когда был жив твой дедушка Спрингер — вот с ним ты бы потолковал...

— А он когда-нибудь пытался скручивать показатель пройденного автомобилем? — спрашивает Нельсон.

— Откуда тебе такое известно?

— Из книжки.

— Ну-у... — А не так это и плохо, думает Гарри, разговаривать с парнем о серьезных вещах под шум дождя. Он сам не знает, почему его так раздражает то, что парень читает. Точно он замышляет какую-то гадость. Говорят, надо поощрять чтение, но ни разу еще никто не сказал почему. — Видишь ли, скручивать показатели — это уголовщина. Но в старые времена, когда механик возился с приборной доской, отвертка вполне могла соскользнуть у него на счетчик. Так или иначе, люди, покупающие подержанную машину, знают, что это лотерея. Машина может пройти двадцать тысяч миль без сучка, без задоринки, а может случиться и так, что завтра у нее взорвется двигатель. Кто знает? Я видел машины с огромным износом, которые бегали как новенькие. Взять этих клопов — «фольксвагены»: их просто невозможно прикончить. Корпус может так проржаветь, что водителю видна земля под ногами, а мотор все работает. — Он швыряет толстую зеленую книжицу назад. Она пролетает мимо Нельсона. Гарри спрашивает: — Как же ты все-таки относишься к тому, что твоя подружка проводит время с кем-то другим?

— Я ведь уже говорил тебе, пап, что она мне не подружка, а приятельница. Неужели нельзя дружить с женщиной?

— Попытайся — проверь на собственном опыте. Как же в таком случае она согласилась двинуть сюда с тобой?

Терпение Нельсона на пределе, но Гарри решает продолжать наступление, а то ведь, играя в молчанку, ничего не узнаешь.

— Ей нужно было смыться из Колорадо, — говорит Нельсон, — а я ехал на восток и сказал ей, что в доме у моей бабки полно пустых комнат. Она ведь вам не мешает, верно?

— Нет, она даже сумела очаровать старушку Бесси. А что там было, в Колорадо, почему ей надо было смыться?

— О, знаешь ли, пристал к ней непутевый парень, а ей захотелось сойтись с мыслями.

Дождь вновь затягивает свою песню — изо всех сил колотит по тонким стеклам. Кролику всегда нравилось сидеть в доме, когда идет дождь. Черепица на крыше, стекло не толще картона предохраняют его, не давая промокнуть...

Гарри осторожно спрашивает:

— А ты знаешь, с кем она проводит время?

— Да, пап, и ты его тоже знаешь.

— Билли Фоснахт?

— Еще одна попытка. Бери постарше. Бери в греческом направлении.

— О господи! Да ты шутишь! Этот старый мерин?

Нельсон смотрит на отца настороженно — он ехидно замер. Он не смеется, хотя мог бы. Он поясняет:

— Он позвонил в «Блинный дом» и пригласил ее, и она подумала — а почему бы и нет? Ты не можешь не согласиться, что здесь довольно скучно. Он пригласил, ее просто поужинать. Она не обещала лечь с ним потом. Вся беда вашего поколения, пап, в том, что вы способны думать только в одном плане.

— Чарли Ставрос! — произносит Гарри, думая о том, как повернуть разговор. Похоже, что малый настроен пооткровенеичать. И Кролик, осмелев, продолжает: — Ты помнишь, он ведь встречался какое-то время с твоей матерью.

— Помню. Но все вокруг, похоже, об этом забыли. Вам, похоже, вполне уютно живется.

— Времена меняются. А ты считаешь, что мы не должны жить уютно?

Нельсон фыркает, усаживаясь поглубже на старый диван.

— Мне на это ровным счетом наплевать. Это не моя жизнь.

— Она была и твоей, — говорит Гарри. — Ты же был тут. Мне тебя было жаль, Нельсон, но я ничего не мог придумать. Эта бедняга Джилл...

— Папа...

— Знаешь, умер Скитер. Убили в Филадельфии при перестрелке. Кто-то прислал мне вырезку.

— Мама писала мне об этом. Ничего удивительного. Он же был сумасшедший.

— И да и нет. Знаешь, он говорил, что через десять лет умрет. У него действительно был некий...

— Пап! Давай прекратим этот разговор.

— О'кей. Мне все равно. Конечно.

Дождь. Такой славный, такой упорный... Взгляд Кролика отрывается от упрямо замкнутого лица Нельсона и вновь обращается к журналу. Лучший тип тостера на четыре ломтика, читает он, тот, у которого отдельная регулировка на каждую пару тостов. Ставрос и Мелани — кто бы мог подумать? Недавно Чарли все говорил, что ему нравится, как она держится.

Словно желая загладить свою резкость — он же оборвал отца, когда тот под влиянием дождя предался воспоминаниям, — Нельсон нарушает молчание:

— А как называется должность Чарли там, у вас?

— Старший торговый представитель. Он занимается подержанными машинами, а я новыми. Более или менее так. На практике же каждый занимается и тем и другим. Вместе с Джейком и Руди, конечно. — Он намеренно твердит малому про Джейка и Руди. Это не сынки богатых родителей, они за свой доллар вкалывают вовсю.

— А ты доволен тем, как работает Чарли?

— Абсолютно. Он знает дело куда лучше меня. И он знает половину округа.

— Угу, но вот со здоровьем у него не очень. Он, по-твоему, достаточно энергичен?

В вопросе чувствуется университетский подход. Кстати, он ведь толком не расспросил Нельсона про колледж — может, сейчас воспользоваться моментом? При женщинах Нельсону легче ускользнуть.

— Энергичен? Ему приходится следить за собой и не перегружаться. Но дело свое он делает. Люди нынче не любят, когда на них нажимают, а именно так раньше вели дела в торговле машинами. Мне кажется, люди больше доверяют продавцу, который — как бы это выразиться? — немного вяловат. Так что я не возражаю против того, как Чарли действует. — А сам думает: интересно, как к нему относятся Мелани. Где они — в каком-нибудь ресторане? Гарри представляет себе ее лицо: блестящие глаза слегка навывкате, точно она страдает щитовидкой, и раскрасневшиеся щеки, которые всегда кажутся нарумяненными (они были у нее румяные еще до того, как она купила «фудзи»), — молодое лицо, крепкое и гладкое; она сидит напротив старины Чарли с его профилем классического ловеласа и улыбается, улыбается, а он клеит ее...

— Я вот думал, — говорит Нельсон, — не стоит ли заняться спортивными машинами со складным верхом...

— Машинами со складным верхом? В каком смысле?

— Сам знаешь, пап, зачем же выживать это из меня. Покупать и продавать. Детройт их больше не производит, поэтому старые машины ценятся все дороже и дороже. Ты мог бы выручать за каждую куда больше, чем заплатил за мамин «Мустанг».

— Если ты их для начала не расколошматишь.

Это производит именно тот эффект, какой нужен Кролику.

— Тьфу! — восклицает парень, попав в западню, окидывая взглядом потолок в поисках щели, в которую можно было бы уползти. — Я же не расколошматил твою чертову бесценную «Корону», я только немножко ее поцарапал.

— Она все еще в мастерской. Нечего сказать — «поцарапал».

— Я же не специально, господи, пап, ты так себя ведешь, точно это священная колесница или что-то такое. До чего же с годами ты стал правильным.

— В самом деле? — вполне искренне спрашивает Гарри, считая, что это может пригодиться как бесценная информация.

— Да. Ты ведь только и думаешь о деньгах и в е щ а х.

— А это что же — плохо?

— Да.

— Ты прав. Забудем про машину. Расскажи-ка мне лучше про колледж.

— Это мура, — следует мгновенный ответ. — Город глупцов. Из-за той стрельбы десять лет назад люди думают, что в Кенте очень радикальная атмосфера, а на самом деле большинство ребят местные, из Огайо, для которых главное развлечение — накачаться пивом до тошноты да устраивать в общежитии потасовки с помощью крема для бритья. Большинство ведь наследует отцовское дело, так что наука им до фени.

Гарри пропускает его слова мимо ушей и спрашивает:

— А тебе никогда не случалось бывать на большом фэйрстоновском заводе? О нем все время пишут в газетах — там продолжают выпускать двигатели с радиально расположенными цилиндрами в пятьсот лошадиных сил, хотя эти двигатели то и дело взрываются.

— Типичная штука, — говорит мальчишка. — Вся продукция у нас такая. Вся американская продукция.

— А ведь мы когда-то производили все наилучшее, — говорит Гарри, глядя вдаль, точно отыскивая там место, где они с Нельсоном могли бы сойтись и поладить.

— Так мне говорили. — Мальчишка снова утыкается в свою книгу.

— Нельсон, насчет работы. Я сказал твоей маме, что на лето мы поставим тебя на мойку и текущий ремонт. Ты там многому научишься, просто наблюдая за работой Мэнни и ребят.

— Пап, я слишком стар для мойки. И потом мне, может, нужно что-то более постоянное, чем работа на лето.

— Ты что же, хочешь мне сказать, что намерен бросить колледж, хотя тебе осталось учиться всего какой-то паршивый год?

Он повысил голос, и мальчишка сразу встревожился. Он смотрит на отца, раскрыв рот, — темный провал рта и глазницы образуют три дыры на узком лице. Дождь барабанит по крыше веранды. Дженис и ее мамаша спускаются сверху, посмотрев «Уолтонов», обе в слезах. Дженис вытирает глаза пальцами и смеется.

— До чего же глупо так расчувствоваться. А ведь в «Пипл» писали, что все актеры перессорились и пьесу из-за этого пришлось снять.

— До чего же часто они повторяют по телевидению одно и то же, — говорит мамаша Спрингер, опускаясь рядом с Нельсоном на серый диван с таким видом, точно небольшое путешествие со второго этажа лишило ее последних сил. — Эту пьесу я и раньше видела, а все равно пронимает.

— Малый заявил мне, — объявляет Гарри, — что, наверно, не вернется в Кент.

Дженис, направившаяся было на кухню, чтобы плеснуть себе капельку кампари, застывает на месте. Жара такая, что на ней лишь коротенькое прозрачное negligje, накинутое на трусики.

— Ты же это знал. Гарри, — говорит она.

Красные узенькие трусики, подмечает он, которые кажутся сквозь неглиже тускло-малиновыми. На прошлой неделе, когда жара достигла апогея, она отправилась в Бруэр к парикмахеру, к которому ходит Дорис Кауфман. У нее теперь коротко остриженный затылок и челка — Гарри к этому еще не привык. у него такое чувство, будто какая-то чужая женщина болтается тут полуголая.

— Черта с два я знал! — чуть не на крике вырывается у него. — И это после того, как мы вложили такие деньги в его образование?

— Ну, — говорит Дженис, поворачиваясь так стремительно, что колыхнулось неглиже, — может, он там взял уже все, что мог.

— Я этого не понимаю. Тут что-то не то. Парень возвращается домой без всяких объяснений, его девчонка проводит время с Чарли Ставросом, а он сидит тут и намекает мне, чтобы я выставил Чарли и взял на это место его.

— Ну, — миролюбиво произносит мамаша Спрингер, — Нельсон ведь уже взрослый. Фред нашел же место для тебя, Гарри, и я знаю, что, будь он с нами, он бы нашел место и для Нельсона.

На серванте покойный Фред Спрингер слушает шум дождя и глядит затуманенным взором.

— Солидное место — нет, — говорит Гарри. — Во всяком случае, для человека, который бросает колледж, не дослушав нескольких ерундовых курсов, — никогда!

— Ну, Гарри, — говорит мамаша Спрингер, такая спокойная и размягченная, точно она не телевизор смотрела, а выкурила трубку гашиша, — некоторые люди сказали бы, что не таким уж ты был многообещающим, когда Фред взял тебя. Многие его отговаривали.

А там, в деревне, под землей фермер Байер оплакивает свой парк школьных автобусов, ржавеющих под дождем.

— Мне тогда было сорок лет, и я остался без работы не по своей вине. Я же был линотипистом и сидел за линотипом, пока он существовал.

— Ты занимался тем же, чем занимался твой отец, — говорит ему Дженис, — а именно этого хочет и Нельсон.

— Конечно, конечно, — кричит Гарри, — когда он окончит колледж — пожалуйста! Хотя, по правде говоря, я-то надеялся, что он захочет большего. Но почему такая спешка? И вообще зачем он вернулся домой? Если бы мне в его возрасте повезло попасть в такой штат, как Колорадо, уж по крайней мере лето я бы там провел.

Дженис, даже не подозревая, как эротично она выглядит, затягивается сигаретой.

— Почему ты не хочешь, чтобы твой собственный сын жил дома?

— Да слишком он взрослый, чтобы жить дома! От чего он бежит?

Судя по их лицам, он, видимо, напал на след, а на какой — не знает. Да и не уверен, что хочет знать. Ответом ему тишина, и в ней снова слышен шум дождя за стенами их освещенного владения — тихий, упорный, неустанный, миллионами крошечных ракет он поражает цель и сбегает ручейками с поверхностей. Где-то там лежат Скитер, Джилл, от которых остались уже одни кости.

— Забудем об этом, — говорит Нельсон, вставая. — Не хочу я никакой работы у этого омерзительного типа.

— Что это он так обозлился? — обращается к женщинам Гарри. — Я ведь только и сказал, что не понимаю, почему мы должны выгонять Чарли ради того, чтобы малый мог торговать спортивными машинами. Со временем — безусловно. Даже, может, еще в восьмидесятом году. Бери бразды в свои руки, молодая Америка. Заглатывай меня. Но всему свое время, бог ты мой. У нас еще куча времени.

— В самом деле? — как-то странно спрашивает Дженис. Она определенно что-то знает. Все сучки все знают.

Он поворачивается к ней.

— И ты туда же! Мне казалось, что уж ты-то должна бы относиться лояльнее к Чарли.

— Лояльнее, чем к собственному сыну?

— Вот что я тебе скажу. Вот что я вам скажу. Если уйдет Чарли, я тоже уйду. — Он пытается встать, но глубокое кресло не сразу выпускает его.

— Гип-гип ура! — произносит Нельсон, сдергивает свою джинсовую куртку с вешалки, стоящей у входной двери, и натягивает ее. Он выглядит горбившимся и жалким, точно крыса, которую вот-вот утопят.

— Теперь он покалечит «Мустанг». — Гарри наконец вылезает из кресла и встает во весь рост, возвышаясь над ними.

Мамаша Спрингер хлопает себя по коленям, растопырив пальцы.

— Ну, это препирательство вконец испортило мне настроение. Пойду согрею воду для чая. От этой сырости у меня в суставах все черти расплясались.

Дженис говорит:

— Гарри, попросишься с Нельсоном по-человечески.

Он возражает:

— Он же не попросился со мной по-человечески. Я пытался говорить с ним по-человечески о колледже, а впечатление такое, точно я рвал ему зубы. Вечно вы устраиваете из всего секреты! Я теперь даже не знаю, чему он учится. Сначала он готовился стать врачом, но ему, видите ли, оказалась не по зубам химия, потом это была антропология, но там, видите ли, слишком много надо было запоминать; последнее, что я слышал, — он перекинулся на общественные науки, но это оказалось слишком большим дерьмом.

— Я учусь на географа, — заявил Нельсон, топчась у двери — уж очень ему охота удрать.

— На географа! Географию ведь преподают в третьем классе! В жизни не слышал, чтобы взрослый человек изучал географию.

— А это, судя по всему, считается там серьезной специальностью, — говорит Дженис.

— Что же они целый день делают — раскрашивают карты?

— Мам, мне пора бежать. Где у тебя ключи от машины?

— Посмотри в кармане моего плаща.

А Гарри не может отвязаться от сына.

— Запомни, что дороги у нас здесь скользкие, когда мокро, — говорит он. — И если потеряешься, звони своему профессору географии...

Тут вмешивается Дженис:

— Нелли, ну почему ты не уходишь, раз собрался уходить? Ты нашел ключи?

Парень позвякивает ими.

— Ты обрекаешь свой автомобиль на самоубийство, — говорит ей Гарри. — Этот парень — убийца машин.

— Это же была всего лишь паршивая ца р а п и н а, — кричит Нельсон, обращаясь к потолку, — а он, видно, никогда не перестанет меня м у ч и т ь! — Дверь хлопает, успев впустить резкий ток воздуха, пахнущего дождем.

— Кто еще хочет чаю? — кричит из кухни мамаша Спрингер.

Они идут к ней. После забитой мебелью душной гостиной в кухне с ее сверкающими эмалированными поверхностями мир кажется менее мрачным.

— Гарри, не надо так напирать на мальчика, — советует ему теща. — У него столько забот.

— Каких, например? — резко спрашивает он.

— Ну-у, — произносит мамаша все так же мягко, ставя тарелки под чашки с блюдцами, как принято у Уолтонов¹⁵. — Мало ли что у молодых людей бывает.

Дженис говорит:

— В трудное мы живем время. Казалось бы, перед молодыми людьми открывается столько возможностей, и, однако же, это не так. Всю жизнь им внушали по телевидению, что они должны хотеть того и этого, а когда им исполняется двадцать, они обнаруживают, что деньги-то, оказывается, совсем не легко заработать. У них нет даже тех возможностей, какие были у нас.

Такие речи что-то на нее не похожи.

— А ты-то с кем на эту тему говорила? — презрительно спрашивает Гарри.

С Дженис нелегко стало справляться; она приглаживает челку растопыренными, как грабли, пальцами и отвечает:

¹⁵ Имеется в виду аристократическое семейство из многосерийного телефильма «Уолтоны».

— С некоторыми женщинами в клубе: у них дети тоже вернулись домой и не знают, что с собой делать. Этому даже теперь есть название — какое-то там возвращение в родное гнездо.

— Синдром возвращения в родное гнездо.— подсказывает Гарри: они его успокоили. Вот так же, бывало, они с папой и мамой, уложив Мим в постель, садились за кухонный стол, где стояли каша и какао, а иногда чай. Он чувствует, что может даже пожаловаться.— Если бы он хоть попросил помочь ему,— говорит он,— я бы постарался. Но он же не просит. Он хочет брать без спроса.

— Такова уж человеческая природа,— говорит мамаша Спрингер, взбодрившись. Чай заварился ей по вкусу, и, как бы желая поставить на разговоре точку, она добавляет: — Нельсон ведь премилый мальчик, просто на него сейчас слишком много, по-моему, навалилось.

— А на кого не навалилось? — спрашивает Гарри.

В постели... Гарри говорит жене:

— Мне нравится жить под одной крышей с Нельсоном. Это здорово, когда у тебя есть противник. Обостряет все чувства.

За окнами, но так близко, точно они стоят там, шелестит бук, принимая на себя льющиеся с листка на листок, с ветки на ветку, точно по лестнице, непрекращающиеся потоки дождя.

— Какой же Нельсон тебе противник? Он твой сын и нуждается в тебе сейчас больше чем когда-либо, только не может этого сказать.

Дождь — последнее оставшееся у Гарри доказательство, что бог есть.

— Я чувствую,— говорит он,— что есть что-то, чего я не знаю.

Дженис признает:

— Есть.

— Что же это? — И, не получая ответа, он задает другой вопрос: — А ты откуда знаешь?

— Мама и Мелани проболтались.

— Это что-то очень скверное? Наркотики?

— Ох, Гарри, нет.— Она невольно обнимает его: в своем неведении он, видимо, кажется ей таким ранимым.— Ничего похожего. Нельсон ведь по натуре похож на тебя. Он избегает грязи.

— Тогда что же, черт побери, происходит? Почему мне нельзя сказать?

Она снова прижимает его к себе и легонько смеется.

— Потому что ты не Спрингер.

Она погрузилась в сон и ровно, легонько посапывает, а он еще долго лежит и слушает дождь, не желая отсекал себя от этого звука, звука жизни. Не только ведь у Спрингеров есть тайна. Те голубые глаза, такие светлые, сзади в «Королле»... Дважды за то время, что он лежит без сна, на улице останавливается машина и в доме открывается входная дверь: в первый раз, судя по тому, как тихо урчит мотор и какие легкие шаги раздаются на крыльце, это Ставрос привез Мелани: во второй раз, всего несколькими минутами позже, слышно, как ревет мотор, потом резко выключается, и шаги звучат громко, вызывающе — это, должно быть, Нельсон явно перебрал пива. Судя по звукам, сопровождавшим приезд второй машины, Кролик приходит к выводу, что дождь стихает. Он прислушивается, не раздадутся ли молодые шаги на лестнице, но похоже, что одна пара ног проследовала за другой на кухню: Мелани решила перекусить. Любопытная штука насчет этих вегетарианцев — они, похоже, вечно голодны. Человек ест и ест — и всё не ту пищу. Кто это ему однажды сказал?..

Витрины «Спрингер моторс» недавно мыли, и Гарри, стоя за стеклом, не видит на нем ни пылинки — даже не поймешь, внутри ты или на улице, где работают свои кондиционеры, где вчерашний дождь омыл мир, оставив после себя лужи, и лишь в листве дерева у Придорожной кухни на той стороне шоссе 111 заметно угасание — то тут, то там мертвый или пожелтевший лист висит на кончике пышно убранной ветки, уже тронутой смертью. Транспорт в этот рабочий день течет непрерывным потоком. Картер все твердит, что осенью обложит налогом огромные доходы нефтяных компаний, но Гарри чувствует, что этому не бывать. Картер умен как черт и много молится, но, похоже, он дер-

жится той же тактики, что и старина Эйзенхауэр: не совершать крупных акций, а каждый день — по капельке.

Чарли заканчивает оформление покупки — он сбывает молодой черной паре восьмицилиндровый подержанный «бьюик» семьдесят третьего года выпуска: ну как не воспользоваться тем, что эти славные люди отстали от времени, не знают, что все изменилось, что у нас нехватка бензина и ловкачи вкладывают деньги в иностранные марки с моторами для швейных машин. Молодые люди даже приоделись ради такого случая — на жене костюм цвета лаванды с короткой, но отжившей моде, юбкой, обнажающей жесткие бугры икр. высоко посаженных на кривых тощих ногах... Милая сердцу картина из прошлого. И тем не менее Гарри подташничивает оттого, что он мало спал, и ощущение это не проходит. Чарли что-то говорит, так что оба сгибаются пополам от смеха, затем садятся в свою новую колыхающую и уезжают. Чарли возвращается за свой столик в углу прохладного демонстрационного зала, и Гарри подходит к нему.

— Как тебе понравилась вчера Мелани? — Он старается, чтобы в голосе не звучало издевки.

— Славная девушка. — Карандаш Чарли продолжает при этом летать по бумаге. — Очень открытая.

— Что же в ней открытого? — Голос Гарри звенит от возмущения. — Чудная она птица, с моей точки зрения.

— Ничего подобного, чемпион. У нее очень трезвая голова. Она из тех женщин, которые отпугивают людей тем, что насквозь все видят и потому держат себя в узде.

— Ты, значит, доводишь до моего сведения, что с тобой она держала себя в узде.

— Я ничего другого и не ожидал. В моем-то возрасте — кому это надо?

— Ты же моложе меня.

— Не душой. Ты из тех, кто еще учится.

Вот так же бывало и в школе, когда казалось, что всюду тайны, они порхали по коридорам, прыгали вокруг, точно мяч на площадке во время перемены, а Гарри не мог уловить ни одной, девчонки не давали до нее добраться, были шустрее его.

— Она вспоминала о Нельсоне?

— Довольно много.

— И как, по-твоему, что между ними?

— По-моему, они просто приятели.

— Ты больше не думаешь, что они спят вместе?

Чарли сдаётся, хлопает ладонями по столу и отъезжает от своих бумаг.

— Черт, я же не знаю, как у них все это происходит, у молодежи. В наше время если ты не спал с девчонкой, то перекидывался на другую. А у них, может, все иначе. Они не хотят женщин пачками, как мы. Если Мелани и спит с ним, то, судя по тому, как она о нем говорит, он для нее все равно что одноглазый мишка, которого обнимают, прежде чем заснуть.

— Она так к нему относится? Совсем по-детски.

— «Легкоранимый» — так она его назвала.

— Чего-то в этой картине недостает, — высказывает предположение Гарри. — Дженис вчера вечером обронила несколько намеков.

Ставрос слегка пожимает плечами.

— Может, это что-то там, в Колорадо. Какая-нибудь девчонка.

— Она ничего такого не говорила?

Ставрос отвечает не сразу — задумывается, указательным пальцем подправляет очки с янтарными стеклами и не снимает пальца с переносицы.

— Нет.

Гарри решает откровенно пожаловаться:

— Никак не могу понять, чего парень хочет.

— Хочет жить в реальном мире. По-моему, он хочет зацепиться здесь.

— Я знаю, что он хочет здесь зацепиться, но я этого не хочу. Мне как-то не по себе при нем. Да с такой унылой рожей он не сможет продать...

— ...даже кока-колу в Сахаре. — доканчивает за него Чарли. — Но хочешь не хочешь, а он внук Фреда Спрингера...

— Угу, и Дженис и Бесси обе наседают на меня — ты это видел в тот вечер. Они доведут меня до бешенства. У нас так славно, симметрично расставлены силы, а сколько машин мы продали в июле?

Ставрос бросает взгляд на листок бумаги, лежащий возле его локтя.

— Поверишь ли, двадцать девять. Тринадцать подержанных, шестнадцать новых... Вот уж никак не думал, что их удастся сбыть. притом что Детройт стал выпускать сейчас эти маленькие спортивные машинки за полцены. Но япошки — они умеют анализировать рынок.

— Поэтому к черту Нельсона. Да и от лета остался всего один месяц. Почему мы должны лишать Джейна и Руди части комиссионных, чтобы пограть избалованному парню, который не желает работать в мастерской? Тем более что ему и руки-то не пришлось бы марать — мы могли бы поставить его в отдел запасных частей.

Ставрос говорит:

— Ты мог бы положить ему твердую ставку здесь, в зале. Я бы взял его под свое крылышко.

Чарли, видимо, не понимает, что в таком случае вылетит он. Попробуй встать на чью-то защиту — и этот тип тут же начнет подрывать тебя. Но Чарли под конец все-таки прозревает суть проблемы — он так и говорит:

— Послушай! Ты зять тебя нельзя трогать. А я, единственно с кем я здесь связан, это со старухой, и причем чисто сентиментальными узами она меня любит, потому что я напоминаю ей о Фреде, о былых днях. Но узы крови сильнее сантиментов. Мне не за что уцепиться. Не можешь победить — уступай. А кроме того, думаю, я сумел бы поговорить с парнем, мог бы кое-что для него сделать. Не волнуйся, он здесь не задержится — слишком он непоседливый. Очень уж похож на своего старика.

— Я не вижу никакого сходства, — говорит Гарри, хоть ему и приятно это услышать.

— А ты и не можешь видеть. Не знаю, но, по-моему, тяжело нынче быть отцом. Когда я был мальчишкой, все вроде было проще. Скажи парню, что он должен делать, и если он этого не будет делать — выгоняй. Так я считаю. Когда ты с Джен и со старухой поедешь отдыхать в Поконы, Нельсон тоже поедет с вами?

— Они спрашивали его, но он не выразил особого энтузиазма. В детстве он всегда тосковал там. Господи, это же будет сущий ад — там и без того тесно. Даже здесь, в доме, в какую бы комнату ты ни зашел, всюду он сидит с пивом.

— Правильно. Так почему бы не купить ему костюм с галстуком и не попробовать его здесь? Положи ему минимальное жалованье, никаких комиссионных и никаких премий. Тогда он не так будет действовать тебе на нервы, а ты — ему.

— Как же это я могу действовать ему на нервы? Он просто вытирает об меня ноги. Без конца берет машину и еще хочет, чтоб я чувствовал себя виноватым.

Чарли не устаивает его ответом: все это он слышал уже не раз.

— Что ж, — признает Гарри, — это идея. А потом он вернется в колледж?

Чарли пожимает плечами.

— Будем надеяться. Может, ты сумеешь включить это в условия сделки.

Глядя вниз на узкую голову Чарли, пересеченную прядью темных волос, Кролик лишний раз замечает, какой у него вырос живот, этакая гора, распирающая костюм, он превратился в полтора человека, а некогда плотный Чарли за те же годы постепенно усох. Гарри спрашивает его:

— Ты действительно хочешь сделать это для Нельсона?

— Мне нравится парень. Для меня он как калека. Впрочем, нынче все они такие.

На ярком солнце остановилась машина, из которой вылезла пара и направилась к дверям демонстрационного зала — хорошо одетая пара вроде тех, что живут в Пенн-Парке; скорее всего они возьмут проспекты и отправятся в другое место покупать себе «мерседес», чтоб вложить капитал.

— Что ж, это будут твои похороны,— говорит Гарри, обращаясь к Чарли. А вообще-то все может получиться даже славно. Мелани не останется одна в большом доме. И Кролику вдруг приходит в голову, что это, возможно, идея Мелани, а для Чарли — способ не терять ее расположения.

Лежа с Нельсоном в постели, Мелани спрашивает его:

— Чему же ты учишься?

— О. разному.

Эти недели, пока старшие находятся в Поконах, они решили спать в ее постели в комнате окнами на улицу. За месяц с небольшим своего пребывания в этом доме Мелани постепенно отодвинула безголовый манекен в угол и спрятала подалеже другое уродливое имущество Спрингеров... С помощью клейкой ленты она прилепила несколько плакатов Питера Макса к стенам, и теперь комната выглядит уже вполне ее спальней. До сих пор они пользовались комнатой Нельсона, но кровать там односпальная, в которой он спал мальчишкой... Они вообще не собирались спать вместе в этом доме, но долгие неизбежные беседы, которые они ведут, не могли не привести к такому концу...

— Уйме всякого всего,— продолжает он.— Существует, например, целая система невидимого нажима производителя на торговца. Ты обязан покупать наборы их специальных инструментов на тысячи долларов, кроме того они не перестают переводить в стандарт то, что раньше считалось добавками, тем самым лишая продавца значительной части его дохода. Чарли рассказывал мне, что радио стоило торговцу около гридцати пяти долларов, а он добавлял к цене на машину этак долларов сто восемьдесят. Ну, а раз производители становятся все более алчными и отбирают у торговца эти возможности, торговцам приходится в свою очередь что-то придумывать. Например, грунтовку. Или обработку против ржавчины. Даже виниловые сиденья и те обрабатывают якобы для того, чтоб они меньше изнашивались. Вот такие дела. Это, конечно, разбой, но в то же время занятно — как люди обкручивают друг друга. У деда было специальное приспособление для проверки эксплуатационных качеств машин, но папа от него отказался. Похоже, Чарли считает папу лентяем и человеком халатным.

Она рывком садится.

— Знаешь, а я рада, что приехала. Мне здесь нравится. Здесь совсем как прежняя Америка. Все эти кирпичные дома, такие прочные, так близко стоят друг к другу.

— А я все это терпеть не могу. Воздух здесь такой сырой и затхлый и такой душный.

— У тебя в самом деле такое чувство. Нельсон? (Ему нравится, когда она вот так мурлычет его имя) Мне казалось, что в Колорадо ты был какой-то напуганный. Слишком там большие пространства. А может, это из-за ситуации...

Мелани всегда ходит накрашенная — и губы и румяна на щеках,— чтобы лицо не казалось таким оливковым, а вот Пру никогда не красится, губы у нее такие же бледные, как лоб и все лицо сухое и четкое, как на фотографии. Пру — при мысли о ней у Нельсона возникает неприятное ощущение, точно кто-то втирает ему в живот камушком песок. Он говорит:

— Больше всего меня здесь не устраивает, пожалуй, папа... Меня все в нем раздражает — то, как он сидит в гостиной, развалившись в глубоком кресле. Он... — Нельсон с трудом подбирает слова, так ему тошно,— просто сидит посреди нашего чертова мира и гребет и гребет под себя. Он же и половины не знает того, что знает Чарли. Что он сделал, чтобы создать этот магазин? Мой дед — тот пробивал себе дорогу, а папаша ничего не делал, только был никудышным мужем моей матери. А что он сделал, чтобы заслужить такие деньги,— просто оказался слишком ленивым и никчемным, чтобы уйти от матери, хоть ему и хотелось...

— Ты любил своего деда, верно, Нельсон? — Когда она накаурится травы, голос у нее становится хриплым и каким-то запредельным, точно она пифия, сидящая над своим треножником, как им рассказывали на уроке антропологии в Кенте. Кент... ощущение, что ему втирают в живот песок, усилилось.

— Он любил меня,— убежденно говорит Нельсон...— Он не критиковал меня без конца за то, что из меня не вышел великий спортсмен и что я не вырос до десяти футов.

— Я ни разу не слышала, чтобы отец критиковал тебя,— заметила она,— разве что когда ты расколошматил его машину.

— Да не колошматил я ее, черт подери, я только поцарапал мерзавку, а он уже которую неделю держит ее в ремонте и никак не может успокоиться, хочет, чтоб я чувствовал себя виноватым, или ни на что не годным, или что-то в этом роде. А ведь там и правда на дороге был зверек, какой-то маленький, не знаю какой, может, сурок, я бы видел полосы, если бы это был скунс, не понимаю, почему у этих дурацких животных такие короткие ноги — он же не шел, а п е р е в а л и в а л с я. Двигался напрямик на фары. Лучше бы я его убил. Эх, расколошматить бы все папочкины машины, всю его чертову наличность.

— Право, Нельсон, ты болтаешь что-то несусветное,— говорит Мелани вся еще в блаженном трансе.— Тебе же нужен отец. Нам всем нужны отцы. И твой отец по крайней мере к твоим услугам. Он вовсе не плохой человек.

— П л о х о й, действительно плохой. Он понятия не имеет, что происходит, и ему все равно, и он считает себя таким чудесным малым. Вот что меня заедает — то, что он счастлив. Так чертовски счастлив.— Нельсон чуть не рыдает...

— Ты так расстроен,— говорит Мелани,— из-за твоей ситуации. Но ведь в твоей ситуации отец не виноват.

— В и н о в а т,— упорствует Нельсон.— Он во всем виноват, это он виноват, что я ни к черту не годен, и ему это н р а в и т с я: по тому, как он иной раз на меня смотрит, сразу видно, что он наслаждается тем, что я такой. А как мама тапцует вокруг него — можно подумать, что он действительно для нее что-то с д е л а л, тогда как на самом деле все наоборот.

— Послушай, Нельсон, ну хватит,— воркует Мелани.— Забудь ты об этом хоть сейчас. А я постараюсь тебя утешить...

Перевела с английского Т. КУДРЯЦЕВА.

(Продолжение следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СТИХИ И ПИСЬМА

АННА АХМАТОВА. Н. ГУМИЛЕВ

Наивные и доверчивые письма семнадцатилетней гимназистки Ани Горенко (в будущем Анны Ахматовой), стихи Н. Гумилева, в которых проступает ее образ, его доверительные и деликатные письма к ней 1913—1917 годов — этот разнородный по жанру и по времени материал пронизан общим движением. Публикуемые стихи и письма с разных сторон освещают процесс преобразования повседневной жизни в искусство. Они вводят нас в подлинный мир мыслей и чувств двух художников. Анна Ахматова и Н. Гумилев говорят о себе, не оглядываясь на публику.

Письма А. А. Ахматовой относятся к периоду, описанному через шестьдесят лет ею самой в заметке «Коротко о себе»: «В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году. Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве... В 1910 (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж»¹. Эта сжатая ретроспективная автохарактеристика наполняется живыми подробностями в десяти письмах Анны Горенко. Картину гнетущей жизни в Крыму можно дополнить еще одним штрихом, который Анна Андреевна привела в конце жизни, беседуя с пишущей эти строки. Вспоминая мать, она показала, как Инна Эразмовна часами просиживала в глубокой задумчивости, не замечая, что непрерывно стучит пальцами по столу. Этот монотонный звук даже навел соседей на мысль о нелегальном типографском станке, на котором студент Андрей Горенко якобы печатал революционные прокламации. Врезавшийся в память образ удрученной женщины объясняет жалость к матери и неприязнь к отцу, отразившиеся в письмах Анны Андреевны с юга.

Для биографии Ахматовой важно упоминание о болезни, помешавшей ей сразу по окончании гимназии поступить на Высшие курсы. Активный процесс в легких (впоследствии зарубцевавшийся) открылся у Анны Андреевны позже, но эта болезнь была почти у всех детей Горенко. Еще до рождения Анны умерла в раннем детстве первая дочь, Ирина, в 1906 году скончалась старшая сестра Инна Андреевна Штейн, а в 1922 году от туберкулеза умерла младшая сестра Ахматовой, Ия Андреевна Горенко. Таким образом, боязнь чахотки, высказанная в осеннем письме 1907 года, возникла не из-за юношеской мнительности, а вследствие реальной угрозы, сопутствовавшей всей молодости Ахматовой. Этим объясняются мотивы обреченности и предчувствия близкой смерти, часто звучащие в ее раннем творчестве.

Письма Анны Андреевны адресованы Сергею Владимировичу фон Штейну (1882—1955). Это муж старшей сестры Анны Андреевны, приват-доцент, филолог. В период переписки со свояченицей он был уже вдовцом: Инна Андреевна скончалась 15 июля 1906 года, проведя последний год жизни на юге в разлуке с мужем. Скорая вторичная женитьба Штейна, возможно, послужила причиной охлаждения между ним и семейством Горенко, отраженного в двух последних письмах к нему Анны Андреевны.

Впоследствии Штейн навсегда покинул советскую Россию, а его вторая жена

Публикация, составление и примечания Э. Г. ГЕРШТЕЙН.

¹ В кн.: «Советские писатели. Автобиографии». М. «Художественная литература». 1966, т. III, стр. 30—31.

вышла замуж за Э. Ф. Голлербаха. Оказавшись таким образом владельцем архива С. Штейна, Голлербах передал 8 апреля 1935 года в Государственный литературный музей «десять писем Анны Андреевны Горенко-Ахматовой при условии, что они не будут опубликованы при жизни Ахматовой (ни целиком, ни в выдержках)». Однако он сам уже в начале 20-х годов опубликовал одну выдержку (из письма от 13 марта 1907 года). Она касается издания Н. С. Гумилевым русского журнала «Сириус» в Париже.

Письма А. А. Ахматовой печатаются по оригиналам, хранящимся в настоящее время в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Печатаются полностью в заново установленной хронологической последовательности (предположительные датировки Э. Голлербаха оказались неверными). Датировки, принадлежащие публикатору, заключены в квадратные скобки.

Письма Ани Горенко представляют значительный историко-литературный интерес. Мы встречаем здесь два из «великого множества» неизвестных в печати крымских стихотворений Ахматовой. Одно («Я умею любить») полностью, другое («Весенний воздух властно смел») в выдержке. Они дают материал для изучения процесса созревания мастерства молодого поэта. В оценках современной поэзии Анна Горенко уже в ту раннюю пору проявляет тонкий литературный вкус. Он сквозит в деликатном замечании о предпочтении прозы С. Штейна его бледным стихам, в скрытой иронии, с которой она излагает преувеличенно восторженные отзывы киевлян о произведениях прозаика Д. Айзмана. Делает честь юной читательнице наблюдение о зависимости второй книги стихов А. Блока от творчества В. Брюсова. Очевидно, Анна Андреевна находилась под впечатлением недавно вышедшего сборника «Венок». В самые значительные минуты своей жизни она привлекает два стихотворения из этой книги В. Брюсова для описания своего душевного состояния (см. письмо 5). В Фундуклеевской гимназии на уроке психологии, который вел известный философ Г. Г. Шпет, она цитирует стихотворение «Фонарики» из той же книги. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях бывшая одноклассница Анны Горенко В. Беер:

«Сегодня урок посвящен ассоциативным представлениям. Густав Густавович предлагает нам самостоятельно привести ряд примеров из жизни или литературы... Дружным смехом сопровождается напоминание, как у мистрис Никкльби из романа Диккенса «Николаас Никкльби», пользовавшегося у нас тогда большим успехом, погожее майское утро связывается с поросенком, жаренным с луком. И вдруг раздается спокойный, не то ленивый, не то монотонный голос:

Столетия-фонарики! о сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!

Торжественный размер, своеобразная манера чтения, необычные для нас образы заставляют настроиться. Мы все смотрим на Аню Горенко, которая даже не встала, а говорит как во сне.

Легкая улыбка, игравшая на лице Густава Густавовича, исчезла. «Чьи это стихи?» — проверяет он ее. Раздается слегка презрительный ответ: «Валерия Брюсова». О Брюсове слышали тогда очень немногие из нас, а знать его стихи так, как Аня Горенко, никто, конечно, не мог. «Пример 1-й Горенко очень интересен», — говорит Густав Густавович. И он продолжает чтение и комментирование стихотворения, начатого Горенкой...»²

Впоследствии Ахматова изменила свое отношение к Брюсову.

Но не изменялся образ сложившейся личности, проступающий сквозь строки писем семнадцатилетней девушки. Уже в ту пору определились некоторые темы, характерные для лирики Ахматовой на протяжении всего ее творческого пути: высокое представление о дружбе и одухотворенное чувство неразделенной любви.

Гимназистка Аня Горенко наивно думала, что она «отравлена на всю жизнь» любовью к петербургскому студенту Кутузову. Но дело не в нем. «Яд неразделенной любви» — лейтмотив любовной лирики Ахматовой. Это ее Муза заставляла называть счастливую любовь «рассудительной и злой». Это она, ее Муза, уже на закате дней Ахматовой диктовала ей изумительные строки:

Несостоявшаяся встреча
Еще рыдает за углом.

² «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л. «Наука», 1976, стр. 66.

В последние годы жизни Анна Андреевна была занята пересмотром своих сочинений, как и всей своей прошедшей жизни. В поздней литературной работе она охотнее обращалась к прозе, в частности много внимания уделяла автобиографическим запискам. В бумагах А. А. Ахматовой сохранились наброски, а иногда вполне отделанные фрагменты задуманной книги. Некоторые из них уже известны по посмертным публикациям. Среди них обращают на себя внимание планы различно построенных мемуарных произведений, в особенности подробный план трехчастной книги «Мои полвека». Там мы встречаем названия глав, совпадающих по содержанию с ее письмами Штейну: «Дафнис и Хлоя (Царскосельская идиллия)», «Стихи Н. С. Гумилева, Гимназия». И далее под дополнительным номером 10₁ мы читаем: «Царское Село (Гумилев. Тайна его любви)»³.

Судя по обзору ее фонда в ЦГАЛИ, в нем содержатся наброски или заготовки для этой трудной темы. Но еще до их обнародования мы можем воспользоваться другим источником, способным послужить ключом к пониманию этого замысла Ахматовой.

Сохранились сборники стихов Н. Гумилева с пометами Ахматовой. Они сделаны в 60-х годах в Москве, когда Анна Андреевна подолгу жила в Сокольниках у Любови Давыдовны Большинцовой-Стенич (1907—1983). Просматривая вместе с нею сборники Гумилева, Анна Андреевна отмечала стихотворения, в которых без упоминания ее имени говорилось о ней. Их не надо смешивать с прямыми посвящениями, как, например, «Анне Андреевне Горенко» на ранней книге «Романтические цветы» (1908) или «Анне Андреевне Ахматовой» на второй части книги «Чужое небо», вышедшей в 1912 году, или «Анне Ахматовой» на стихотворении «Возвращение», напечатанном в той же книге. Но это все творческие посвящения, а отбор, выполненный Анной Андреевной, на этот раз имел своей целью установить автобиографическое значение ряда стихотворений. Эти стихи мы сегодня и печатаем. Они относятся ко времени знакомства и последующего брака (1910—1918) Гумилева и Ахматовой. Конечно, в стихах Гумилева не описывается повседневная семейная их жизнь в Царском Селе или Слепневе (имении матери Гумилева), но дана внутренняя сущность их взаимоотношений. Коротко ее можно определить словами из стихотворения «Это было не раз», где героиня названа «мой враждующий друг», а взаимоотношения с ней определены как «наша битва глухая и упорная».

В поздние годы в беседах с друзьями Ахматова часто высказывала мысль о том, что у каждого настоящего поэта свой мир. Согласившись с этим, мы поймем, что соединение под одной крышей двух таких самобытных и сильных поэтов, как Гумилев и Ахматова, не сулило мирного уюта. Тут интересно вспомнить поздние автобиографические наброски Анны Андреевны, где она говорит о своем чтении в ранней юности романов Кнута Гамсуна. Характерно, что «Пан», где описана воинственная любовь двух гордых и сильных людей, нравился ей уже тогда больше, чем «Виктория», эта поэма о чистой взаимной любви, разбитой внешними препятствиями. Уже тогда она говорила в своих стихах о «пытке сильных — огненном недуге», о «страсти, раскаленной добела» (в черновике — о «бешенстве тоскующего зла»). Таково же ставшее знаменитым стихотворение Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью», где все построено на столкновении двух волей, на состязании — у кого сильнее выдержка. Еще яснее это выражено в стихотворении Ахматовой, написанном от лица мужчины: «Подошла. Я волнения не выдал. Равнодушно глядя в окно...»

Развитие так бурно начатых отношений, постепенное их углубление и возрастающий трагизм надвигаются на читателя в сделанной Ахматовой подборке стихов Гумилева. К ним надо добавить «Посылку», заключившую «Балладу» («Влюбленные, чья грусть как облака...») 1910 года:

Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая,
Ты знала все, ты знала, что и нам
Блеснет сиянье розового рая.

Кроме того, Анна Андреевна продиктовала Большинцовой четверостишие из стихотворения «Священные плывут и тают ночи», не включавшегося Гумилевым в свои сборники:

³ «Встречи с прошлым». Вып. 3. М. 1980, стр. 408—410.

А ночью в небе древнем и высоком
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне далеком
Звенит Ахматовой сиренный стих.

В записи Л. Д. Большинцовой со слов Анны Андреевны указано, что стихотворение написано на фронте, вероятно, в конце 1914 года.

Мы печатаем эти стихотворения в хронологической последовательности, принятой в изданиях, которые держала в руках А. А. Ахматова, живя в Сокольниках. Книжки эти принадлежали Л. Д. Большинцовой и сохраняются у ее родных, предоставивших нам их для публикации.

Но вернемся от стихов к документам. Предлагаем читателю двенадцать писем Н. С. Гумилева к А. А. Ахматовой и одно к матери.

Девять писем печатаются по копиям, снятым нами собственноручно в 1973 году с оригиналов, переданных затем в Пушкинский Дом. Из них семь писем печатаются впервые, а два уже были в 1972 году напечатаны — по другим копиям — в издании Кембриджского университета (публикация Аманды Хайт). Эти два письма мы воспроизводим с устранением допущенных неточностей. Еще четыре письма (1, 2, 4, 8) печатаем по кембриджской публикации. В «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год» приводятся выдержки из писем 3 и 13.

На многих из писем имеются карандашные пометы А. А. Ахматовой с указанием года или места написания. Эти даты, как и даты, установленные по почтовым штемпелям, мы заключаем в квадратные скобки.

В противоположность торжественности и экзотичности его стихов эпистолярный стиль Гумилева прост и почти по-детски ясен. Письма охватывают широкий круг тем, семейные и домашние дела органично переплетаются с литературными. Тут и постоянное обсуждение новых стихов друг друга, и проблемы литературных взаимоотношений акмеистов с поэтами других групп. Видно, что оба собеседника хорошо понимали один другого. Товарищей по литературной борьбе, мужа и жену, двух поэтов, связывала глубокая дружба. Это ясно выражено в надписи Ахматовой на сборнике ее стихов «Белая стая», подаренном Гумилеву в год их развода: «Моему дорогому другу Н. Гумилеву с любовью Анна Ахматова. 10 июня 1918. Петербург»⁴.

Э. Г. Герштейн.

Ранние письма А. А. Ахматовой

1

[1906 г.]

Мой дорогой Сергей Владимирович, простите и Вы меня, я в тысячу раз более виновата в этой глупой истории, чем Вы.

Ваше письмо бесконечно обрадовало меня, и я буду очень счастлива возвратиться к прежним отношениям, тем более что более одинокой, чем я, даже быть нельзя.

Мой кузен Шутка называет мое настроение «неземным равнодушием», и мне кажется, что он-то совсем не равнодушен, и, на мое горе, ко мне.

Все это, впрочем, скучная чепуха, о которой так не хочется думать.

Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходит ужинать в кабаки или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

⁴ «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год», стр. 60—61, подстрочное примечание 37.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рождество в Царское, к Вале, хоть на 3 дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где... ну да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать невысказано, и в голове такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, ничего кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переносу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть открытой и не с кем, а Вы поймете, Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не «зажилю», как говорят на юге.

Вы хороший, что написали мне, я Вам страшно благодарна. Что Вы делаете, думаете и видите ли Валерию?

Ваша Аня.

PS. Тоника советую сунуть в... Андрей говорил мне, что он все тот же. Куда Вам писать?

Мой адрес: г. Киев, Меринговская ул., д. № 7, кв. 4. А. А. Горенко.

Рождество — устный вариант произношения, употребляемый Ахматовой во всех этих письмах. Такое написание встречается у Пушкина в «Евгении Онегине» и в «Путешествии из Москвы в Петербург» (в цитате из «Горя от ума» Грибоедова).

В а л я — Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова), подруга Анны Андреевны по царскосельской гимназии. Ей посвящены стихотворения Ахматовой «Вместо мудрости — опытность...» (1913) и «Почти не может быть, ведь ты была всегда...» (1964).

А н д р е й — старший брат Ахматовой Андрей Андреевич Горенко (1886 — 1920). В. Г.-К.— Владимир Викторович Голенищев-Кутузов (1879 — ?), в 1907 году окончил Петербургский университет, факультет восточных языков.

Т о н и к а с о в е т у ю... — смысл этой недописанной фразы остается неясным.

2

[1906 г.]

Киев. Меринговская 7 кв. 4.

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рождество в Петербург. Это невозможно, во-первых, потому, что денег нет, а во-вторых, потому, что папа не захочет этого. Ни в том, ни в другом Вы помочь мне не можете, но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге. Если нет, то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чужое средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узнаете слог Диккенса?). Что мне делать?

Когда приеду, расскажу Вам одну удивительную историю, только напомните, я теперь все забываю.

Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица. Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки и не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

Между прочим, могу сообщить Вам, что бросила курить. За это кузены чествовали меня.

Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно — вообще скверно.

Летом Феодоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.

Милый, света нет.

Стихов я не пишу. Стыдно? Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня — в се.

Ваша Аннушка.

PS. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому известно.

Аня.

Феодоров — Федоров Александр Митрофанович (1868 — 1949), прозаик и поэт, живший в Одессе.

3

31 декабря 1906 г.

Дорогой Сергей Владимирович, сердечный припадок, продолжавшийся почти непрерывно 6 дней, помешал мне сразу ответить Вам. Неприятности сыпятся, как из рога изобилия, вчера мама телеграфировала, что у Андрея скарлатина.

Все праздники я провела у тети Вакар, которая меня не выносит. Все посильно издевались надо мной, дядя умеет кричать не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день: за обедом и после вечернего чая. Есть у меня кузен Саша. Он был товарищем прокурора, теперь вышел в отставку и живет эту зиму в Ницце. Ко мне этот человек относился дивно, так что я сама была поражена, но дядя Вакар его ненавидит, и я была, право, мученицей из-за Саши.

Слова «публичный дом» и «продажные женщины» мерно чередовались в речах моего дядюшки. Но я была так равнодушна, что и ему надоело наконец кричать, и последний вечер мы провели в мирной беседе.

Кроме того меня угнетали разговоры о политике и рыбный стол. Вообще скверно!

Может быть, Вы пришлете мне в заказном письме карточку Кутузова. Я только дам сделать с нее маленькую для медалиона и сейчас же вышлю Вам. Я буду Вам за это бесконечно благодарна.

Что он будет делать по окончании университета? Снова служить в Кр. Кресте? Отчего Вы не телеграфировали мне, как было условлено? Я день и ночь ждала телеграмму, приготовила деньги, платья, чуть билет не взяла.

Но уж такое мое счастье, видно! Сейчас я одна дома, принимаю визиты, а в промежутках пишу Вам. Это, конечно, не способствует стройности моего письма — но Вы простите, да?

Пишите, когда будет время, о себе. Мы так давно не виделись. Я буду на днях сниматься. Прислать Вам карточку?

Аня.

PS. Тысяча пожеланий на Новый Год.

Дядя и тетя Вакар — Виктор Модестович и его жена Анна Эразмовна Вакар (урожд. Стогова), старшая сестра матери Ахматовой.

4

[Январь 1907 г.]

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-sœur*. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов.

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как 5 месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так. Где Ваши сестры? верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

Сережа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez **.

Аня.

5

2 февраля 1907 г.

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспята на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши Пора.

И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это.

...всем судило Неизбежное,
Как высший долг,— быть палачом.

Меня бесконечно радуют наши добрые отношения и Ваши письма, светлые желанные лучи, которые так нежно ласкают мою больную душу.

Не оставляйте меня теперь, когда мне особенно тяжело, хотя я знаю, что мой поступок не может не поразить Вас.

Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам: я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело.

Вы пишете стихи! Какое счастье, как я завидую Вам. Мне нравятся Ваши стихотворения, я вообще люблю Ваш стиль.

* Свояченица (франц.).

** Пишите (франц.).

Тетрадь Ваших стихов у нас, и когда я вернусь домой, я вышлю ее Вам, если Андрей не предупредил меня. Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещью Кассандру Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко.

Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили ни где, ни когда он произойдет. Это — тайна, я даже Вале ничего не написала.

Пишите мне, Сергей Владимирович, мне стыдно просить об этом, отнимать у Вас время, которое Вам так дорого, но Ваши письма — такая радость.

Зачем Вы называете меня Анна Андреевна? Ведь последний год в Царском эти церемонии уже совершенно вышли из употребления. Я — другое дело. Но ведь разница в годах и положении играет большую роль.

Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторovichа. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня.

PS. Стихи Феодорова за немногими исключениями действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, — поэты. Благодарю Вас за Сонеты, я с удовольствием их читала, но должна сознаться, что больше всего мне понравились Ваши заметки. Не издает ли А. Блок новые стихотворения — моя кухня его большая поклонница.

Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н. С. Гумилева. Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

«Люблю ли его, я не знаю...» и далее — измененная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...».

«Сораспята я на муку...» и далее — заключительная строфа стихотворения В. Брюсова «В застенке» (из цикла «Из ада изведенные»). У Брюсова вторая строка читается: «Давний враг мой и сестра!» (см.: Валерий Брюсов. Венок. Стихи 1903 — 1905 гг. М. Изд-во «Скорпион». 1906, стр. 67, 68; ср.: Брюсов В. Я. Избранные стихотворения. Л. «Советский писатель». 1961, стр. 254, где то же стихотворение напечатано под заглавием «Дытка»).

«...всем судило Неизбежное...» и далее — из стихотворения В. Брюсова «Тезей Ариадне» (из цикла «Правда вечная кумиров»).

Иоланта — героиня одноименной оперы П. И. Чайковского.

Нет ли у Вас... — приписка сверху страницы письма.

[Февраль 1907 г.]

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне — я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня... Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно!

Я сплю 4 ч.* в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним моей радостью, но он мне (уввы!) не поверил.

Целую Вас, мой
дорогой друг.

Аня.

7

11 февраля 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам. Пусть Бог пошлет Вам исполнения Вашего самого горячего желания, а я никогда, никогда не забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: эlegantный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant**, по-русски этого нельзя выразить. Как раз сегодня Наня купила II-й сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. «Незнакомка» стр. 21, но оно великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны, судя по объявлению. Если бы Вы знали, мой дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня. Но довольно о нем. Я когда-то проиграла Мешкову пари — мои стихи. Вероятно, он поэтому спрашивал Вас о них. Я хочу послать ему анонимно маленькую поэму, которая посвящается нашим прогулкам летом 1905 г. Если случайно знаете его адрес, сообщите, пожалуйста. Мы кутим, и Сюлери играет главную роль в наших развлечениях. Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть,— это так безумно-хорошо. Сережа! я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Посылаю Вам одно из моих последних стихотворений. Оно растянуто и написано без искры чувства. Не судите меня как художественный критик, а то мне заранее страшно. В Вашем последнем письме Вы говорите, что написали что-то новое. Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи. Вот хорошо, если бы мы когда-нибудь встретились. Еще раз благодарю Вас за карточку, Вы не знаете, что Вы сделали для меня, мой хороший!

Аня.

Я умею любить

Я умею любить.

Умею покорной и нежною быть.

Умею заглядывать в очи с улыбкой

Манящей, призывной и зыбкой.

И гибкий мой стан так воздушен и строен,

И нежит кудрей аромат,

О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен

И негой объят...

Я умею любить. Я обманно стыдлива.

Я так робко нежна и всегда молчалива,

Только очи мои говорят.

* В подлиннике 14, считаем это опiscoй (см. письмо 2).

** Запугивающий, вызывающий робость (франц.).

Они ясны и чисты,
 Так прозрачно-лучисты,
 Они счастье сулят.
 Ты поверишь,— обманут,
 Лишь лазурнее станут
 И нежнее и ярче они,
 Голубого сиянья огни.
 И в устах моих алая нега,
 Грудь белее нагорного снега,
 Голос — лепет лазоревых струй.
 Я умею любить. Тебя ждет
 поцелуй.

Евпатория 1906 г.

На ня (кузина в письмах 2 и 5) — двоюродная сестра Анны Андреевны Марья Александровна Змунчила. Впоследствии вышла замуж за Андрея Андреевича Горенко. Ей посвящен стихотворный цикл «Обман», напечатанный в сборнике «Вечер». При перепечатке в «Четках» в посвящении указана новая фамилия кузины Ахматовой — Горенко.

Дата под стихотворением «Я умею любить» написана карандашом неизвестной рукой.

8

Киев, 13 марта 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за свою одичалость. Только вчера я достала «Жизнь человека», остальных произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла надежду. Жизнь отлетающей жизнью так тихо, тихо. Сестра вышивает ковер, а я читаю ей вслух французские романы или Ал. Блока. У нее к нему какая-то особенная нежность. Она прямо боготворит его и говорит, что у нее вторая половина его души. Напишите, какого у вас в кружке мнения об Давиде Айзмане. Его сравнивают с Шекспиром, и это меня смущает. Неужели будем мы современниками гения? Летом наша семья будет жить на даче около Севастополя. В первых числах июня я еду туда и буду в восторге, если Вы заедете к нам. Мы так давно не виделись!

Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере «Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною уже в Евпатории. Но я послала его слишком поздно и сомневаюсь, чтобы оно было напечатано. Но если это случится, то напишите мне о нем Ваше откровенное мнение и покажите еще кому-нибудь из поэтов. Профаны хвалят его — это дурной признак. Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других — ведь я больше не пишу. Мне все равно!

Все ушло из души вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, Вы хорошо понимаете меня.

...Из белых роз мне свей венок,
 Венок душисто-снежных роз,
 Ты тоже в мире одинок
 Ненужной жизни тяжесть нес,—

говорила я когда-то в крымском стихотворении «Весенний воздух властно смел».

Зачем Гумилев взялся за «Сириус». Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастлив наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти

все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно.

Аннушка.

PS. Когда кончатся экзамены Г-К?

«Жизнь человека» — драма Леонида Андреева.
...у вас в кружке... — подразумевается «Кружок поэтов имени К. К. Случевского».

Давид Айзман (1869 — 1922) — прозаик, примыкавший к группе писателей, печатавшихся в сборниках «Знание».

«Сириус» — журнал, издававшийся Н. С. Гумилевым в Париже на русском языке. Известны три номера, в третьем стихотворение А. Горенко отсутствует. (Сообщил А. С. Крюков.)

9

[Без даты]

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Ининых вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей Владимирович, если у Вас явится такая мысль, не присылайте браслета или не отвечайте мне на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам.

Не пишите тете Маше, что я говорила Вам о браслете. Она может это неверно понять.

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома — если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы — смерть. Ну и не иду — маму жаль.

Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд». Sic transit gloria mundi!*

Прощайте! Увидимся ли мы?!

Аннушка.

г. Севастополь. Малая Морская № 43 кв. 1.

Тетя Маша — старшая сестра Андрея Антоновича Горенко, отца Ахматовой. (Сообщил В. А. Черных.)

Гимназию кончила... — аттестат об окончании Анной Горенко Фундуклеевской гимназии датирован 28 мая 1907 года. (Сообщил А. С. Крюков.)

...курсы — смерть. Ну и не иду... — позднее Ахматова училась на женских курсах в Киеве, а переехав в 1910 году в Петербург — на Высших историко-литературных курсах Раева.

Письмо вложено в конверт с почтовым штемпелем 9.XII.1908, но, по-видимому, это дата другого, утраченного письма. По содержанию это письмо можно отнести только к концу 1907 года (после 5 сентября).

* Так проходит земная слава (лат.).

[Открытое письмо. Почтовый штемпель — 29.X.1910 Киев]

На днях возвращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня. Пожалуйста, передайте мое приглашение Екатерине Владимировне. О дне сговоримся по телефону. Здесь я проболела 2 недели.

Жму Вашу руку
Анна Гумилева.

Н. Гумилев

Царица

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.

Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.

И ты вступила в крепость Агры,
Светла, как древняя Лилит,
Твои веселые онагры
Звенели золотом копыт.

Был вечер тих. Земля молчала,
Едва вздыхали цветники
Да от зеленого канала,
Взлетая, реяли жуки.

И я следил в тени колонны
Черты алмазного лица
И ждал, коленопреклоненный,
В одежде розовой жреца.

Узорный лук в дугу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И острое найдет тебя.

Тогда бы вспыхнуло былое:
Князей торжественный приход,
И пляски в зарослях алоэ,
И дни веселые охот.

Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.

Семирамида

Светлой памяти И. Ф. Анненского

Для первых властителей завиден мой жребий,
И боги не так горды.
Столпами из мрамора в пылающем небе
Укрепились мои сады.

Там рощи с цистернами для розовой влаги,
Голубые, нежные мхи,
Рабы, и танцовщицы, и мудрые маги,
Короли четырех стихий.

Все манит и радует, все ясно и близко,
Все таит восторг тишины,
Но каждую ночью так страшно и низко
Наклоняется лик луны.

И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Озера

Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора,
Но каждую ночью так ясно мне снятся
Большие ночные озера.

На траурно-черных волнах неньюфары,
Как думы мои, молчаливы.
И будят забытые, грустные чары
Серебряно-белые ивы.

Луна освещает изгибы дороги
И видит пустынное поле,
Как я задыхаюсь в тяжелой тревоге
И пальцы ломаю до боли.

Я вспомню, и что-то должно появиться,
Как в сумрачной драме развязка,
Печальная девушка, белая птица,
Иль странная нежная сказка.

И новое солнце заблещет в тумане,
И будут стрекозами тени,
И гордые лебеди древних сказаний
На белые выйдут ступени.

Но мне не припомнить. Я, слабый, бескрылый,
Смотрю на ночные озера
И слышу, как волны лепечут без силы
Слова рокового укора.

Проснусь, и, как прежде, уверенны губы,
Далеко и чуждо ночное,
И так по-земному прекрасны и грубы
Минуты труда и покоя.

* * *

Ты помнишь дворец великанов,
В бассейне серебряных рыб,
Аллеи высоких платанов
И башни из каменных глыб.

Как конь золотистый у башен,
Играя, вставал на дыбы
И белый чапрак был украшен
Узорами тонкой резьбы.

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз.

Теперь, о скажи, не бледнея,
Теперь мы с тобою не те,
Быть может, сильнее и смелее,
Но только чужие мечте.

У нас как точеные руки,
Красивы у нас имена,
Но мертвой, томительной скуке
Душа навсегда отдана.

И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать,
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать.

Царское Село*

Это было не раз

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный темной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи — окрашены кровью.

* * *

Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо бесконечно голубое,
Небо, золотое от лучей.

И чего еще ты хочешь, сердце?
Разве счастье — сказка или ложь?
Для чего ж соблазнам иноверца
Ты себя покорно отдаешь?

Разве снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду,
Разве ты не властно жить, как травы
В этом упоительном саду?

1908**

* Помета А. А. Ахматовой.

** Дата помечена рукой А. А. Ахматовой.

Беатриче

I

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе.
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче?

Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе,
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?

Жил беспокойный художник,
В мире лукавых обличей —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.

Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти.

II

В моих садах цветы, в твоих — печаль,
Приди ко мне, красивою печалью
Заворожи, как дымчатой вуалью,
Моих садов мучительную даль.

Ты — лепесток иранских белых роз,
Войди сюда, в сады моих томлений,
Чтоб не было порывистых движений,
Чтоб музыка была пластичных поз.

Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор мэнад, а хор девичий
Пел красоту твоих печальных губ.

III

Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Темной пытки отчаянья, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмиренный, покорный, я твой навсегда.

Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
Нас крутили и били в объятьях железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.

Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков.
Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы
На хрустящий песок золотых островов.

IV

Я не буду тебя проклинать,
Я печален печалью разлуки,
Но хочу и теперь целовать
Я твои уводящие руки.

Все свершилось, о чем я мечтал
Еще мальчиком странно-влюбленным,
Я увидел блестящий кинжал
В этих милых руках обнаженным.

Ты подаришь мне смертную дрожь,
А не бледную дрожь сладострастья
И меня навсегда уведешь
К островам совершенного счастья.

Тот другой

Я жду, исполненный укором:
Но не веселую жену
Для задушевных разговоров
О том, что было в старину.

И не любовницу: мне скучен
Прерывный шепот, томный взгляд,—
И к упоеньям я приучен,
И к мукам, горше во сто крат.

Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне
За то, что я томился много
По вышине и тишине.

И как преступен он, суровый,
Коль вечность променял на час,
Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас.

Вечное

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот;

Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души...
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!

Я душу обрету иную,
 Все, что дразнило, уловя.
 Благословлю я золотую
 Дорогу к солнцу от червя.

И тот, кто шел со мною рядом
 В громах и кроткой тишине,
 Кто был жесток к моим уладам,
 И ясно милостив к вине,

Учил молчать, учил бороться,
 Всей древней мудрости земли,—
 Положит посох, обернется
 И скажет просто: «Мы пришли».

Современность

Я закрыл Илиаду и сел у окна,
 На губах трепетало последнее слово,
 Что-то ярко светило — фонарь иль луна,
 И медлительно двигалась тень часового.

Я так часто бросал испытующий взор,
 И так много встречал отвечающих взоров,
 Одиссеев во мгле пароходных контор,
 Агамемнонов между трактирных маркеров.

Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
 Застывают в серебряных льдах мастодонты,
 Их глухая тоска там колышет снега,
 Красной кровью — ведь их — зажжены горизонты.

Я печален от книги, томлюсь от луны,
 Может быть, мне совсем и не надо героя,
 Вот идут по аллее, так странно нежны.
 Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Однажды вечером

В узких вазах томление умирающих лилий.
 Запад был медно-красный. Вечер был голубой.
 О Леконте де Лиле мы с тобой говорили,
 О холодном поэте мы грустили с тобой.

Мы не раз открывали шелковистые томы
 И читали спокойно и шептали: не тот!
 Но тогда нам сверкнули все слова, все истомы,
 Как кочевницы звезды, что восходят раз в год.

Так певучи и странны, в наших душах воскресли
 Рифмы древнего солнца, мир нежданно-большой,
 И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в кресле
 Резкий профиль креола с лебединой душой.

Она

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов
Живет в таинственном жерданье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавлен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастье мое.

Когда я жажду своеволий
И смел и горд — я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Из логова змиева

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.

Твержу ей: крещеному
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору;
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.

Молчит — только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью, Богом заклую.

Укротитель зверей

...Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки.

Анна Ахматова.

Снова заученно-смелой походкой
Я приближаюсь к заветным дверям,
Звери меня дожидаются там,
Пестрые звери за крепкой решеткой.

Будут рычать и пугаться бича,
Будут сегодня еще вероломней
Или покорней... не все ли равно мне,
Если я молод и кровь горяча?

Только... я вижу все чаще и чаще
(Вижу и знаю, что это лишь бред)
Странного зверя, которого нет,
Он — золотой, шестикрылый, молчащий.

Долго и зорко следит он за мной
И за движеньями всеми моими.
Он никогда не играет с другими
И никогда не придет за едой.

Если мне смерть суждена на арене,
Смерть укротителя, знаю теперь,
Этот незримый для публики зверь
Первым мои перекусит колени.

Фанни, завял вами данный цветок,
Вы ж, как всегда, веселы на канате,
Зверь мой, он дремлет у вашей кровати,
Смотрит в глаза вам, как преданный дог.

Отравленный

«Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?»

Отвернулась печальной и гибкой...
Что я знаю, то знаю давно,
Но я выпью, и выпью с улыбкой,
Все налитое ею вино.

А потом, когда свечи потушат
И кошмары придут на постель,
Те кошмары, что медленно душат,
Я смертельный почувствую хмель...

И приду к ней, скажу: «Дорогая,
Видел я удивительный сон,
Ах, мне снилась равнина без края
И совсем золотой небосклон.

Знай, я больше не буду жестоким,
 Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним,
 Я уеду, далеким, далеким,
 Я не буду печальным и злым.

Мне из рая, прохладного рая,
 Видны белые отсветы дня...
 И мне сладко — не плачь, дорогая,—
 Знать, что ты отравила меня.

У камина

Наплывала тень... Догорал камин,
 Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
 Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался в глубь неизвестных стран,
 Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
 Странные вдали чьи-то города.

И не раз из них в тишине ночной
 В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
 Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
 Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
 Именем моим названа река,

И в стране озер пять больших племен
 Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
 И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
 Погребенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
 Эту цепь порвать ныне не вольны»...

И, тая в глазах злое торжество,
 Женщина в углу слушала его.

Сон

Застонал я от сна дурного
 И проснулся, тяжело скорбя;
 Снилось мне — ты любишь другого
 И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,
 Как убийца от плахи своей,
 И смотрел, как тускло блестели
 Фонари глазами зверей.

Ах, наверно, таким бездомным
 Не блуждал ни один человек
 В эту ночь по улицам темным,
 Как по руслам высохших рек.

Вот стою перед дверью твоею,
 Не дано мне иного пути,
 Хоть и знаю, что не посмею
 Никогда в эту дверь войти.

Он обидел тебя, я знаю,
 Хоть и было это лишь сном,
 Но я все-таки умираю
 Пред твоим закрытым окном.

Пятистопные ямбы*

М. А. Лозинскому.

Я помню ночь, как черную наяду,
 В морях под знаком Южного Креста.
 Я плыл на юг; могучих волн громаду
 Взрывали мощно лопасти винта,
 И встречные суда, очей отраду,
 Брала почти мгновенно темнота.

О, как я их жалел, как было странно
 Мне думать, что они идут назад
 И не остались в бухте необманной,
 Что дон Жуан не встретил донны Анны,
 Что гор алмазных не нашел Синдбад
 И Вечный Жид несчастней во сто крат.

Но проходили месяцы, обратно
 Я плыл и увозил клыки слонов,
 Картины абиссинских мастеров,
 Меха пантер — мне нравились их пятна —
 И то, что прежде было непонятно,
 Презренье к миру и усталость снов.

Я молод был, был жаден и уверен,
 Но дух земли молчал, высокомерен,
 И умерли слепящие мечты,
 Как умирают птицы и цветы.
 Теперь мой голос медлен и размерен,
 Я знаю жизнь не удалась... и ты,

Ты, для кого искал я на Леванте
 Нетленный пурпур королевских мантий,
 Я проиграл тебя, как Дамаянти
 Когда-то проиграл безумный Наль.
 Взлетели кости, звонкие, как сталь,
 Упали кости — и была печаль.

Сказала ты задумчиво и строго:
 «Я верила, любила слишком много,
 Я ухожу не веря, не любя,
 И пред лицом Всевидящего Бога,
 Быть может, самое себя губя,
 Навек я отрекаюсь от тебя».

* Последние пять строф этого стихотворения (1913) были заменены во время войны (в 1915 году) другими семью строфами. Печатаем оба варианта.

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и ранил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.

[Я не скорблю. Так было надо. Правый
Перед собой, не знаю я обид.
Ни тайнами, ни радостью, ни славой
Мгновенный мир меня не обольстит,
И женский взор, то нежный, то лукавый,
Лишь изредка, во сне, меня томит.

Лишь изредка, надменно и упрямо
Во мне кричит ветшающий Адам,
Но тот, кто видел лилию Хирама,
Тот не грустит по сказочным садам,
А набожно возводит стены храма,
Угодного земле и небесам.

Нас много здесь собралось с молотками,
И вместе нам работать веселей;
Одна любовь сковала нас цепями,
Что адаманта тверже и светлей,
И машет белоснежными крылами
Каких-то небывалых лебедей.

Нас много, но одни во власти ночи,
А колыбель других еще пуста,
О тех скорбит, а о других пророчит
Земных зеленых весен красота,
Я ж — Прошлого увидевшие очи,
Грядущего разверстые уста.

Все выше храм, торжественный и дивный,
В нем дышит ладан и поет орган;
Сияют нимбы; облак переливный
Свечей и солнца — радужный туман;
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран.]

То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой,
Такой, что сразу делалось темно
И сердце биться вдруг переставало,
В полях колосья сыпали зерно
И солнце даже в полдень было ало.

И в реве человеческой толпы,
В гуденьи проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: буди, буди.

Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
«Скорей вперед! Могила так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А пологом — зеленая листва,
Союзником — архангельская сила».

Так сладко эта песнь лилась, маня,
 Что я пошел, и приняли меня,
 И дали мне винтовку и коня,
 И поле, полное врагов могучих,
 Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
 И небо в молнийных и рдяных тучах.

И счастьем душа обожжена
 С тех самых пор; веселием полна,
 И ясностью, и мудростью, о Боге
 Со звездами беседует она,
 Глас Бога слышит в воинской тревоге
 И Божьими зовет свои дороги.

Честнейшую честнейших херувим,
 Славнейшую славнейших серафим,
 Земных надежд небесное Свершенье
 Она величит каждое мгновенье
 И чувствует к простым словам своим
 Вниманье, милость и благоволенье.

Есть на море пустынном монастырь
 Из камня белого, золотоголавый,
 Он озарен немеркнущею славой.
 Туда б уйти, покинув мир лукавый,
 Смотреть на ширь воды и неба ширь...
 В тот золотой и белый монастырь!

1912 — 1915.

Эзбекие

Как странно — ровно десять лет прошло
 С тех пор, как я увидел Эзбекие,
 Большой каирский сад, луною полной
 Торжественно в тот вечер освещенный.

Я женщиною был тогда измучен,
 И ни соленый, свежий ветер моря,
 Ни грохот экзотических базаров,
 Ничто меня утешить не могло.
 О смерти я тогда молился Богу
 И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен
 Священным рощам молодого мира:
 Там пальмы тонкие вносили ветви,
 Как девушки, к которым Бог нисходит;
 На холмах, словно вещие друиды,
 Толпились величавые платаны,

И водопад белел во мраке, точно
 Встающий на дыбы единорог;
 Ночные бабочки перелетали
 Среди цветов, поднявшихся высоко,
 Иль между звезд — так низко были звезды,
 Похожие на спелый барбарис.

И, помню, я воскликнул: «Выше горя
И глубже смерти — жизни! Прими, Господь,
Обет мой вольный: что бы ни случилось,
Какие бы печали, униженья
Ни выпали на долю мне, не раньше
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью
Под пальмы и платаны Эзбекие».

Как странно — ровно десять лет прошло,
И не могу не думать я о пальмах,
И о платанах, и о водопаде,
Во мгле белевшем, как единорог.
И вдруг оглядываюсь я, заслыша
В гуденьи ветра, в шуме дальней речи
И в ужасающем молчаньи ночи
Таинственное слово — Эзбекие.

Да, только десять лет, но, хмурый странник,
Я снова должен ехать, должен видеть
Моря, и тучи, и чужие лица,
Все, что меня уже не обольщает,
Войти в тот сад и повторить обет
Или сказать, что я его исполнил
И что теперь свободен...

Письма Н. С. Гумилева к А. А. Ахматовой

1

[1912. Слепнево]

Милая Аничка, как ты живешь, ты ничего не пишешь. Как твое здоровье, ты знаешь, это не пустая фраза. Мама нашла кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь. Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю, хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном (английским) дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой, или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракеты. Таким образом, хоть похудею. Молли наша доживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все амеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби.

Я описал круг и возвращаюсь к эпохе «Романтических цветов» (вспомни Волчицу и Каракаллу), но занимательно то, что когда я думаю о моем ближайшем творчестве, оно по инерции представляется мне в просветленных тонах «Чужого неба». Кажется, земные наши

роли переменятся, ты будешь акмеисткой, я мрачным символистом. Все же я надеюсь обойтись без надрыва.

Аничка милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Кланяйся всем, пиши. Целую.

Твой Коля.

...кучу маленьких рубашечек...— Анна Андреевна ждала ребенка. Родила в Петербурге сына Льва 1 октября (нового стиля) 1912 года.

Мы с Олей...— Ольга Кузмина-Караваева, двоюродная сестра Гумилева.

Александра Алексеевна Львова, родственница Н. С. Гумилева со стороны матери.

«Романтические цветы» — вторая книга стихов Н. Гумилева (Париж, 1908, первое издание).

«Чужое небо» — четвертая книга стихов Н. Гумилева (СПб. 1912).

2

[1913]

Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров; снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел Жатву. Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавна по тому, как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского.

Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст и Дункан и вся тяжелая артиллерия.

Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными.

Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады.

Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне ближе Чужого неба.

Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше.

Целуй от меня Льведа (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить папа. Пиши мне до 1 июня в Дире-Дауа (Dire-Daoua, Abyssinie, Afrique), до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу.

...просмотрел Жатву. Твои стихи...— В четвертой книге журнала «Жатва» за 1913 год были напечатаны стихотворения Ахматовой «Отрывок» («И кто-то во мраке дерев незримый...»), «Протертый коврик под иконой...» и «Безвольно пощады просят...».

Садовский Б. А. (Садовской; 1881 — 1952) — русский советский писатель, литературный критик, поэт.

...твои строки о «приморской девчонке» и «...от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца» — строки из стихотворения Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможенной...»

...пожалуй (по-своему), Нарбут...— Владимир Иванович Нарбут (1888—1944) принадлежал к литературной группе акмеистов, возглавлявшейся Н. С. Гумилевым и С. М. Городецким.

«Жемчуга» — третий сборник стихов Н. Гумилева (СПб., 1910, первое издание).

Маленький...— Николай Леонидович Сверчков, племянник Н. Гумилева, в отличие от него прозывавшийся в семье Коля-маленький.

3

[13 апреля 1913]

Милая Аника, представь себе, с Одессы ни одного стихотворения. Готье переводится вяло, дневник пишется лучше. Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь. Никаких разговоров о литературе, о знакомых, море хорошее, прежнее. С нетерпением жду Африки. Учи Леву говорить и не скучай. Пиши мне, пусть я найду в Дире-Дауа много писем. И помечай их числами.

Горячо целую тебя и Леву; погладь Молли.

Всегда твой

Коля.

Открытое письмо с изображением Суэцкого канала. Дата почтового штемпеля 13.4. Ручкой А. А. Ахматовой обозначен карандашом год — 1913. Адресовано в Царское Село.

Готье переводится вяло...— сборник стихов Теофиля Готье (1811 — 1872) «Эмали и камеи» в переводе с французского Н. Гумилева вышел в Петербурге в 1914 году.

4

[1913]

Дорогая моя Аника, я уже в Джибути, доехал и высадился прекрасно. Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей пятьдесят и вообще оказывает ряд услуг. Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джедде с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника.

Что ты подельываешь? Право, уже в июне поезжай к Инне Эразмовне. Если не хватит денег, займи, по возвращении в Петербург у меня они будут. Присылай мне сюда твои новые стихи, непременно. Я хочу знать, какой ты стала. Леве скажи, что у него будет свой негритенок. Пусть радуется. С нами едет турецкий консул, назначенный в Харрар. Я с ним очень подружился, он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Харраре. Со здешним вице-консулом Галобом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно помирился, и он оказал мне ряд важных услуг.

Целую тебя и Левика.

Твой Коля.

Адресовано в Царское Село.

Магический открытый лист...— в 1913 году Н. Гумилев поехал в Абисинию «с открытым листом от Академии наук... для приобретения предметов быта (этнография)» (А. А. Ахматова, «Гумилев и Африка» — «Встречи с прошлым». Вып. 3. М. 1980, стр. 419).

...попробовал... писать в стиле Гилеи...—«Гилея»—футуристическая группировка, в которую входили В. Хлебников, В. Маяковский, братья Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, А. Крученых и Б. Лившиц.

...мы поймали акулу... заняло две страницы дневника — статья Н. Гумилева «Ловля акулы» была напечатана в «Ниве» (см. А. А. Ахматова, «Гумилев и Африка»).

5

[Июль 1914]

Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск[осельском] Вок[зале], но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у послед-

него не сегодня-завтра родится ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, директор театра Мгебров (офицер).

У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Пру бросил. Жду, что запишу стихи.

Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую.

Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя

Твой Коля.

Целую ручки Инне Эразмовне.

Д е р а ж н я — имение Анны Эразмовны Вакар. Мать Анны Андреевны гостила у нее.

Т е р и о к и — ныне Зеленогорск на берегу Финского залива.

Е в р е й н о в Н. Н. (1879 — 1953) — режиссер.

К у л ь б и н Н. И. (1866 — 1917) — художник, врач.

Л о з и н с к и й М. Л. (1866 — 1955) — поэт, переводчик.

Г и б ш м а н К. Э. (1884 — 1943) — драматический и эстрадный актер.

М г е б р о в А. А. (1884 — 1966) — драматический актер, режиссер.

...беседовал с Маковским — Маковский С. К. (1878 — 1962), художественный критик, редактор журнала «Аполлон», в котором Гумилев систематически печатал критические обзоры выходящих поэтических сборников («Письма о русской поэзии»).

Б о р о д а е в с к и й В. В. (1876 — 1923) — поэт.

6

[17 июля 1914. Спб.]

Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся.

Твой Коля.

Получено в Слепневе 19 июля. Почтовый штемпель.

7

[До 6 сент. 1914. Новгород]

Дорогая Аничка (прости за кривой почерк, только что работал пикой на коне — это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитывать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый Год встретим как прежде в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокового, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т. е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбоя. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, и хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло.

Только сегодня мы решили запираяться на крючок, не знаю, может ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе

как о царствии небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли.

Крепко целую тебя, маму и Леву и всех.

Твой Коля.

Почтовый штампель — «Гвардейский запасной», «...ейский полк. Для пакетов», получено в Царском Селе 6.9.1914 Помечено карандашом рукой Ахматовой «Из Новгорода. 1914».

...в Собаке — подразумевается артистический подвал «Бродячая собака» в Петербурге (1912 — 1915).

8

[Без даты]

Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю действ. армию, в мой полк, эскадрон ее величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло), скачу верхом, а по ночам сплю, как убитый.

Раненых привозят не мало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможно, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу.

Твой Коля.

...«собирала французские пули...» — две строки из поэмы Ахматовой «У самого моря».

9

6 июля 1915.

Дорогая моя Аничка, наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе (с сологубовским), первого пока нет. А я уж послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливали наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает редко. Здоровье мое отлично.

Ну и задала же ты мне работу с письмом Сологубу. Ты так трогательно умоляла меня не писать ему кисло, что я трепетал за каждое мое слово — мало ли что могло причудиться в нем старику. Однако все же сочинил и посылаю тебе копию. Лучше, правда, не мог, на войне тупеешь.

Письмо его меня порадовало, хотя я не знаю, для чего он его написал. А уж наверно для чего-нибудь! Впрочем, я думаю, что оно достаточная компенсация за его поступки по отношению лично ко мне, хотя желанье «держаться подальше от акмеистов» до сих пор им не искуплено.

Что же ты мне не прислала новых стихов? У меня кроме Гомера ни одной стихотворной книги. и твои новые стихи для меня была бы такая радость. Я целые дни повторяю «где она, где свет веселый серых звезд ее очей» и думаю при этом о тебе, честное слово.

Сам я ничего не пишу — лето, война и негде, хаты маленькие и полны мух.

Целуй Львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю.

В конце сентября постараюсь опять приехать, может быть, буду издавать «Колчан». Только будет ли бумага, вот вопрос.

Целую тебя, моя дорогая, целуй маму и всех.

Да, пожалуйста, напишите мне, куда писать Мите и Коле маленькому. Я забыл номер Березинского полка.

Твой всегда Коля.

Копия письма Федору Кузмичу Сологубу:

Мн[огоуважаемый] Ф[едор] К[узмич]

Горячо благодарю Вас за Ваше мнение о моих стихах и за то, что Вы пожелали мне его высказать. Это мне тем более дорого, что я всегда Вас считал и считаю одним из лучших вождей того направления, в котором протекает мое творчество. До сих пор ни критика, ни публика не баловали меня своей симпатией. И мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте, хотя, конечно, искусство для меня дороже и войны и Африки. Ваши слова очень помогут мне в трудные минуты сомненья, которые, вопреки Вашему предположенью, бывают у меня слишком часто.

Простите меня за внешность письма, но я пишу с фронта. Всю эту ночь мы ожесточенно перестреливались с австрийцами, сейчас отошли в резерв и нас сменили казаки; отсюда слышно и винтовки и пулеметы.

Искренне преданный Вам

Н. Гумилев.

Я целые дни повторяю «где она, где свет веселый...» — цитата из стихотворения Ахматовой «Долго шел через поля и села» Цитируя, Гумилев ошибся: вместо слова «звезд» написал «глаз»

..буду издавать «Колчан» — пятый сборник стихов Н. Гумилева (Пгр. 1916).

М и т я — Дмитрий Степанович Гумилев, брат поэта.

Дорогая Аничка, пишу тебе и не знаю, в Слепневе ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь.

Мы все воюем, хотя геперь и не так ожесточенно. За 6-е и 7-е наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону. Здесь тоже непрерывный бой, но много пехоты и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и т. д.

Здесь каждый день берут по несколько сот пленных все германцев, а уж убивают без счета, здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты озверели и дерутся прекрасно.

По временам к нам попадают газеты, все больше «Киевская Мысль», и не очень поздняя, сегодня, например, от 14-го.

Погода у нас неприятная: дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много — вот уж 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками. Но, конечно, несравнимо с зимой.

Я все читаю Илиаду; удивительно подходящее чтение. У ахеев тоже были и окопы и заграждения и разведка. А некоторые описанья, сравнения и замечанья сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер.

Помнишь, Аничка, ты была у жены полковника Маслова, его только что сделали флигель-адъютантом.

Целую тебя, моя Аня, целуй маму, Леву и всех; погладь Молли.

Твой всегда Коля.

Курры и гуси!

Адресовано в Слепнево в припиской на конверте с адресом: «Анне Андреевне Гумилевой, за отсутствием распечатать Анне Ивановне» (матери Н. Гумилева). На обороте рукой А. А. Ахматовой карандашом дата получения «1915 г. 21 июля».

11

25 июля 1915.

Дорогая Аничка, сейчас получил твое и мамино письма от 16-го, спасибо, что вы мне так часто пишете. Письма идут, оказывается, десять дней. На твоём есть штампель «просм. военной цензурой».

У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет. Правда, мы отошли, но немец мнетя на месте и боится идти за нами.

Ты знаешь, я не шовинист. И однако, я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положение ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу.

У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка, понятно, все вареное. Папирос, увы, нет и купить негде. Ближайший город верст за восемь — десять. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно.

Стихи твои, Аничка, очень хороши, особенно первое, хотя в нем есть неверно взятые ноты, напр. стр[ока] 5-я и вся вторая строфа; зато последняя строфа великолепа; только [это не] описка? «Голос Музы еле слышный...» Конечно, «ясно или внятно слышный» надо было сказать. А еще лучше «так далеко слышный».

Второе стихотворенье или милый пустячок (размер его чет. хорей говорит за это), или неясно. Вряд ли героине поручалось беречь душу от Архангела. И тогда 9-я и 10-я строчки возбуждают недоуменье.

В первом стихотворении очень хороша (что ново для тебя) композиция. Это мне доказывает, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт.

Пожалуйста, не уезжай, не оставив твоего точного адреса в Слепневе, потому что я могу приехать неожиданно и хочу знать, где тебя найти. Тогда я с дороги запрошу телеграммой «где Аня?», и тогда ответьте мне телеграммой же в Петербург, Николаевский вокзал, до востребования, твой адрес.

Целую тебя, маму, Леву.

Пожалуйста, скучай как можно меньше и уже вовсе не хворай.
Маме я писал 10-го.
Получила ли она?

Твой всегда Коля.

Стихи твои, Аничка.. особенно первое...— речь идет о стихотворении «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...».

Второе стихотворенье...— «Не хулил меня, не славил...».

12

2 августа 1916.

Милая и дорогая мамочка, я уже вторую неделю в полку и чувствую себя совсем хорошо, кашляю мало, нервы успокаиваются. У нас каждый день ученья, среди них есть и забавные, например парфорсная охота. Представь себе человек сорок офицеров, несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес, через пашню, и вдобавок берущих препятствия: канавы, валы, барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно — посередине очень крутого спуска забор и за ним канава. Последний раз на нем трое перевернулись с лошадыми. Я уже два раза участвовал в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое удивление. Слепневская вольтижировка, очевидно, мне помогла. Правда, моя лошадь отлично прыгает.

Теперь уже выяснилось, что если не начнутся боевые столкновения (а на это надежды мало), я поеду на сентябрь, октябрь держать офицерские экзамены. Конечно, провалюсь, но не в том дело, отпуск все-таки будет. Так что с половины августа пиши мне на Аполлон (Разъезжая, 8). Я думаю выехать 22-го или 23-го, а езды всего сутки.

Здесь, как всегда, живу в компании и не могу писать. Даже «Гондлу» не исправляю, а следовало бы.

У нас в эскадроне новый прапорщик из вольноопределяющихся полка, очень милый. Я с ним, кажется, сойдуся, и уже сейчас мы усиленно играем в шахматы.

Завтра полковое ученье, идти придется за тридцать верст, так что всего сделаем верст семьдесят. Хорошо еще, что погода хорошая.

Пока целую тебя, милая мамочка, целуй Леву, кланяйся всем.

Твой Коля.

Мать Н. Гумилева Анна Ивановна (урожденная Львова) умерла в декабре 1942 года.

«Гондла» — драматическая поэма Н. Гумилева. Напечатана в журнале «Русская мысль», 1917, № 1.

13

[1917. Париж]

Дорогая Аничка, ты, конечно, сердисься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего заместителя от Временного Правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоём приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.

Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. Теперь дело: они хотят ехать в Россию, уже послали свои опросные листы, но все это очень медленно. Если у тебя есть кто-

нибудь под рукой из мин. иностр. дел, устрой, чтобы он нашел их бумаги и телеграфировал сюда в Консульство, чтобы им выдали поскорее [новые] паспорта [взамен просроченных на право приезда в Россию]. Их дело совершенно в порядке, надо только его ускорить.

Я здоров и доволен своей судьбой. Дня через два завожу постоянную комнату и тогда напишу адрес. Писать много не приходилось, все бегал по разным делам.

Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский (помнишь, бывал у Судейкиных). Приезжал из Рима Трубников.

Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя.

Всегда твой

Коля.

Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячины из Galerie Lafayette.

Приписка А. А. Ахматовой, адресованная Анне Ивановне Гумилевой:

Милая Мама, только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо?

Целую тебя и Леву.

Твоя Аня.

...вроде Анрепа...— Анреп Б. В. (1883—1964), русский художник-мозаист, художественный критик, писал стихи, сотрудничал в журнале «Аполлон». С 1908 года жил и работал на Западе, в 1914 году вернулся в Россию, воевал, в 1916 и 1917 годах, наезжая в Петроград, служил в Париже и Лондоне в русском правительственном комитете. Ахматова посвятила ему много стихов, напечатанных в «Белой стае» и «Полорожнике».

Я. постоянно с Гончаровой и Ларионовым.—Гончарова Н. С. (1881—1962) и Ларионов М. Ф. (1881—1964), выдающиеся русские живописцы, муж и жена.

Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский (помнишь, бывал у Судейкиных)—Аничков Е. В. (1866—1937), историк литературы, профессор; Минский Н. М. (1855—1937), писатель; Мещерский Б. А., художник; Судейкин С. Ю. (1884—1946), художник, и его жена Глебова-Судейкина О. Аф. (1890—1945), актриса, воспетая впоследствии Ахматовой в «Поэме без героя».

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

★

ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ*

Опасность миновала, мы двинулись дальше, дождь полил еще сильнее, ночь стала еще холоднее.

В Лурде мы узнали, что к власти в стране пришел старый генерал и что он и его фашистский кабинет объявили о прекращении военных действий против немцев. Они просили немцев о перемирии. Какие условия поставят немцы? Какую часть Франции они оккупируют? Где мы окажемся, когда перемирие будет заключено: в оккупированной или неоккупированной части страны? Ползли сотни слухов. Ничего определенного узнать было невозможно.

И вдруг наш состав тронулся обратно по отрезку пути, пройденному уже вчера.

Выяснилось, что немцев под Байонной не было. Именно наш злосчастный транспорт вызвал нелепые слухи о немцах и сам стал их жертвой, жертвой чудовищного недоразумения. Произошло следующее. Наш поезд шел по местности, переполненной беженцами. Чтобы обеспечить своим солдатам горячую пищу, комендант нашего транспорта должен был своевременно предупредить офицеров-снабженцев о нашем прибытии. «Я прибуду с двумя тысячами бошей. — кричал он интендантам по телефону. — приготовьте нам еду». Слухи о нескольких тысячах немцев, прибывающих в Байонну, опережали наш эшелон. В дезорганизованной, подверженной панике стране безобидный телефонный разговор трансформировался в сообщение о немцах в солдатских мундирах. Мы бежали от собственной тени

Мы остановились около большой станции, думаю, это была Тулуза. Возле нас стоял пустой состав, уборщица мыла окна. Мы крикнули ей: «Скажите, мадам, заключено ли перемирие?» Женщина продолжала свою работу. «Да, — сказала она, — думаю, что да».

Мы раздобыли газету. Газета была в траурной кайме. Перемирие заключено.

Мы внимательно изучили газетные страницы. Сообщения были скупы, содержание их неясно, неопределенно. Но была карта с заштрихованной оккупированной частью страны, свободная же часть оставалась белой. Мы находились в белой ее части. Это очевидно.

Я присел на подножку одного из вагонов, уборкой которого занималась та женщина. Некоторые из нашего транспорта заговаривали со мной. Я не вслушивался в их слова. Перемирие... Эта война была нашей войной. Проиграли ли мы ее? Нет, мы ее не проиграли. Французские фашисты отдали свою страну нашему врагу. Это явилось для нас ударом, но никоим образом не означало, что война проиграна. Это ничего не говорит о военной мощи нашего противника. Это не военная победа. Это всего лишь подтверждение давно известной нам истины: фашисты любой страны в критический момент пожертвуют своими национальными интересами ради собственных особых интересов.

Я ни минуты не сомневался в конечной победе нашего дела. Само собой разумеется, я не рискнул рисовать ни себе, ни другим ни ближайших, ни более

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

отдаленных перспектив, я не знал, что конкретно произойдет в мире, когда закончится эта война. Но с самого начала я точно знал — не только разумом, но и чувством, знал с уверенностью, которую ничто не могло поколебать: в конце этой войны национал-социализм, фашизм будет побежден.

«По вагонам!» — крикнули солдаты охраны. В нашем вагоне начались ожесточенные споры. Кончилась ли война? Лишь немногие так считали. Военное поражение Франции, во всяком случае так казалось, — следствие того, что генералитет, недееспособный и в известной мере тяготеющий (по крайней мере, внутренне) к нацистам, пустил фашистов в страну. Перемирие, следовательно, в некоторой степени явилось лишь подтверждением факта, в котором уже никто не сомневался. Нам всем, тем, кто находился в эшелоне, это перемирие на ближайшее время давало преимущества. Ведь мы вынуждены были участвовать в войне пленниками, бессильными жертвами неразумной, если не предательской, военной клики. Теперь война окончена, и каков бы ни был ее конец, это лучше, чем невыносимо тяжелые переживания последних недель. Пока еще все скверно и неопределенно, но по сравнению с тем, что было до этого, сегодняшний день великолепен. Наше настроение заметно улучшилось.

К тому же проглянуло солнце. Верхние Пиренеи с их дождем лежали за нами. Мы в нашем вагоне даже развеселились. Тесно прижавшись друг к другу, мы сидели в раскрытых дверях, болтая ногами. Мы кивали пассажирам проходящих мимо нас составов.

И они кивали нам в ответ. Очень многие французские беженцы в этих битком набитых поездах испытывали те же чувства, что и мы. Газеты были в траурной кайме, но побежденная Франция вздохнула свободно. Ситуация была подобна той, какая возникает у постели безнадежного, медленно угасающего больного: больной обречен, близкие знают, что он должен умереть, но смерть медлит, и близкие стоят возле умирающего, они очень устали, истощены, измучены ночными дежурствами, тяготами по уходу за больным, а человек хрипит, задыхается, но еще жив; и вот он умер, врач констатирует смерть, а близкие, как ни тяжка для них эта кончина, облегченно вздыхают и чувствуют себя едва ли не освобожденными: так было и с французами в первые дни перемирия. Их Франция умерла, но ужасные тяготы последних недель остались позади.

Перемирие. Светило солнце. Не было опасности. Не нужно было испытывать чувство тревоги за жизнь, бояться было нечего, незачем прятаться в подвалах от бомбежки. Солдаты думали, что теперь они разойдутся по домам, миллионы людей считали, что смогут вернуться туда, откуда их согнала война, женщины надеялись, что вновь обретут своих мужей, сыновей. Газеты вышли в траурной кайме, но у французов в битком набитых поездах, идущих нам навстречу, не было траурных физиономий, иные из них пели. Мы в наших вагонах радовались, как и они.

При этом мы, в общем-то, толком не представляли себе, что нас ждет. И уж во всяком случае не знали, где обоснуемся. Но вопрос, куда повезут нас, теперь не был уже жизненно важным. Мы находились в той части страны, которую гитлеровцы оккупировать не будут. Напротив, мы уезжали все дальше и дальше от оккупированной зоны, и чем больше углублялись мы в юго-восточную Францию, нас все сильнее охватывало то чувство, которое испытывают люди, возвращающиеся на родину. Концентрационный лагерь на западе — это чужбина, концентрационный лагерь на востоке — это наша родина.

И вот мы вновь у моря. Но это был не Атлантический океан: этот недобрый, западный океан был теперь за нами, отделенный от нас длинной цепью Пиренеев. Мы были вновь у нашего, у восточного, у Средиземного моря. Оно лежало в лучах солнца, темно-синее, и блестело, легкие линии ласкали наш взор, белые гребешки пены колебались на его поверхности, наши сердца бились в унисон. Неужели было время, когда мы ожесточенно спорили друг с другом из-за всяких вздорных мелочей? Ругали, проклинали один другого? Возможно ли это? Все это забылось. Мы дружелюбно поглядывали друг на друга. Иные из тех, кому подошел черед сидеть, даже играли в карты. Это было нелегко, карты на стол не кинешь, их следовало осторожно класть на колени партнеру, да и не просто сесть так, чтобы не видеть карт соседа. Но над такими неудобствами

смеялись, а если спор и возникал, то напоминал дружелюбную перебранку достойных горожан за стаканом вина или кружкой пива.

Наступил вечер, величественно зашло солнце. К станции поезд не подошел, он обогнул Ним и остановился на запасных путях в нескольких километрах от города. Нам сказали, что это конечная цель нашей поездки, завтра будем выгружаться.

На следующее утро нас подняли рано, приказав собраться по старым подразделениям: немцы, австрийцы, иностранные легионеры. А потом мы ждали. Это было обычное бесконечное ожидание, и мы спрашивали себя, почему так рано прозвучал сигнал побудки. Впрочем, на этот раз ожидание не было таким уж обременительным. Люди решили наверстать упущенное: кто вновь растянулся на траве и заснул в лучах восходящего солнца, кто, сидя на корточках, клевал носом. Небо было ясное, воздух чист и полон ароматами цветущего луга. Нас окружали голубые горы с мягкими очертаниями. Правда, поезд, этот зловещий поезд, целую вечность дававший нам кров, все еще стоял здесь. Но вот, смотри-ка, он уходит. С глубоким вздохом проводили мы его, наблюдая за тем, как он следует к повороту, огибает его, исчезает из наших глаз. С ним исчезает и горечь самой ужасной в нашей жизни поездки.

Пройдя в общей сложности полтора десятка миль, мы добрались до старых парадных ворот, украшавших въезд в какую-то усадьбу. На них была полусбитая надпись: «Сен-Никола». За воротами лежала усадьба, похоже давно заброшенная.

Эта усадьба и участок возле нее, вероятно, предназначались для нашего нового жительства. Здесь стоял господский дом и несколько небольших хозяйственных построек, все старинные, простые, но очень приятные для глаз. Офицеры и солдаты охраны, наверно, разместятся в господском доме и хозяйственных постройках. А где же разместят нас?

Ничего иного нам не оставалось, как земля усадьбы, обширный, обсаженный тузовыми деревьями луг, роща и кустарник вокруг да пастбища — прекрасные места, не рассчитанные, однако, на размещение большого количества людей. Мы устали от долгого перехода, хотели пить. В местных колодцах оказалась крайне мало воды, возможно, ее хватит на два десятка человек, но наверняка не на две тысячи. Пока что нам указали место возле тузовых деревьев.

И вот прибыли первые грузовики с грузом, которые нам прислало военное ведомство. Взмолвленные, мы поспешили к ним посмотреть, что это такое: вода? продукты? Нет, это не вода, не продукты питания, не доски для строительства барачков, не лопаты, не кирки, не мотыги для рытья ям под отхожие места. Это — колючая проволока.

Пока мы без дела слонялись по усадьбе, ко мне подошли двое молодых людей с серьезными лицами и сказали, что хотели бы со мной побеседовать по возможности без посторонних. Не отойду ли я с ними в сторону?

Мы прошли в отгороженный от луга деревянным забором, мощный булыжником хозяйственный дворик. Одна сторона его была застроена открытым каретным сараем. Мы вошли в него. В сарае с покатою крышей валялась солома на полу, стояли кормушки, большое корыто, старая телега. Я очень хорошо помню все это.

Мы стояли в тени, по залитому солнцем дворику бродили солдаты и кое-кто из интернированных, несколько человек сидели на траве. Группа людей собралась у насосного колодца, не желавшего давать воду. Увидев меня, ко мне стали подходить знакомые, чтобы поболтать. Но те двое, что привели меня сюда, просили их оставить нас, им надо поговорить со мной. Они повели меня в затененный угол сарая и попытались прикрыть собой от чужих любопытных взглядов.

Они дали мне газету. «Читайте», — сказали они. Я стал читать. Это была сегодняшняя утренняя немская газета, в ней сообщались условия перемирия. Я точно помню, как читал, помню формат маленькой газетки, последовательность фраз, дословный текст условий перемирия. Я читал, напрягая все свои чувства, не торопясь и в то же время быстро один параграф условий за другим. Я читал параграф первый, параграф пятый, параграф пятнадцатый и, наконец, параграф девятнадцатый. В девятнадцатом параграфе было сказано, что французы обязаны передать всех немцев, которых они, нацисты, пожелают получить. Ощу-

чая дрожь в коленях, я перечитал: «...всех тех немцев, которых оккупационные власти пожелают получить». В речах гитлеровских главарей, в фашистских газетах меня именовали «врагом № 1». Если будет составлен список лиц, подлежащих передаче немецким властям, я наверняка окажусь в нем одним из первых.

«Благодарю вас», — сказал я и вернул им газету.

За короткое время я ощутил близость смерти в третий раз. Впервые это случилось ночью, когда нацисты все ближе подходили к нам, а состава для эвакуации все не было. Во второй раз это произошло в Байонне, когда, как нам казалось, нацисты нас окружили. А теперь в третий раз они тянутся ко мне из самой близкой близости, те же, кому доверено защищать меня, согласны меня выдать.

Имевшие возможность наблюдать меня в скверных, подчас в опасных для жизни ситуациях того периода видели, что я сохраняю спокойствие и хладнокровие в большей степени, чем многие другие. В наше время физическую стойкость можно встретить часто, духовная смелость, гражданское мужество в нашем мире — чрезвычайная редкость. Те, кто проявляет величайшую физическую отвагу, подчас падают духом, когда приходится показать мужество. Во время этой войны я наблюдал, что иным людям, выдержавшим испытание огромной физической опасностью, летчикам-асам, например, не хватало мужества высказать собственные убеждения своим товарищам по коктейлю, если они знали, что их слова окажутся тем не по нутру.

Что касается меня, то опасность физического порядка в момент ее возникновения меня очень волнует. Если, к примеру, на пустынной улице в сумерки из подворотни вдруг появлялись двое подозрительных субъектов и просили у меня прикурить или когда во время переворота вооруженные люди производили обыск в моем доме, грозя меня арестовать, я чувствовал тошноту, верхняя губа покрывалась потом. Да, даже когда на сцене актер размахивает револьвером, у меня возникает неприятное ощущение. И если моим товарищам по лагерю, наблюдавшим за мной в минуты опасности, казалось, что я мужествен, то это обьяснялось тем, что мое паническое состояние длилось короткий миг, внешне было очень трудно его заметить. Быстро одерживало верх пробуждавшееся во мне суеверие, фатализм, о котором я уже не раз здесь говорил...

И если я считаю, что, несмотря на кажущееся равнодушие и игнорирование опасностей внешнего порядка, у меня по части физической стойкости не все благополучно, то, полагаю, что гражданского мужества мне не занимать: свои позиции я сдаю разве что в исключительных случаях.

Стремление высказать то, что я думаю, заложено во мне очень глубоко. Помалкивать даже тогда, когда говорить опасно, я не могу. Если, например, кто-нибудь заявит, что Монтень родился в 1600 году, мне не удержаться, чтобы не возразить (даже если ошибочную дату назвало влиятельное и весьма раздражительное лицо): «Вы заблуждаетесь, Монтень родился в тысяча пятьсот тридцать третьем году».

Неумение помалкивать, когда помолчать следовало бы, создало мне много врагов и не раз являлось причиной весьма неловких ситуаций.

Впрочем, любую черту характера можно расценивать по-разному. Так и мою манеру настойчиво подчеркивать достоверность фактов, в которых я убежден, например, то, что дважды два всегда четыре, при желании можно назвать нескромностью или даже занудством. В любом случае эта нескромность или, если угодно, занудство — одна из отличительных черт моего характера.

Вероятно, я сам развил в себе эту черту, считая себя писателем. По моему, писатель должен получать удовлетворение от своей работы, рассказывая о том, что действительно существует, либо о том, что он, писатель, полагает существующим. И если — как это всегда было, есть и будет — надо хорошо платить за получаемое удовольствие, я готов платить и никогда не считаю эту плату слишком высокой. Зачем быть писателем, писателем с определенным авторитетом, если я не могу позволить себе эту роскошь?

Как писателя меня интересует связь между двумя сферами духовной деятельности, между двумя науками — историей и филологией. При этом я всегда вспоминаю некоего Теодора Лессинга, который квалифицировал историю как

толкование бессмыслицы. И в плане историческом мне доставляет большое удовольствие иногда поразмыслить вслух о том, чем будут отличаться изложения одного и того же события, сделанные журналистом в 1940 году и писателем в начале XXI века. Что же касается плана филологического, то мое стремление к остроте и точности выражения заставляет меня в случае, если один скажет: «Сейчас холодно, а другой — что жарко, посмотреть на термометр и сказать: «Господа, сейчас плюс девятнадцать градусов по Цельсию».

Я снова присоединился к остальным интернированным. Удивительно, какую глубокую пропасть образует новость, меняющая жизнь. между тем, кому она известна, и теми, кто ее не знает. Всего какой-нибудь час назад до того, как я прочел сообщение в газете, между мной и остальными была полная общность. Мои интересы были точно такими же, как и их: что с багажом? получим ли мы наконец воду? придут ли обещанные палатки? Теперь же все изменилось. Теперь, кроме опасности надвигающейся гибели, для меня ничего не существует. Я презирал других с их глупыми заботами о багаже и воде.

Но понемногу вокруг меня стали обсуждаться сообщения о девятнадцатом параграфе. Люди собирались в группы, спорили. Многие были серьезно напуганы, и я хорошо понимал их страх, озабоченность, отчаяние. Но среди нас были и такие, которые, узнав про параграф о выдаче, сразу почувствовали свою значительность и, хотя нацистам не было до них никакого дела, стали важничать. Мелкие торговцы, однажды внесшие в фонд какого-нибудь антифашистского мероприятия два-три франка, с тщеславным опасением спрашивали, можно ли рассматривать их как политических лиц, смогут ли нацисты потребовать их выдачи.

Некоторые юристы уверяли меня, что на нас, находящихся в лагере, параграф девятнадцатый не распространяется. Ибо нас, как политических противников, нацисты лишили германского подданства. В духе Гитлера, в духе договора о перемирии мы не были немцами. Если французы не пожелают нас выдавать, то формулировка этого параграфа даст им право на возражения.

Некоторые молодые люди левых взглядов эти соображения юристов назвали пустой болтовней. У пришедших сейчас к власти французских фашистов, считали они, те же интересы, что и у немецких. Ворон ворону глаз не выклюет. Правительство Гитлера и правительство Лавала работают рука об руку, мы, немцы левых убеждений, для нынешних фашистских фюреров Франции более ненавистны, чем нацисты, и, само собой разумеется, они выдадут нас. Ничего иного нам не остается как бежать. Пока еще большая часть французского населения за нас. Но кто знает, как сложится обстановка через некоторое время. Следовательно, нам нельзя медлить, надо удирать еще сегодня, сейчас.

Вот каких взглядов придерживались некоторые из нас. Но соглашаться с ними я не хотел. Опять победил мой фатализм, моя внутренняя инертность. Я охотно слушал юристов, охотно слушал соображения тех, кто высказывался против мнений наших молодых людей левых взглядов.

...К условиям в лагере под Нимом мы приспособились еще быстрее, чем в свое время в Ле-Миле. Привыкли ко сну в палатке, к постоянному шуму, к жизни на виду у людей, привыкли к вони, даже к изможденным, ослабевшим от дизентерии больным, относясь ко всему этому фаталистически, понимая, что и сам можешь заболеть дизентерией. Все это можно было перенести. Еда от этого не становилась менее съедобной, а наши беседы менее интересными, чем прежде.

Но к чему невозможно было привыкнуть, это к мысли, что с каждым днем грызла все упорнее, — к мысли о неопределенности нашего будущего, о девятнадцатом параграфе.

Они всегда были при нас, эти тревоги, этот убийственный вопрос: выдадут ли нас французы? Эта озабоченность, эти волнения не оставляли нас, когда мы ели и пили, они витали над нами когда мы разговаривали, они терзали нас, когда мы спали. Мы вели себя так, как будто считали важными всякие мелочи вокруг: еду, и питье, и ярмарочный быт лагеря, и отели Нима, и его рестораны, и его девушек. Но если нас все это и занимало, то занимало с оговоркой: мы прекрасно понимали ничтожность всего этого перед опасностью, незримо подсте-

регавшей нас. Уже завтра простершаяся над нами невидимая рука врага могла схватить любого. И поэтому, попав в Ним, мы охотились за страстно желаемым — за небольшой дозой цианистого калия.

Из двух тысяч лагерников перед серьезной угрозой оказались две-три сотни человек. Они, эти люди, были очень разными: меланхолики и оптимисты, весельчаны и созерцатели, деятельные и глупые, одаренные, поверхностные и мечтатели. Но у них была одна общая черта — им неизменно грозила смертельная опасность. Непрерывно, хотели они того или нет, их мысли возвращались к одной и той же точке: предъявили ли немцы свои списки французской администрации? выдадут ли нас французы? Разговаривая о чем-либо очень далеко от параграфа девятнадцатого, они, эти люди, над которыми нависла опасность, вдруг погружались в себя и, случалось, совершенно неожиданно резко спрашивали: «Как вы думаете, списки уже в лагере, как вы считаете, нас выдадут?»

Комендант принял меня в хозяйственной постройке, в помещении, которое в прежние времена могло быть столовой. Поблекшие, сильно поврежденные фрески с изображением дичи, овощей покрывали стены. Сравнительно большой зал был заставлен столами, за которыми работали солдаты-писаря, и треск пишущих машинок мешал мне сосредоточиться. Задача, стоящая передо мной, и так была нелегкой. Мне надлежало говорить на чужом языке, выбирая осторожные выражения, на весьма щекотливую тему, и результат беседы в значительной степени зависел от того, насколько умно я ее поведу.

Комендант выслушал меня с вежливой холодностью. Еще не кончив говорить, я по выражению его лица понял: он думает лишь о том, чтобы дать такой ответ, который свидетельствовал бы о его участии к нам и в то же время ни к чему его не обязывал бы. Едва я кончил, как он стал отвечать. Это были совершенно ничего не означающие «с одной стороны... с другой стороны...». Сначала он обстоятельно разъяснил, что мы теперь, по существу, уже совсем не интернированные. Нас собрали здесь только затем, чтобы организованно отпустить по домам, именно так, как сейчас демобилизуют французские части. Нельзя же сразу распустить по домам сотни тысяч людей, собранных в армии, в лагерях. Такое мероприятие надо тщательно подготовить, иначе будут парализованы и транспорт и система снабжения населения, короче, вся жизнь страны. И нас в скором времени также отправят по домам, даже весьма скоро. Но надо запастись терпением. Те из нас, которые пытались бежать в пути, и те, кто пытался бежать из лагеря сейчас, совершили большую ошибку. Лица, не располагающие надлежащими отпускными документами, не получат продовольственных карточек и во время своего дальнейшего пребывания во Франции постоянно будут испытывать различные трудности. Более того, не имея надлежащих бумаг, человек не сможет покинуть страну. Ему, коменданту, понятна вся тягостность нашей ситуации, но тем не менее он считает, что все наши опасения безосновательны. Маршал Петен вообще чрезвычайно чувствителен ко всему тому, что касается военной части. И Франция не допустит уничтожения людей, которым оказала гостеприимство.

Я поинтересовался, личное ли это мнение коменданта или официальная точка зрения французской администрации. Комендант ответил: он не юрист, он не может дать авторитетного объяснения, как следует толковать тот девятнадцатый параграф. Но он, французский офицер, не представляет себе, чтобы маршал подписал что-либо, не соответствующее понятиям французской чести. Это было все, что дала так напряженно ожидаемая мной беседа.

На следующее утро я встретил в лагере молодого грубоватого на вид человека, по-видимому только этим утром прибывшего в лагерь или же повторно доставленного сюда. Увидев меня, он в крайнем изумлении остановился и на несколько мгновений застыл, раскрыв рот, а затем воскликнул на диалекте венских предместий: «А ты все еще здесь? Ты что, совсем дурной?»

Эти слова тронули меня больше, чем он предполагал. Я уловил в них импульсивное выражение здравого смысла. Все, что я внушал себе для того, чтобы остаться, было ложью. Этот парень был прав. Оставаться здесь далее — преступное легкомыслие. Со дня на день следует ожидать, что немцы добьются, чтобы в лагере было покончено со всякими «свободами», охрана усилится. Уже пого-

варивали, будто немецкая контрольная комиссия побывала в некоторых лагерях. Я решил бежать.

В лагере был молодой агроном, он показался мне ловким и смысленным малым. У французов есть хорошее слово для обозначения человека, способного вывернуться из любой неприятной ситуации, они называют таких *débrouillard*¹. Я не могу припомнить сейчас, почему у меня сложилось такое мнение о нем, оно, пожалуй, оказалось ошибочным.

Этому молодому человеку я предложил быть мне товарищем при побеге. Он без колебаний согласился. Нам следует бежать сейчас же, сказал он, через четверть часа. Было около одиннадцати, в обеденное время дороги охранялись хуже, так как для жандармов, как и для всех французов, время трапезы священно.

Один адвокат предложил мне отпускной билет — из тех, которыми молодой французский офицер снабдил группу доктора Ф. В подписанном и заверенном печатью документе фамилии отпускника не было, ее следовало вписать. Я с благодарностью взял у доброжелателя этот билет.

Затем мы ушли, мой спутник и я. По его совету я надел костюм, в котором приехал в Ле-Миль, городской костюм, по его мнению, делавший меня менее заметным. Под мышкой я держал папку для бумаг с ночной сорочкой, расческой и зубной щеткой. Поначалу мы пошли быстрым шагом, было жарко, и оказалось, что мой костюм не очень-то подходит для прогулки по подлеску и каменистым горным тропам. Он не только оказался слишком плотным, но еще и очень быстро оброс репьем.

Спустя добрых полчаса мы очутились на дорожном перекрестке. *Débrouillard*, говоривший на грубом, звучащем по-народному французском, направился к ближайшему дому расспросить о дороге. Я присел на низкую кладку из необработанного камня. Быстрый переход утомил меня, я сидел на солнцепеке, сидеть было не очень-то удобно, но отдых доставлял мне удовольствие. Я рассматривал свои обшарпанные ботинки, свой коричневый городской костюм весь в репье, возле меня лежала папка для бумаг с зубной щеткой и ночной сорочкой. Я чувствовал комичность своего положения, сидел на солнцепеке и посмеивался.

Появились двое мужчин, посмотрели на меня, переглянулись. Мне стало не по себе. Они прошли мимо. Затем один из них вернулся, спросил меня на немецком: «Значит, бежите? Удираете? И правильно, вам оставаться опаснее, чем нам. Мы же идем в Ним прогуляться. Мы из иностранного легиона. Желаем вам удачи, геноссе Фейхтвангер».

Мой спутник вернулся с точными сведениями. Примерно в четверти часа пути отсюда автобусная остановка. А что, если нам поехать на автобусе? Это смелый, но, возможно, и самый надежный вариант. В обеденное время на дороге редко встретишь проверяющих.

Мы так и поступили. Автобус был полон, в нем было много солдат. Нам дружески уступили места. Мой спутник пустился с соседом в разговор. Он предполагал к себе всех, с кем общался. Вообще всюду на свете рабочие и крестьяне общаются друг с другом легче, чем мы.

В пригороде мы вышли и продолжили путь пешком. Так как начало оказалось таким удачным, мы решили и дальше, в Авиньон, поехать автобусом. Чтобы добраться до автобусной остановки, нам следовало пересечь главную улицу города. Это была очень оживленная улица, так о ней и говорили побывавшие в городе лагерники. Город кишел беженцами. В автомобилях — их множество стояло возле гротуаров — спали люди, двери общественных зданий были широко распахнуты, на лестницах, в вестибюлях, в залах лежали соломенные тюфяки для беженцев.

Мы прошли мимо многих полицейских. Впервые в своей жизни я проходил мимо полицейских, о которых знал, что у них есть право арестовать меня. Первого полицейского я рассматривал скорее с любопытством, чем боязливо, а затем обнаглел и на следующего полицейского смотрел уже долго и испытующе. Он ответил мне удивленным взглядом. На площади, откуда отходили автобусы в Авиньон, ждало много людей. Они говорили, что в пути проверяют документы. Мы переглянулись. Автобус пришел с получасовым опозданием. Свободных мест в нем не было.

¹ Сметливый, находчивый.

Подошел следующий автобус. Мы сели на свои места. Явился шофер, сел в кабину, бросил взгляд на уже сидевших в салоне пассажиров. Посмотрел на нас, взял газету, зевнул, отложил ее. Медленно встал, не спеша прошел мимо нас и сказал негромко: «Автобус перед отходом обязательно будут проверять». Меня бросило в жар. Мой спутник сказал: «Нам, пожалуй, лучше сойти». Мы так и поступили. Шофер кивнул нам.

Друг, рабочий, в свое время бежавший из лагеря, дал мне адрес женщины, к которой я смог бы обратиться, если мне в Ниме потребуются совет или помощь.

Мы пошли к ней. Она жила в маленьком отеле, находившемся на пустынной улице, в стороне от центра. Горничная предложила нам подождать в неудобной столовой. Вскоре появилась дама — полная, с энергичным лицом — и спросила взволнованно: «Вы принесли мне вести от мужа?» «Нет», — ответил я и рассказал ей о своем друге. Она предложила пройти в ее комнату, дама была встревожена и разочарована. Ее муж был с нами в поезде. Из По он послал ей телеграмму. С того времени она ничего о нем не слышала и предположила, что мы принесли ей вести от него.

Дама готова была помочь нам, но, несмотря на энергичное лицо, оказалась боязливой и не очень ловкой. Она направила нас к другой даме, к мадам Л., жене врача, тоже интернированного.

Возможно, той удастся нам помочь. Débrouillard поднялся, чтобы отправиться к ней, пока энергичная, но боязливая дама посетит третью особу, которая, вероятно, тоже посоветует нам что-нибудь или поможет. Débrouillard вскоре вернулся, свою даму он не нашел. Энергичная, но боязливая дама пришла с третьей дамой. Та готова была оказать нам помощь, но также оказалась настолько нервной и боязливой, что каждые пять минут начинала судорожно рыдать. И тем не менее у нее был план. Она знала одного экспедитора, доставляющего в Марсель вино, может, ему удастся провезти нас в Марсель в пустой бочке, подобное уже дважды ему удавалось. Она тотчас же пошла к нему, но вернулась ни с чем. Если он и возьмется за это, сказала она, беспрерывно рыдая, то сделает это не раньше чем через три дня. Но ничего определенного он не обещал, за это время, сказал он ей, контроль на дорогах стал особенно строгим, и дама сомневалась, решится ли он на такое рискованное дело.

Débrouillard счел, что при сложившихся обстоятельствах ему нет особого смысла оставаться в Ниме... Он покинул меня и отправился в лагерь.

Обе дамы решили, что мадам Л., на помощь которой они особенно рассчитывали, вероятно, уже вернулась домой. Я пошел к ней. Энергичная особа хотела меня сопроводить, но была слишком боязлива: показаться со мной на людях не решилась и следовала сзади на дистанции в два десятка шагов.

Мадам Л. оказалась дома. Она была первым человеком, готовым самоотверженно помочь мне уйти от черта безалаберности и халатности, выкарабкаться из трясины его преисподней.

Дом, в котором жила мадам Л., был низенький, маленький, квартира состояла из очень небольшой комнаты и прилегающей к ней крохотной кухоньки. На эту ночь мадам Л. уже обещала свою квартиру француженке, приехавшей из Ниццы для встречи со своим другом, берлинским адвокатом, интернированным в лагерь под Нимом. Кроме того, к ночи она ожидала молодую немку, которая не могла найти себе другого пристанища. Мадам Л. оставит и меня, если я не найду ничего лучшего, придется спать на полу или сидя на стуле. Она, правда, не знала, каков образ мыслей у молодой немки, и считала, что осторожности ради той не следовало бы меня видеть.

Дамы ломали головы, куда меня деть. В наводненном беженцами городе найти убежище оказалось невозможно. Мадам Л. показалось было, что она знает, куда меня устроить, но там наверняка потребуются посредничество энергично-боязливой особы, а та опасалась всего на свете. Наконец после горячих уговоров мадам Л., та, вздыхая и волнуясь, все же отправилась в путь.

Мадам Л., дружески озабоченная моей судьбой, накормила меня, но ей требовалось уйти, чтобы позаботиться о других беженцах. Мы условились через полтора часа встретиться на углу ее улицы: я смогу узнать, как продвинулись мои дела.

Я был рад, когда наконец-то наступил час моей встречи с мадам Л. Она

опоздала, пришла к месту свидания измученная, запыхавшаяся. Славная женщина, за это время она сделала сотню самых разных дел для сотни человек. Мы сразу же отправились в пригород, где должны были повидаться с нашей энергичной, но боязливой дамой. Мадам Л. заметила, что я озабочен мыслью о ночлеге. Она успокоила меня, сказав, что если даже энергичная, но боязливая дама ничего не найдет, дела мои вовсе не так уж плохи. Прежде всего можно отправиться на некую дачу, с хозяином которой она дружит. Пока эта дача пустует. Мне придется преодолеть каменную ограду и проникнуть в помещение через окно. Если и этот вариант не годится, решительно добавила она, я смогу переночевать у нее, несмотря на немку, чьи убеждения нам неизвестны.

Наконец-то мы добрались до места встречи — до угла широкого, обсаженного деревьями пригородного бульвара. Вскоре появилась энергичная, но боязливая дама. Ничего определенного, сообщила она, сказать нельзя. Не ясно, примут ли меня, но перспективы неплохи.

Идя по деревенской улице, дамы рассказали мне, куда собираются пристроить меня на ночлег. Человек, который должен был меня принять, полицейский вахмистр в отставке. Он приобрел дом и жил там на свою пенсию. Он был немного туповат. Хозяйство вела энергичная домоправительница-чешка.

Энергичная, но боязливая особа внушала мне, что я ни при каких обстоятельствах не должен называть свою фамилию. Согласно версии, рассказанной ею чешке, мне не удалось снять номер в городском отеле и я был бы рад получить приют у мосье С. Если потребуются более подробные сведения, следует спокойно сказать, что я отпущен из лагеря, но должен ждать, пока получу из префектуры соответствующие документы. За приют мне надо предложить столько-то франков, не очень высокую, но и не очень низкую цену. Домоправительница-чешка благожелательно отнеслась к идее, чтобы я поселился у них. И если я не произведу на старого полицейского очень скверное впечатление, ночлег мне обеспечен.

Неподалеку от дома полицейского мадам Л. с нами простилась. Энергичная, но боязливая особа сама повела меня к дому. Дверь открыла домоправительница-чешка. «Значит, это и есть мосье Фейст, — заговорщицки сказала она. — Я уже подготовила мосье С. Подождите пока здесь. Есть ли при вас какой-нибудь документ?» «Да», — ответил я гордо, мысленно поблагодарив своего соллагерника, снабдившего меня отпускным свидетельством. «Но в него не вписано имя», — добавил я. «Это не важно, — сказала чешка, — была бы печать. Давайте его». И, прихватив бумагу, она направилась в дом с энергично-боязливой особой.

Ночь уже почти наступила, но на небе еще горела вечерняя заря. Утомленный, я сидел на каменных ступеньках дома и ждал, предоставит ли мне кров полицейский вахмистр. Я страшно устал. Большого желания перелезть через каменную садовую ограду, чтобы попасть в покинутую дачу через окно, у меня не было. Столь же мало соблазняла меня перспектива долгого обратного пути к милой мадам Л., чтобы переночевать на полу в ее маленькой комнатке в обществе француженки из Ниццы и юной немки с неясными политическими убеждениями.

Затем из дома вышли обе женщины вместе со старым полицейским. Он был дряхл, говорил старческим, надтреснутым голосом. Он посмотрел на меня. «Значит, вам негде переночевать? — спросил он. — Это верно, здесь много беженцев, и все хотят спать. У меня очень хорошие связи в префектуре. Все здешние полицейские инспектора ценят меня. В понедельник, значит, вам следует раздобыть бумаги. А в городе, значит, никак не устроиться? Возможно, возможно. А вы, значит, хотите платить мадам Ф. столько-то франков?» Я ответил: «Да. И если пожелаете, могу сразу заплатить за сегодня и за завтра, так как до понедельника в префектуру мне не попасть». Старый полицейский глубокомысленно посмотрел на меня. Потом сказал: «Если человеку негде переночевать, да к тому же при нем нет тридцати франков, значит, он бродяга и подлежит аресту. А раньше, когда франк был крепким, достаточно было иметь при себе и пять франков». Чешка сказала: «Тогда я покажу мосье Фейсту его комнату». Старик пробормотал что-то вроде: «У него при себе больше тридцати франков. Но в понедельник ему следует идти в префектуру».

Энергично-боязливая особа распрощалась, теперь она казалась скорее энер-

гичной, чем боязливой. «Это самое лучшее решение,— авторитетно и решительно изрекла она.— Здесь, у полицейского, никто вас искать не будет, здесь вы в безопасности. Я приду сюда завтра или в понедельник. Во всяком случае будьте у мадам Л. в понедельник в одиннадцать утра».

В понедельник утром я распрощался с моими дружелюбными хозяевами, уложил ночную сорочку, зубную щетку и расческу в папку для бумаг и отправился в город якобы в префектуру за своим пропуском, чтобы вернуться в Санаари, а в действительности для встречи с мадам Л. От нее я узнаю, удалось ли милым дамам изыскать какие-либо возможности для моего дальнейшего продвижения к свободе.

Комнатка мадам Л. была переполнена. Здесь находились не только французенка, подруга берлинского адвоката, и поминутно всхлипывавшая нервная дама, но и полный, жизнерадостный господин Б., сбежавший из лагеря и рассчитывавший с помощью знакомого виноторговца пробраться в Монпелье. Пока же он обосновался и переночевал у доброй мадам Л.

Мне мадам Л. ничего утешительного сказать не могла. Энергичная, но боязливая особа явилась к ней в самую рань и сообщила, что в Ним прибыла германская комиссия для инспектирования нашего лагеря. Энергичная, но боязливая дама стала боязливее прежнего, мне, заявила она, при любых обстоятельствах следует немедленно исчезнуть, чтобы не скомпрометировать ее и не навредить находящемуся в бегах ее мужу. Возвращаться в дом полицейского мне ни в коем случае нельзя: ее могут обвинить в участии в неблагоприятных, запрещенных властями поступках.

Правда, сообщения энергичной, но боязливой дамы мадам Л. восприняла без особого трагизма. Если германская комиссия действительно в городе, сказала она, мне следует вернуться в дом полицейского и переждать там, пока не появится возможность ехать дальше. Только для полицейского надо придумать убедительное объяснение, почему я не получил пропуск. Придавать значение словам энергичной, но боязливой дамы — явная дикость. Пока мне надо оставаться в городе. В три часа дня она ждет к себе двух солдат из охраны нашего лагеря с известием о ее муже. Возможно, они что-нибудь слышали о комиссии. Следовательно, мне в три часа тоже следует быть у нее.

Затем мы встретились у мадам Л. с обоими солдатами. Один был с юга, другой парижанин, это оказались бывалые парни. Они рассказали, что в охране у них есть еще два друга, готовых помочь интернированным.

Вообще большая часть населения была на нашей стороне, и в то время как из-за небрежности, халатности и преступного легкомыслия чиновников над нами, гостями Франции, нависла смертельная опасность, французский народ делал все, чтобы выручить нас. Я передал с солдатами несколько строк моим лагерным друзьям. Я просил их переслать письма ко мне на адрес мадам Л.

Потом я снова отправился к моему полицейскому.

Вышла чешка. Произошло именно то, чего я опасался: в старике проснулось недоверие полицейского. Но доброжелательная чешка, желая мне помочь, дала совет. У старика был зять — прокурор, служивший в Тунисе. Как многие французы, мосье С. боялся остаться без средств к существованию. Он тревожился за семью своей дочери: ведь если итальянцы оккупируют Тунис, тем придется покинуть его. Мосье С. считал, что наилучшим образом позаботится о себе и о семье дочери, если продаст свою недвижимость. Может, мне стоит сказать ему, что сад и дом мне понравились, и спросить, не согласится ли он их продать.

Затем вышел старик. Он был мрачен, чувствовалось, что он напряженно думает. «Покажите-ка мне еще раз вашу бумагу»,— сказал он, сразу преобразившись в полицейского. Он долго рассматривал ее и сказал «Не пойму, почему вам не дали пропуск. Я сам пойду с вами в город, я знаю всех чиновников, и инспектора Х., и инспектора У., хотел бы посмотреть, как это они откажут вам в пропуске, если с вами буду я». Я возразил, впрочем, без большого воодушевления, что учреждения уже закрыты. Но старик настаивал. «Все эти господа,— сказал он,— бывают у меня в гостях. Без всяких церемоний мы можем отправиться к любому из них домой». Я сказал, что охотно остался бы на ночь

у него. В Санари мне, вероятно, все равно не попасть: мой дом, как я слышал в городе, занят эльзасскими беженцами. Дом и сад мосье С. мне очень нравятся. Ним нравится тоже, и я подумывал, не продаст ли мне мосье С. дом с участком. Он понял не сразу, фразу пришлось повторить. Скрепя сердце я повторил, очень неприятно было обманывать старика, да еще так грубо... «Ладно, оставайтесь, — наконец сказал он. — Но завтра или послезавтра я пойду с вами в префектуру, и поглядим, как они откажут вам в пропуске. Это хороший участок, — добавил он, — и я вложил в него много труда».

Мое отпускное свидетельство и то, что я был из лагеря, пробудили, по-видимому, в мосье С. старые воспоминания. Он рассказал мне, что в начале первой мировой войны осенью 1914 года он со своей частью размещался в городе Тунисе. Тогда сразу же интернировали всех находящихся в городе немцев. Некоторым, впрочем, удалось бежать и сесть на итальянский пароход «Citta de Messina», отправлявшийся в Палермо, — Италия тогда еще не участвовала в войне. Он, полицейский, получил приказ снять с парохода немцев. Номера их кают были известны, но на переполненном пароходе немцев разыскать не удалось, итальянец-капитан торопил с отходом, ссориться с итальянцами власти не хотели, затягивать поиски было нельзя. И вот ему пришла в голову хорошая мысль. Он приказал вынести на берег багаж тех немцев, которых разыскивали. Некоторые из них попались на этом, спустились на берег и потребовали свой багаж, их тут же схватили. Другие, впрочем, поступили хитрее — плюнули на багаж, и им удалось бежать.

Такую историю рассказал полицейский, и на этот раз мне не потребовалось никаких усилий, чтобы показать живой интерес к его рассказу. Ведь я был одним из этих интернированных в Тунисе немцев, бежавших на итальянском пароходе. Я был одним из тех четырех, которые пожертвовали багажом, предпочтя остаться на пароходе в надежном укрытии.

Утром следующего дня мадам Л. пришла в домик полицейского и передала мне записку от одного из моих лагерных друзей, принесенную нашими солдатами. В лагере выдавались бланки свидетельств тем, кто рассчитывал получить в Франции право убежища. Эти бланки следовало заполнить и не позже сегодняшнего вечера лично вручить лагерному начальству. Было сказано, что тот, кто не сделает это, рассчитывать на защиту со стороны Франции не сможет. Комендант, естественно знавший о моем отсутствии, вызвал моего друга, отправителя записки, и дал ему понять, что настоятельно рекомендует мне вернуться для оформления свидетельства... Вдохнув, я решил вернуться в лагерь.

В лагере под Нимом мы не жили, а влачили жалкое существование, мечтали о смерти. Это подобие жизни в лагере мы выдерживали только потому, что непрерывно говорили себе, что нельзя сдаваться, надо пережить этот период. Наступит время, пройдет и это, настанет время, и опять можно будет жить, как подобает человеку.

Впрочем, среди нас были люди — и это из всего пережитого мной в лагере, пожалуй, оказалось самым жалким — были среди нас люди, боявшиеся только одного: а вдруг лагерь расформируют и нам предложат отправиться на все четыре стороны? Да, среди нас было не так уж мало людей, которых пугала сама мысль о ликвидации лагеря. Как ни жалки, убоги палатки под Нимом, все же это крыша над головой. Как ни однообразна, скучна и безвкусна наша лагерная пища, все же это пища, которую можно поглощать и переваривать. Если же лагерь под Нимом ликвидируют, они потеряют все, у них нет ни денег, ни каких-либо прав, ничего, ничего. Выброшенные из лагеря, эти несчастные на свободе окажутся в пустоте, в лохмотьях, чужие, более того, враги в стране, которая, проиграв войну, едва ли сумеет поддержать нищенское существование даже своих собственных сынов.

Пестрая ярмарочная сутолока лагеря была исполнена отчаяния. Многих угнетала не только реальная опасность оказаться выданным по девятнадцатому параграфу договора о перемирии, но и вынужденное безделье, явная бессмысленность нашего нахождения в лагере. Люди слонялись по территории, говорили всегда об одном и том же и ждали либо болезни, либо выдачи нацистам.

Если бы все это продолжалось несколько дней, неделю, месяц, наконец,

Но в таком состоянии люди пребывали месяцы и месяцы, и это не могло не отразиться на их психике.

...Гулять за пределами лагеря, естественно, запрещалось, и, пересекая дорогу, следовало соблюдать осторожность, чтобы нас не обнаружил жандармский патруль. Было что-то унижительное в том, как мы прятались в придорожном кювете, осторожно высовывая головы, потом бегом пересекали дорогу и с не подобающей нашему возрасту поспешностью перемахивали через какую-нибудь изгородь на виду у случайно проезжающего автомобилиста, смотрящего на тебя с опаской. Но прогулки стоили такого унижения. Окрестности были прелестны, пейзажи — где бы ты ни остановился — самые разные. Встречались старинные крестьянские дома, обитаемые и брошенные, кустарники и плоскогорья, плато, голубые, мягко очерченные горы, прекрасный вид на города Юзе и Ним, быстрая речушка, извиляющаяся в долине словно змейка, мостики, монастыри.

Был в лагере певец из кабаре — артист, хорошо известный в Берлине. Нацисты сначала отправили его в концлагерь на севере Германии, затем перевезли в Дахау, и там после тяжелой дневной работы он по ночам должен был развлекать их своим искусством. Теперь он декламировал и пел нам те острые, напоенные гражданским гневом стихи и песни, которые в свое время в Берлине были его гордостью и силой. Был там и еще один первоклассный артист кабаре. Мы просили его спеть «Болотных солдат», едва ли не самую трогательную песню на свете, ту простую песню, которую, однажды услышав, не забудет никогда ни один немец, побывавший в концентрационном лагере. Мы подхватывали эту песню и пели ее вместе с ним. Затем он исполнял еще одну песню, сочиненную им здесь, в лагере Сен-Никола, колыбельную песенку для ребенка, рожденного женщиной от мужа-немца, когда последний сидел в концлагере. И эта причиняющая страдания, печальная песня о французском гостеприимстве была популярна у нас, ее рефрен легко запоминался, и мы всегда подхватывали его.

Так мы сидели, слушали, подпевали, пили и сквозь ветви нехитрого сооружения созерцали очень красную большую полную луну, а вокруг нас были и вонь, и мелкое торгашество, и крики, и смех, и отчаяние, и болезни, один покинул с собой на прошлой неделе, а другой — на этой.

...Количество больных в нашем лагере росло, здоровье других непрерывно ухудшалось. Врачи заявили, что госпиталя в округе переполнены, а опия и других медикаментов там нет. Просто медики махнули на нас рукой.

Многие солдаты, не желая оставаться в этом зловонном месте, дезертировали. Время от времени в лагерь прибывала очередная санитарная инспекция, члены ее качали головой, давали указания обработать отхожие места хлором, приказывали отправить в госпиталь несколько десятков больных. И этим все ограничивалось, никаких более энергичных действий не предпринималось. От ста до двухсот человек постоянно болели дизентерией. Кто ею не страдал, с фатальным безразличием ждал своей очереди, и она, эта очередь, завтра, послезавтра приходила.

Среди нас было немало хороших врачей. кое-кто с европейским именем. Доктор Л., муж мадам Л., в первую мировую войну возглавлял медицинскую службу нескольких лагерей военнопленных, он считался крупным специалистом по санитарному обслуживанию подобных заведений. Командованию лагеря он сообщил, как при минимальном количестве медикаментов можно избежать несчастья. Комендант и французские врачи, вежливо его выслушав, сказали, что, к сожалению, и малого количества медикаментов они достать не могут.

Хорошо хоть, что болезнь протекала в относительно легкой форме. Смертельных случаев было немного. Обычно в первые дни больного сильно лихорадило, а затем лихорадка проходила. Начинался кровавый понос, у человека наступал резкий упадок сил. У больных был жалкий вид, ослабев, они едва держались на ногах.

...Когда я бродил по лугу недалеко от лагеря, я услышал, что меня зовут, ищут. Я поспешил на голоса. Увидев меня, крикнули: «Идите же, ваша жена здесь».

Ускорив шаг, я побежал. Поравнялся с первыми палатками, подошел к своей. Марта сидела на скамье под деревом, мои товарищи окружили ее — гос-

подин Вольф, господин Кон, другие. Увидев меня, она встала. Мы не виделись два месяца, получали друг о друге лишь самые неопределенные сведения. Теперь мы шли друг другу навстречу живые, здоровые. Вот она передо мной, губы ее немного дрожат. Она, Марта, выглядит хорошо, у нее спортивный вид. Она была в простой юбке, простой блузке, волосы ее сильно поседел.

Весь этот вечер мы были безмерно счастливы. Мы больше не были арестантами, не были связаны тысячами запретов, нам не угрожала опасность, что нас выдадут немцам, этот лагерь больше не шумел, мы не ощущали зловония, так как в нем мы были друг возле друга. До крайности возбужденная, она много смеялась и много ела из того, что наши могли ей предложить, в своем лагере и во время изнурительной дороги сюда она страшно изголодалась, страшно похудела. И болтала она много, несла всякую чепуху, даже такое, что я с трудом понимал.

Марта не очень жаловалась, она заявила, что жизнь в лагере не была такой уж тяжелой, ведь она физически хорошо тренирована. Но ее вид и растерянность изобличали ее во лжи. Кроме того, ее ненасытный аппетит свидетельствовал совершенно о другом. Всю свою жизнь Марта была крайне умерена в еде, поэтому мне особенно горько и больно было видеть, как во время разговора она вновь и вновь с непроизвольной жадностью косилась на еду.

Лагерные власти разрешили нам купаться в речке. И вот в эти жаркие дни каждый полдень сотни две людей спускались к воде. Идти требовалось добрый час. Сержант и несколько солдат сопровождали нас, но им до нас не было никакого дела, им было о чем поговорить друг с другом.

Речка (не помню, как она называлась, — Легард или Легарден) текла, извиваясь, в глубокой долине. На том небольшом отрезке, где мы любили купаться, она текла то быстро, то настолько неторопливо, что казалось, это тихое озеро с неподвижной водой. И берега речки радовали живописным разнообразием, здесь — высокий, покрытый травой откос, там вплотную к реке подступает лес. Вода в речке зелена и чиста, и глубина в ней самая разная, то пять-шесть метров, то абсолютное мелководье.

Тому, кто впервые увидел бы этих людей различных возрастов, барахтающихся в воде, смеющихся, болтающих, гоняющихся друг за другом, плавающих, ныряющих, демонстрирующих свое искусство, трудно было бы поверить, что это — лагерники, что многие из них живут в состоянии полнейшей неопределенности, под постоянным страхом смерти. Эти часы купания доставляли и мне огромное удовольствие. Правда, обратный путь частенько оказывался утомителен, но утомившись, я ночью лучше спал.

В стране господствовала анархия. Никто толком не знал, кому предоставлено право отдавать приказы. Префекты, те, которых не сразу сменили, считались с тем, что в ближайшее время их могут погнать с занимаемых постов, и поэтому избегали крайних мер. Указания, поступавшие на места от так называемого правительства, были неудовлетворительными. Подавляющая часть населения, в том числе и многие государственные служащие, ненавидела профашистское центральное правительство, считая его главным виновником поражения. Во всех учреждениях были враги новой власти, саботировавшие ее указания, и новые чиновники, посаженные на свои места этим правительством, не очень-то уютно себя чувствовали. Преемственность в делопроизводстве состояла разве лишь в том, что эти вновь испеченные и плохо оплачиваемые чиновники брали взятки так же охотно, как и прежние.

Домой мы отправились несколько более длинной, но более ровной дорогой — по шоссе. Движение на нем было незначительное, мало автомобилей, мало пыли. Время от времени мы шли в гени. Шли не спеша. Сначала я болтал с господином Вольфом, затем мы замолчали. Моя головная боль усилилась, я устал и мечтал поскорее добраться «до дома», до лагеря, чтобы улечься на свою солому. И вот примерно в пятидесяти метрах от развилки я увидел идущую мне навстречу мадам Л., она поджидала меня «Я узнала, — сказала она торопливо, — что вы пошли купаться, и ждала вас. Я принесла вам записку от вашей жены». И передала мне ее. Я был ошеломлен, не мог понять, чем вызвана эта

неожиданная встреча. «Спасибо», — сказал я и взял письмо. «Читайте, — настаивала она. — прочтите сразу же».

Я вскрыл конверт, прочел. «Делай, что тебе скажут. — писала Марта по-французски. — не раздумывай, все очень надежно и серьезно». Я прочел еще раз, потом перечел заново, вопросительно посмотрел на мадам Л.

Она показала мне на большой автомобиль, стоящий неподалеку на обочине дороги. Из него вышел хорошо известный мне молодой человек. Удивительная встреча на этом шоссе, в этот час. Он был элегантно одет — я помню до сих пор в подробностях, как он был одет, — белый костюм, легкие перчатки.

«Прошу вас, — сказал он по-английски, — не спрашивайте ни о чем, не медлите, по дороге я вам все объясню». Я смотрел на него с изумлением, смотрел на самого себя, на мою ветхую рубашку, на мои ношенные-переносимые рваные штаны, на грубые с резиновой подошвой сандалии. Он настойчиво повторил: «Садитесь же, в машине есть плащ». Господин Вольф ждал в сторонке. Я торопливо пожал ему руку. «Прощайте, — сказал я, — и еще раз благодарю вас за все...»

Затем я сел в машину, мадам Л. тоже. Действительно, в машине лежало легкое дамское пальто, я накинул его на себя, на подкладке был пришит ярлык какой-то английской фирмы. Для меня были также приготовлены темные очки и какая-то цветастая шаль «Одевайтесь скорее», — сказал, уже ведя машину, молодой человек. Я сделал, как он сказал, и стал похож на пожилую англичанку. И так мы ехали, удаляясь от лагеря, ехали очень быстро в прекрасной, комфортабельной машине, прочь от владений черта во Францию...

Я написал еще одну главу книги, но пока не могу ее опубликовать. Люди, о которых я в ней сообщил, еще находятся в гуще событий, и если станет известно, чем они занимались в ту пору, это может повредить и им и их делу.

Мне очень жаль, что я не могу опубликовать эту заключительную главу. Если в предыдущих главах я говорил о малодушии, о многих проявлениях трусости, душевной слабости, низости, то в этой главе я мог несравненно больше рассказать о мужестве, доброте, готовности к самопожертвованию.

Пятерым людям я особенно обязан. Не будь их, мне трудно было бы одолеть опасности и трудности, выпавшие на мою долю в том аду халатности и небрежности, в который превратилась прекрасная Франция. Двоих из них я назову — это Б. В. Хюбш и У. Х. Шарп.

Я стою на пороге старости. Страсти мои уже не так сильны, как прежде, слабее и вспышки моего гнева, умереннее мой энтузиазм. Бога я встречал во многих обличьях и черта тоже. Но моя радость при встречах с богом теперь не уменьшилась, впрочем, остался я страх перед чертом. Я узнал, что человеческая глупость и злоба неистовы и глубоки, как все океаны мира, вместе взятые. Но я узнал также, что защитная дамба, возводимая меньшинством, состоящим из людей добрых и мудрых, день ото дня растет все выше и выше.

Перевел с немецкого Л. МИРИМОВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА



СЛОВО БЕРЕТ ТЕАТР

Все-таки поразительно, как пророчески определил Пушкин в своих заметках все, что случится с нашим театром. Сформулировал основу системы Станиславского за век до ее открытия: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах». Оправдал искания Мейерхольда и Таирова, Охлопкова и Захарова, спросив: «Что, если докажут нам что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие?» И объяснил естественность взлета сегодняшней драматургии: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической».

Об этих переменах и пойдет речь. О том, что произошло за один лишь театральный сезон.

Еще вчера мы сетовали на то, что театр разучился потрясать. Еще вчера мы констатировали период «затишья», или по формулировке других критиков «накопления» чего-то, должного когда-то перейти из количественного в качественное и изумить зрительный зал. Впрочем, чего именно — не говорилось. Еще вчера мы дружно сетовали на засилие инсценировок, а кое-кто замаяхнул даже на русскую классику: она-де не дает ходу современной драме.

Еще вчера. А сегодня МХАТ объявляет «сезон советской пьесы» и лозунг этот не парадный эпатаж он обеспечен пьесами «хорошими и разными». И взбудораженный зал аплодирует не извечно волнующей лирике, не фразочным намекам на сиюминутность, а чувству политическому, «тенденциозному». (Относительно этого понятия Стасов писал в свое время. «Содержательность наших картин так определена и сильна, что иной раз их упрекали в «тенденциозности». Какое смешное обвинение и какое нелепое прозвище! Ведь под именем «тенденциозности» обвинители разумуют все то, где есть сила негодования и

обвинения, где дышит протест и страстное желание гибели тому, что тяготит и давит свет». Речь идет о картинах передвижников, но только ли к произведениям изобразительного искусства можно отнести эти слова?)

Театр услышал время. Зритель услышал театр. И принял новую манеру его исповеди — звучащей с трибуны.

Он не сумел бы принять эту манеру, не будь научен когда-то, в 60-х годах, умению души слушать, слышать, вслушиваться в исповедь другой души — Володина, Розова, режиссера, ставившего их пьесы, актера... Сегодняшний подъем немислим был бы без того, давнего. Без прорыва к каждому человеку в зале, без обучения его состраданию, которое после долгого перерыва снова стало непременно театральным действием.

Но уже после 60-х одно время стало казаться, что драматургия может просто умереть от модной болезни — гиподинамии. Прямо до этого не допускали время от времени возникавшие пьесы Арбузова, Радзинского, Рощина... Каждая тиражировалась почти во всех пятистах театрах страны. И когда открылся целый мир Александра Вампилова, вначале не раздалось ни ответственных криков, ни аплодисментов. Все замерли, как в финале то ли «Ревизора», то ли «Бориса Годунова»...

Вампилов смешал устоявшиеся понятия сценичности, современности, героя. Он до сих пор задает нам загадки

Совсем иначе смешали те же понятия Игнатий Дворецкий своим «Человеком со стороны» и пришедший следом за ним Александр Гельман — они сделали сценичной публицистику, поднимая проблемы нравственности в сюжетах сугубо производственных, раскручивая острые до детективности истории на заводской планерке или заседании парткома. И критический

запал пьес, опередивший критический запал времени, констатация бесхозяйственности, безответственности, лисьего угодничества — пусть в рамках одного завода, стройки, треста — будоражили людей, провоцировали на поступки, а не только заставляли задуматься, хотя и это было бы не мало...

Вот пример такого поступка, свидетельство еще не оцененной и не проанализированной действенности театра, в первую очередь основы его — драматургии (ибо театр, по словам Станиславского, «живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов, эффективными мизансценами, а идеями драматурга»).

Дело было на БАМе, и рассказываю я эту историю со слов двух бамовцев — Анатолия Байкова, очень рано ушедшего из жизни создателя и руководителя первого на БАМе народного театра «Молодая гвардия», и артиста этого театра, знаменитого бригадира путеукладчиков, Героя Социалистического Труда Александра Бондаря.

Работала бригада. После каждой смены репетировала. В выходные играли спектакли. Но наступил момент, когда местное начальство из-за неподготовленности фронта работ решило бригаду расформировать. И тогда... Впрочем, цитирую Бондаря: «У нас на БАМе случилась такая история. Стал вопрос о расформировании нашей бригады, так как основная работа на участке была закончена. А мы мечтали всем коллективом достроить БАМ. И тогда собрались вместе с семьями и единогласно решили уехать на новый участок — в Бурятию на никому не известную тогда станцию Кичера и все начать сначала — с палаток, с неудобств. Но нас расформировать-то собирались, а отпускать — нет. И пригрозили лишить северных надбавок. За все четыре года работы. Это немалые деньги. Мы снова собрались и снова решили ехать, дойти до стыковки всем вместе. А помогла нам принять такое решение ситуация пьесы Гельмана «Заседание парткома». В своем молодежном театре «Молодая гвардия» мы играли ее с семьдесят седьмого года. Как же так, подумалось, говорим со сцены: я хозяин стройки, я хозяин жизни, — а будем держаться за какой-то рубль... Более того, мы боролись этой пьесой, этим спектаклем. У нас на стройке тоже нередко случались беды из-за чьей-то неорганизованности. Мы и репетировать-то спектакль начали в дни простоя прямо в вагончике. Это было нашим заседанием парткома. А потом сыграли спектакль в райкоме партии в присутствии всех руководителей района, всех хо-

зяйственников, а затем тут же было организовано обсуждение. Проблем пьесы и наших. Я никогда не забуду, как реагировали зрители: и репликами и участием в голосовании «за предложение коммуниста Потапова». А ведь те, кто был в зале, знали нашу бригаду, знали, что это спектакль... Но проблема задела за живое и смела «четвертую стену». Володя Графов, монтер пути, играл тогда буквально со слезами на глазах. А ведь Гельман вероятнее всего выдумал экстремальную ситуацию пьесы, своих героев. А сработала она как документальная».

Пьеса «Заседание парткома» была написана более десяти лет назад. Потом появились «Обратная связь», «Мы, нижеподписавшиеся», «Наедине со всеми»... Гельман настойчиво исследовал «механизм безнравственности». Сегодня театр исследует и ее истоки. Констатация следствия подготовила почву к исследованию причин.

Действие пьесы «Наедине со всеми» происходило уже не на стройке или в рабочем кабинете, а в квартире, где муж и жена на протяжении двух актов выясняли свои семейные отношения, круто переплетенные с отношениями служебными. Театр заговорил об угрожающем сдвиге нравственных ориентиров, показывая это на пространстве комнаты, дачи, сада... Но из комнат состоят квартиры, из квартир — дома, из домов — города...

Целая плеяда молодых драматургов одновременно пришла в театры, ее окрестили «новой волной». И впрямь что-то общее было и в том, как возникал в их пьесах парафраз пьес классических: «Трех сестер» в «Трех девушках в голубом», «Вишневого сада» в «Смотрите, кто пришел!». «Дачников» в «Родненьких моих» и так далее. В чуть ли не демонстративной беспощадности показа негативных, унижительных явлений каждодневности. Очень скоро к этим пьесам привесили ярлык «мелкотемных»: благо эпигоны быстро доказали, что подражать «новой волне» на редкость просто и сподручно. Но время, даже очень короткое, уже отделило подлинники от копий. Выжили те пьесы, которые предложили залу разглядеть за бытом бытие. Увидеть общественные проблемы за проблемами, которые возникают в ячейке общества. Сумели в стремительности жизненных ритмов заставить «остановиться, оглянуться, посмотреть на человека, живущего рядом. Нет, не посмотреть — всмотреться. Понять его взлет — и не позавидовать. Понять его падение — и не позлорадствовать. И одни пьесы задиристо восклицали: «Извольте ж

на себя примерить!», другие советовали, «чем кумушек считать трудиться...». Лучшие же из них спрашивали: «И никому нет дела, что свет жестокосерд?»

Одна из таких пьес — «Ретро» А. Галана — по сюжету анекдотичная история о том, как молодой, вполне современный и вполне деловой человек решил женить своего престарелого тестя, а невесты, перепутав время, явились все разом... Суть же ее в извечном столкновении жестокосердья и милосердия. В различном понимании смысла и ценности жизни. В беззащитности человеческого одиночества, сталкивающегося с духовной глухотой. Галин придумал сюжет, именно придумал. Но окунул в него непридуманных людей. Он разглядел в четырех смешных стариках высокую и мудрую духовность бессребреников. В квартиру, меблированную антиквариатом и хозяином в стиле модерн, он привел людей с антикварными душами. И перед залом встал вопрос: что важнее сберечь?

Такова и драма В. Арро «Смотрите, кто пришел!». Чем она интересна? Да вот той самой сутью, которая заключена в названии. В. Арро предложил посмотреть, кто пришел к полному жизненному комфорту, кто образовал некую «элиту» в нашем обществе. Это люди из сферы обслуживания: страннички, бармены, парикмахеры, постепенно из обслуживающих превратившиеся в обслуживаемых, покупаемых за большие деньги и мытарства младшего научного сотрудника, занимающегося проблемами мозга и подрабатывающего циклевкой полов и благоденствие странничка, покупающего материальные блага оптом, — настораживающая реальность. И театр-«кафедра» забил тревогу. Сегодня, когда наше бытие во всех его аспектах подверглось тщательному и честному анализу, бороться с социальной несправедливостью в любом ее проявлении стало политикой. Тогда же по выходе пьесы автор лишь констатировал факты, задавая залу множество вопросов, честно исследуя проблему с разных сторон.

Вопросов множество. Ответов у пьесы не было. Тем более — решений. Нужно было время, отметающее недомолвки, требующее решений. Пьеса была актом ожидания такого времени, и уже это было приметой ее социальной активности.

А «мелкотемье» — это не камерность сюжета или невзрачность героев, это социальная пассивность.

Между тем не в пассивности обвиняли драматургов «новой волны», а как раз в

социальном пессимизме. Иной раз эти понятия можно перепутать, одно выдавая за другое. И годы ушли, скажем, на то, чтобы встретиться с залом «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской. О ней в «Новом мире» подробно рассказала М. Туровская, я хочу лишь обратить внимание вот на что: в столь мучительном и долгом пути к зрителю была тоже примета времени. Даже русская классика, остротой своей задевая злободневность, порой оказывалась в опале — судьба уникального спектакля Театра сатиры «Доходное место», поставленного М. Захаровым, тому яркий, но не единственный пример. И в том, что пьеса Петрушевской все-таки прорвалась, — тоже примета. И существенная. Того, что не настолько мы потеряли ориентир, чтобы свернуть в тумане фимиама с пути. Туман рассеивается — путь остается. И драматургия по-своему помогла этому.

Острая сатира Андрея Макаенка, романтическая поэтика Иона Друцэ, публицистичность первых пьес Александра Чхидзе и лучших — Афанасия Салынского и Александра Штейна (оговорюсь: не пытаюсь объять необъятное, за скобками статьи остались еще имена) по-своему, но упорно и самозабвенно старались говорить правду о времени.

Захватывая в своих пьесах яростным напором ленинской мысли, постоянно напоминая об истоках пути и вечных его ориентирах Михаил Шатров, автор «Революционного этюда: «Синие кони на красной траве», «Так победим!».

Не только задавал вопросы, но и давал свои варианты ответов на них Алексей Дударев, пишущий пронзительно откровенно, я бы сказала, агрессивно. Он не просто показал дошедшего до порога, за которым уже распадается личность, алкоголика Буслая, но и, страдая и заставляя страдать зал, нащупывал причины деградации. В его пьесах живет ненависть — к суете, равнодушию, душевной глухоте. И особенно — к сытости. Вспомним: Буслай спился из-за того, что «дом как звоночек, гарнитур купил, водопровод провел, котлеты жрем... Что дальше? Машину? Можно было и машину. А дальше? Дачу? В деревне жил — дача не нужна.. Все!!! Приехали, мальчики... Выпрягайте лошадей, наливайте чарки...». Драматург воюет за духовность в человеке, воюет за точность ценностных ориентиров...

Всего три действующих лица в его пьесе «Вечер»: Мультик, Гастрит и Ганна — три старика, доживающих свой век в периферийной деревне. Три человека — и

пропасть проблем, главная из которых — в чем смысл человеческой жизни. Для чего стоит проходить через войны, разлуки, похоронок — и беречь душу живу? Для чего и как? Он заставляет зрителя страдать, этот совсем еще молодой драматург. Он борется с успокоенностью жестко, напористо. И требует, постоянно требует от читателя и зрителя действия. Личного. И от каждого.

Этого требует и Гельман — его Потапов, Сакулин, Шиндин. Брать ответственность на себя. За время — потому что сам ты из этого времени. За страну — потому что сам ты эта страна.

Так, может, не было периода «затишья»? Но тот факт, что, скажем, у знаменитого председателя «Советской Белоруссии», Героя Социалистического Труда Бедули прекрасно налаженный колхоз, — еще не свидетельство благополучия во всем сельском хозяйстве. О том, что известный всей стране генеральный директор Ивановского станкопромышленного объединения, тоже Герой Социалистического Труда Кобаидзе показывает, как можно и нужно строить дело, еще нельзя судить, что промышленность отлично налажена. И результаты эксперимента сельского учителя Щетинина — еще не показатель благополучия в педагогике.

Появление нескольких пьес, самоотверженно коснувшихся гех материй, которые позже, на XXVII съезде партии, были определены как серьезные нарушения норм нашей жизни — бесхозяйственность, безгласность, конъюнктурность, точно так же как и работа Бедули, Кобаидзе, Щетинина, более всего утверждало значение «человеческого фактора», роли личности, умеющей талантливо преодолевать обстоятельства.

Эти немногие пьесы пробивались с трудом, корректировались и адаптировались множеством инстанций, теми, кто в «Правде» были названы Евгением Евтушенко емким словом «какбычегоневышлисты», и объекты критики в этих пьесах были так сказать, не выше уровня стройтреста. Куда вольготнее жилось ловко скроенным драматургическим поделкам, пошлым изысканиям на тему «пришел мужчина к женщине» или «ушел мужчина от женщины». Эти были опасны не только тем, что повлекли за собой девальвацию зрительского вкуса, а тем, что оборачивали зал преимущественно к проблемам личного обустройства, словно иных проблем кругом и не существовало. Когда же требовался спектакль «к дате», ставились дежурные однодневки,

быстро и стыдливо снимаемые вскоре с репертуара. Те же театры, что были более последовательными, предпочитали перечитывать заново написанное ранее, восстанавливали «Человека со стороны», «Сталеваров», «Обратную связь».

Время потребовало гласности, сказала не просто о дозволенности ее — о необходимости. И оказалось, что театры давно рвутся к разговору острому, серьезному, насущному. Оговорюсь: не все, конечно. Кое-где еще переживают, «годят» — как бы чего не вышло. И тем более сегодня как никогда ранее стала ясна значимость — гражданская и художественная — каждого театра. Значимость, определенная тем счетом, что предъявляет сегодняшний день.

В этой статье речь пойдет только о пьесах, хотя по-прежнему значительное место на театральных афишах занимают инсценировки. Но и знаменитое прочтение Л. Додины в Ленинградском Малом драматическом театре трилогии Ф. Абрамова и инсценировки романов и повестей Георгия Маркова, Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Светланы Алексиевич и других — со всеми удачами и промахами в сценическом прочтении первоисточников — тема отдельного разговора, ибо проза на театре значительна по-прежнему, а драматургия в лучших своих произведениях — по-новому.

МХАТ спектаклем «Серебряная свадьба» по пьесе А. Мишарина как бы задал уровень сегодняшнего разговора с залом. Нет, на этой да и на последующих премьерах мы не открыли чего-то неожиданного, того, чего раньше не знали про себя и окружающих. Но мы открыли возможность обо всем этом услышать со сцены. Обсудить острые проблемы бытия. Театр стал активно искать и называть и причины происшедшего. И нащупывать пути изменений. В финале пьесы один из ее героев — Выборнов — скажет: «В чем, спрашиваешь, твоя новая свобода? А в том же, в чем и моя. Что ты мне в первый раз осмелился все сказать... А я тебя первый раз выслушал. До конца».

Сюжет пьесы прост: приезжает в отдаленный район на похороны матери бывший его «хозяин», ответственный работник из центра Выборнов. И встречается в новом роскошном доме нынешнего «хозяина» района Важнова с, так сказать, местной, районной элитой. А накануне приезда в печати было сообщено об освобождении Выборнова от занимаемого поста «в связи с переходом на другую работу». Какую?

Повысили или понизили? Этот вопрос не дает покоя обитателям дома. Каждая новая версия проявляет и новые черты их характеров. Но главное в спектакле не это. Главное — мучительное и беспощадное доискивание до самых корней, до давних и близких причин тех явлений, что ставили, бывало, с ног на голову мораль, делали наказуемым добро, а не зло, до того, что привело к потере доверия, на котором только и может держаться руководитель любого ранга. «Поверили нам с тобой, Георгиевич! Душу, руки, мысли — все готовы были отдать. А мы по этим рукам — не смеите! Не ваше! Сами! Опять — «сами!». А свято место пусто не бывает! Если идея отобрана! Душа! Вера, что ты именно нужен... То что остается мужику? Деньги делать! Или пить?» Вот такая причина возможна — в мелочной опеке. Сверху донизу. Важнов, произнесший эти слова, сам минутой раньше обратился к своему начальнику: «Спрашиваешь, как все получилось, Геннадий Георгиевич? А я ведь все честно вышолнял! Все по линейке! С тебя, так сказать, пример брал! Твои указания да постановления проводил! И с Серафимом... Тоже. Твоими методами дело провели! Думали, одобришь!»

А «дело» с Серафимом было жестоким — наказали его, журналиста, бывшие друзья, Важнов и Голощапов, за критическую статью в их адрес. Надавили на суд, воспользовавшись автомобильной аварией и двенадцать лет вычеркнули из жизни человека, поломав и его судьбу и его семью. Спившаяся Аглая, некогда блистательная жена Серафима, появляется на торжестве у Важновых. И это самые горькие минуты спектакля. Но не самые страшные.

Страшнее — другое. Кронид Голощапов — «советская власть местная», с его агрессивной ортодоксальностью, ходячее воплощение лозунга «цель оправдывает средства» — узнаваем. Но даже и он — не самое страшное. ибо — и это очевидно залу — нынче уже недолговечен.

Выборнов, некогда в войну двадцатидвухлетним командовавший рудником и с болью сердечной, но отказавшийся спасти заваленных в шахте рабочих, чтобы не останавливать на две недели добычу руды...

«— А люди-то эти? У них же дети?

— А у него вольфрам — танковая броня!

— Его судить надо было!

— А ему орден дали! В двадцать два года».

Это по-настоящему страшно, Выборнов мается до сих пор и этим и еще тем, что не вмешался в дело того журналиста и что

на похороны матери опоздал. И свою вину видит в том, что здесь, в важновском доме, в районе, сейчас происходит. Не одним махом он осознает эту вину — спектакль показывает на трехчасовом пространстве действия всю мучительность этого осознания через: «А ты только выговора боишься? А чтоб там.. Совесть.. Душа, например, болеть не будет?» И через: «Царьки! Воеводы местные! Все о себе! Все для себя! Только чтоб кресло свое не потерять! Власть свою не упустить! Забыли, для чего все это?! Зачем вы здесь?!» До финального: «...Как там мама-то моя говорила? Совесть без власти бессильная. Власть без совести — бессовестная... У нас ведь, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пора нам уже все это.. пора уже.. в доме нашем.. по-человечески, по-людски жизнь налаживать.. нам самим.. не кому-нибудь другому.. да чтоб не каждый раз с нуля, не по кругу этому проклятому, а по спирали...» С такими мыслями да если дела им будут соответствовать, с такой израненной душой Выборнов залу — свой.

Важнов, когда-то увильнувший в Карловы Вары во время расправы с журналистом, видевший все махинации Голощапова и уютно закрывавший на них глаза, человек, которого задело сомнение, но неизвестно, куда еще качнет судьба... О нем, Важнове, и о Голощапове очень точно написала в «Литературной газете» И. Вишневская: «...власть Советов, а они разделили два этих нераздельных слова, взявши власть для себя, а Советы оставив для окружающих». Но и Важнов — тоже не самое страшное.

А вот девятнадцатилетняя Тоня — самый царапающий душу образ пьесы. Дочь того журналиста и спившейся Аглаи, взятая матерью Выборнова после трагедии к себе в дом, выученная, устроенная на «чистую» работу, эта девочка приняла жизненные перекосы как данность, как должное, как повод при умении извлекать из всего, включая и чье-то горе (даже если это горе собственной матери), выгоду для себя. «Святая» женщина, мать Выборнова отказывалась от подарков — их прибирала к рукам Тоня:

«— Они же понимали, что я бесплатно за старушкой ухаживаю! Какая у нее пенсия-то была? Восемьдесят девять рублей!

— Я же посылал.

— Это... для другого! Откладывали.

— На приданое тебе, что ли?

— Не знаю. Мария Ивановна так говорила...»

Аглае, матери своей, и двум малышам отдавала... бутылки от масла. Расчетливая

хищница без стыда и совести? Но и театр и актриса Н. Егорова не торопятся бичевать ее. Едва начавший жить человек получил такой урок несправедливости, что и само слово «безнравственность» ей вряд ли знакомо. Наблюдательность девочки, ее ум быстро poznали основательность цинизма и помогли выработать жизненное кредо, исходя из незыблемости увиденного и понятного: «А какая мне польза от учительницы-то? Сами подумайте! Те же семьдесят рублей на старости лет?», «За деньги все купить можно. Вон мать моя Аглая дала начальнику лагеря пятьсот рублей и на полгода раньше вышла», «Народ зря болтать не будет! Вот Голощапова Крониды Захаровича! Все уважают! Ему бы в области торговлей заведовать. Или даже в Москве... Характер у него такой. Он за любое дело возьмется. И все себе на пользу! А как же без этого? В торговле-то... Потому что дефициту этого тютелка в тютелку — на продавцов да на начальников с заведующими...»

Что вот с этой изуродованной юной душой делать? Ведь это самый тяжкий грех, самый жестокий результат наших социальных и нравственных перекосов. Как сказано в одной статье: «Мы не должны своим детям ничего, кроме будущего».

Беспощадный спектакль показал МХАТ. Каждую реплику придется процитировать, чтобы охватить его проблемы, дать услышать их остроту. И горькую, выстраданную иронию старого председателя колхоза Сирого: «А мы, такие младенцы, за голову хватаемся: ах, люди добрые, чего делается! Отсюда сыплется, там воруют, здесь приписывают... Там сгноят... Здесь пропьют! Ну а мы, хозяева жизни, народу отвечаем твердо: «Спокойно работайте, товарищи! Это, мол, мелочи, ерунда! Главное — в наших руках — власть!» Да только все видят: сколько в мешок ни клади — прибавка-то небольшая. Загадка? Но люди-то живые! Иль нет? Они-то все видят... И дети тоже. Все! И не только у нас в районе. Ты, Георгиевич, с высот-то своих скажи! Ведь целые учреждения с ведомствами под золотым дождем жируют! Да еще мало — сами дырки просверливают, чтобы побогаче текло!»

Руководитель богатого хозяйства, талант в своем деле, Сирий слышит окрик: «Создаешь себе ложный авторитет, идешь за народом! Хвостизм!» Хамство зарвавшегося начальника? А что оно как не итог вседозволенности, недостижимости для критики? И еще одного явления, имя которого

му не подберешь, но в спектакле и оно обозначено словами того же Сирого: «Нарожили мы их, удобных да правильных! Да «выдержанных»! Он за свою послушность да за политграмотность — такое требует! Никаким Уренгоем, никакими якутскими алмазами не расплатишься!» Эта тема ответственности ответственных работников стержневая в спектакле, она — его сюжет, поле изысканий, открытая рана... Она взята из жизни, осмыслена театром и через рампу выхлестнута в жизнь. И каждый зритель может повторить слова Выборнова: «Ответственные работники? Что мы с вами строили? Империю? Мы же другое строили! За что боролись? За советскую власть! Трудно жили? Да! Но ведь и это не оправдание! Получше жить стали, а сами — жестче, холоднее, злее стали! А мы ведь о всеобщем братстве в своем гимне поем! Нет, не пойму я чего-то... мужики! Нет! Не пойму! Ведь если не изживем в себе этого, не вырвемся из прошлого — совсем худо будет! А так — не должно! Не должно быть!»

Этот спектакль — душа театра. И она болит. Он, за редким исключением, не осуждает своих героев, а жалеет их — запутавшихся в запутанном времени. И он направлен на выпрямление душ. Сама острота спектакля, самое его появление — свидетельство этого процесса. (Достаточно сказать, что театр сделал двенадцать вариантов пьесы, заостряя ее.)

Раздавались упреки и в адрес «Серебряной свадьбы» и в адрес тех спектаклей, о которых еще пойдет разговор в этих заметках, — есть в них свои художественные просчеты. Но театры так много накопили несказанного, что, когда время потребовало высказаться начистоту, желание сказать обо всем разом порой обернулось скороговоркой и косноязычием. Да, проблем «Серебряной свадьбы» достало бы на много пьес. Как проблем, обнародованных сегодня, достанет еще на много «Серебряных свадеб». Не нашелся бы только Кронид Захарович Голощапов от искусства, с его сакраментальным: «Надо кого-то и приостановить, если кого заносит... Чтоб не слышком народ увлекали! На что ж нас сюда поставили?! А?»

«Серебряная свадьба» получила должное признание критики, и тем не менее на одном положении хочу заострить внимание — это существенно для всего нашего сегодняшнего разговора. Вот фрагмент из рецензии М. Строевой: «Да, конечно, «Серебряную свадьбу» можно скорее счесть театральной публицистикой. Она забирает не столько художественной, сколько поль-

тической силой, злобой дня, обнаженной правдой».

«Серебряная свадьба», как и спектакли «Говори...» Театра имени Ермоловой и «Диктатура совести» Московского театра имени Ленинского комсомола, о которых у нас пойдет речь ниже действительно публицистичны. Но неужели публицистика — антипод художественности, а художественное решение не совместимо с публицистикой? Что-то странное происходит у нас с теорией драмы: термины трактуются настолько произвольно, что порой логика изменяет даже опытным и уважаемым критикам. Немецкое *publizistik* произошло от латинского *publicus*, что означает — государственный, общественный. Словарь современного русского литературного языка четко толкует: «Публицистика — вид литературы, посвященной злободневным общественно-политическим вопросам современности». Почему это должно быть противопоставлено художественности, а не предполагать ее, коль скоро это вид литературы?

Слово «публицистика» встречается почти во всех рецензиях — то как похвала, то как упрек, то как оправдание спектакля. А она, думается, главная примета сегодняшнего подъема театрального искусства, свидетельство его насыщенности, значительности, места во времени решительных перемен.

Надо сказать, что жгучие вопросы современности вовсе не обязательно ставятся и решаются театрами всегда на материале сегодняшнего дня. Молодой драматург А. Буравский написал, а Московский театр имени Ермоловой поставил пьесу «Говори...» по мотивам очерков «Районные будни» и страницам биографии Валентина Овечкина. Тех знаменитых «Районных будней», что тридцать лет назад опубликовал «Новый мир», открыв и писателя и проблематику, не устаревшую, увы, и сегодня. Злободневность этой постановки потрясает.

«Что мы сейчас обсуждаем? Политику, которую проводить в районе, в колхозах? Или опять — все мысли наши только о себе как вывернуться... как на нас посмотрят наверху, в обкоме?.. Как удержаться на своих должностях, в конце концов?»

«„Отставший“? Ну, так давайте разбираться с ним вытягивая как-то!.. Нет. Вместо этого, простите, химичим. Изобретаем несуществующие дополнительные планы... да мало ли у нас способов! И берем еще и еще хлеб у тех, кто и так рассчитался. Берем за те колхозы, где разгильдяйство и бесхозяйственность. Чтоб хоть так — но выравнивать общую сводку!»

«Вам не кажется, что это мы, мы — из страха за свои места — прививаем им саботаж? Заставляем их забыть главное, что не кто-то там наверху, а они — хозяева своей земли! И что они растят хлеб свой для своей страны, для себя. А отбирая у них этот хлеб — и для чего? для своих сводок! — мы, по сути, отбираем у них любовь к своей земле... саму землю!»

«— Слушаешь? Поправки, что ль?»

— Нет... людей

— Каких людей? Мы ведь привыкли, что только мы им говорим. Объясняем, убеждаем, требуем... политпросвещаем!.. И писатели и партработники... А разве мы не для того, чтоб их слушать?»

«Я чего, в общем, хочу сказать. Критика должна стать у нас безвозмездной. Без возмездия то есть!»

«Контроль-то ведь только сверху. Снизу — молчание».

«Но где в уставе записано, в каком месте, что собрания, открытые, закрытые, общие, — это не собрания, а спектакли и на них не решают, а играют в решения. Потому что все заранее решено. Не выбирают, а изображают выборы. Потому что нелепо же всерьез выбирать уже заранее выбранных...»

Цитировать пьесу можно еще долго. Остановимся пока вот на этой мысли: «Должно оставаться право сойтись вот таким собранием и сказать... все, что они думают. Правду вслух. Вот это и будет самая лучшая страховка от всех бед».

Сказать правду вслух. Это требование времени. И требование спектакля. Он сам подает пример. Забываешь, сидя в зале, что речь идет о временах давних. А когда события на сцене — будь то сообщение о смерти Сталина или чтение столичным гостем совсем ранних стихов Евтушенко — напоминают, что прошли уже десятилетия, становится еще больнее оттого, что «выжили» проклятые проблемы. И надеешься не оставить решение их своим детям...

В «Литературной газете» Ю. Черниченко писал. «Автор же энергию, добытую стыковкой полюсов «вчера» и «сегодня», фокусирует на отрезке «сейчас». А чем иным, спрашиваю я себя, и занимается публицистика?»

Молодой драматург Александр Буравский рискнул создать пьесу из публицистических очерков Валентина Овечкина — материала, далекого от занимательности, лишённого сквозной интриги, где больше наблюдений, а не действий, рассуждений, а не поступков. Валерий Фокин рискнул взять эту по всем привычным канонам «несце-

ничную» пьесу для своего дебюта в качестве главного режиссера Театра имени Ермоловой И поставил ее строго, даже аскетично. А спектакль захватывает, притягивает. И эффект его воздействия сродни эффекту воздействия трагедии. Той, подлинной что вызывает катарсис Буравский словно унаследовал силу боли Овечкина и бесстрашную его правдивость Ошеломляющую даже сегодняшний, уже настроенный на честный разговор зал.

Удивительно точно найдено название пьесы. В нем — ее «задача, сверхзадача и сверхсверхзадача». Научить, призвать, упрощать.. говорить. Своими словами О своих и наших бедах. Не молчать, ибо молчание — согласие с бедой, смирение перед ней.

Этот спектакль о многом. о волюнтаризме в руководстве, о бесхозяйственности, формализме, нарушении норм — от правовых до этических, о порочности системы, при которой выгодно работать плохо и не выгодно — хорошо.. Но более всего, прежде всего — это спектакль о необходимости гласности. И в финале, когда на партийной конференции поднимется на трибуну доряка и начнет, запинаясь, произносить кем-то написанный текст, из толпы, которая является своеобразным «хором» (тоже примета трагедии), раздастся тоненький детский голосок: «Говори!» Эхом отзовется он на сцене. И в зале. В каждом человеке, причастном спектаклю. По обе стороны рамп. В каждом человеке, причастном времени. Непростому, тревожному, напеющемуся.

А до этого будет первый эпизод — разговор Писателя (есть в спектакле такая роль) со вторым секретарем райкома Мартыновым, и первое появление «хора» — небольшой группы бедно одетых людей, и хлесткая фраза из хора, заявляющая главную тему разговора: «Вон Троицк-то.. А чего о нем сказать: хорошее или плохое? Как требуется?..»

А затем возникает банальный, много раз перепетый когда-то драматургами конфликт властного, лишь себе доверяющего первого секретаря райкома Борзова, так называемого руководителя сталинского типа, и уже упоминавшегося второго секретаря Мартынова, который осмелился дать колхозникам обещание не забирать у колхоза зерно сверх нормы, не покрывать недостачу нерадивых за счет передовых Читатель несомненно помнит по тексту «Районных будней» тот поток демагогии и угроз, что обрушился на Мартынова. Так боролся за сводку, за «престиж» района, за свое положение «хозяина» Борзов.

Сюжет-то знакомый по старым пьесам. А вот проблема галочки в отчете любой ценой, проблема уравниловки — они болезненно сегодняшние Это не старые раны ноют. Это свежие синяки наставляет повседневность. И потому сцена взламывания зернохранилища, логически продолжающая, а вернее завершающая предыдущую, смотрится с болью, рожденной ощущением личной причастности к происходящему на сцене А вслед за тем заседание бюро райкома, где, так сказать, «отдельно взятый» партийный работник самоуверенно выступает от имени всей партии, явно путая себя с нею: «Товарищ Мартынов, выходит, вы сознательно орудовали за спиной первого секретаря? Может быть, у вас секреты от партии?» — снова рождает мысли о совсем недавнем, и участвуешь в ожесточенном споре, уже прикинув ситуацию на себя, на свое время, на сегодняшний день.. Кадровая проблема, злоупотребление властью, подхалимство, питающее его.. И демагогия, демагогия, демагогия — этот щит и меч бездельничающих «хозяинов». Не изжиты же..

И спор о том, кто хозяин на земле. Он услышан Овечкиным почти полвека спустя после ленинского декрета, факсимиле которого театр отпечатал на программках спектакля. Курс на подлинное, а не формальное владение землей и, стало быть, подлинную, а не формальную ответственность за нее.

Тогда, тридцать лет назад, все было оголеннее, ожесточеннее, прямолинейнее. В ход даже пошли понятия «саботаж», «диверсия», «враг». Поэтому сегодняшние наши проблемы, так четко поименованные в спектакле, воспринимаются в тональности того времени еще более жгучими. Ведь зал властно притягивает к себе это раскаленное «вчера», которое не стало прошлым, из-под грима лет проступают знакомые черты. И возникает самая трудная, предостерегающая мысль: «Смотрите! Мы ведь об этом уже говорили...» Театр рассказывает о «вчера», властно врывается в «сегодня» и тревожно заглядывая в «завтра»..

Я намеренно пропускаю следующий эпизод: сцену в областном театре, где якобы ставится пьеса Писателя. Она — виньетка, милое украшение, некий «антракт» в нашей зрительской тяжелой работе «размышления на этом спектакле. Можно было дать нам этот отдых можно было и не давать: время диктует свой ритм жизни и к нему надо привыкать Как к тому новому языку, на котором заговорили и этот и другие театры со зрителем. Какому-то очень нете-

атральному языку. Предложили не зрелище, не фантазии на темы времени. А само это время. Не игру — жизнь, которую играть-то грешно. Слово «искусство» — одно-коренное со словом «искусственность»... А здесь никакой искусственной модели, пусть даже самой складной и похожей. нет. Спектакль безыскусствен. Правда времени — и того и нашего — стала не только его содержанием, но и формой. При всей порой символической условности режиссерских находок, так из строго поставленных в ряды стульев, которые сразу «прочитываются» как интерьер (другого не потребуется) и символ: блок стульев, занимающих изрядный кусок сцены, как управленческий аппарат разных рангов и ранжиров жизни, — вдруг, нарушая эту непробиваемую монолитность, вырвет свой стул Мартынов и присядет на нем, чтобы просто до-человечески поговорить... Кстати, стулья эти мешают свободно передвигаться по сцене «хору». Тоже метафора. Лаконичная и горькая...

Как и та сцена, где произойдут два вроде бы «частных» события: Мартынов узнает, что вопрос его освобождения от должности решен, а Писатель — из телеграммы Твардовского, что его «Районные будни» будут публиковать. И третье, самое главное: разговор с «хором». С людьми мудрыми, искренними, лукавыми, все видящими и понимающими. И множество вопросов будет брошено Писателю и залу. Думайте. И ворвется в эту беседу, в балагурство ее и исповедальность, усталую иронию и частушечные переборы сообщения о смерти Сталина. Застрожит, засуровует все вокруг.

Потом снова возникнет райком. Где первым секретарем — уже Мартынов. По тем сюжетам, что были привычны еще совсем недавно, здесь бы и окончиться спектаклю — «плохого» руководителя сменил «хороший». Но сегодняшней театр продолжает разговор. Сценическое действие уже не напоминает о привычном, словно нарочь отделавшись от прошлого, оно осмысливает настоящее. Оно учит слушать народ, учит говорить.

А слушанье это начинается с прихода завсельхозотделом, который, бедолага, никак не может понять, что он должен сказать, чтобы «угодить»... И снова появится «хор». И спросит, за что сняли Борзова и почему подробно об этом не написали в газете, «чтоб все знали, поняли»... «Нас ведь теперь это очень близко касается — кто и как нами руководит. Время-то ведь какое... Не то время, когда каждый сидел, как таракан за печкой...»

Снова заколесил по району Мартынов. И одна из самых сильных сцен спектакля — его встреча с трактористами. Где впервые зазвучит тема, очень существенная для спектакля, очень важная для времени. Почему этим трактористам «хуже работать выгоднее...»? Привычный нам сегодня термин «по конечному результату» не будет произнесен. Но театр покажет, из какой неразберихи, с какой болью родится этот принцип, представив реальное наследство, с которым мы теперь приступаем к перестройке того, что называем хозяйственным механизмом... Показал и в разговоре с трактористами, и в сцене на ферме, и в монологе Борзовой. Актриса Татьяна Догилева пятнадцать минут, не меняя ни позы, ни интонации голоса, даже не вытирая слез, проговорит свою горькую исповедь о разрушенном экономически, этически, социально колхозе — самый трагический мотив спектакля, прерываемый лишь требовательным «говори!», которое к финалу пьесы звучит все чаще, становясь самым необходимым словом. И вместе с Мартыновым растеряешься от услышанного и так же, как он, не будешь знать, что же предпринять... Но из «хора» прозвучит единственно возможное — не рецепт, назидательности пьеса счастливо лишена, а совет: «...Я лично так это дело понимаю: растерялся — это когда увидел неправильности всякие, а ломать — боится, страшно... Ждет чего-то, может, чтоб само?.. Только само — не бывает. Решиться надо. А решился — значит, не растерялся!»

Но прежде чем ломать, надо знать, что на этом месте строить. И как. И кому. И, верный правде, театр позволяет себе чуть-чуть изменить первоисточник. Изменить из-за опыта прожитых после «Районных будней» лет и во имя этого опыта. Писатель собирает открытое партийное собрание колхозников, тех, кого видели мы в предыдущих сценах, о чьих бедах узнали. Мы не услышим того, что говорилось, — действие переключится на райком. И тут в поведении Мартынова вдруг услышатся нотки его предшественника. Он назовет собрание «бардаком» и возмутится, что без его ведома проводили, выбирали, что-то предпринимали... Спектакль скажет этим: непроста перестройка! Каждого человека. После столько лет и столько выработанных привычек...

А потом, в последней картине, будет тот пронзительный детский крик «говори!», обращенный и к людям на сцене и к зрительному залу. Потому что «ошибки надо исправлять... А еще раньше — признавать

их. Открыто. Честно». Это слова из спектакля. Это позиция театра. И требование сегодняшнего дня, из которого только и могут произрасти наши победы...

«Света, побольше света!» — требует и спектакль Московского театра имени Ленинского комсомола «Диктатура совести», в подзаголовке которого обозначено: «Споры и размышления 1986 года». Жанр пьесы М. Шатрова — дискуссия. Жанр необычный, задиристый, сложный. Залу, молодежной аудитории театра предложено не наблюдать представление, а участвовать в политическом диспуте, в котором нет скидок ни на возраст, ни на какой-либо пусть и самим постоянно экспериментирующим театром выработанный стереотип восприятия спектакля.

Предельно упрощенная форма, предельно усложненная суть.

Начинается спектакль в нарочито архаичном, намалеванном на зыбком холсте кабинете редактора молодежной газеты Идет легучка, вязкое ощущение скуки окутывает и сцену и зал. Театр нарочно дожидается этого момента, чтобы взорвать его дерзким и неожиданным предложением. Адресовано оно, собственно говоря, главному редактору, но фактически — залу устроить «суд над Лениным». Как в газетной заметке шестидесятилетней давности (рискну привести ее полностью): «17 апреля дорполит и подрайон Виндавской дороги устроили суд над Лениным. Беспартийные с большим интересом отнеслись к этой новой форме политической беседы. Товарищи коммунисты, выступавшие с обвинениями против товарища Ленина и коммунистической партии, так вошли в роль обвинителей, так ярко выявляли их точку зрения, что вряд ли заслуживали упрека в поверхностном знакомстве со своей программой и программой противника. Свидетелями обвинения выступали против Ленина: буржуа, кулак, спекулянт, лодырь рабочий, дезертир с фронта, меньшевик, вышедший из Бутырок; свидетелями защиты: германский пролетарий, русский рабочий, раненый солдат с царской войны, женщина-работница. Выступали прокурор и защитник.

Оправдательный приговор Ленину был встречен громом аплодисментов. Польза этих судов огромная: митинги надоели, а на суде аудитория из мертвой, выражающей свое участие в обсуждении лишь голосованием делается живой, мыслящей. И интересовавшая беспартийных, суды крайне полезны и коммунистам: выступая как свиде-

тели, защитники и обвинители, они учаются излагать свои взгляды не только общими фразами о текущем моменте, а в полемике, что заставляет серьезно, глубоко задуматься над вопросом.

Суд над Лениным прошел с большим подъемом, и, расходясь, рабочие живо обсуждали выдвинутые перед ними вопросы», («Правда» от 22 апреля 1920 года.)

Театру понадобился сегодня такой «суд», чтобы «выявить точку зрения», степень «знакомства со своей программой и программой противника», чтобы аудитория стала «живой, мыслящей», чтобы в полемике заставить «серьезно, глубоко задуматься», а, расходясь, зрители живо обсуждали бы «выдвинутые перед ними вопросы».

Всего этого театр добился. Впервые мне довелось видеть театральный зал.. конспектирующим. Значит, где-то за его пределами спор будет продолжен. Значит, спектаклем этим Ленком азартно ворвался не только в театральную жизнь, но только в судьбу искусства 80-х годов, но и в судьбу поколения, «обдумывающего житье»...

«Да когда же вы научитесь не только форму, а суть ухватывать?» — спрашивается в спектакле при обсуждении первого же вопроса: достойно ли устраивать «этот политический балаган», или, как восклицает один из персонажей: «Лично меня оскорбляет само словосочетание "суд над Лениным"!». А другой парирует: «Ленина это почему-то не оскорбляло... Интересно — почему? Найдем правильный ответ — нам многое откроется...» Спектакль будет искать этот ответ. Это очень важно — спросить себя и нас: «Разве всемирный спор, начатый в семнадцатом, уже закончился? Мы говорим: жизнь рассудит, люди сделают свой выбор, значит, суд-то идет!»

Театр имени Ленинского комсомола говорит свое слово на этом суде. Обрушив малеванную декорацию и бутафорскую люстру, он обнажает сцену. И на пустом ее пространстве между табличками с лаконичными надписями «Старый мир», «Новый мир», «Прокурор», «Группа защиты», «Судья», «Оркестр „И вашим и нашим“» обнажает суть многих явлений, тех, которыми история уже дала политическую оценку, и тех, которым еще предстоит отвечать перед ней.

И не абстрактных буржуа и лодырей выводит на сцену обвинение, а сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, Петра Степановича Верховенского, Андре Марти... И когда артиста, который играет сотрудника редакции, исполняющего роль Черчилля (вот такой сложной структуры пьеса: на

сцене суд разыгрывается, а вернее, репетируется сотрудниками той самой молодежной газеты, которые так выразительно скучали в прологе, а порой, когда документальность требует личного и личностного подспорья, артисты выступают и в третьей, а может быть, первой и главной своей роли — самих себя, граждан и актеров, людей миссионерской профессии), — так вот, когда Черчилль играет банальную карикатурой, при котелке, пузе и абракадабре на псевдоанглийском языке, «защита» резко меняет уровень разговора: «Это что — ваше и прокурора представление о Черчилле? Об одном из самых выдающихся государственных деятелей Великобритании двадцатого века? О человеке, который, уверю вас, никогда не давал повода считать себя дураком и ничтожеством? Да, закоренелый антикоммунист, лютей враг Советской России, но в то же время человек, умевший в трудную минуту возвыситься над предрассудками своего класса...» А на недоуменный вопрос судьи: «Простите, вы кого защищаете?» — уверенно ответит: «Ленина и его дело. Ленина, который говорил, что правда не должна зависеть от того, кому она будет служить».

Эта первая из ленинских фраз, приобщенных к «делу», могла бы стать эпиграфом ко всему спектаклю. Театр хочет быть объективным. И разговаривать со своим зрителем не на уровне ликбеза. «Когда в объяснение сложнейших политических явлений, — говорил Ленин, — приводят аморальность одних и добродетельность других, то это всегда напоминает мне те благообразные физиономии, при виде которых хочется крикнуть: «Ба! да ведь это шулер!» Защита почти в начале спектакля попросит приобщить и это высказывание к документам процесса.

Ответ привожу полностью: «Обвинение не возражает, но оно предупреждает, что подобный уровень разговора небезопасен для самой защиты. Вы уверены, что мы сможем продолжить наш процесс на этом уровне, что у нас хватит эрудиции? Вы не боитесь?»

Театр не побоялся. Иначе вообще не было бы смысла затевать такой спектакль-суд, спектакль-диспут. Рецензия Ю. Рыбакова в «Советской культуре» называлась строкой Маяковского — «Чтобы плыть в революцию дальше...». Это — задача спектакля. Это важно. Но не менее важны и следующие за этими слова поэта: «Я боюсь этих строчек тыщи, как мальчишкой боишься фальши...»

Необходимо было, хоть это и очень труд-

но, ни разу не сфальшивить на долгом пространстве пьесы, потому что одна неточность, одна подтасовка аргумента могли зачеркнуть все доверие к спектаклю, к театру и в чем-то даже ко времени, в котором он идет. Доверие зала априори было тем домкратом, который только и мог поднять на подмостки такую глыбу.

Многие критики определили жанр спектакля как коллаж. Пьеса действительно собрана из фрагментов судеб, биографий, событий разных эпох. вымышленных и документальных; она препарирует проблемы разной значимости — от фашизма до маргинальности, но случайности, необязательности в выборе этих проблем нет. Любый отдельный, казался бы и незначительный, эпизод, взятый в пьесу, моделирует социальное явление.

Но это своеобразие структуры произведения породило и некоторые недочеты спектакля, ставшие как бы продолжением его достоинств. Недочеты, вызванные желанием сказать сразу и обо всем: нестыковку отдельных эпизодов между собой, некую торопливость разговора, когда в ожесточенной схватке идей не успеваешь уследить за всеми подробностями аргументов. Так, не завершен «допрос» Черчилля: в спектакле он «не сумел» ответить на вопрос: «Чем лично вы, свидетель, объясняете свою ненависть к социализму?» Противоречия себе вопреки заявленному уже уровню разговора, спектакль опять возвращается в клоунаду, а потом ничтоже сумняшеся дает актеру, играющему Черчилля, такие слова: «Я здесь никого убедить не смогу почему я против социализма» — и предлагает дать слово. Верховенскому, герою романа Достоевского «Бесы».

После подобного перехода зал приходится завоевывать заново.

Конечно, этот судебный процесс играют, и даже не играют, а репетируют артисты, которые изображают журналистов, которые в свою очередь, выступают от имени участников процесса. А молодой журналист может и не суметь ответить за Черчилля. Оправдание есть. Но рядом, тут же, с высокой подлинностью Александр Абдулов играет Верховенского. Даже не играет, нет на сцене артиста Абдулова, тем паче артиста, играющего журналиста, который изображает Верховенского. Есть Верховенский во всей кутной распахнутости своих страстей и мыслей, от которых мороз подирает по коже. А потом вдруг Евгений Леонов по бумажке читает слова журналиста, который играет приговоренного к высшей мере бывшего большевика, что

«не смог быть революционером в послереволюционное время», не выдержал испытание властью... Горька исповедь этой души. И шпаргалка, по которой «репетируется» текст, выглядит досадным камуфляжем.

А позже — снова живой и подлинный, великий в порядочности, чистоте, мужестве своем генерал Карбышев (артист Николай Караченцов)... И так бросает спектакль из игры в подлинность, от откровенного «изображения» персонажей к талантливой достоверности создания образов... И логика в том или ином решении именно данного героя пока не прослеживается. Я пишу «пока», потому что спектакль находится в стадии постоянного совершенствования, и ни одно его представление не копирует предыдущее. Возможно, он и не должен устояться — в импровизационности смысл его решения, суть поиска этого постоянно находящегося в пути, не застывающего в устойчивой популярности коллектива, поиска, приводящего к открытиям. Не случайно именно у этого театра есть опыт — первый и очень удачный — «Революционного этюда», где Олег Янковский, «актер, исполняющий роль Ленина», как значится в программке, без грима, уйдя от внешней похожести, так достойно, одновременно строго и напористо передает мысли вождя, что и по сей день считаю — это значительнейшая победа сценической Ленинианы, проложившая путь иному, самому этически достойному решению образа вождя.

Условность формы и безусловность мысли — вот негласное кредо захаровского периода жизни этого популярного театра. И в «Диктатуре совести» театр этому кредо не изменил. Просто в желании высказаться как можно полнее и как можно быстрее (для театра политического, прямо участвующего в сотворении истории, время — категория насущнейшая) создатели спектакля, видимо, в чем-то и поступились выверенностью формы. Во имя выверенности мысли. Во имя главного, определяющего для спектакля и для времени.

Сегодня Театр Ленинского комсомола говорит с залом более всего о гласности, хотя, как точно было замечено в статье Н. Потапова в «Правде», в «Диктатуре совести» «пожалуй, целая энциклопедия проблем». Как видим, публицистическое направление лучших спектаклей едино. Оно подсказано сегодняшним днем. И когда Верховенский, юродствуя и изгиляясь, развивает «свою теорию» социализма, так оголотело подводящую базу под фашизм, эрудированная защита тут же объясняет,

что «Нечаев — карикатура на социализм, а Верховенский — это карикатура на Нечаева». И залу предлагается вопрос: «Да, конечно, карикатура на революционеров девятнадцатого века, это ясно. Но не рентгеновский ли снимок некоторых героев нашего, двадцатого?» Именно рентгеновский снимок, а не фотография: внешность разная — нутро одно. И у Верховенского и у Пол Пота. Театр доказывает это, резюмируя появление в «суде» Верховенского: «Вот почему, Петр Степанович, вы для нас сегодня грозное предостережение, сигнал опасности, своеобразный счетчик Гейгера на извращение марксизма, эталон, если хотите, политической подлости и ренегатства. Вот почему вы нам нужны, вот почему мы вас воспроизводим миллионными тиражами».

Но театру мало показать Верховенского, объяснить его и развенчать. Он идет дальше и глубже, задавая вопросы: где гарантии против Петра Степановича? есть ли они вообще и в чем они? И прибавляет к делу высказывание Маркса и Энгельса о нечаевщине: «Против всех этих интриг есть только одно средство, обладающее, однако, сокрушительной силой, — это полнейшая гласность». Казалось бы, поставлены все точки над «и», но театр считает необходимым дополнить эту мысль высказыванием Энгельса, которое сегодня звучит программой и предупреждением одновременно: «Я лично думаю, что потребуются огромное мужество от всех, чтобы фраза эта не осталась фразой».

Зал слушает. Зал конспектирует. Зал со-размышляет.

«Правда не должна зависеть от того, кому она будет служить»... Эта ленинская мысль, пронизавшая спектакль, рефрен и нашего разговора. Она прочитывается в каждой из названных здесь премьер. Поразному сочиненные, все они исповедуют одни и те же мысли.

Есть, к примеру, в «Диктатуре совести» персонаж — Дитина, утверждающий, что «на трех китах государство стоять должно: на силе, на страхе и на таких, как я...». И есть его внучек Валера той же веры. Им объясняют: «Где должен быть царь: в каждой голове или в одной голове? Если царь в каждой голове, никто из царей сутки бетона ждать не станет, быстро мазуриков и прохиндеев на чистую воду выведет, всю правду скажет, не побоится. А если в одной голове, не в твоей, тебе-то что остается, опять «чего изволите?». И тогда с тобой все что угодно делать можно».

А ведь вопрос о том, в скольких головах царь быть должен, — краеугольный и для «Серебряной свадьбы», где даже умница Сирий должен жить по указке местных царьков, а они — по согласованию со своими царьками. И для «Говори...», отчаянно призывающего рядовых людей говорить, а не рядовых — слушать.

Этот же Валера задает вопрос: «Почему при социализме иногда невыгодно хорошо работать?» И звучит цитата из Салтыкова-Щедрина: «Они сидели день и ночь, и снова день, и снова ночь и все время решали только один вопрос: как свое убыточное хозяйство превратить в прибыльное, ничего в оном не меняя. Эта тема — и лейтмотив «Говори...». А в «Серебряной свадьбе» председатель колхоза объясняет про районное начальство: «Все равно я у них кругом виноват. Виноват, что с жильем почти хорошо! «Не переманивай людей у слабых хозяйств лучшими условиями жизни!» Еще виноват, что гостиница, Дом культуры, детские сады — два! «Создаешь себе ложный авторитет, идешь за народом. Хвостизм!» Виноват, что доход...» Виноват человек, что хорошо работает!

В «Говори...» после назначения Мартынова первым секретарем райкома приходит к нему начальник сельхозотдела, чтобы разведать, какие грядут перемены. Или, как определеннее и точнее будет сказано в «Диктатуре совести» о подобных, — кто «пристраивается к перестройке». И механизм этого «пристраивания» обнажен с беспощадной откровенностью:

«— Сейчас здесь у нас новые ветры гуляют, здесь буря, здесь девятый вал, а спустись на глубину, в смысле в глубинку, — вы уверены, что там вода хоть чуть шелохнулась? А если мы всю толщу воды не перелопатим — от бури ведь только одни воспоминания останутся.

— А кто вам мешаает перелопатить?

— Те, кто обязательно попытается девятый вал превратить в бурю в стакане воды, а бурю в стакане воды выдать за девятый вал...»

И «Серебряная свадьба» задает вопрос: что будет в медвежьих углах, не останутся ли там жить по-старому? Ведь это как раз голощаповская политика — превращать девятый вал в бурю в стакане воды, а бурю в стакане воды в девятый вал.

И во всех спектаклях не замолчат тему власти во всей ее диалектической сложности «Какое это страшное чувство — власть над человеком!.. Оно меня как революционера исчерпало до конца», — скажет в «Диктатуре совести» в последнем своем

слове перед приведением приговора в исполнение персонаж Евгения Леонова. «Граждане судьи! Существует огромная масса людей, которые хотят подняться на величайшую вершину человеческой мысли, называемую коммунизмом. Ведут эту массу вожди — большевики. Мы преодолеваем перевал за перевалом, а вершина еще далеко. Товарищи, говорим мы массе, запаситесь терпением и выдержкой, стремительным и дерзким рывком мы возьмем новые преграды. И масса идет за вождями, потому что она верит им. И вдруг один из этих могучих вождей, что зовет массы на подвиги, нагибается и украдкой прячет в карман кусок старой роскоши. Масса увидела это, замерла в ужасе, показывает на него пальцами и ждет, что сделают вожди с оступившимся? Медлите? Значит, все вы такие!»

И спектакль покажет такого коммуниста, у которого, по словам «Правды», «...на солнцепеке истории закружилась голова». Со стороны обвинения будет выступать Андре Марти, блистательно (другого эпитета не подберу) сыгранный Александром Збруевым. Вот фрагмент его темпераментной речи: «Если освободиться от пропагандистской шелухи слов, которыми мы научились покрывать суть проблемы, то скажем прямо: не массы, не класс, а партия, точнее, ее аппарат, еще точнее, ее руководители — вот живое воплощение революционной идеи в истории. А честь, совесть, ум индивидуума — кого и когда это волновало? Насилие... — это «повивальная бабка истории», говорил нам Маркс...» В монолог Марти врежется ироничный комментарий «Маркс в таких случаях всегда говорил: меня увольте, я — не марксист!»

Не только чтобы противопоставить Марти человеку иных убеждений, заслужившему иную память Истории, а для очищения души после встречи с экс-коммунистом и экс-человеком защита пригласит давать показания генерала Карбышева. И среди вопросов будет: «В ряде лагерей смерти немцы вам предоставляли некоторые привилегии в соответствии с вашим званием... В тех условиях это означало жизнь. Вы всегда отказывались и требовали для себя того же, что получали солдаты и простые офицеры. Почему?» Ответ: «Чувство солидарности воспитывается не на привилегиях».

Театры рассматривают тему власти с самых разных сторон, и всегда — в показе ли нравственного самосуда Выборнова, в исповеди Борзовой, в схватке защиты и обвинения в сцене суда над Лениным — эта тема восходит к категории совести. «Власть без совести — бессовестная» — при-

печатает своих героев «Серебряная свадьба». «Это то, чего я добивался? Этой силы, этой власти?» — спросит себя Мартынов. А Театр имени Ленинского комсомола определяет главное требование времени в самом названии спектакля. Оно будет неоднократно изменяться и утвердится как «Диктатура совести»...

Тема совести, такая исконная для всей русской литературы, станет основой еще двух пьес не столь мощного публицистического накала, но тоже определивших уровень сегодняшнего разговора со зрителем

«Иван и мадонна» Анатолия Кудрявцева расскажет о человеке, которого и жена его Марья и соседи зовут «непутевым», «бухтилой», «в каждой бочке затычкой», «дурачком безотказным», потому что не позволяет ему совесть в помощи другим отказать, потому что сам в развалюхе живет, а полдеревни отстроил, всем латает, перестилает, подсобляет, — мастеровой человек, колхозный плотник. До этого — солдат. Из тех, на ком земля держится. Кого беречь бы нам как зеницу ока, а мы, лишь потеряв, способны оценить. Очень существенную тему затронул спектакль — отношение окружающих к совестливому человеку. У пьесы два варианта. В Малом театре она зовется просто «Иван». И сцена, где героя вызывают в военкомат для вручения нашедшей его сорок лет спустя боевой награды, дописана здесь драматургом. На ней одной и хотелось бы остановиться. И не на том, как ищут «только что тут бывшего» Ивана, а он уже на крыше, солдатам помогает, потому что «ребята встать кроют, а надо — взахлест... В дождь по сильней затекало бы». И не потому, что лихо дописанный разговор с районным начальством задевает те же темы, что и в спектаклях, о которых уже шла речь: что с рабочими руками плохо, потому что «столов много развелось» или что «начальству сейчас тоже достается. Взять председателя. Сверху — сводка, снизу — водка, а от боженки — погода Со всех сторон обложили». И не потому даже, что не может взять в толк милый этот человек, в войну спасший немецкую женщину с ребенком, до сих пор в себе фашистское железо носящий, «дак за что орден-то?». А на том, что понадобилось театру написать разговор Ивана с генералом Дудником, где вспоминают они бой за Малиновку, населенный пункт с заметным названием, случайно объявленный в сводке освобожденным... И пришлось освобождать... Такой ценой, что и сегодня болит сердце у генерала и кричит по ночам

солдат: «Не дури, взводный!» Это — тоже о совести. Которая болит, как старая рана... И заставляет генерала просить прощения у солдата...

В пьесе Владлена Дозорцева «Последний посетитель» странный сюжет. Является в день приема по личным вопросам к заместителю министра, а точнее к без пяти минут министру, человек и предлагает... поехать в отставку. И пока в течение двух часов спектакля — и приема — распутывается эта экстравагантная поначалу ситуация, пока выясняется, что ради получения Государственной премии в прошлом выдающийся хирург оперировал только тех больных, у которых была «реальная надежда на спасение», пока помощник министра, прожженный делегач, цивилизованный холуй, обосновывает это необходимостью создания мощного кардиоцентра, где потом будут спасать «по конвейеру», пока допытываются они, что за нужда посетителю ворошить это дело, — о совести будет сказано столько, и так отчаянно!.. Сойдутся в спектакле три человека как три ипостаси взаимоотношения с совестью: у одного она напрочь атрофирована, у другого дремлет, закутанная в аргументы «целесообразности», а у третьего обнажена, как рана, и кровоточит. И борется посетитель за справедливость, потому что на постоянно повторяемый вопрос: «Ну почему же именно вы?» — обескураживающе отвечает: «А почему не я?»

Эта пьеса о личной ответственности за любую несправедливость. И она переключается с «Диктатурой совести», где о старой большевичке говорится: «Она считает, что во всем, что есть у нас в стране хорошего, есть и ее заслуга, а в том, что еще не получилось, — ее вина».

Так же считают и театры Пьесы зывают к лучшему в нас. И беспощадно говорят о промахах, недостатках, преступлениях. Они анатомируют существующую практику бытия, чтобы пробудить нашу совесть, — всех вместе и каждого в отдельности, потому что «сознание человека есть осознание существующей практики». Они ставят диагноз наших неудач: «В этом причина болезни: расхождение слова и дела. Болезнь. Болезнь. Но если это болезнь, то чем ее лечить? Ленина надо читать! У Ленина есть слова, которые мне лично очень нравятся: «Гласность есть меч, сам исцеляющий наносимые им раны».

Появление на сцене пьес, о которых шла здесь речь, не только призыв к гласности. Они акт гласности.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Алла Марченко. Опыт общественного романа.— Петр Спивак. На языке реальных событий — Павел Нерлер. Фольклор полевых дворян.— Сергей Дмитренко. Действенность смеха

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Галнин. Дорога в никуда.— В. Мотылев, Н. Метелкина. Теории-прислужницы.

Литература и искусство

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОГО РОМАНА

Чингиз Гусейнов. Семейные тайны. М. «Советский писатель». 1986. 288 стр.

Несмотря на камерное, скромное название — «Семейные тайны», — новый роман Чингиза Гусейнова не столько семейный, сколько общественный, если воспользоваться термином Салтыкова-Щедрина (рецензия на сборник этнографических очерков С. Максимова). Обращаясь к беллетристам 70-х годов прошлого века, Щедрин сосредоточивает внимание на ряде моментов «во внутреннем содержании русской жизни», которые гребуют для своего разъяснения не психологического (а-ля Тургенев), а «общественного романа». Среди прочих конфликтных ситуаций, дающих по мысли Щедрина, богатый материал для художественного исследования, назван и такой: «А сколько характерных эпизодов могут представить, например, непрерывное развитие хищничества и тот бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости, самонадеянности, в котором сколько ни черпай, все ему скончания не будет. И все эти лжи, обманы, коварства надежды разочарования — все это кишит вокруг нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки, нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман или общественную драму». И далее: «Каким образом русский писатель приступит к созданию общественного романа, когда он на каждом шагу должен сдер-

живаться и фальшивить, когда он ежеминутно должен напоминать себе: туда не заглядывай, о том не моги говорить и т. д.».

Я сделала эти выписки несколько лет назад, собирая материал для работы под условным названием «Жажда социологии» — не для того, разумеется, чтобы нашпиговать текст аллюзиями (самая изысканная и острая аллюзия не ключ, не решение задачи, а подгонка под ответ), — но для того, чтобы уяснить и разъяснить, в чем же видел великий сатирик разницу между психологическим и общественным романом.

Иная общественная ситуация, иное понятие зла, само содержание жизни иное. А необходимость в общественном романе, общественной драме насущна, как и тогда...

О требованиях Щедрина к общественному роману я вспомнила, читая новую вещь Чингиза Гусейнова «Семейные тайны». В предисловии писатель так определил задачи своего романа: «...начинается новая полоса в нашей жизни. Дух времени побуждает к трезвой оценке прошлого, пережитого. Было немало такого, с чем надо проститься. Решительно и навсегда. Наблюдения — и плюсы, и минусы — складываются в модельные ситуации, и одна из них — в этом моем романе».

Предупреждение необходимое: чтобы не разминуться с автором, с его взыскующей

истины и социальной справедливости мыслью. мы ни на минуту не должны забывать — нам предложена не просто хроника одного семейства, а принявшая вид семейной хроники моленная ситуация, этакий современный вариант хищничества и сопутствующей ему наглости, тем более опасной, что в борьбе за существование она в совершенстве овладела искусством демагогии.

Вот, к примеру, как в самое себя узаконившей системе хищничества отработывается механизм взятки — ну, конечно же, не взятки, а взаимовыгодной услуги. Услуга еще только созревает-назревает, а они уже несут и несут, складывая несомое к стопам хозяйки клана Аббасовых, клана влиятельного, даже могущественного, проникшего во все сферы жизнедеятельности, — влиятельной Айше дань приносят. Удостоверившись в высококачественности принесенного, Айша-ханум спускает — сверху вниз по иерархической лесенке — одному из нижестоящих (проверенному и оплаченному) полупросьбу-полуприказ: надо устроить! Кто-то же должен учиться в институте — какая разница кто? Кто-то должен занять вакансию престижную, денежную — так не все ли равно кто? И никому это не мешает — ни берущему, ни дающему, и брать и давать уметь надо, талант нужен, ведь от чистого сердца несут, и берущие не в кубышку дары складывают: в дело идет. И гостей принять, и друзей навестить, и дат-то сколько: рождения, юбилеи, свадьбы... А содержание надежных глаз и ушей! Не сократишь, не сэкономишь — боком выйдет! Увы, за все платить приходится, да не медными полущками: и рослым парням, в спальню властителницы вхожим, и мальчишкам на побегушках, дальше прихожей не пускаемым. Вон оно сколько расходов!.. Впрочем, и на личные надобности остается: гардероб обновить, гарнигурчик сменить — устаревает мебель, ужас как быстро морально изнашивается! Остается, чего уж...

И снаряжает Айша экспедиции, сестер в бриллиантовые экспедиции отправляет. Все облазили-обнюхали, Ригу-Вильнюс очистили, до Таллина добрались — эти таллинцы делом заняты, некогда им драгоценности копить. Добрались — как метлой подзамели. А поди спроси — все убеждены, и Айша и сестры ее, стеснительные и интеллигентные сестрички Аббасовы: ничего такого не делают, не преступают, как все, так и они не жадничают, не зарываются, самые что ни на есть умеренные аппетиты.

Преуспевают, множатся Аббасиды, из домов улучшенного типа в спецдворцы переселились, садами-решетками оградилась,

и бережет милиция и их и сейфы их, бриллиантами начиненные, обтекает дворцовые зоны рабочий народ, на общих основаниях бытующий, глазееет, дивится: надо же, чудо какое отгрохали. — и гордится даже: ежели захотим — умеем, оказывается... Простаки, губошлепы, дурни безглазые: вам бы наши печали. И ведь правы Аббасовы, и те, и эти, и вот те, истинно говорят: поедом ест их забота. И командные точки-посты заняты, меж своими, надежными распределены, и связи налажены-проверены, тесно стоят, стенкой, ни бреши, ни щели, пожизненно и наследно.

Не без урола в семье, это точно, генетика на то она и генетика, подвести может, но урод, он и в семечке виден. Обнаружат и пересадят, на иной грядке укоренят, устроят, как Асию, младшую из шести наследных принцесс. Была принцессой — пастушкой стала. И что она может теперь — отлученная, к тайнам семейным уже непричастная? Пошумит, настроенье им испортит и опять уберется в деревню, на высылки.

Хуже, если в надежном месте прорвет, как с Расулом, к примеру. Высмотрела Расула Айша, из косяка мелочи рыбной осетрика выудила, в клан приняли, в жены красавицу Лейлу отдали — словом, вывели в люди, служи, отработывай, аванс возвращай. В открытую сделка велась, по соглашению обоюдному. К взаимной выгоде и удовольствию. Недосмотрела Айша, с изьяном товар оказался, поскользнулся Расул, заевался, оплошка вышла, какая — не важно, важно, что воспользовались, передвинули, переместили — и сломался.

А может, и не так все, может, и поскользнулся Расул потому, что непредсказуемое, не предусмотренное договором, лишнее-избыточное (недаром к нему единственному благосклонна правдолюбка Асия, все-все про него ей известно, а отличает, выделяет пристрастием и сочувствием), — так вот, может, избыточное и тогда, на взлете, в самом начале карьеры, было уже? Как тайная хворь и в душе и в крови хоронилось? Пока в общей упряжке тянул, не брыкался, а как выпрягли-передвинули, тут и вылезло. И не в том беда, что любовницу завел, на такие проделки Аббасиды сквозь пальцы глядят — сами не без греха. В ином решении: не желает в опале доживать. На любое способен, только чтоб вырваться, из-под контроля уйти. И уйдет-утечет, ибо в силе еще, ату его!

Но свято место пусто не останется «Уступив» Расула (року судьбе?). Аббасиды медленно залатывают брешь, благо младшенький, Бахадур, подросток и оперился,

пришла пора всем кланом напрячься, навалиться, чтобы и его в систему включить. И не просто на эскалатор самодвижущийся поставить, а без очереди, минуя срок испытательный, из новобранцев в полковники вывести.

Айша — та сама пробивалась. Сначала из деда Кудрата Аббас-оглы памятник сделала, ничего тут не скажешь, нечего возражать, было из чего строить, великую жизнь прожил Кудрат — не жизнь, а легенда. И в революцию гремел и потом: два наркома в одном лице — по продовольствию и просвещению. Сын Кудрата Муртуз славой отцовской не воспользовался, гордился им, но век свой в бедности коротал, дочки его ненаглядные — все шесть — за одним столом (он же обеденный) уроки делали. И жил безгласно, и погиб тихо при исполнении служебных обязанностей.

Зато Айша наверстала. Сначала памятник Кудрату-киши утвердила-поставила, потом монумент в фундамент семейного благополучия превратился. Восхождение с него началось. Карабкалась вверх Айша и сестер за собою тянула. Расулу тоже пришлось попотеть, пока в высшие сферы проник. Зато братик... этому все на блюдечке преподнесли: и имя Бахадур — замечательный богатырь (а имя — уже судьба) — и все остальное.

Уверовал Бахадур в большое, огромное свое будущее. Уверовал и готовиться стал. Особенно долго над походкой трудился, для великого будущего походку выработывал: легкость, уверенность, оптимизм — вот что требовалось от походки «бахадура», и он сотворил ее; все пригодилось: и шведская стенка, и гантели, и камень пудовый. Постаралась Айша для единственного на шесть сестриц братика, все лагеря престижные его были — и пионерские, и спортивные, и молодежные. Готовился Бахадур, времени зря не терял, как сестры желали. Успел: к тридцати годам два диплома в кармане. А за спиной — клан.

Клан, правда, не прежний, недавней уверенности уже не излучающий. Грядут иные времена, чувствует это Айша, потому и суетится, договор о взаимопомощи и ненападении заключить с Джанибеком старается. В этом стратегическом плане Бахадуру, братику, Айшой уготована ударная роль: проникнуть в семейство Джанибека, в святая святых, и всеми правдами и неправдами заполучить единственную дочь хозяина Анаханум (дочь не только гордость Джанибека, но и слабость его — ахилесова пята вроде). Завлечь, привязать, соблазнить и, «опозорив», поставить отца перед необхо-

димостью сделать хорошую мину при проигранной игре.

Бахадур сначала преуспевает. Анаханум, красавица, капризница и даже почти почти умница, втюрилась по уши, больше того — позволила Аббасиду скомпрометировать себя, девичью честь замарала, в рамках приличия, разумеется.

Но не сладилось. Улетела жар-птичка, в иные силки попала. Сияла, топорщила перышки, ворковала, вот-вот яичко снесет, не простое — золотое... Упорхнула. Переоценил свою неотразимость Бахадур, самоуверенность подвела, ни от чего отказаться не захотел, ловок, удал, а важнейшего не сообразил: нельзя все иметь и все сохранить. Выбирать надобно. Надобно, а не научен — не сумел отказаться ни от сладкой женщины, ни от престижной жены. Жаден, витален: и это мое и то мое тоже.

Но если в корень глядеть, признать следует: не моральные изъяны кандидата в зятя смутили всемогущего Джанибека, иной страх сработал — перед тем, что грядет-наступает. Наступит и отлучит их, выскочек, — нет будущего у Аббасидов! И скатерти-самобранки и ковры-самолеты отберут-конфискуют, с корабля современности сбросят: слазьте, мол, доцарствовали! А ему, Джанибеку, отступить надо, тыл загоя оборудовать, потом поздно будет. И бесценное самое сокровище Анаханум изпод юпитеров в тенечек припрятать, заранее, потише да повернее замуж пристроить.

Джанибек лишь ступенькой повыше Айши, но тут и ступенька многое решает, на ступеньку повыше, на ступеньку виднее! Айша паникует, в схватки с уже изменившей удачей ввязывается, а этот — мудрый, отступает, знает: грядет беспощадное. Что конкретно — неизвестно, но чует: не минует и не помилует; не обманывает крупного хищника инстинкт; тот, что помельче, промахнуться способен, но крупный нет, не обманется...

Начиная свой роман задолго до XXVII съезда партии, Чингиз Гусейнов тоже не ведал, какой конкретно будет новая полоса в нашей общественной жизни. Этим и объясняется условность образа перемен в книге, но в том, что перемены неизбежны, что общество созрело для них, убежден.

«Семейные тайны» — роман канунов, отсюда его сила, отсюда же и его слабости. Чингиз Гусейнов, уверенно глядя в будущее, смело выдвигает на первый план вопросы общественные. Но не выдерживает иной раз взятого напряжения, сбивается, отступает на привычные позиции — к типично семейному роману. Я имею в виду

прежде всего излишнюю пристальность, с какой живописуются любовные метания и терзания Расула, а отчасти и Асии. Думается, подобная обстоятельность едва ли хороша в романе общественном. Обилие эротических подробностей рассеивает внимание, отвлекает от самого важного — совместных, соборных, вместе с автором раздумий над сущностью предложенной им «модельной ситуации».

Тех, кто не успел прочитать «Семейные тайны», хочу предупредить: чтение не из легких. Сквозь огнюдь не семейные тайны этого семейства продираешься, словно

сквозь колючий кустарник, а местами словно через колючую проволоку. Привыкшие к постоянной конспирации, герои романа не говорят, а только проговариваются, даже наедине с собой; в глубине своих кабинетов и спален они думают и рассуждают так, как будто их может услышать кто-то другой — чужой и опасный. Прием вроде бы формальный, но в данном случае он на редкость содержателен, информативен: правда и правота взыскают света и гласности, ложь и хищничество ищут потемок. Потемок и тайн.

Алла МАРЧЕНКО.



НА ЯЗЫКЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Елена Ржевская. Знаки препинания. Повесть. «Дружба народов», 1985, № 6.
Елена Ржевская. Ближние подступы. Повести, рассказы.
М. «Советский писатель». 1985. 336 стр.

Елена Ржевская, чье имя прочно связано в нашем сознании с военной прозой, написала мемуарную повесть о 20-х и 30-х годах — временах своего детства и юности. Напечатанная сначала в журнале, повесть эта в более полном виде вошла затем в книгу «Ближние подступы», собравшую произведения, различные по жизненному материалу: кроме «Знаков препинания» читатель найдет здесь повести о войне — «Ближние подступы» и «Ворошенный жар». И теперь повести эти, представляющие два пласта творчества писательницы — условно говоря, «военный» и «мирный», — зажили новой жизнью: стало заметно, как тесно взаимодействуют они друг с другом.

Видимо, здесь сказываются общие сдвиги в нашем историческом сознании: критики и социологи заговорили о нарастающем интересе к «недавней истории», и интерес этот не ограничивается отдельными событиями и периодами — исследуется содержание, качество тех нитей, что связывают, стягивают разрозненные во времени явления воедино, в историю. Василь Быков в повести «Знак беды» вскрывает связь коллизий военного времени с тем, что происходило в деревне в годы коллективизации. Алексей Герман в фильме «Мой друг Иван Лапшин» всматривается в живших пятьдесят лет назад людей сегодняшним взглядом, держа в уме и войну и многое иное. Искусство, обращаясь к прошлому, все чаще пытается понять самую логику истории, мучительно переживая заново все, что было с нами, — так, словно можно теперь предотвратить роковой ход событий, убедить заблуждающихся, воскресить мертвых.

Темой растревоженной памяти и начинается повесть Е. Ржевской. «Зачем, спрашивается, нарядный мальчик покинул свой дом № 14 и шел в первый класс «А» под моим замороженным присмотром, зачем трепетно летели за ним ленточки матросской бескозырки? Зачем? Ведь в конце его учебного пути он, в финских лесах, будет с не меньшим, чем мое, рвением высмотрен с дерева «кукушкой» через оптический снайперский прицел». И после этого страшного сравнения не раз еще прозвучит в повести все то же «зачем?», «словно в самом деле у человека от рождения есть большее предназначение, чем сама жизнь, ему данная, и ее проживание». «Зачем я ищу в завязях ее какого-то смысла, надсмьсла, что будто бы превыше самой жизни?» — недоумевает писательница, и вопрос, адресованный прошлому, становится для нее вопросом к себе самой: зачем вспоминать?

Жизнь московских дворов и коммунальных квартир неослабно, словно бы неизжитая, через десятки лет властвует над памятью автора «Знаков препинания». «Называется — наш дом. А на самом деле — это же судьба». На семейной истории, рассказанной в повести, лежит печать тех лет. Отнюдь не как что-то временное и чрезвычайное, а как вполне возможная черта того уклада жизни воспринимается автором причудливый треугольник: мать, отец и Б. Н. («Б. Н. есть Б. Н., и кем он нам доводится, в уяснении не нуждалось»). Этот неразрешимый узел и в самом деле был устойчивой формой существования семьи. Чувство Б. Н. к матери было глубоким и прочным именно потому, что он почти все время на-

ходился от нее на расстоянии; отец же доверял своему другу Б. Н. И этот семейный уклад оборачивался драмой для матери — ведь Б. Н. не хотел никаких перемен: он «в браке состоял со свершившейся пролетарской революцией, истово служил ей... и жил анахоретом» Б. Н. — интереснейшая фигура: толстовец, большевик, самоучка, ставший крупным руководителем, он как-то удивительно соединял в себе мягкость и власть. Б. Н. остался для Е. Ржевской одним из «самых фундаментальных лиц» ее детства — обреченный на одиночество человек, от которого «что-то нравственно-требовательное исходило... не угнетая».

Подлинная любовь к истории возможна лишь тогда, когда история для нас не безлюдна, когда она «очеловечена», откликается живыми голосами. Восстанавливая прошлое своей семьи, Е. Ржевская стремится увидеть исторический поток изнутри, понять самочувствие человека в нем. Вот почему общая интонация повести не ностальгическая, а скорее вопрошающая.

В 30-х годах часто видят одну лишь внешнюю сторону — энтузиазм, парады физкультурников и «с каждым днем все радостнее жить», а то еще и вздыхают: порядок был в повести Е. Ржевской нам открывается непарадная жизнь, то, что кроется за такими штампами, как «люди из железа», и т. д.

В «Знаках препинания» Е. Ржевская, как и в получивших широкую известность «Записках военного переводчика», пишет о реальных, невыдуманных людях и событиях. С этого начинается сцепление между вошедшими в новую книгу разнородными произведениями. Мало того: и военный и невоенный материал организован по единому композиционному принципу — автор воссоздает общую картину из обрывков-фрагментов, расположенных как бы сумбурно, без особой последовательности. Но именно эта «неупорядоченность», сплетающаяся всеедино и крупные события и мелкие детали, подробности быта, насыщает повествование дыханием подлинной жизни, обеспечивает ему масштабность.

Понять прошлое изнутри, услышать его голос... Применительно к повести Е. Ржевской это значит дать высказаться самой действительности на присущем ей языке реальных событий и фактов. И тут начинаются такие вещи, которые не очень укладываются в рамки привычных представлений о документальности. Сама собою, без всякого авторского нажима действительность вдруг начинает говорить языком символов, сближений, совпадений. Так, невиданный туман, спустившийся на Москву

в день совершеннолетия Е. Ржевской, был будто нагадан ей в стихах близкого человека, поэта, погибшего затем на фронте («Кто меня полюбит, горючего, я тому туманы подарю»), и видится теперь, по прошествии многих лет, «его обещанным подарком», началом судьбы. Или ужас одиночества, испытанный когда-то в детстве в коммунальной квартире: не было ли это, спрашивает Е. Ржевская, «предчувствие рока, неминуемо простиравшегося над всеми, кто близок?»

Вопросы, конечно, риторические. Но благодаря им напряженная ассоциативность повести наполняется энергией размышления, движения к большему знанию, размыкаются временные пределы повествования. 30-е годы выходят на сближение с годами войны, и в этом отношении книга Е. Ржевской оказывается вполне цельной. Мешает здесь правда, вот что. Е. Ржевская не раз говорит о «счастливой надбытности» людей 30-х годов, и тут, по-моему, есть некоторый разлад между ее военными вещами и «Знаками препинания». В «Записках военного переводчика» быт, самый бесхитростный, противостоит войне как сила самой жизни, доказывающей свою неистребимость. Теперь же писательница грустит о невосполнимом утраченной надбытности предвоенной поры. Однако само изображение в повести взаимоотношений человека с бытом заставляет говорить скорее о драматизме этих отношений, чем об их гармонии. Я имею в виду хотя бы отца Мани Абрамович, одноклассницы автора (ездивший через всю страну сопровождающим с эшелонами, он отвык от оседлого городского быта и тяготился им), эпизод свадьбы Мани в первую послевоенную зиму, когда уже самой недавней военной переводчице во всем житейском «мерещилось что-то ненормальное или, по крайней мере, — неестественное». Так что утверждение о «счастливой надбытности», на мой взгляд, неосновательно и явно нарушает внутреннее единство новой книги Е. Ржевской.

М. Борщевская, рецензировавшая в «Литературном обозрении» повесть «Ворошенный жар», обратила внимание на особый образный строй прозы Е. Ржевской, соотносящий документальные факты с вечностью, и сделала мне кажется, очень точное замечание: «Перед нами случай, когда чувство обгоняет опыт, а мысль еще не в силах этого осознать». Подобное, по-моему, наблюдается и в «Знаках препинания»: суждения о надбытности объясняются, может быть, тем, что художественное обобщение пока еще не совсем осознанно, как

бы на ощупь осваивает жизненный материал.

Правда, как известно, она; не может быть правды «того» и «этого» времени. Вопрос в достигаемой тем или иным временем мере осознания истины. Завязи жизни — вот что привлекает внимание Е. Ржевской: в каждом событии содержится множество возможностей будущего. Допытываясь ответов на свои «зачем?» и «почему?», писательница соединяет события истории в единую цепь причин и следствий.

«Они почему-то возвращаются — люди, призраки, образы прожитых мной лет... Люди отделены от нас не временем — знаками препинания», — пишет Е. Ржевская. Запятая, точка с запятой, восклицание, вопрос... Все это знаки нашего отношения к прошлому. А осознание прошлого во всей его истине — это вопрос нашего сегодняшнего самоопределения.

У Маргариты Алигер в стихотворении о снесенном доме, на месте которого разбит сквер, есть такие строки:

Полный неистовства, света и грома,
город живет, не смыкая глаз,
и, как сегодня без нашего дома,
он обойдется однажды без нас.
Кочки сровняет, пространство замерит —
бедные наши сердца и умы! —
и разобьет незначительный скверик
там, где сегодня волнуемся мы.

Да, так движется время, и уходит под воду целый материк. Так происходит всюду, и тем существеннее осмысление истории через семейную память и для литературы, и для каждого, кто задумывается о том, что живет он на месте грядущего «незначительного скверика»

Петр СПИВАК.



ФОЛЬКЛОР ПОЛЕВЫХ ДВОРЯН

Сказки и песни, рожденные в дороге. Цыганский фольклор.
М. «Наука», 1985. 520 стр.

Первые упоминания о цыганах в Европе относятся к началу XV века, на территории России они впервые появились в XVI веке, а в 1721 году уже добрались до Тольска. Сейчас согласно последней переписи в СССР проживают около 209 тысяч цыган. Умелые ремесленники (кузнецы, лудильщики, ювелиры), исключительные знатоки лошадей, цыгане вместе с тем всегда были и остаются прирожденными артистами, особенно сильно и ярко искрится их талант в музыкальном искусстве.

В рецензируемой книге любовно собраны образцы фольклора русских (точнее, северорусских) цыган, проживающих главным образом на северо-западе европейской России. Сила и самобытность цыганской фольклорной традиции очевидны, хотя читателю, знакомому с собственно русским фольклором, хорошо видны тесные связи и частые переклички цыганского и русского народного творчества. При всем изгойстве, при всей многовековой замкнутости цыганского мира это более чем естественно для кочевой, устной цыганской культуры с ее открытой и восприимчивой душой.

В песнях и сказках, собранных в книге, ярко отразилась природа России. «Скитаясь по лесам, ведя кочевой образ жизни, сталкиваясь постоянно с непонятными для них явлениями природы, — пишут в своем предисловии составители Е. Друц и А. Гесслер, —

цыгане давали пищу своему воображению, подогреваемому страхом перед этим непонятным. Отсюда столь сильна была вера цыган в русалок, лесовых и прочую нечистую силу».

Книгу составили как бы две коллекции — сказок и песен. Многие, думается, с удивлением узнают, что подлинно народное исполнение цыганских песен «не подразумевает инструментальной поддержки». Ее заменяет отстукивание такта ногой или хлопками в ладоши. Гитара же (и аккордеон) вошли в цыганский обиход позднее — под влиянием городской культуры.

Так называемый цыганский (или жестокий) романс родился в XIX веке на гребне повальной моды на цыганские хоры. В салонно-ресторанной атмосфере московских «Яра» и «Стрельных», петербургских «Аркадии», «Виллы Родэ» и прочих заведений в специфическом цыганском исполнении звучали, собственно, русские городские романсы, как правило, авторские и нередко дурного пошиба. Настоящих цыганских песен в репертуарах этих хоров почти не было, как не было их и в бесчисленных «Цыганских ночах», «Цыганских таборах» и других песенниках. Салонный вариант цыганских песен получил несколько пренебрежительное обозначение цыганщины. Отношение к ней, впрочем, неоднозначно. Так, Юрий Домбровский, рассматривая жизнь цыган и цыган-

скую тему в русской литературе в широком этико-социальном контексте, под цыганщиной понимал нечто иное и более значительное — «ложь частную и общественную», «маскарад чувств сверху и темноту снизу», «уголовную лирику и романтику». Великая русская литература, утверждал писатель в статье «Цыгане шумною голпой...», ответила на нее тем, что «показала миру настоящую человеческую красоту этого угнетенного и стираемого с лица земли народа, в котором человеческие достоинства даже и не предполагались...».

И все же подлинный цыганский фольклор тщательно хранился в самой цыганской среде. Но, как отмечают исследователи, не следует впадать в крайность полного отрицания, отречения от этой цыганщины, создавшей собственные шедевры, которыми совершенно заслуженно восхищалось не одно поколение русских интеллигентов от Пушкина до Блока.

Усилиями составителей научная коллекция подлинных цыганских песен значительно увеличилась. В сборнике они распределены по традиционным для цыган жанрам: протяжные песни, плачи, бытовые и свадебные песни под пляску, шуточные.

Перепадами размеров даже смежных строк, вольничей обращений, в сущности междометных («ой, ромалэ!», «ах, чявалэ!» и др.), характерными повторами строк переводы песен хорошо передают удивительную свободу интонации, распева и ритма в цыганской песне. Вот, к примеру, протяжная песня «У Волги»:

...Ай, конь мой ходит
Белогривый. ромалэ,
Ай, да пить не хочет,
Есть не хочет, ромалэ.

Ай, пить не хочет.
Есть не хочет. ромалэ,
Ай, да черна дума
Сердце точит ромалэ.

Ай, черна дума
Сердце точит, ромалэ,
Ай, да где хозяин
Бродит ночью, ромалэ?

Здесь, как и во многих других песнях, отразилось совершенно особенное отношение цыган к лошадям, сказать о котором «одушевленное» было бы все-таки недостаточно.

Среди множества привычных, из песни в песню кочующих образов иногда встречаются поразительно свежие, непривычные. Вот девушка в песне «Черепановые горы», от которой — видимо, небеспричинно — отвернулись родные, отец и брат, поет: «Сами сели есть да пить, а меня послали за водой, Покуда воду я несла, ведро слезами долила».

Или песня «Паровозик», устанавливающая

естественную грань между цыганским и тюремным фольклором, остро ранившая «наточенной бритвой» заключительного куплета:

Ай, паровозик уезжает,
Да он свисточки подает.
Он нас увозит в край сибирский,
Он нас увозит навсегда.

Убейте брата дорогого,
Убейте. бедного. меня,
И мы погубнем понапрасну,
И мы погубнем без вины.

Смотрю, смотрю я из окошка,
Смотрю, смотрю я на луну,
Она не сводит взгляд печальный,
Так смотришь ты, жена моя.

Совершенно особая область самовыражения цыган — их сказки. Как и песня, жанр этот исключительно устный (своей письменности у цыган не было и нет), и с этим, возможно, связана встречающаяся в них многосюжетность. Так, в «Разорванном ожерелье», по существу, рассказаны две разные сказки — одна со счастливым, другая с несчастливым концом. Первая — о любви юноши из бедного табора и девушки из богатого, о похищении и о свадьбе: идиллию омрачали лишь непримиримость тестя да отчаянно бедная жизнь молодоженов — и в этом уже завязь второй сказки. Крайняя нужда заставила счастлива пойти на воровство. Убитый пастухом, он был оплакан и похоронен женой, но любил ее так сильно, что даже после смерти приходил к ней по ночам, а по цыганскому поверью по ночам оживают только не преданные земле покойники. Однажды он едва не увел ее, живую, за собой в могилу, да под конец пути разорвалось и рассыпалось материнское ожерелье: собирая на земле у могилы бусины, жена и дождалась третьих петухов...

Хватает в цыганских сказках и собственно нечистой силы — волшебников, колдуний, чертей, лесовиков, русалок и прочего. Нельзя не упомянуть и спорников (от «спорить», то есть помогать, способствовать) — приносящих удачу существ в детском облике (в русском фольклоре подобные персонажи, кажется, неизвестны).

Женижба.. Без преувеличения можно сказать, что главный нерв цыганской сказки именно матримониальный. Необычайная, полуфантастическая история сватовства и женибты героя, преодолевающего на пути к цели непреодолимые преграды, всегда включает рассказ о встречах человека с волшебными — добрыми и злыми — силами. При этом явной симпатией пользуются герои, не обаянные бесом гордыни, но проявляющие более чем разумную — а при общении с волшебниками в особенности — по-

корность судьбе. Такова терпеливая Ружа из третьего варианта сказки о Вайде и Руже, такова младшая из дочерей в сказке «Как русалки появились», суженая морского царя, не уклонившаяся от судьбы, что и принесло ей счастье в отличие от строптивых старших сестер, ставших русалками.

Надо заметить, что за всем сводом цыганского фольклора, представленным в книге, ощутим некий морально-правовой кодекс цыган, те их негласные законы и принципы, весьма строго соблюдаемые, которые, собственно, и давали им право называться полевыми дворянами...

Сборник цыганских песен и сказок — книга одновременно популярная и научная, результат огромного, граничащего с подвижничеством, многолетнего труда Е. Друца и А. Гесслера. Энтузиасты-собиратели с большим опытом, знатоки истории, языка и всего строя цыганской жизни, ученые-фольклористы и квалифицированные переводчики, текстологи и авторы обстоятельной вступительной статьи — вот внушительный перечень амплау, в которых пришлось выступить литераторам, составившим и прокомментировавшим эту уникальную книгу.

Павел НЕРАЕР.



ДЕЙСТВЕННОСТЬ СМЕХА

- Д. Николаев. Сатира Гоголя. М. «Художественная литература». 1984. 367 стр.
 Д. Николаев. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк.
 М. «Детская литература». 1985. 222 стр.

Д. Николаев — исследователь одной темы. «С давних пор сатирическое направление составляло наиболее живую струю в русской словесности» — вот, по существу, исходный тезис всех его работ, тезис о «социальной роли смеха». Выпустив почти четверть века назад книгу «Смех — оружие сатиры» о сатире советской, ее особенностях, ее проблемах, ученый двинулся от современности к истокам — к Щедрину (монография «Сатира Щедрина и реалистический гротеск», другие работы об авторе «Истории одного города») и Гоголю (новейшее исследование о его сатире).

Примечательно, что выпускаются книги Д. Николаева не академическими, а «массовыми» издательствами. В полной мере учитывая достижения современного литературоведения, автор вместе с тем стремится выйти к широкому кругу читателей. И такая «популяризация» при изучении идейно-эстетического смысла смеха провозмерна, ибо «смех часто бывает великим посредником в деле отличия истины от лжи» (Белинский).

Поскольку сатира — жанр весьма конкретный, а сатирик более чем какой-либо другой писатель «у времени в плену», постольку вопрос о социальной роли смеха (у классиков) не может быть сведен к простым рассуждениям типа «смешно» — «не смешно». Не все объясняет и анализ так называемых общечеловеческих мотивов сатиры, когда высмеиваются дурные черты характера или аномалии человеческого поведения. Разбирая «Историю одного города», Д. Николаев превосходно показывает, что главная сила сатиры — в сочетании предель-

но конкретного, почти бытового с обобщенностью, приобретающей гротесковые формы. Знаменитое и загадочное «оно» в финале щедринского романа толкуется исследователем как «обобщение, вобравшее в себя не только то, что уже обрушивалось на глуповцев на протяжении истории и обрушивается в настоящее время, но и то, что еще обрушится на них в дальнейшем», то есть через сатирический образ выявляются глубинные причинно-следственные связи в практике самодержавия.

Рассматривая концепцию М. М. Бахтина о природе «карнавального» смеха в его отношении со смехом сатирическим, Д. Николаев предлагает ряд уточнений, основанных на убежденности, что, «если идеал сатирика по-настоящему высок, отрицательными (и, следовательно, смешными) для него становятся существеннейшие стороны жизни, а нередко даже вся окружающая его действительность, все общество. Тем самым и целостность смехового аспекта мира (определение М. М. Бахтина.— С. Д.) в его творчестве ничуть не разрушается».

Вместе с тем, оспаривая М. Бахтина, Д. Николаев иной раз увлекается полемикой о терминах «карнавальный» и «сатирический». Особенно это заметно в главе о «Мертвых душах» — «Вся Русь... с одного боку».

Рассматривая — не без оснований — поэму как «произведение, в котором запечатлено состояние русского самодержавно-крепостнического общества в период его кризиса в 30 — 40-е годы XIX века» (хотя неоднократно указание на 1840-е годы, по-моему, не совсем точно: книга выпущена

на в 1842 году, то есть в самом начале насыщенного событиями десятилетия), подробно говоря о гоголевских персонажах как «типичных представителях» разных сословий русского общества, Д. Николаев оставляет в тени важнейшее — идейно-эстетическое бессмертие произведения, причины его актуальности и после того, как николаевская Россия стала далекой историей. В итоге перед нами сугубо социологическая интерпретация «Мертвых душ». Этого изъяна, думается, можно было бы избежать, учти автор книги положение М. Бахтина о живой народной основе гоголевского смеха.

Более плодотворной в книгах Д. Николаева представляется методика, опирающаяся не на полемическую, а на конкретно-аналитическую основу. Так, совершенно справедливо не оставлены в стороне биографии сатириков, мир их впечатлений: «Сатирики не меньшие, а большие патриоты, чем те, кто обрушивает на их головы... живые обвинения».

Вместе с тем, как показывает Д. Николаев, идеал сатирика не может формироваться без самокритической нацеленности. После появления «Мертвых душ» раздавались требования сослать автора в Сибирь, запретить ему писать и т. п., но опаснее всего, как оказалось, были те лица из стана охранителей, кто постарался приблизить са-

тирика к себе и завоевать его доверие. Д. Николаев, считая идейно-творческий кризис Гоголя в 40-е годы особой проблемой, заслуживающей отдельного исследования, оставляет ее за рамками книги, но можно вспомнить, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» не однажды обнаруживаются ситуации, где Гоголь-проповедник приобретает поразительную схожесть со своими не столь давно высмеянными персонажами (чего стоит, например, воистину маниловский совет помещику демонстративно сжечь ассигнации перед крестьянами, чтобы подчеркнуть свое бескорыстие при управлении ими!). Есть у нас немало свидетельств и о трагикомических компромиссах, сопровождавших попытки Щедрина ввести в жизнь теорию о «практиковании» либерализма «в самом капище антилиберализма»...

Еще в 1912 году В. И. Ленин призывал «вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина». Работы Д. Николаева помогают осознать тот факт, что и сегодня наследие Гоголя и Щедрина — наследие живое, содержащее уроки гражданственности, противостоящее бездушию и косности. Да, нам нужны современные Гоголи и Щедрины. Но у нас есть и сами они — Гоголь и Щедрин. Их смех по-прежнему действен.

Сергей ДМИТРЕНКО.



Политика и наука

ДОРОГА В НИКУДА

В. В. Витюк. Под чужими знаменами. Лицемерие и обман «левого» терроризма. М. «Мысль». 1985. 206 стр.

С. А. Эфиров. Покушение на будущее. Логика и футурология «левого» экстремизма. М. «Молодая гвардия». 1984. 206 стр.

С понятием «терроризм» следует обращаться осторожно. В последнее время в международном лексиконе оно потеряло свою определенность. Администрация США все чаще использует его в качестве универсальной отмычки, с помощью которой пытается реализовать свои неоглобалистские планы.

В этих условиях крайне важно различать терроризм действительный и мнимый. Действительный терроризм — это бессмысленные кровавые акции, направленные против незащитного гражданского населения, прежде всего женщин и детей, с целью вызвать всеобщее замешательство, дестабилизировать обстановку и добиться тем самым личных или групповых эгоистических целей. Его специфической разновидностью является

государственный терроризм, когда насилие осуществляется при поддержке иностранного государства, преследующего при этом свои внешнеполитические цели, или непосредственно вооруженными силами этого государства. Совсем другое именуют терроризмом Соединенные Штаты и их ближайшие союзники: борьбу палестинцев за свое выживание как нации, отпор жителей черных гетто ЮАР белым расистам, сопротивление сальвадорского народа массовому истреблению, проводимому правительственными войсками и так называемыми эскадронами смерти, и так далее. Здесь ярлык терроризма используется для того, чтобы направить по ложному следу оправданное негодование, которое вызывают у общественности настоящие террористические акции.

В книгах, о которых идет речь, рассматривается действительный терроризм, а именно одно из его направлений — «левое».

Когда возник современный «левый» терроризм? На этот вопрос не сразу ответит даже специалист. И вот мы оказываемся в Латинской Америке, узнаем об уругвайском «Движении за национальное освобождение» (тупамарос), впервые практиковавшем так называемую городскую войну (герилью), о разновидностях этого движения в Бразилии, Аргентине, Венесуэле и других латиноамериканских странах, о том, как оно повлияло на мятежную молодежь в странах Западной Европы. Авторы знакомят нас с «теоретиками» экстремизма: К. Маригеллой, погибшим в 1969 году в схватке с бразильской полицией, вождем итальянских «автономистов» А. Негри. Видим мы и подлинные лица рядовых террористов, нередко образованных и неглупых людей, превратившихся в кровавых маньяков.

Террористы «левого» толка выдают себя за самых решительных, самых последовательных противников реакционных сил и прогнивших режимов. Они предают анафеме все оппозиционные (в том числе и революционные) движения за «примиренчество», «соглашательство», «оппортунизм». Однако во многих странах, как показывают В. Витюк и С. Эфиров, между террористическими организациями и влиятельными институтами власти существуют тесные связи. Независимо от субъективных намерений деятелей «левого» террора, их активность на руку власть имущим. Террористические акции вызывают в обществе панические настроения, усиливают тягу к «сильной власти», к жестким мерам административного принуждения, сеют недоверие к последовательно революционным партиям, к любым моделям социально-политических преобразований.

Читателю, конечно, известна история с заговорщической масонской ложей П-2, членами которой были многие высокопоставленные деятели Италии. Все они придерживались крайне правых взглядов и готовили государственный переворот с целью установления в стране тоталитарного режима. Менее известно то, что при обыске на вилле руководителя ложи Личо Джелли были обнаружены документы, свидетельствовавшие о связях между ложей и наиболее активной в то время итальянской левотеррористической организацией «Красные бригады». Сам Джелли выступал в роли посредника между «Красными бригадами» и международными торговцами оружием и

организовывал транспортировку закупленного оружия в Италию.

Это событие объяснило казавшуюся загадочной беспомощность полиции в борьбе с «Красными бригадами». Через ложу П-2, в которую входили высшие полицейские чины и руководители военной разведки, к террористам поступала секретная информация о готовящихся против них акциях. Не случайно крупнейшие поражения «Красных бригад» начались сразу же после разоблачения ложи П-2 и бегства Джелли. Итальянской полиции потребовалось не более года, чтобы лишиться информации о ее планах террористы в своем большинстве оказались за решеткой.

Поражения террористов сначала в Латинской Америке, а затем в Западной Германии, Японии и особенно в Италии создали к началу 80-х годов впечатление, что «левый» экстремизм пришел в упадок. Однако сегодня ситуация вновь изменилась. Усилилась координация действий «левых» террористов в ФРГ и во Франции. Активизировались они в Испании и Бельгии. Как бы ни развивались события в дальнейшем, очевидно, что в ближайшие годы «левый» экстремизм будет по-прежнему оказывать влияние на общественно-политическую обстановку в капиталистическом мире.

Почему же, несмотря на многочисленные поражения, общественное осуждение и репрессии, терроризм «левого» толка не сходит со сцены? Анализу причин такой живучести В. Витюк и С. Эфиров уделяют немало внимания. Они постоянно возвращаются к вопросу о корнях «левого» терроризма, о структуре его социальной базы, о различных источниках, которые его питают. Некоторые стороны этого вопроса в книгах рассматриваются достаточно полно, другие лишь намечены, иные и вовсе упущены. Поэтому целесообразно привлечь к нему особое внимание читателей.

Для развитых капиталистических стран 50-е и 70-е годы были временем болезненной общественной ломки. Исчезало традиционное крестьянство — в деревне оставались главным образом крупные фермеры, а разорившиеся крестьяне массами оседали в городах, частично превращаясь в рабочих, ремесленников и мелких предпринимателей, частично пополняя ряды не включенных в общественные структуры маргиналов, в конечном счете люмпенов. Городские служащие, теряя прежние привилегии, становились обычными наемными рабочими с той лишь разницей, что продолжали заниматься умственным трудом. Шел беспрецедентный численный рост интеллигенции, сопро-

вождавшийся уменьшением социальной значимости ее труда. В 70-х годах в большинстве промышленно развитых стран усилилась безработица. Ее жертвой стало в первую очередь молодое поколение. Даже для тех, кто не попал в число безработных, резко сократились возможности найти сферу деятельности в соответствии с полученным образованием. Многие молодые люди почувствовали себя отверженными — пацанками государства и его институтов. Не менее чуждым себе они воспринимали и гражданское общество с его установившимися правилами и нормами поведения. Кризис, которым завершились молодежные движения протеста во многих капиталистических странах, побудил бунтарей взять на вооружение методы, открывавшие, как им казалось, прямой путь к цели. «Левый» терроризм стал детищем социального недовольства, наложенного на малый жизненный опыт и специфическую социально-психологическую ориентацию маргинализированной молодежи.

Вот почему у «левых» террористов возникла хотя и узкая, но относительно устойчивая социальная база. Активных деятелей террора было совсем немного: десятки, самое большее — сотни. Однако тысячи и даже десятки тысяч людей поддерживали террористов, давали им убежище, снабжали деньгами.

Это обстоятельство очень важно для оценки перспектив «левого» терроризма. Развитие современного капитализма воспроизводит на расширенной базе все те процессы, о которых шла речь выше. Социальное недовольство растет, маргинализация общества продолжается. Все большее число

людей воспринимают свое положение как результат конфликтного противостояния личности и общества. А следовательно, остаются и причины, порождающие «левый» экстремизм

В рецензируемых книгах ставится вопрос (наиболее отчетливо формулирует его С. Эфиров): как могли некоторые высокообразованные западные интеллектуалы, известные своим гуманизмом, проявлять симпатичность к «левым» террористам, выступать в их защиту? Дело, думается, не в том, что люди масштаба Г. Бёлля и Г. Грасса, высказываясь в пользу «левых» террористов, что-то недооценивали или чего-то не понимали. Дело в том, что многие интеллигенты-гуманисты непосредственно чувствуют ту гнетущую обстановку, которая побуждает молодых образованных людей рвать с обществом и бросаться в пучину террора. Они считают себя обязанными в этих условиях прежде всего бросить обвинение в лицо обществу, а уже затем обратиться к разбору, насколько оправданны или действительны методы, к которым прибегает отчаявшаяся молодежь. В отношении «левых» террористов они занимали позицию понимания, которая, к сожалению, нередко превращалась в позицию прощания.

Да, такая позиция заслуживает критики. Но, осуждая западных «левых» либералов за их ошибки, колебания и непоследовательность, необходимо исходить из реалий того общества, в котором они живут и действуют, и отличать ошибающегося, но честного человека от мракобеса, врага любой живой мысли.

А. ГАЛКИН,
доктор исторических наук.



ТЕОРИИ-ПРИСЛУЖНИЦЫ

А. Я. Л и в ш и ц. *Миражи капиталистического регулирования.* М. «Мысль». 1985. 173 стр.

Вмешательство капиталистических государств в экономику, ее централизованное регулирование должны, по мнению буржуазных ученых, избавить капитализм от кризисов, безработицы, инфляционных колебаний и других недугов.

Однако для лечения необходимо прежде поставить правильный диагноз. Если же больной неизлечим, у врача остается один выход — обманывать его, почаще меняя рецепты и отыскивая все новые причины для объяснения продолжающегося заболевания. Именно таков сегодня удел буржуазной политекономии. Критическому исследованию новых теорий государственного регулирова-

ния экономики ведущих капиталистических стран, особенно США, и посвящена книга А. Лифшица.

Поворот к консерватизму — одна из главных тенденций в экономике и политике империалистических государств, которая наиболее полно проявилась в 80-е годы. Новые работы буржуазных экономистов консервативного «неоклассического» направления, в том числе М. Фридмена, М. Фелдстайна, А. Лаффера и других, строятся на основе экономико-математических моделей и написаны эконометрическим языком, который довольно трудно перевести на язык политической экономии и еще сложнее — на

язык, доступный неспециалистам. Это не случайно. Желание затушевать реальные противоречия капиталистического мира вынуждает его теоретиков скрывать свои мысли за терминологическим хаосом или преподносить их в виде абстрактных математических построений. Нарочитое наукообразие подмечал у буржуазных экономистов еще К. Маркс, который писал, что их интересует не то, верна или не верна та или иная теорема в экономической теории, а то, отвечает ли она их классовым интересам или нет, удобна или неудобна, согласуется с полидейскими соображениями или нет.

Сама по себе эконометрика как математическая форма исследования реальных экономических процессов может принести немалую пользу. Широко применяется математическое моделирование и в советской экономической науке. Однако так же как знание латыни, например, еще не делает из человека врача, знание математики без умения понять важнейшие факторы развития общества, его классовую структуру, политическое лицо, систему экономических интересов и многое другое не позволяет создать правильную экономическую теорию. Вот почему богатый набор постулатов, аксиом и теорем, не опирающихся на изучение реальной действительности, представляет собой науку для науки, чисто умозрительные конструкции, преследующие, однако, известные политические цели.

В конце XIX века излюбленным методом исследования у вульгарных экономистов была схоластическая абстракция. Они отрывали человека от общества, ставили его в неестественные, экстремальные условия — например, помещали в пустыню или на необитаемый остров, чтобы определить стоимость стакана воды или мешка зерна. Затем эту «пустынную» или «островную» стоимость почему-то клали в основу стоимости товаров, произведенных в обычных условиях в обществе. Теории, основанные на таких методах, отличались полным внеисторизмом. Они рассматривали человека вообще и потребности вообще: вне пространства и времени, общества и классов.

Для современных «неоклассических» теорий, отмечается в книге, характерен такой же внеисторический подход к обществу. Они рассматривают его как однородную совокупность субъектов, стремящихся улучшить свое благосостояние, добиваясь максимума выгод при минимуме затрат. На этом и строятся математические функции.

В центре всех построений — абстрактный «мистер Некто». Его поведение непредсказуемо, ибо, считают «неоклассики», «в со-

циальном мире нет естественных законов причины и следствия, а существуют только мнения и позиции людей по отношению к миру». Буржуазных теоретиков этого толка не интересуют реальные процессы экономической жизни, «мистер Некто», по их собственному признанию, — просто «метафорическое и фигуральное» выражение. Но именно из него «неоклассики» пытаются вывести принципы «рационального поведения», в результате которого, по их мнению, может возникнуть «оптимизация всеобщего благосостояния».

Уязвимость экономической теории, ставящей знак равенства между всеми «хозяйствующими на рынке субъектами» — и рабочим, и мелким собственником, и крупной монополией, и государственным предприятием, — была понята даже апологетами капитализма. Так, Дж. К. Гэлбрейт писал: «Люди принимают решение о том, что они будут иметь, фирмы решают, как наилучшим образом выполнить эти решения. Экономическая теория изучает поведение людей, вовлеченных в этот процесс. Но если допускается, что организации, принимающие участие в этом процессе, обладают властью, что обеспечиваются именно их интересы и люди подчиняются этим интересам, то даже наиболее благодушные неизбежно зададут вопрос: а не может ли так случиться, что экономическая теория тоже служит интересам организаций?»

Антинародная направленность «неоклассических» теорий видна невооруженным глазом. Их авторы, например, предлагают с помощью налогов увеличить доходы военных монополий и сократить пособия по безработице и другие виды социального обеспечения, ибо это «ненужные общественные товары». Другим вымыслом, оправдывающим растущие расходы на вооружение, являются «тотальные внешние воздействия». Суть этого «изобретения» буржуазных экономистов состоит в следующем. «Мистер Некто», уплачивая государству налог, тем самым покупает у него «услугу» — оборону. Все «мистеры Некто» понимают преимущества обороны и хотят ею пользоваться, но одновременно хотят увильнуть от уплаты налога. Так возникает проблема «вольного всадника», или «неопределенного спроса» на оборону и другие аналогичные «общественные товары».

Давая те или иные рекомендации по государственному регулированию капиталистической экономики, буржуазные экономисты ставят себя в сложное положение. Ведь им не приходится рассчитывать на единство экономических интересов, которое

может возникнуть в условиях общественной собственности на средства производства, а без этого государственное регулирование напоминает попытку спасти тонущий корабль, получивший несколько пробоин под ватерлинией. Пока наспех заделывается одна из них, вода хлещет через другую и третью, а когда с грехом пополам удастся заделать эти бреши, вновь открывается первая. К такого рода «пробоинам» можно отнести безработицу, инфляцию, дефицит платежного баланса. Неизбежность подобных проблем кроется в самой природе капиталистического производства. Прибыли капиталистов растут быстрее, чем заработная плата. Часть прибылей капиталисты должны использовать на расширенное воспроизводство, иначе их разорят более крупные конкуренты. Но это означает выпуск новых товаров. Кто же их купит, если доходы основной массы населения растут значительно медленнее, чем производство товаров? Невозможность сбыта лишнего товара ведет к свертыванию производства, а это, в свою очередь, — к росту безработицы. Покупательный спрос падает еще ниже, ибо пособия по безработице куда меньше зарплаты. Появляются новые лишние товары, приходится вновь свертывать производство. Как заткнуть эту пробоину?

Один из предлагаемых рецептов — увеличивать затраты на вооружение. Здесь рынок на первый взгляд неограничен. Государство может все купить! Однако значительная часть госбюджета состоит из налогов, а рост налогов дополнительно снижает покупательный спрос на «мирные» товары. Кроме того, военные отрасли являются самыми капиталоемкими, высокоавтоматизированными и потому вопреки утверждению буржуазных экономистов не разрешают проблему занятости.

Естественно, что в этих условиях «неоклассики», а с ними и правительства мечутся от одной крайности к другой, стараясь разрешить практически неразрешимые проблемы. С инфляцией пытались бороться, увеличив размеры безработицы. На этом принципе строились кривые Филлипса и Самуэльсона — Солоу, которые были опровергнуты самой жизнью: с середины 70-х годов по настоящее время для капиталистического мира характерна стагфляция — одновременный рост безработицы и цен. Не оправдалась и идея одновременного снижения налоговых ставок и уравновешивания бюджета: ведь бюджет покрывается прежде всего за счет налогов. В США дефицит государственного бюджета — постоянное явление, а государст-

венный долг во много раз превышает размеры бюджета.

Разочарование в возможностях государственного регулирования привело к сокращению списка целей, которые ставили перед своими правительствами буржуазные экономисты. Вначале этих целей было четыре: полная занятость, относительная стабильность цен, отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса и устойчивый темп экономического роста. Но к середине 70-х годов, когда вместе со стагфляцией наметилось снижение темпов экономического роста, «неоклассики» решили, что государству под силу справиться только с одной долговременной задачей — постепенным снижением темпов роста цен.

Рекомендации правительству по этому поводу дает так называемая теория предложения, которая вместе с монетаризмом представляет ядро современного экономического консерватизма. Монетаристы разработали концепцию «естественной безработицы» и доказывают, что в империалистических странах текущие показатели безработицы даже не достигают «естественного уровня», который для США, по их мнению, составляет шесть процентов. (Справедливости ради следует отметить, что число безработных в США начиная с 50-х годов непрерывно растет и в годы правления Р. Рейгана достигло 9,9 миллиона человек, или 8,8 процента общей численности рабочей силы. За этими цифрами стоят реальные люди с их нищетой и нравственными страданиями.) Добиваясь уровня «естественной безработицы», монетаристы сулят и другие «блага» — в частности, «ожидаемую инфляцию», то есть поддающийся предсказанию рост цен.

«За абстрактными умозаключениями, за миражами чистых рынков и свободной конкуренции кроется апологетика капиталистического строя, отрицание его исторической обреченности» — таков вывод, к которому подводит читателя А. Лифшиц. Книга убедительно на богатом фактическом материале показывает истоки экономической политики консерваторов, разоблачает силы, которые стоят за новыми теориями буржуазной экономической науки. Можно пожалеть лишь о том, что разговор касается в основном только США, ведь консервативные изменения свойственны экономической политике и других империалистических стран.

В. МОТЫЛЕВ,

доктор экономических наук.

Н. МЕТЕЛКИНА,

кандидат экономических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ. Снегири на антеннах. Стихотворения и поэмы. М. «Советский писатель», 1985. 96 стр.

ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ. Скворец на асфальте. Стихи. М. «Советский писатель», 1985. 87 стр.

Вспоминаю туманную Казань и распутицу Набережных Челнов, наши полные разговоры, фамилию Володи Шленского на большой и белой, как скатерть-самобранка, многообещающий афише «Молодые голоса России»... Десять лет минуло! Как явно ощущалась тогда нужность поэзии на строительных площадках КамАЗа, в рабочих общежитиях и в институтах.

В двух своих новых книгах В. Шленский остался верным тому главному, с чего начинал, — честному «дворовому» рыцарству послевоенной Пресни. Его лирический герой — это своеобразный донкихот из Москвы, которая слезам не верит, но верит деятельному стремлению к добру. Это трубадур старых московских улиц и домов, способный, когда необходимо, в открытом бою отстаивать справедливость и честь. Понятие справедливости вошло в стихи Шленского, как входит в зеленый и тихий, просвеченный солнцем пресненский двор слепой танкист с баяном и рыжей колли, как вкатывался в него, с силой отталкиваясь от земли, инвалид на деревянной тележке... До чего хрупким оказывался мир: мозаичное стекло с мгновенной сменой витражей, калейдоскоп житейских сценок и городских пейзажей. Стоит лишь чуть нарушить узор — и бывший танкист уже не сможет увидеть взъерошенного скворца над разбитой лужей или мерцанья росы на запыленных кленах. Эта драматичность первых ощущений бытия естественно перешла в поэзии В. Шленского в ощущение трагедии, нависшей сегодня над планетой, так же как любовь к самому малейшим проявлениям живой природы города переросла в чувство кровного родства со всем сущим на земле... «Весь разобщенный мир к гармонии стремится. И дляя дрожит над черною водой. И это знаю я, и муравьи, и птицы, и коленогий клен, и тополь молодой...»

Заботы мира поэт считает своими — и бытовые и вселенские, ведь жизнь во всех проявлениях равно достойна интереса и осмысления. Отсюда и стихотворения «Воскресенье у телевизора», «Размышления о моде», и такие строки:

Мой день угас. Ушел водой в песок...
Впитала кожа спелый, смуглый сок
Восторженного и живого солнца.
Я на песке чертил твой силуэт.
Был светел вечер.
Розовые сосны
Накопленный раздаривали свет.

Для разнохарактерного нашего поколения еще многое спорно, в том числе точка зрения на сам предмет поэзии. Скверно, когда молодой азарт перерастает в дух спортивного соперничества и желание первенствовать, в сознание своей исключительности или там избранности. В стихах В. Шленского чувствуется серьезное отношение к творческому труду, чистота и свежесть рассветного мира, когда он распался навстречу надежде и добру, вера в то, что «сломивший у деревца руку с раскрывшимся нежным цветком издевает тяжкую муку, пускай не сейчас, но потом...». Так формируется жизненная позиция, а романтизм становится реалистическим, земным: «Радость с печалью разделится так же, как дождик и снег... Здравствуй, двуногое деревце, мой дорогой человек!»

Верная нота, взятая поэтом в начале его творческого пути, звучит камертоном в его жизни, не позволяя фальшивить и сбиваться. Лучшие стихи из новых книг В. Шленского написаны всерьез и надолго, и я с легким сердцем призываю читателя познакомиться с ними.

* * *

Уже была готова верстка этого номера журнала, когда всех, кто знал Володю Шленского и работал плечом к плечу с ним, потрясла весть о его скоростной смерти, в которую просто невозможно поверить. Он был воплощением жизнестойкости и жизнелюбия, человеческой и поэтической самоотверженности. Он умер мгновенно во время поэтического выступления в поле близ Ульяновска, читая стихи людям на их рабочем месте.

Не будет новых книг Владимира Шленского. Но того, что он успел сделать в жизни и литературе, хватило бы на несколько более спокойных жизней. Автор стихов и песен, известный переводчик, он был постоянным и активным автором «Нового мира», принимал самое деятельное участие в шефской работе журнала. Память о нем будет жива, как будут живы его стихи и песни. Он все отдал людям. Ему было сорок лет.

Равиль Бухараев.



ВЛАДИМИР КАНТОР. Два дома. Повести. М. «Советский писатель». 1985. 200 стр.

Герой повестей В. Кантора — сначала мальчик, потом пятнадцатилетний юноша — живет и формируется как бы в двух взаимоотрицающих мирах — двух домах (отсюда и название книги). Дом бабушки Нasti, где живут тесно, но без заумных метафизических проблем и интеллигентских комплексов, где заботятся не о «реализации призвания», а просто о заработке, где по праздникам поют под гармошку «Когда я на почте служил ямщиком...», где деликатес — это не апельсин, а селедка, где педагогика не отвергает столь простых и мудрых средств, как ремень... И дом бабушки Лиды, в котором почти нет вещей, зато много книг, в котором по вечерам спорят о смысле жизни, о вечности, небытии, цитируя Гёте, Шиллера, Канта, в котором требуют друг от друга «общественного горения», «духовных запросов», «осуществления себя в делах» и так далее.

Противоположность этих миров (материальность, приземленность одного и «духовность», интеллектуализм другого) в книге настойчиво (порой излишне настойчиво) подчеркивается. Но автор не превращает художественный текст в закодированный абстрактно-философский трактат. Оба дома предстают перед нами с впечатляющей достоверностью и красочностью. Характеры людей, их взаимоотношения, детали быта выписаны четко и убедительно.

Главная удача В. Кантора в том, что ему удалось тонко и точно воссоздать внутренний мир своего юного героя, раскрыть диалектику его души, измученной бесконечной войной между домами (он-то принадлежит и тому и другому). События детства и отрочества описываются в повестях ретроспективно, с позиций более поздней умудренности героя. Это позволяет автору выхватить, вычленив из потока фактов и деталей нечто особо значимое для формирования личности, мужчины, внося при этом в повествование ноты снисходительной, мягкой иронии, отнюдь не мешающей, впрочем, пониманию важности для складывающегося сознания тех нюансов, которые взрослым часто представляются мелкими и пустячными.

Повести В. Кантора восходят корнями к русской литературной традиции серьезно-исследования детства (отрочества, юности) как, может быть, наиболее трудной, наиболее существенной фазы жизни человека — фазы формирования уникального духовного микрокосма.

Характерный для этой традиции взгляд на детство и з н у т р и, обогащенный интеллектуальной культурой автора, позволяет понять, насколько же нелегко, а порой исполнен подлинного драматизма и болезненных противоречий этот «труд души» даже тогда, когда для постороннего взгляда ребенок — баловень судьбы, готовый беззаботно прыгать с утра до вечера.

Вот и герой повестей Боря таков. Если бы только две семьи вели сражение за обладание Бориной душой! Если бы лишь два непримиримых мира ему приходилось при-

мирать! Нет, задача у героя намного сложнее. Его сознание, его психика оказываются на стыке еще целого ряда чуждых друг другу миров. С одной стороны, это обжитый мир семьи, родственников, соседей, с другой — совершенно не похожий на него сопредельный и запредельный мир улицы, школы, страны, человечества. Отнюдь не бесконфликтно соприкасаются мир прошлого (истории, традиции, тонкой интеллигентской культуры) и мир бытовой повседневности с отношениями, далекими от книжных, литературных. А какая пропасть открывается вдруг между миром умопостигаемым с его холодными вечностью и бесконечностью, мучительным вопросом о смысле жизни и миром сиюминутным, теплым, дорогим в своих мелких деталях. Все это — через раздирающие противоречия, таящиеся в душе, между целомудренностью, позитивностью и боязнью показаться «маленьким», не современным. Отсюда — бравада, напускная бывалость, внешний цинизм...

Так на глазах читателя формируется характер героя повестей. Человек. Личность.

Есть в книге просчеты структурно-композиционного плана, встречаются языковые огрехи. Но в целом беллетристический дебют Владимира Кантора, автора ряда философских и литературоведческих работ, безусловно удачен. Повести, составившие книгу «Два дома», получились содержательными, со своим лицом.

Г. Петрова.



Н. А. ХАЛФИН. Заря свободы над Кабулом. М. «Наука». 1985. 320 стр.

Две предыдущие книги советского востоковеда Нафтуллы Халфина — «Возмездие ожидает в Джангалаке» и «Победные трубы Майванда» — охватывали периоды первой (1838—1842) и второй (1878—1880) англо-афганских войн. В третьей, заключительной, части исторического повествования речь идет о событиях англо-афганской войны 1919 года, об установлении дружественных отношений между Советской Россией и Афганистаном и прогнанодействию, которое оказывали этому английские колонизаторы!

Читатель встречается на страницах книги со многими политическими деятелями того времени, роль которых по-разному отражалась на судьбах афганского народа. Один из них — лорд Керзон. С этой одиозной фигурой связаны давление Британской империи на Афганистан, колониальные походы в Тибет, усиление позиций Великобритании в Иране, наведение «имперского порядка» в Индии... Вместе с Уинстоном Черчиллем он, как известно, пытался противодействовать установлению советской власти в нашей стране, был одним из организаторов и вдохновителей «крестового похода» против Советской России.

А вот сэр Мортимер Дюранд, личность сама по себе малоприметная, но оставившая печальную память в так называемой линии Дюранда. Эта линия, установленная в 1893 году, прошла по территории афганских племен, расчленив их на несколько частей. Так Британская империя пыталась

сломить свободолюбивый дух афганского народа, а заодно создать предпосылки для возникновения конфликтов между Афганистаном и колониальной Индией и своего постоянного вмешательства в дела стран Центральной Азии

«Инглизи» — это слово часто вплетается в нить исторического повествования Нафтуллы Халфина. Так афганцы называли англичан, выражая свою антипатию к их имперским амбициям. Инглизи пугало отношение афганцев к событиям в России. С конца 1917 года в Афганистане стали распространяться вести о «загадочных большевиках», объявивших всех людей на земле равными, все народы — имеющими одинаковые права, в том числе и право на независимость. Вот что писал в то время один из известных афганских политических деятелей Махмуд-бек Тарази: «С точки зрения социального и духовного развития русская революция и уничтожение царизма открыли перед мусульманами всего мира широкую, светлую и надежную дорогу». А в первой депеше Совнаркома руководителям Афганистана от 27 марта 1919 года говорилось, что, действуя в духе национальной политики, провозглашенной вождем русской революции В. И. Лениным, Советская Россия признает полную независимость Афганистана и готова установить дружественные экономические и политические отношения с южным соседом.

Стремление к дружбе и сотрудничеству было обоюдным. Но пройдет еще некоторое время, прежде чем оно сможет реализоваться: слишком мощные силы будут мешать этому. Британская империя развяжет новую, третью войну против Афганистана. Поражению Британской империи в этой войне немало способствовали признание Советской Россией политической независимости Афганского государства и разгром английских интервентов частями Красной Армии на южных рубежах нашей страны.

Британские власти всеми силами стремились помешать заключению советско-афганского договора, разработав целую программу политических и экономических мероприятий, куда входило, в частности, распространение слухов о «безбожии» большевиков, о том, что они враги ислама. Но их усилия были тщетны. Симпатии афганского народа, прогрессивной общественности страны были на стороне Советской России, признавшей независимость Афганистана, оказавшей моральную и материальную поддержку афганскому народу. 28 февраля 1921 года в Москве состоялось подписание Договора о дружбе между Российской Республикой и Высоким Государством Афганистаном, заложившего основы дальнейшего развития взаимоотношений двух стран.

С. Алякринская.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Костин. Восхождение. Страницы биографии молодого Ленина. Изд. 2-е дополненное. 286 стр. Цена 60 к.

Программа Коммунистической партии Советского Союза Новая редакция 190 стр. Цена 55 к.

Э. Росс. В бурях и в борьбе. Страницы из истории рабочего движения. 216 стр. Цена 70 к.

А. Шеметов. Искупление. Повесть о Петре Кропоткине. («Пламенные революционеры») 430 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Джалиль. Стихотворения. Перевод с татарского. («Классики и современники») 287 стр. Цена 90 к.

Л. Пиранделло. Новеллы. Перевод с итальянского. («Классики и современники») 381 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Пришвин. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 8. 759 стр. Цена 3 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Борщаговский. Портрет по памяти. Роман. 334 стр. Цена 1 р.

В боях безвестных. Страницы воспоминаний. Составитель Г. В. Гоппе. 447 стр. Цена 2 р.

Ю. Давыдов. Соломенная сторожка. Две связи писем. Роман. 432 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Приставкин. Горолок. Роман. 447 стр. Цена 1 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Колосов. Три круга войны. Повесть. 446 стр. Цена 1 р. 90 к.

Б. Мисюк. Крепленный огнем. Повесть. 190 стр. Цена 65 к.

Ю. Онлянский. Федин. («Жизнь замечательных людей») 352 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Филиппов. Юлиус Фучик. («Жизнь замечательных людей») 304 стр. Цена 1 р. 40 к.

«РАДУГА»

Адам Шафи Адам. Кули. Усадьба господина Фуада. Перевод с суахили. («Современная зарубежная повесть») 262 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Вальтер. Удивление лунатиков на исходе ночи. Роман. Перевод с немецкого. 247 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Манн. В защиту культуры. Сборник статей. Перевод с немецкого («XX век. Писатель и время») 413 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Видал. 1876. Роман. Перевод с английского. 411 стр. Цена 2 р. 80 к.

И. Рыбак. «Иду на красный свет». Художественная публицистика. Перевод с чешского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 352 стр. Цена 1 р.

Н. Христов. По следам «без вести пропавших». Художественная публицистика. Перевод с болгарского («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 350 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

Ф. Жюллиан. Эжен Делакруа. Перевод с французского («Жизнь в искусстве») 271 стр. Цена 2 р. 10 к.

Е. Кириченко. Архитектурные теории XIX века в России. 407 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Мириманов. Искусство Тропической Африки. 503 стр. Цена 6 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Бааль. Бахровский круг. Рассказы, роман. Рига. «Лиезма». 638 стр. Цена 2 р. 60 к.

А. Дранохруст. Круговорот. Книга лирики. Минск. «Мастацкая литература». 286 стр. Цена 40 к.

И. Есенберлин. Кочевники. Историческая трилогия. Книга 1. Заговоренный меч. Алмата. «Жазушы». 224 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Козлович. Рассвет. Повесть о современнике. Минск. «Мастацкая литература». 190 стр. Цена 75 к.

ПОПРАВКА

В № 6 «Нового мира» за этот год на 239 странице (правая колонка, второй абзац снизу) первую фразу цитаты после двоеточия следует читать так: «Эти пушкинские строфы Григорьев называл «ключом к самому Пушкину и к нашей русской натуре...»».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалдиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 23.06.86 г. Подписано к печати 11.08.86 г. А 13555
Формат бумаги 70×108/16. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,14 уч.-изд. л.

Тираж 414.000 экз. (1-й завод 1 — 114.000 экз.). Зак. 2206

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

*В последующих номерах
1986 и в 1987 году «Новый мир»
предполагает опубликовать:*

романы: Ю. Азаров — «Новый свет», А. Ананьев — «Скрижали и колокола», А. Афанасьев — «Прощание с любовью», Д. Гранин — «Зубр», В. Орлов — «Аптекарь», А. Рекемчук — «Тридцать шесть и шесть», часть 2-я, Д. Апдайк — «Кролик разбогател», Г. Бёлль — «Женщина на Рейне», К. Кейси — «Пролетел над кукушкиным гнездом»;

повести и рассказы Б. Екимова, М. Колосова, В. Крупина, В. Маканина, В. Рослякова, В. Солоухина, Т. Толстой, Б. Харчука;

стихи Евгения Винокурова, Андрея Вознесенского, Расула Гамзатова, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко, Алима Кешокова, Бориса Олейника, Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Марка Соболя, Владимира Соколова, Николая Старшинова, Владимира Цыбина;

очерки и статьи И. Беляева, А. Бовина, Ф. Бурлацкого, Е. Лисичкина, В. Овчинникова, Ю. Черниченко, Е. Яковлева;

литературно-критические статьи, обзоры Л. Аннинского, А. Бочарова, И. Дедкова, И. Золотусского, А. Марченко, О. Чайковской;

из литературного наследия В. Тендрякова — роман «Покушение на миражи», Н. Тихонова — стихи;

дневники кинорежиссера Г. Александрова, воспоминания В. Берестова о С. Маршаке, А. И. Микояна.

Первый номер 1987 года посвящается памяти А. С. Пушкина.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи.

Подписная цена на год — 14 р. 40 к.